К · БОРИСОВ

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

К · БОРИСОВ

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

РОМАН-ХРОНИКА

Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1979

Р2
Б82

Две первые книги романа «Единомышленники» старейшего уральского прозаика Климентия Борисова уже известны читателям. В настоящее издание вошла новая, третья книга романа — «Календарь войны».

Хроникальная форма произведения позволила писателю охватить значительный период истории, преломив его в судьбах нескольких поколений одной семьи.

В трилогии автор прослеживает процесс духовного становления, мужания своих героев в условиях революционной борьбы, социалистического строительства первых пятилеток и Великой Отечественной войны.

Б $\frac{70302-072}{М158(03)-79}$

КНИГА ПЕРВАЯ

СУРОВЫЙ КАНУН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Верх-Палицу, как многие старые горнозаводские поселки, словно кто-то щедрой пригоршней кинул на плоскогорье по обе стороны большого пруда.

Для ребят нескольких подряд поколений пруд был тем местом, где вместе с первыми их немудрыми радостями вступает в душу чувство Родины.

К правому берегу пруда вплотную подступала улица-одинарка темных бревенчатых домов, лежали по всему берегу лодки вверх днищами. Вдоль кромки воды поблескивали перламутровой изнанкой половинки выброшенных волнами и раскрывшихся под солнцем раковин-двустворок. Ребятишки, от самых маленьких до подростков, летом приходили группами на берег, часами барахтались в воде, которая возле створов плотины, огражденных рядами позеленевших, скользких свай, казалась то ржавой, то чернильно-лиловой. К западу пруд простирался на добрых восемь-десять верст, в сизую даль уходила цепочка островов, плоских и высоких, каменистых и поросших бледно-зеленым смиренным тальником.

Два десятка лет вблизи одного из створов плотины стояла затопленная на отмели баржа; косо торчали из воды только резной форштевень да точеные балясины носовых перил. Угадывалось, что когда-то это было славное суденышко, сработанное по-старинному, по-поморски во славу здешних рек и водных раздолий. Детворе и жутко, и заманчиво было опускаться в таинственный полумрак воды, затопившей трюм, а после того выскочить наверх, пробежать по рулевой бабайке и, сложив руки над головой, упасть вниз и, уже выплыв на берег, долго еще ощущать какую-то особую пресноту прудовой воды, проникшей в носоглотку.

И кем бы с годами ни стал такой тонконогий, креуторебрый ныряльщик, куда бы с годами ни занесли его ветры мятежных лет, он не сможет равнодушно обонять запах большой воды, ни с чем не сравнимый запах ракушек на берегу и смолы, которой пропитаны днища лодок, и дыхание леса, доносящееся с верховий, смешанное с

тонким сернистым привкусом заводского дыма. И через десятки лет, доведись встретить что-нибудь, напоминающее эти запахи, душу опахнет тем светлым и грустным чувством, которому обязано своим рождением все лучшее в человеке — благородство, патриотизм, мужество.

Старшие ребята уплывали на другую сторону пруда, где весь берег был завален грудами ржавой стальной стружки, голышом копались там, отыскивая в отвале кусок бронзы, подходящую гайку на грузило. А кто-нибудь из младших один сидел на берегу, сторожа их одежонку.

Над водой стоит ребячий гомон, за плотиной тяжко вздыхает завод, который слыхать отчетливее, чем ухом, как-то нутром: его глухой шум доносит чуткое эхо недр. Стоит летний зной, но словно не солнце — источник этого сухого, имеющего свой запах тепла, а испускает его сама земля, покрытая тонким слоем копоти, рассеиваемой ветрами из черных труб завода.

А малыш на берегу, сидя возле самой воды, подбрасывает на ладони обломки темно-стеклянного доменного шлака, любознательно смотрит вокруг. Он не умеет еще ни связно размышлять над окружающим, ни любоваться торжественным шествием пышно наряженного лета,— сам частица этой природы, робкая веснушчатая кроха ее. Но любовное любопытство ко всему этому теплится в нем, как первая ясная искорка в вечернем небе.

Если выпадала осень с ранним добрым заморозком, а снегопад запаздывал, для ребят лучшим удовольствием этой поры было выйти на лед на коньках. Ветры на пруду были чаще всего западные, и ребята, пригнувшись, мчались навстречу им. Четко стрекотал под коньками лед, скоро начинало казаться, что бег перешел в полет, а пруд, одетый в голубую твердь, вместе с темными лесистыми берегами уходит из-под ног. Еще стремительнее бежалось назад; расстегнув пальтишко, распялив полы его на палку, соорудив так импровизированный парус, неслись ребята на поселок, как стайка нетопырей.

Летом завод, обнесенный кирпичной стеной с нишами в виде широких арок, с его трубами и черными коробками цехов, плотина, подпирающая темную массу воды, выглядели внушительно, объемно, они словно бы стояли высоко над прудом. Другой облик все это имело зимой. Недвижный белый пруд казался шире, пустыннее, чем летом,

смотрел суровее, и завод будто погружался кровлями зданий до уровня могучего пласта снегов. В воскресенье пруд с утра оказывался усеянным черными точками — фигурами удильщиков, сутулящихся над небольшими прорубками.

По ночам над заводом стояло багряное зарево. Там ковалось богатство. Кому?

Достаток, довольство как бы распределялись по поселку в виде кругов на воде. В центре, на площади, стоял большой белый управительский дом, церковь против него, украшенная орнаментальными пилястрами и карнизами; четыре колонны, образующие паперть, на их ионических завитках тяжело лежал двускатный фронтон, как надбровье на хмуром, недобром лице.

Камень достатка, богатства упал как раз на этой площади: управительский дом, церковь и еще несколько лучших зданий на ней образовали первый, самый заметный и узкий круг на воде.

Во втором кругу располагались дома, в большей части полукаменные, построенные с заносчивым желанием показать, что здесь живет не кто-нибудь, а плотинный мастер, или церковный староста, или попечитель приюта для сирот. Над одним из них возвышался мезонин с надоконьем, загаженным голубиным пометом; у другого по углам и в простенках были некстати сооружены пилоны из витых деревянных столбушек, облупившихся и потрескавшихся; третий тщился выделиться балконом с замысловатой кованой решеткой, с которого, однако, не лучше, чем просто из окна, было видно все ту же улицу с тележной колеей, прорезанной в засохшей грязи.

Ворота в поселке строились глухие, прочные, украшенные резьбой. Местные плотники именно на них испытывали свое мастерство. И правда, перед некоторыми воротами нельзя было не остановиться, не поглазеть на их карнизики, подзорины, облицовку столбов. Железные крыши в этой части поселка красились зеленой ярью; со временем она выцветала от солнца, приобретала блеклый лягушачий оттенок, как вода в камышовых заводях.

И был последний круг: деревянные, одноэтажные домишки, словно бы одинаковые, но, если присмотреться, имеющие каждый свое выражение: один хитро смотрел на свет несуразно близко поставленными окнами, у другого был убого-сиротский вид оттого, что фронтон без карниза

криво-неправо был зашит тонким горбыльком, на окнах не было наличников, а стекла в одинарных рамах уплакались подтеками избяной сырости. Здесь нигде уже не виднелось железных крыш: большинство домов крылось драницей-доской, не пиленой, а отщепляемой от хорошего соснового бревна вдоль годовых слоев. Считалось, что драничные крыши долговечнее тесовых, с годами они только покрывались пятнами лишайников, которые в сушь, засыхая, теряли свой цвет и оживали, вновь начинали зеленеть, едва выпадал небольшой дождь.

В эту часть поселка едва заметными доходили круги богатства, которые создавал завод. Но за этим шло еще одно кольцо улиц — подлинная заводь бедности, где между низких, убогих бревенчатых хижин там и здесь встречались и землянки, сложенные из пластов дерна.

ГЛАВА ВТОРАЯ

«Вначале были кайло и лопата...»

Парнишка написал в тетради эти слова и еще не успел, склоняя голову справа налево, полюбоваться, как оно выглядит, а законоучитель уже все заметил и громко сказал с не злой и не доброй, как-то очень к нему идущей плотоядной усмешкой:

— Ученик Хаританов Иван...

Уже не первый это был урок в году, и пора бы ему привыкнуть к Иванковой фамилии, но каждый раз он не упускал случая сказать и сейчас сказал:

— Однако же почему Хаританов? Харитон еси. Подай сию минуту свой тетраптих.

И парнишка начал неуклюже вылезать из-за парты, нарочно гремя ее крышкой.

Законоучитель был из молодых, из в своем роде идейных. Был уверен, что исполняет богом назначенную ему задачу нести людям добро, знания. Но неподатлив на слово божье этот вертопрах. Только и ждет, видно, когда расстанется со школой, и потому в последнее время стал совсем нехорош, дерзок. И очень неприглядеи собой. Плотно, как бурлацкая лямка, лежит на плохо промытой шее воротник изрядно заношенной ситцевой косоворотки.

Урок в этот день законоучитель начал с того, что прочитал ребятам по нескольку строк из всех четырех раз-

делов Нового завета. Хотел, чтобы его ученики с первых слов почувствовали действительную поэзию церковной беллетристики.

«Вначале было Слово, и Слово было у бога, и Слово было Бог».

Но Иван Хаританов в эти минуты думал о другом.

Он пристально смотрел в окно, и с ним происходило то, что однажды случается с каждым подростком: он начинает думать по-взрослому и даже острее, проницательнее, чем это может делать повзрослевший ум. По-своему почувствовав слышанные в разное время обрывки речей старших, он думал о том, как зарождались, чьим трудом начинали строиться в таежном уральском краю заводы и поселки при них. Как выглядел этот край, когда еще не было ни заводской плотины и широкого пруда, ни этой, видимой из окна школы, высокой кирпичной стены с глухими фальшь-арками, ни обметающих небо собольих хвостов дыма над трубами завода. Ни заводской проходной, в которой много лет сидит темнолицый мужик, Федя-хромец, всегда норовящий схватить за ухо и больно, с вывертом, оттаскать тех смельчаков из поселковой детворы, что только и смотрят нырнуть через будку на заводское подворье.

С чего все это начиналось?

И он написал в тетради:

«Вначале были кайло и лопата...»

И виделись они Ивану в руках лапотника-мужика, одетого в бессменную, пока не истлеет на теле, холщовую рубаху, плоско и страшно свисающую с его оттянутых книзу плеч.

Законоучитель был таким человеком, о котором никогда не знаешь, как он поступит. Он бывал с ребятами и ровен и приветлив, но иногда мог накричать на них и даже дрался линейкой. Была у него еще одна привычка: выговаривая провинившемуся, долбить его средним пальцем в голову против роста волос, а это было очень больно.

В этот раз он наклонился через стол, чтобы взять у Ивана Хаританова тетрадь, нагрудный крест на массивной плоской цепи при этом свободно повис у него, угрожая окунуться в чернильницу, и законоучитель стал ловить его рукой. Иван усмехнулся этому.

Усмехаться же не следовало: законоучитель не любил ребячьих ухмылок. Но и попу стоило воздержаться

от того, чтобы на этот раз долбить ученика в голову и обзывать его обезьяной и орясиной, потому что парнишка был в том возрасте, когда в нем пробуждается уже чувство человеческого достоинства.

Разыгралась короткая безобразная сценка: законоучитель накричал на ученика, не стесняясь в обидных выражениях, а тот только смотрел на него глазами озлобленного волчонка.

Потом поп читал ребятам начальные строки другого раздела книги, где говорилось, кто кого породил: «Авраам роди Исаака, Исаак же роди Иакова...» Но у маленьких сорванцов, воспитанных поселковой улицей, было теперь, после инцидента с Иваном Харитановым, совсем не то настроение, чтобы разбираться в столь отдаленных родословных. Они уже понимали, что прочитанное им сейчас не только можно не запоминать, а даже лучше всего не запомнить, принять в одно ухо и выпустить в другое.

Кто там кого породил? Известно, что Ивана Хаританова произвел на свет его отец, плотник с заводского хозяйственного двора, Алексей Денисович. А Иванкова дружка и соседа по парте Илюшку Гудилова вообще неизвестно кто «роди». Илюшка считался незаконнорожденным, у него и в метрике было записано странное отчество: Татьяныч, по имени матери.

Каждое вероучение, утратив свое романтико-поэтическое начало, становится догмой, неспособной жить без насилия над умами. И тут вместо высоких поэтических представлений, которые хотел заронить в ребячьи умы учитель в пахучем подряснике, у них возникли совсем иные представления, озорные и бесстыдные. Наверное, так происходит с каждой догмой: со временем она начинает все более отравляться ядом собственного разложения.

А за окнами церковноприходской школы была уже весна. Мартовски рыхлыми стали облака. Побурели высокие отвалы снега вдоль дорог и пешеходных троп, на которые всю зиму осаживались мельчайшие частицы копоти и угольной изгари.

Небо, небо...

По какой-то странности судьбы под этим небом родился и рос Иван Хаританов, пока еще мальчишка, сын заводского рабочего.

В один из последних дней учебного года он шел домой

из школы, широко смотрел вокруг как на нечто новое, впервые открывшееся ему и, по-мальчишески размахивая на ходу связкой учебников, стянутых ремнями, размышлял, как будет жить, когда вырастет.

Вот вымахает до взрослого мужика и тогда покажет всем!

А кому и что он хочет показать, и сам пока не знал.

Может, и этому попу, который разговаривает с ним в школе всегда с этакой издевочкой и больно долбит пальцем в темя.

Парнишка вдруг захохотал на ходу. Вспомнил, как отец рассказывал про какого-то заводского каталя, который пришел на исповедь.

Случай такой либо был, либо нет. Отец, когда в духе, может выдумать еще и не это.

Каталь с шихтового двора, грубиян и матерщинник, пришел на исповедь, и поп его, сказывают, спросил: не ругал ли тот черными словами священнослужителя?

— Грешен, батюшка, было дело.

— Как же ты его ругал?

— Мне, батюшка, неловко сказать.

— А ты смирись, скажи. На исповеди ведь.

И тогда кудластый большерукий каталь, вдруг озверев, отведя плечо назад, подошел к попу, прохрипел:

— И-ых, мать твою... долгогривая ты кобыла!

Вот такие они, заводской народ. И Иванко Хаританов со временем станет кем-нибудь вроде этого каталя.

В вечерний час, когда еще рано ложиться спать, но уже поздно заниматься какой-нибудь работой по двору, Иванке полагалось садиться и читать, зажав уши ладонями, или чиркать грифелем по доске — готовить то, что в школе задано на завтра.

Висела в простенке керосиновая лампешка с потускневшим жестяным отражателем, бросая ровный свет и на тот край стола, где сидел Иван, и на тот, куда примащивалась мать с каким-нибудь шитьем. Даже свет лампы в таких семьях принято делить по справедливости.

Но в тот вечер Иван не сел на свое обычное место. Он просто не стал развязывать ремни, в которых носил свои учебники и тетради, самолично сшитые из самой дешевой бумаги, по три копейки за десть. Все последние годы он держал свое имущество в этих ремнях. Денег на покупку форменного ранца в семье не нашлось, а само-

делковая сума очень уж походила бы на нищенскую. И он когда-то изготовил себе такие ремни, узкие, крепкие, с перемычкой и держалкой, которую выстругал из березовой палки. Связка эта была у него стянута так ладно и крепко, что не разваливалась, даже когда приходилось драться ею с недругами по дороге домой.

В тот вечер эту связку, как была, он сунул на широкую полку при входе в избу, а поверх ее втиснул еще какие-то старые, потрескавшиеся сапожные голенища.

Разумеется, отец заметил эту возню и насмешливо спросил:

— Забастовка, что ли? В школу завтра ты, что же, порешил не ходить?

Сын ответил:

— Порешил не ходить.

Алексей Денисович, отец, в последнее время стал чаще всего разговаривать с сыном так — в тоне добродушной насмешки. Видел, что парнишке живется не красно, одиноко, и подтрунивал, чтобы не прорвалась ненароком обидная жалость. Иванкова мать, первая жена Алексея Денисовича, умерла, еще когда мальчишка только выпростался из широкого тряпичного свивальника. Мачеха, вошедшая в дом через месяц, сразу же усвоила по отношению к пасынку терпимо-снисходительный, не более, тон и конечно же была куда больше занята родившимся через несколько лет и подраставшим теперь своим кровным сыном, который приходился Ивану сводным братом.

На этот раз, видя, что Иван примащивается к свету с потрепанной, не похожей на учебник книжкой, Алексей Денисович, тонко усмехнувшись, обронил одну из многочисленных своих прибауток:

— Та-ак. Значит, кончил курс своей науки, поступил в пономари.

И весь вечер они больше к этому не возвращались. Но, ложась спать, отец снова заговорил:

— Ты вот что, не чуди и не блажи. В школу дохаживай. Уж немного осталось.

Не очень-то убеждали Ивана эти увещевания. Что могло за ними последовать? Может быть, выволочка, но невеликая.

Другое дело: отец был единственным человеком, с которым Иван еще считался.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Отец рассказывал, что смолоду он работал еще на кричной фабрике. «Их теперь, слава богу, нету... Утром идешь на работу — заправски богу молишься, чтоб день прошел без костоломства».

Работу на кричной фабрике Иван представлял себе очень ясно, хотя только слыхал о ней от старших. Были на заводе мрачные, как подземелье, цехи, освещаемые только багрецом горнов. И как черти извиваются, мечутся в отблесках пламени люди, отверженная заводская голытьба.

Клещи, которыми берут из огня раскаленную крицу, раза в полтора длиннее роста того, кто с ними управляется. Они подвешены цепью на ролике-блочке, и ходу тому блочку вверху по рельсу всего три аршина. На таких клещах и работал смолоду отец.

Весом крица бывала двенадцать пудов, и меньше они не делались: считалось, что заводской мастеровщине слишком бы легко жилось, будь крица легче.

Молот, формой и размером в добрую пивную бочку, насажен на рычаг, сделанный из лиственничного кряжа. Мерно, десять-двенадцать ударов в минуту, падает молот, сотрясая стены фабрики. Озверело ворочает крицу под молотом жив-человек; молот не ждет, не спрашивает, успел ли он клещами повернуть как надо эту глыбу вишневого огня. Если не успел, взыграет, хлестнет по воздуху рукоять клещей. Тогда счастье, если — по воздуху. А бывает — по черепу, по скуле.

Раз за разом падает молот, разбрызгивая на две стороны, в виде петушиного хвоста, снопы крупных искр, еще долго не гаснущих на земляном полу. В том и суть всего процесса, чтобы проковкой освобождать сыродутную крицу от углеродистого шлака. Так хозяйка мнет в ладонях кусок свежего масла, выжимая из него капли пахтанья.

Раз за разом падает молот, работающий на водяном приводе.

Выбившись из бесправной и нищей заводской «откати», Хаританов-отец не дотянул, однако, и до зажиточных. Впрочем, такое место, между двух этих социальных состояний, его устраивало вполне. Он был сам по себе. Всю жизнь о том заботился.

Дети судят отцов чаще, чем те об этом думают. И это бывает очень правый суд. Иван, еще совсем малолетком, зорко присматривался к отцу и уже тогда, не вполне четко сознавая это, видел его противоречивый характер.

Подвыпив, отец любил намекнуть, что смолоду сам был удал и жесток. Но жестокость, когда видел ее у других, осуждал. К бедности относился немного презрительно, думая, что чаще всего она бывает порождена неумением устроиться в жизни. А заводскую верхушку уж не только презирал, но просто ненавидел. Или он достаточно насмотрелся на то, как достигается богатство, но хищничество, без которого оно немыслимо, было не по нему? Или эта ненависть у него возникла уже после того, как он сам на заводе не сумел сделаться даже десятником?

Разобраться в этом было бы трудно даже не ребячьему уму. Вспоминая свое родословие, отец рассказывал, что его дальний предок был вывезен из России, будучи проигранным в карты кому-то из здешних горнопромышленников.

Любил подчеркивать, что его фамилия хоть одной буквой да не схожа с фамилией известного в городе толстосума, о чьих богатствах рассказывали легенды и чей дом-дворец стоял на одной из площадей города.

Люди никогда не перестанут сравнивать нынешнее с прошлым. Жизнь стоит на том, что мы проверяем день нынешний днем вчерашним.

Алексей Денисович часто рассказывал о том, каким тяжким и опасным был труд на заводе еще каких-нибудь четверть века назад. И Иван уже понимал, что если отец в этих россказнях привирает даже на две трети, то и остающаяся треть делала заводское бытье достаточно страшным. Уже и сам парнишка видел, как хоронили рабочего, обожженного выбросом шуровочного газа. Видел, как привезли домой на тележной тарели нелепо плоское тело Никифора Рябцева, жившего на их улице, которого ногами вперед втянуло в валки крупносортного стана.

На местном кладбище было предостаточно таких, которые кончили жизнь подобным образом, и никто не ставил им памятников, и людям хватало всего несколько дней на то, чтобы поужасаться случившемуся. Привыкли считать, что завод дает им жить и он — в своем праве, время от времени выхватывая из числа живущих рабочих свои жертвы.

Много присказок рассказывал отец про деда. По ним выходило, что это был забавник-старик. Творил всякие шутки, иногда злые, досаждавшие прежде всего его близким, поскольку ни над кем другим власти старик не имел. Но это происходило не от жестокости характера, просто этим дед скрашивал себе жизнь. Он и умер своеобычно: ушел в лес, и там его нашли в яме под выворотнем в такой позе, как засыпают обиженные ребятишки: на боку, с ладонями, зажатыми в коленях.

Сыновьям, Иванкову отцу и дяде Василию, старик оставил только избу, срубленную из бревен в два обхвата толщиной. Изба была такая низкая, что в снежную зиму, утопая в суметах, она сама делалась похожей на свежий холмик, навитый метелью-вьюгой вокруг какой-нибудь тычки.

Дверь в избу, сделанная из смолистой конды, зимой набухала и захлопывалась за вошедшим глухо, почти беззвучно, накрепко, мертво. Ивану приходилось бывать в этой избе, где все еще жил дядя Василий. И каждый раз его сводило от страха, когда он перешагивал через порог. Почему-то думалось, что эту дверь ему не суметь открыть и выйти отсюда на белый свет больше не удастся.

Больше половины площади в избе занимала печь и сооруженные в запечье нары, на которых, во всю их ширину, лежал татарский войлок с узором из красной шерсти, грубо вкатанным по углам.

Нары... Сколько их, тюремных и казарменных, выпадало на долю отшлифовывать своими боками чуть ли не каждому из верх-палицких парней. И, может быть, не зря в детстве, когда Иван приходил с отцом к дяде Василию, парнишке почему-то было жутковато даже садиться на них.

А отец в своей молодости жил на этих нарах. И уж когда братья поженились,— оба почти в один год,— они попарно спали на них: каждая чета в своем углу, разделенные холщовым положком, повешенным посередине.

Жить так дальше стало нетерпимо, и младший, Алексей, ушел из дедовского дома. Купил себе за гроши какой-то полуразвалившийся сарай, у которого еще не вовсе пропали бревенчатые стены, еще можно было выбрать крепкие бревна и срубить из них меньшего размера сруб.

Летом вечера долги и благодатны, видно, для того, чтобы поить бедняков телесной силой и волей к жизни.

Ночь в ту пору приходит только как неширокая полоса сумерек, гонимая на запад ленивыми сполохами утренней зари. Ненадолго смеркается только внизу, на земле. Небо при этом не утрачивает своего тонкого оливкового свечения. Ночь приходит словно тень облака, проплывающего в вышине над лесами и луговинами.

Такими вечерами Алексей Денисович с женой на двухколесной ручной тележке перетаскивали бревна к месту постройки.

Жена умерла вскоре после того, как была закончена постройка. Словно сочла исполненными все дела, для которых была призвана на свет.

Вот и все, что Иван знал об отце и обстоятельствах его жизни.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Жила через улицу от Харитановых странная и безалаберная семья, даже по верх-палицким понятиям слывшая диковатой. Когда-то глава семьи Никита Балакирев тоже построил себе избу тоже из ненового сруба, сделанного из той же местной сосны-конды, которая с годами не трухлявеет, не слабеет и только становится тверже, точно прокаливаясь в огне времени. Но у Харитановых сруб на новом месте протесали, поштукатурили дом изнутри, в нем всегда было опрятно и чисто. А у Балакиревых как изба стояла в своем первозданном виде десятки лет, никто в ней, кажется, за долгие годы ни разу не помыл стен и потолка. Были там только нары, на которых спала семья, ничем не покрытый стол и две скамьи.

Осенью сверстник Ивана — Пашка Балакирев — становился личностью популярной. Пашка знал от отца все самые богатые клюквенные угодья, а от Ивана у него секретов не было.

Ну и фигура был — Пашка! Конечно, та особенная, характерно заводская дикость и нелюдимость в повадках уже к тем годам изживала себя, но в балакиревских ребятах она еще сохранялась в своем доподлинном виде. Разговаривая с людьми, Пашка никогда не смотрел на собеседника, отворачивался далеко в сторону, чуть ли не назад, насколько позволяли шейные шарниры. Впрочем,

он почитал за благо вообще, насколько возможно меньше говорить с людьми, кажется, никогда никого и ни о ком и ни о чем не спрашивал, а только при большой нужде отвечал на вопросы голосом гнусаво-хрипловатым, таким, точно приготовился либо зареветь, либо начать бешено браниться. Даже за таким простым занятием, как еда, в нем сказывалась эта грубая нелюдимость: ел он не как все, а кусок хлеба крепко стискивал, сминал и, сердито встряхивая головой, выгрызал его из грязного кулака.

И вот этот Пашка, которого в обычное время в их улице прозывали «гнусарем», в клюквенное время для всех соседских баб становился Пашенькой.

Каждый раз получалось так.

С вечера бабы-соседки, словно мимоходом, наведывались к Балакиревым, спрашивали, не пойдет ли Паша-Пашенька завтра на болота.

Парнишка всем обещал, никому не отказывал взять с собой, а утром старался уйти пораньше, в сопровождении одного только Ивана.

Дорога на болота шла сначала старым трактом, обочины которого густо заросли крупномутовчатой сосновой порослью. На седьмой версте влево от тракта, вдоль широкой просеки, уходила ухабистая рудничная дорога. Справа от нее высился старый, чистый, как парк, сосняк, провожавший пешеходов ворчливым гудом. Слева — уютный бархат смешанного чернолесья.

Сколько у ребят исхожено по этим дорогам: не подсчитаешь, какая часть прожитых ими лет прошла на лесных привалах и ночлегах.

Детство — щедрая пора. При всей суровости жизни оно таровато на самые легкие, неповторимые радости. А из всего хорошего, что доставалось ребятам, может быть, самым лучшим были эти выходы на болота, ночевки в лесу, утренние зори, шорох дождей, после которых еще отраднее пахнут сосняки, бесшабашная пляска световых бесенят от высокого костра на волнистой поверхности студеных озер.

Все хорошо, все отрадно. Хорошо на болоте боком свалиться на кочку и утонуть в пышном бледно-зеленом мху, лениво сощипывая ягоду, ждать, пока под бок не начнет подбираться близкая почвенная вода. А широкие кочки словно окроплены крупной ягодой. Листва у клюквы так мелка, а плодоножка тонка, как ниточка, что не поймешь,

на чем она растет, словно просто брошена пригоршней на зеленый плющ. Нет, пусть потом приходят беды и злосчастье. Пока живется беззаботно, стоит жить!

В поселке не каждому из ребят удавалось закончить четыре класса церковноприходской школы. Ивану в этом отношении посчастливилось.

По верх-палицкому понятию, если тебе минуло четырнадцать лет и ты еще не задумывался, к какому бы делу прилепиться, и ничего еще не умеешь, тогда старшие начинают бояться, что в семье подрастает выродок. И разумеется, не замедлят тебе об этом сказать.

Иван решил было устраиваться на завод, на самую что ни на есть удалую работу. Но отец сказал: нет. Он не нашел нужным объяснять, что нет на заводе такой работы, которая была бы по силам мальчугану. Добавил только: надо пойти в город туды-сюды потолкаться.

Он пошел бы с парнишкой сам, но тогда пришлось бы упустить рабочий день. А такого, сколько Алексей Денисович себя помнил, не случалось.

А пока Иван с отцом уже вторую неделю жили на сенокосе. Из-за этой обязательной едва ли не в каждой уральской заводской семье работы Алексей Денисович не стал торопить сына с поисками места.

Косить Иван еще не умел, и пока отец на елани подваливал траву, с него не требовалось ничего другого, как только ходить на ключи по воду, варить немудрый похлебень да натаскивать на всю ночь хворосту для костра. Но приспела пора ворошить сено, сгребать и стаскивать его, и тут парню пришлось работать наравне с отцом.

К разговору о будущем они не возвращались с весны. Но как-то после ужина, когда в лаз шалаша заглядывала первая вечерняя звезда, чудно пахло сеном, увядшими ветвями кровли, Иван неожиданно для себя сказал, дремотно растягивая слова:

— Вот осенью пойду куда-нибудь работа́ть...

По отцовской привычке он произносил слово «работать» с ударением на последнем слоге.

Утром он проснулся раньше, чем отец, на четвереньках вылез из шалаша. Теперь надо умыться, но воду приходилось носить издалека, и ее берегли. Иван отошел подальше в высокую траву, алмазно сверкающую от росы.

Опустив руки в эту россыпь, в этот блеск, он собирал в ладони капли росы, протирал ею лицо.

Он еще не понимал, что этим летом, этим сенокосом заканчивалось его детство.

* * *

В осеннее утро, глухое, пасмурное, Иван с Пашкой пошли в город искать удачи. Пошли с тем чувством, которое еще неестественно и страшно в их возрасте,— с чувством, что эта удача их едва ли где-нибудь ждет.

Город и поселок разделяла холмистая пустошь, почему-то зовущаяся в поселке степью. На выезде с трактовой улицы в степь стояли подряд три ветхие кузницы, над которыми поднимались пробивавшиеся в щели между драницами дымок и пыль. Ребята постояли в дверях одной кузницы. Спешить им было некуда.

С пригорка был виден город, широко раскинувшийся в горной котловине. Ближняя его окраина, с двумя тяжелыми столбами заставы при въезде в проспект, казалась совсем рядом. Дальняя же еле проглядывала сквозь сиреневую марь.

Застава, возможно, когда-то в старину выполняла свое назначение, а теперь сохранила только свое название да каменные столбы на цоколях, словно раздавшихся от их тяжести.

Детям новые, незнакомые места всегда кажутся страшнее, чем показались бы взрослому. В свои четырнадцать лет Иван был в городе только дважды, а Пашка не бывал совсем. И город обоим показался странным, даже своими неискушенными умами они поняли, что он бывает суров, жесток по отношению к людям. Многое, что дома, в своей Верх-Палице, показалось бы обыкновенным, здесь страшило ребят. Ветер в той котловине, где раскинулся город, тянул чаще всего в одном направлении, с запада, а безветренная погода выдавалась редко. И в этот день вдоль широкого Главного проспекта шелестел такой особенный, тугой ветер. Идучи степью, они его не заметили. Было такое ощущение, что у них в поселке и по степи бродит не один, а сотни легких, спокойных ветерков. Подступаясь к городу, они как бы сливаются в один поток, грубо врывающийся на проспект. И даже ветра ребятам было боязно. Посредине проспекта тянулась полоса бульвара;

деревья на нем уже сбросили листву, хотя в лесах, ребята это знали, лист еще держался в целости. И все посвистывало в ветвях, точно кто-то замахивался на них тонкой вицей.

Почти полдня они просто шатались по бульвару, боясь сойти на тротуар, где в обе стороны без конца шли люди, словно бы все одни и те же. Если близко никого не было, ребята развлекались тем, что катались на вертушках бульварного турникета. Изредка по булыжной мостовой со смачным цоканьем копыт пролетали извозчики-лихачи. Лошади в этих трещащих пролетках были впряжены статные, дикоглазые, на бегу,как на плаву, высоко вперед выбрасывали передние копыта, храп их напоминал звук раздираемого полотнища. Но чаще вдоль улиц плелись, трюхали тощие клячи, таща обшарпанные пролетки с полуоткинутым кожаным верхом. На людных перекрестках стояли длинные очереди таких извозчиков в ваточных халатах, в нелепых цилиндрах, словно вылепленных из куска смоляного вара неумелой, детской рукой.

Заглядывали ребята и на вторую по значению среди городских улицу — Покровский проспект. Из поселка в нее попадали дорогой вдоль кладбищенской стены, мимо тюрьмы, где за решетками окон всегда виднелись смутные лица. Из окон часто слышались заунывные тюремные песни.

Покровский проспект показался еще более суетливым, чем Главный. Тротуары его были вымощены большими плитами из крупнозернистого гранита. И каждая плита почему-то с хлюпаньем качалась с угла на угол.

По всей улице между большими каменными зданиями лепились деревянные невзрачные дома. Видно, что строил их каждый домовладелец на свой вкус: то без надобности далеко выносились вперед ниши полуподвальных окон, мешающие ходьбе по тротуару, то нависал над ними подслеповатый и низкий фонарь-веранда, как половина шестиугольника, некстати прилепившаяся к фасаду.

Издалека виднелась до половины преграждавшая проезд тяжелая масса Тихвинской церкви, окрашенной в невеселый грязно-желтый цвет. Обок с ней торчала небольшая часовня, словно пятнистый по весне жеребенок соловой масти прижимался к материнскому боку.

Было непонятно, зачем так много в городе часовых мастерских,— чуть не в каждом квартале, а то и не по

одной вывеске,— и в окне под каждой — лысая голова, склоненная над столиком, у каждой кукольно-неподвижной головы по лупе в выпуклом глазу.

Уже под вечер, толкнувшись в несколько дверей и везде получая ответы типа «убирайтесь», «проваливайте», «много вас тут ходит», ребята оказались у подъезда с табличкой: «Типография «Зауральский край».

Они замешкались у двери, заглядевшись на длинную бронзовую литую ручку. Пашка погладил ее, но потянуть к себе не осмелился. Дверь открылась сама. Чумазый парень в блузе и калошах на босую ногу, почти их возраста, вышел на улицу, вынося за собой характерный типографский запах.

Он молча, не без любопытства оглядел ребят. Пашку он обошел кругом и вдруг ловким, наметанным движением ударил ногой в зад. Дома, на своей улице, это никому бы не сошло безнаказанно, здесь же ребята смущенно сошли с крыльца на тротуар.

Придав лицу строгое выражение, парнишка спросил, зачем они тут торчат.

— Они работу, вишь ли, ищут,— презрительно повторил он их ответ, как бы обращаясь к кому-то еще.— А двугривенный есть?

Двугривенный для ребят был недосягаемый капитал.

— Кому двугривенный? — осторожно переспросил Иван.

— Мне. Кому еще? — солидно отозвался парень.— А то будете тут торчать, как кутята слепые. Ну, да ладно уж. Только двугривенный все равно за вами.

Он стоял, возвышаясь над ребятами на одну ступеньку крыльца. Натешившись своим превосходством над ними, хоть сам попал в типографию всего полугодом раньше, он объяснил, что надо пройти по коридору, зайти в конторку-комнатку направо и там спросить господина фактора. Ребят чуть было не повергло в бегство это пугающее своей непонятностью слово.

Первым отважился зайти Пашка. Вышел он, понурившись.

Иван перешагнул порог уже просто, чтобы испытать судьбу, без надежды на успех.

Фактор оказался старичком, которого было почти не видно из-за стола-конторки. Над бледным лбом у него колыхался легкий пушистый кок седых волос. Крупный

нос был словно подвешен в сетке из красных ниточек. Болезненно покряхтывая, он спросил, что мальцу надо.

— Ищу работу,— бутузовато проронил Иван.

Старик снял свое пенсне с дужкой, посмотрел на парнишку, снова надел пенсне. Пошелестел какими-то бумагами на столе.

Словно вернувшись откуда-то издалека, переспросил:

— Значит, работу ищешь? А что делать можешь?

— Что заставят.

— Так нельзя отвечать,— наставительно сказал старик.— Все, что заставят, ты будешь только портить. Может, вернее так: все, чему научат.

Он еще раз присмотрелся к пареньку и, как бы советуясь, спросил:

— Взять тебя, что ли?

Наверное, надо было сказать что-то другое, но Ивану представилось, как они пойдут домой: он, которого почти приняли, и Павлушка, которому отказали. Он торопливо заговорил:

— Со мной там еще один парнишка...

— Да нам-то, пожалуй, надо одного.

— Если одного, то возьмите лучше его,— с отчаянием сказал Иван.— Они еще беднее нашего живут.

Снова стряхнув пенсне на ладонь, старик оглядел Ивана, склоняя голову направо, налево, словно хотел осмотреть кандидата в типографские ученики хотя бы с трех сторон.

— А вздрагиваешь зачем? — спросил он.— Прозяб или боишься?

— Брови у вас...— осторожно пояснил Иван.

— Брови у меня действительно... Все собираюсь срезать их на банную мочалку. Кстати, зовут меня Рафаил Иванович. Так впредь и называй.

По младости лет Иван умел делить людей только на добрых и сердитых. Этот был, кажется, добрый старик. Только мелковат собой. На святочную елку бы повесить такого.

— Так что же мне с вами делать? — снова спросил Рафаил Иванович.— Ну, позови сюда своего дружка.

Еще порасспросив ребят — кто у них отцы, чему они научились в своей церковноприходской школе, Рафаил Иванович велел прийти назавтра с утра с метриками. Еще лучше, если с ними придут матери.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Когда человек еще молод и яр до впечатлений жизни, годы идут мимолетом. Три года у Ивана Хаританова мелькнули, как три дня.

Жил он теперь не дома, не в Верх-Палице, а в городе, снимая квартиренку вместе со своим мастером Аркадием Павловичем Куренных. Так ему стало ловчее: не приходилось отмеривать ежедневно добрых пять верст от дому до типографии.

В тот день часа два на дворе бесновался теплый августовский ливень.

Окна комнатушки в полуподвале были всего в полуаршине над землей, и близко от них, под водосточной трубой, бился о землю серебристый водяной дракон.

Иван спал, вернувшись после ночной смены, слышал удары грома и шум дождя, видел какой-то странный хрустальный сон. Что-то серебристое яростно бросалось на него, но страшно при этом не было; совсем наоборот, некая клокотавшая в нем удаль толкала его схватиться с этой, рыкающей в лицо, хищной силой. Только земля почему-то держала на месте, словно он увяз в ней по колена.

Проснувшись, толкнул окно, и горячее со сна лицо приятно обдало водяной пылью.

Дождь прекратился так же сразу, как, по-видимому, и начался, словно где-то там закрыли створы небесной хляби.

Закатав штаны до колен, Иван выскочил на двор, нашел лопату.

Неширокий, ухоженный дворик дома к августу зарастал подорожником и пахучей ромашкой. Теперь он был сплошь залит водой, и только кое-где торчали из нее, как на болоте, редкие былинки и пестики подорожника. К ним в жилье, в полуподвал, вода не шла только потому, что этому мешал высокий порог сеничных дверей. С удовольствием взбуровливая воду ногами, Иван пошел прокапывать канавки, чтобы отвести ее в огороды.

Ивану недавно исполнилось семнадцать. И, выйдя на затопленный двор, он на минуту заколебался, не выглядит ли смешно, что рослый, плечистый парень, «такой лоб», как могли бы сказать о нем старухи в квартале, плюхается в воде. Занятие приличное разве только ребя-

тишкам. Но увидел через распахнутую ветром калитку, что не одного его увлекла эта забава: из многих домов на улицу вышли даже немолодые мужики-бородачи, тоже с лопатами, тоже закатав штаны выше колен.

Иван достаточно знал жизнь городской окраины. Знал, что в ней содержится много грубости, невежества, нечистоты. Но, видно, живет в человеческой душе извечная тяга к простоте, добру, красоте. Природа разыграла грозу — свою веселую бесшабашную игру — и, омыв землю, словно омыла также души этих людей, вернула им ребячливость, умение радоваться каждому пустяку.

Небо еще не очистилось, по нему еще были разбросаны целые вороха белоснежного, чуть позолоченного по краям руна, так что над головой было больше белого, чем голубого. Но над землей сквозила такая ясность и чистота света, каким он не бывает и при совершенно безоблачном небе.

Утопель со двора ушла за каких-нибудь пятнадцать минут, оставив после себя только прибитую, серую от наносного ила траву.

Иван присел на пороге сеней, крепко протер ноги тряпицей. Во впадинках вокруг ногтей у него, как ни протирай, оставались мелкие и плоские золотые крупицы. В детстве он думал, что это и есть золотой песок. Слыхал от отца, что город стоит на золоте, что в окрестных селениях мужики, даже когда копают погреба и ямы для подполий, промывают породу, надеясь на старательский фарт. Удивлялся, почему взрослым не приходит в голову добывать золото самым простым способом: после дождя ходить всей семьей босиком по ручьям и протокам, а потом только обирать с ног крупинки металла.

Теперь-то он знал, что эти золотистые звездочки на его лапах — вовсе не драгоценный песок, а чешуйки слюды.

Послегрозовое просветление неба и окраинной городской улицы, слепящий блеск осколков огромного зеркала, раскиданных грозой по прибитой дождем траве, породили в сознании босого юноши, сидящего на пороге дощатых сенец, такую же ясность познания себя и условий своего бытья на земле.

Вся жизнь у него была еще впереди. Но то время, когда он только начинал свою самостоятельную жизнь, когда он всего и всех боялся и чувствовал себя самым

слабым и незащищенным в мире существом, теперь оставалось позади. Работа у него была нелегкая, но она не отбирала всей силы, накопившейся к его годам во всем теле, особенно в плечах, часто возбуждавшей желание с кем-нибудь подраться. Постоять за себя он, во всяком случае, теперь мог.

Типография, в которую Ивану с Пашкой пофартило попасть «мальчиками», была самой крупной в городе. Работало в ней человек полтораста, и каждый из них был старшим над этими верх-палицкими мальцами. Даже Гринька Шатов, тот самый парень, что первым встретил приятелей у подъезда, заносился перед ними и всегда норовил показать свое старшинство. Он вообще любил напускать на себя важность.

Как-то, стащив в кладовке десяток принесенных заказчиком бланков визитных карточек, Гринька тайком набрал и натискал на них свое полное прозвание. Поставил вверху маленький медный политипаж-клише с изображением какой-то несуразной рогатой короны, слева от нее мелко поставил «типо», а справа, много крупнее, «граф». Ниже значилось: Григорий Семеныч Шатов. За самовольство и самозванство по совокупности «Григорий Семеныч» был бит по затылку и предупрежден об изгнании, буде такое еще повторится.

Пожалуй, первым, что заставило ребят почувствовать себя угнетенно и сиротливо в мрачных типографских цехах, был запах, специфично плотный и тяжкий скипидарный дух. Обоим еще не приходилось вбирать в легкие ничего другого, кроме здорового воздуха поселковой окраины, напоенного сосновой смолью и перечной терпкостью вересовника, которым зарос пустырь позади отцовских огородов. А у ребят обоняние — то чувство, с которым вторгаются в душу первые впечатления.

В городе выходила большая ежедневная газета, она печаталась в этой типографии, и Ивана с Пашкой, как делали со всеми учениками, сначала посадили на фальцовку. Эта самая простая на вид работа — складывать вдвое большой пахучий лист и проводить по сгибу косточкой — сначала показалась Ивану безделицей. Но уже в первые дни к концу смены он убедился в обратном. К концу дня появлялись сухая резь и муть в глазах, болели плечи и голова порой непроизвольно делала смешные клевки. Используя редкие заминки в работе, ребята

выскакивали на двор, играли под забором в ножички, но выходил мастер переплетного цеха, брюзгливый, остроплечий, со скопческой бородкой, которого ребята прозвали мухомором, прикрикивал на них:

— А ну, по местам! Вас на что взяли, работать или играться?

Иногда он не удостаивал ребят и этого внушения, только произносил: «А ну...»

У людей, работавших в типографии, где печаталась газета, смена часто не приходилась на определенные часы. Бывало, что ребятам-фальцовщикам велели являться после обеда, случалось начинать вечером и сидеть за верстаком далеко за полночь. Если кто-нибудь из них при этом засыпал, уронив голову на смятый газетный лист, мастер поднимал его за волосы, подзатыльником приводил в рабочее состояние. Но фальцовка в типографии была тем местом, где ребят держали как бы на испытании и в резерве. Тех, кто обнаруживал усердие и послушание, со временем переводили в наборный и печатный цехи.

Именно такое, первое в жизни друзей повышение разлучило их: Ивана взяли в печатный цех, Пашку — в ученики наборщика.

Впрочем, приобщать их к мастерству по-настоящему никто и там не спешил. Учиться ребятам предоставлялось лишь с поглядки. А в наборном многие мастера не позволяли и приглядываться к тому, что и как делается.

У одного пожилого наборщика, считавшегося в числе лучших мастеров, была своя манера обращения: если парнишка заглядывал на его работу из-под локтя, он оборачивался, брал на мякоть большого пальца шпацию шестнадцатого кегля — увесистый свинцовый брусочек — и ловко сощелкивал ее средним пальцем любопытному ученику в лоб. Уверял, что лбы мальчишек при этом звучат по-разному: одни — будто в тембре медного таза, другие — глуховато, как щелчок по спелой тыкве.

И Ивана не сразу стали допускать к машине. Вначале его обязанностью было только что-нибудь подать, куда-нибудь сбегать да смывать на покатом, обитом цинком верстаке печатные формы. От одного раствора поташа руки вечно были в струпьях и трещинах. И еще каждую ночь приходилось бежать со свежими оттисками газеты к цензору.

Цензор, важный, консисторской породы, бирюк-чиновник, жил в большом двухэтажном доме, кажется, совсем один. Ивану на звонок отворял дверь старик, домоуправитель цензора, лысый перхун в заношенном сюртуке, наброшенном на белье. Даже не отворял, а только приоткрывал и так придерживал за медную ручку, принуждая Ивана каждый раз протискиваться боком.

Иван поднимался на площадку второго этажа, куда выходило несколько дверей, но только одна комната бывала освещена. Оттуда выходил «без малого архиерей» в халате с кистями и атласной ермолке. Газету он читал долго, часа два, Иван засыпал, ожидая на диванчике в передней, привалясь к его резной колонке. В доме стояла глубокая тишина, в которой понемногу ему начинало слышаться тонкое тревожное сипенье. Потом цензор выходил из кабинета и, если разомлевший паренек не просыпался с первого слова, нетерпеливо бил его по носу газетой, свернутой в трубку.

Аркадий Куренных появился в «Зауральском крае» осенью, в дни, когда не минуло еще и года после памятных событий 1905 года — после многолюдных демонстраций в городе, вооруженного восстания в Москве, о котором теперь вспоминали лишь уважительным полушепотом и только в кругу надежных людей.

Была у типографской братии в «Зауральском крае» привычка у каждого новичка в своей среде найти что-то смешное, принижающее его. А уж дальше сам сумей опровергнуть эту авансировку. Со временем люди не откажут в своем уважении, если будет за что тебе его воздать.

Кто знает, чем Аркадий Куренных заставил народ в типографии признать себя скорее, чем это делалось обычно. Может быть, немногословностью, деловитостью да завидной физической силой, такой, что с первого взгляда видать: черту рога сломает. Рукава блузы его были всегда закатаны, обнажая темнокожие мускулистые руки. От удара таким кулаком не устоишь на ногах. Но почему-то, глядя на его руки, думалось: никого они зря не ударят, эти добрые руки.

Печатником он оказался хорошим, работал чисто, но места на быстроходных плоских машинах ему не на-

шлось, и его поставили на старый гутенберговский станок, на котором пропускали небольшие тиражи.

Мастера из местных, коренных сочли бы для себя обидным перевод с большой машины на этот, даже по тем временам считавшийся примитивным, станок. Аркадий Павлович не высказал при этом ни малейшего неудовольствия. И не только потому, что ему как новичку не следовало особенно привередничать, но больше всего потому, что никакую работу не считал зазорной, а мастерство свое умел показать на любом месте.

Он, действительно, и на станке сумел дать хорошее качество печати. Фактор типографии Русинов, сначала поставивший его туда в виде испытания, скоро убедился, что мелкотиражную акцидентную работу выгодно при таком мастере пропускать именно на станке. И Аркадий Куренных надолго застрял на этом месте, где мастеров даже не называли печатниками, а с некоторым пренебрежением — тискальщиками.

Иван оказался подручным у нового печатника.

Недели две Иван только присматривался к своему мастеру. Поглядывал на него и Аркадий Павлович, явно прикидывая, что творится в этой крутолобой и юношески кудлатой голове.

Подручных у мастера на таком станке называли батырщиками. Это скучная, чисто механическая работа, сводившаяся к накатке краски на печатную форму валиком. Все десять часов рабочего времени подручного проходили в топтании на площадке одного квадратного метра. Случалось, отупев от механичности этой работы, Иван натыкался на спину мастера, слепо совал валиком в его спину. Будь на месте Куренных другой печатник, подручный каждый раз получал бы за это тычок под ребро. Аркадий Павлович только спрашивал:

— Никак, дремлешь или замечтался? Ну, что ж, помечтать не вредно. Может же быть у людей и другая жизнь.

Другая жизнь... Порой Ивану казалось, что такой нигде нет. Наверно, всем живется так — скучно, пасмурно. Природа и та переливается своими красками: рассветы, закаты, зарницы отдаленной грозы. А какими красками играет человеческое бытие?

Работа в типографии его все-таки чем-то привязала к себе. К своим годам он уже успел понять, что единственные непреходящие ценности, которыми располагает

человек вроде него, это — знать и уметь. Даже просто свободно обращаться с непонятными другими словами — талер, декель, пиан — для него кое-что значило. Знал он систему типографских измерений, кое-какие секреты наборного художества, и это делало его как бы человеком на своих ногах.

Первое время Аркадий Павлович за всю смену не говорил Ивану, может быть, и десятка слов. Только: сделай то-то, подай то-то, а чаще всего «да» и «нет». И пареньку делалось скучно работать с этим бирюком, у которого приходилось словно покупать каждое слово. Тем приятнее было вскоре узнать, что с Аркадием Павловичем есть о чем поговорить.

К своей работе у типографских, как у большинства мастеровых, имелось определенное отношение. Были в ходу поговорки вроде «С работы кони дохнут» или «Работа дурака любит, а дурак работу хвалит». В таком духе и Иван однажды сказал об их пачкотне на стареньком типографском станке.

— Нет, зачем же так? — спокойно возразил Аркадий Павлович.— Работа человеку жизнь дает. У стариков есть доброе правило: в погоду ругаться нельзя. Можешь матюкаться во что хочешь: в бога, в губернатора, в жерди-козыри и в монастырские ворота. Не смей только хулить погоду. Самую собачью погоду надо принимать с доброй душой, потому что иначе разучишься ценить и хороший ведренный день. Погода всякая в природе нужна. Так же вот и работа...

Несколькими днями позже они еще раз коснулись этого предмета. В тот вечер им пришлось печатать проповедь какого-то кафедрального иерея, которому пришла блажь издать ее за свой счет тиражом в сотню экземпляров.

Аркадий Павлович неожиданно заговорил:

— А я не всю жизнь только тем и занимался, что печатал поповские проповеди да ярмарочные афишки «торгового дома — Смердоплюев с сыновьями». Пять лет в шахте уголек рубал. А там работа такая...

— Что же, и эту работу уважать велишь?

— Обязательно,— твердо сказал Куренных.— Посмотрел бы на природных шахтеров! Только бы им дали хоть мало-мальски по-человечески жить.

— А кто им не дает?

— Кто не дает? — хмуро переспросил мастер. — Ты лучше смой дочиста камень и раскатай на нем свежую краску.

Выглядело это так, словно Куренных не разговаривал со своим подручным, а случайно, не подумавши, бормотнул лишнее и вовремя удержался, чтобы не сказать больше. Лишь многими годами позднее Иван узнал кое-какие подробности жизни и тайной деятельности этого человека. Но узнал уже из биографии, написанной чужой рукой.

В один из обыкновенных вечеров Иван с мастером присели к подоконнику пообедать. У добрых людей это было уже время ужина — десятый час, а у них еще обед. Потчуя Ивана пирожками с рисом, Аркадий Павлович сказал:

— Угостись-ка. Моя хозяюшка сама пекла.

И так любовно это было сказано, что мастерова хозяюшка представилась Иванке очень доброй женщиной, красавицей, разумницей.

К этим своим годам он уже знал некоторый толк в женской красоте.

А в одно из ближайших воскресений Куренных пригласил Ивана к себе домой. Хозяюшкой у него оказалось ясноглазое, длинноресничное существо лет десяти на вид. Погостив у своего мастера на первый раз всего каких-нибудь полчаса, Иван, словно прочитав по написанному, постиг его трогательно-простой и скромный образ жизни. Как и дома у Харитановых — ничего лишнего. Самое ценное в их с дочерью хозяйстве — швейная машинка, только затем и купленная, чтобы девчушка приучалась к женскому рукодельничеству. Вдвоем и шьют на ней: отцу — сатиновые рубахи с косым воротом, дочери — ситцевые платьишки и школьные фартучки. Хозяюшка умеет стирать, стряпать и уже приучена ни часу не сидеть без какого-нибудь дела по дому. Странно, что у такого грачино-черного мужика родилась столь светловолосая дочь. Мать, наверное, была белянка. А где она у них теперь, мать?

Все-таки в Аркадии Павловиче Ивану оставалось много непостижимого.

Найдя, как видно, что уже достаточно присмотрелся к своему подручному, Куренных однажды сказал:

— А что? Переходи, пожалуй, жить ко мне. Коммуна

и составится. Все равно ты в семье пасынок. И на работу тебе ходить сейчас пять верст в один конец...

Коммуна... В какой-то из книг, запоем прочитанных за годы типографского ученичества, Иван встречал это слово, но толком его значения не понимал.

— А что это за штука, коммуна? — беспечно спросил он.

— А это такая штука, когда люди живут сообща. Нет «моего», есть «наше».

Значение любопытного и чем-то привлекательного слова после этого разъяснения Ивану не стало понятнее. Но ничего такого, что стоило бы назвать чванным словом «мое», у него, слава богу, все равно не было. А дорога от нового жилья до типографии действительно много короче, чем ему приходилось ковылять из Верх-Палицы и обратно.

Когда он уходил из отцовского дома со своим сундучком и войлочным матрасиком, перевязанным веревкой, не у отца, а у мачехи лицо стало растерянным и грустным. Отец же только сказал:

— Валяй, золотарь. Проживешь. Богатым будешь, нас не чурайся.

Золотарями у них в поселке называли и старателей, роющих золотишко по берегам горных рек, и тех, что промышляли в городе вывозом нечистот. Отец имел привычку говорить загадками, и, наверное, то, что он назвал сына золотарем, следовало понимать как пожелание фарта в жизни. Иван уходил из дому легко, беспечально.

Их коммуна начала существование. Три человека: мастер и его подручный, третья — девчонка с тонкими, как у верблюжонка, ногами с утолщенными коленками. У нее — коса короткая и странно толстая. Как бледная морковка-коротелька. Девочку звали Федорой.

Весь тот день, когда Ивана разбудил мощный, полыхающий световыми бликами летний дождь и когда он потом сидел на крыльце, обтирая ноги с чешуйками слюды на них, — весь этот день в нем происходила энергичнейшая работа ума. За последнее время ему удалось перечитать немало самых разных книг, довелось увидать немало странных, пока все еще не во всем для него понятных случаев и человеческих поступков. Кое-что уразуметь можно было, только если поставить эти впечатления в ряд, подогнать одно к другому. Но и то понят-

ным делалось только немногое. А уяснить хотелось все как можно более основательно.

Иван когда-то наивно думал, что по своему социальному состоянию люди определяются только тем, каким количеством окон пользуются в житье.

Зато теперь он понимал, начал понимать, что в мире идет сложная глухая борьба и разноправие в количестве окон имеет к ней определенное отношение. Оставалось еще узнать, какими способами она ведется и на каких условиях ребят его возраста берут в ее участники. Он уже знал, хоть и не в полном значении, слово «революция». Как-то спросил у Аркадия Павловича: что за люди — революционеры?

— А кто же их знает,— равнодушно сказал Куренных.— Они отличительных знаков, никаких бронзовых блях не носят на себе.

Ивану это равнодушие в ответе показалось искусственным. Но мало ли что может показаться.

Дом, в котором поселился Аркадий Павлович, а позднее и Иван, принадлежал человеку из богатеньких. Так и значилось на жестяной табличке, что была прибита на воротенной верее: «Сей дом принадлежит фельдшеру Сулимову».

Свой полуподвал в доме фельдшер сдавал под жилье и раньше и не брал за это денег, но не от доброты, а от выгоды: пуская постояльцев, он сразу уговаривался, что на их обязанности будет зимой и летом приборка двора и уход за садиком. Нанимать дворника вышло бы дороже.

Прежде чем пустить к себе нового постояльца, фельдшер долго расспрашивал Аркадия Павловича, кто он есть, откуда приехал в город. Узнав, что Куренных работал в шахте, фельдшер заколебался и, может быть, отказал бы ему, но с Аркадием Павловичем была Федорка, и у ней были такие ясные серьезные глаза и опрятная головка. Возможно, фельдшер понадеялся, что новый квартирант, каков он ни будь, при такой дочурке не позволит себе лишней грубости с хозяином. Он сказал:

— Поселяйся. Мне и платы никакой не надо. Только чтобы по двору порядок был. И чтобы без крамолы всякой.

— Крамолы не будет,— вежливо заверил Аркадий Павлович.

Работа по фельдшерскому двору со временем легла большей частью на Ивана. В ней не было ничего особо обременительного. Летом требовалось только подметать двор и увозить раз в неделю мусор на скрипучей тачке об одно колесо квартала за три, на пустырь.

Зимой доставалось побольше. В метельные ночи на двор набуравливало изрядно снегу; утром его приходилось сгребать в кучи, а потом, после того как немного слежится, вывозить плетеным коробом на санках за ворота.

Но такую работу Иванке приходилось делать и тогда, когда он жил дома, у отца. Ему даже нравилось вырезывать лопатой из снежных куч крупные блоки. За час, за два такой работы грудь словно освобождалась от всех тех отложений, которые оставлял в ней вязкий воздух типографии.

В типографии у них составилась своя компания бездельников шестнадцати-семнадцатилетних ребят: сам Иван, Пашка Балакирев, типограф Гринька Шатов да еще двое подмастерьев, на год, на два постарше их.

Если выдавался вечер, когда все пятеро были не в смене, они собирались на известном углу двух улиц, садились на корточки под глухой стеной чьего-нибудь бревенчатого домишка, неторопливо, по-мужицки курили цигарки-кривоножки из махорки, а иногда из легкого картузного табаку.

В темные вечера просто шатались по предместью, иногда забирались в кварталы поближе к центру, придумывая, какое бы сотворить на сегодня новое, еще не испробованное озорство. Однажды перевесили, обменяв местами, жестяные вывески сапожного мастера и врача-дантиста. В другой раз стащили с открытого двора мастерской «Гробы и могильные памятники» большой деревянный крест кержацкого образца с голубцом, перенесли его в другую улицу и водрузили против парадного крыльца какого-то обывательского дома, привязав веревкой к каменной тумбе.

Зимним вечером набрели на городового, задремавшего в своей будке. В те годы еще стояли по городу такие будочки, в которых ночные патрульные полицейские укрывались от непогоды. В будочниках держались всегда пожилые, отупевшие от своей безотрадной службы рядовые полицейские из отставных солдат. Таков был и этот,

дремавший в тулупе и шапке с разлапистой медяшкой на ней, больше похожий на ямщика-обозника, чем на представителя власти. Ребята подобрались с задней стенки и, дружно взявшись, навалившись, опрокинули будку на лицевую сторону. Уже они ушли ровным шагом за полверсты, а ошеломленный городовик все еще сокрушался в своей ловушке, выставив в боковое оконце костяной свисток с горошинкой, носимый при полицейской амуниции на тонком ремешке.

Деньги... Ребята давно знали — что это такое. Деньги — это то, чего у них никогда нет. Деньги — это с помощью чего один гнетет другого и помыкает им.

В две недели раз в цеха приходил артельщик-кассир, раздававший людям жалованье. Даже в этом несложном деле был установлен свой, обидный для младших порядок. Сначала к столику в цехе, за которым располагался кассир, подходили фактор, заведующие цехами, старшие мастера. Подмастерья и ученики не смели сунуться к столу раньше старших. Почему-то жалованье им выдавалось всегда мелочью, даже тем, кому причиталось больше рубля и можно бы хоть раз выдать заработок ассигнацией. Кассир насчитывал им нужную сумму и специальной лопаточкой небрежно подвигал ее на край стола, предоставляя получающему ладонью сгребать получку в горсть.

В городе было три кинематографа. И типографские ребята согласны были бы ходить туда хоть каждый вечер. Но серебрушек и медяков, составлявших их получки, едва хватало, чтобы прожить. И потому кинематограф был для Ивана с приятелями не слишком доступным развлечением.

Хорошо было сидеть на галерке в этом театре живых картин, в его синеватой полутьме, смотреть мертвые лица молчаливой клоунады на меловом, как шутовская маска, полотне или любовную путаницу, в которой увязали плечистый Мизгирь и тоненькая Снегурочка. Чужая жизнь на полотне текла, словно по вертикали, сверху вниз, в дробном мерцании, в бесконечной череде маленьких рывков.

Ивану порой казалось, что и вся-то его жизнь проходит в таком мелькании света и теней. И еще не скоро вспыхнет в зале свет.

Пожалуй, перемены в жизни и пробудившийся упря-

мый интерес к ее глубоким сторонам начались у Ивана с вечера, ознаменованного налетом на типографию.

В тот день Куренных работал на станке в дневную смену, а Ивану было сказано выйти во вторую и встать на тигельную машину-бостонку. На ней шел заказ Русско-Азиатского банка, какие-то бланки с заголовком «Рес-контро». Заказчик был солидный, и работу ему старались исполнить почище. Иван даже не заметил, как надвинулось время перерыва на обед.

Типография во вторую смену работала совсем иначе, чем днем, как бы приглушенно. Внизу вразброд погромыхивали только две-три машины. На втором этаже, в наборном зале, копались с десяток наборщиков, и слабые лампочки под абажурами из пропыленного картона-бристоля освещали только их мелькающие руки.

Часы на все предприятие были только одни, в конторке, закрывавшейся на ночь. Время перерыва на еду узнавали по дребезжанию колокола на пожарной каланче.

Иван не слыхал звона на каланче, и о перерыве его оповестил Пашка Балакирев, работающий в эту же смену. Он подошел к машине и, приступив на подножку привода, остановил работу.

— Пора потешиться,— имея в виду ужин, сказал он.— Стараешься? Все мастера ублажить хочешь?

Иван положил руку на медленно поворачивающийся маховик. Пашка стоял посмеиваясь. За время работы в типографии он немного образовался. Из заводского оборвыша вырос лукавоглазый крепкий парень. Он и одеваться стал как все типографские, но Иван знал, что дома от отца Пашке приходится принимать привычное битье за то, что он не отдавал на свой прокорм всего заработка.

Печатный цех большими зеркальными окнами выходил на проспект. Фонари на нем стояли нечасто, и ни один не приходился против фасада здания. Окна поблескивали лакированной чернотой. Друзья пристроились закусывать на широком низком подоконье, развернув на коленях свои припасы. Мыть руки перед едой у них не было в привычке. Иван ел, прихватывая хлеб чистой бумажкой. Пашка и этого не делал. Говорил, что к хлебу все равно никакая грязь не пристанет.

Они жевали хлеб с луком, лениво переговариваясь.

— Значит, живешь? — сопя от прилежности в еде, ска-

вал Пашка.— Тятька твой часто спрашивает: как там у меня Иван?

— Оба мы с тобой живе-ем,— небрежно пробормотал Иван, желая этим сказать: если это можно назвать словом «жить».— Ты-то как?

— Не знаю,— с носовой прогнусавиной ответил Пашка.— У нас позавчера ночевал мужик из Решетниковой. Пешком в Кочкарь пробирается. Сказывал: там большую деньгу зашибают. Может, подожду еще немного, уйду на прииска.

Это была чужая песня. У них в Верх-Палице редкий мужик не застращивал свою семью, что бросит все и уйдет мыть золото.

— Правильно, валяй,— усмехнулся Иван.— Там тебя давно ждут, соскучились. Думаешь, так оно и есть: приехал Пашка Балакирев на прииска, а там ему и стол, и дом? Там люди гнут хрип не так, как мы здесь.

Оба встали, стряхнув крошки с колен, и тут Иван увидел, что на улице за окном стайка девчонок смотрит на них, все одинаково опершись на поручень. Пашка встрепенулся, пошел вдоль окна, здороваясь с каждой в особицу через стекло, пожимая свою левую руку правой.

Но дурачиться было не время, мастер этого не любил. Иван встал к машине. Невольничьей развалкой побрел на свое место Пашка. Его в этот вечер поставили резать бумагу на небольшой машине-гильотинке. Он принялся распаковывать кипу, стянутую полосками жести, и в первые же минуты сильно поранил себе руку.

У них на дворе типографии жил немолодой приблудный пес торфяной масти, весь в клочьях свалявшейся шерсти. Днем он ютился в каком-нибудь ящике между поленниц и ходу ему в цехи не было. По вечерам же, когда во всем здании было немноголюдно и несуматошно, он потихоньку прокрадывался в печатный цех и скромно дремал где-нибудь на обрезках бумаги. Никто не знал, чем кормится собака, если не считать остатков, которые бросали ему рабочие после своих обедов.

Прихватив рану, Пашка выругался замысловатой бурлацкой бранью.

— Дай Бобику зализать,— посоветовал ему подошедший Иван.

Подозвали пса. Он подошел неуверенной походкой существа, испытавшего на веку немало человеческого ко-

варства. Деловито зализал Пашкину рану и замер, выжидая, что ему еще прикажут сделать. Пашка обернул кисть бумагой, закрепил ее бечевкой. Девчонки все еще стояли за окном, наблюдая занятную для них жизнь цеха. Может, через стекло смотреть на нее так же интересно, как наблюдать одышливую суету рыбешек в аквариуме?

Иван, неся из дальнего угла цеха краску на деревянной лопатке, только боковым зрением успел заметить, как девчонки за окном вдруг бросились прочь.

Кто-то там их спугнул, как кур с насеста. И сразу вслед за этим в дверь вбежали четверо посторонних с револьверами.

Лица у всех налетчиков были до глаз обвязаны шарфами, а у одного каким-то женским полушалком. Словно больше всего другого они боялись вдохнуть типографскую пыль и ее характерный запах.

Тот, что был в полушалке и, похоже, самый отчаянный из них, выскочил на середину цеха, поводя вокруг оружием, заорал:

— Руки вверх! Всем в угол!

Другой деловито подошел к телефонному аппарату на стене, подсунув под проводок финский нож, рванул на себя.

Возможно, эти люди готовили свою операцию долго и рассчитали до мелочей, кто из них что должен делать. Первым делом у них, небось, намечалось ошеломить, устрашить людей. Но печатники, правда, сбились в кучу, однако никто не спешил поднять руки вверх. Только одна женщина-наладчица, испуганно ойкнув, толкнулась зачем-то в дверь кладовой, вечерами всегда закрытую на висячий замок. Один из ворвавшихся в цех пригрозил ей револьвером. И она замерла у стены, скособочившись, прижав обе ладони к щеке, словно у нее вдруг сильно заныл зуб.

Трое налетчиков между тем возились у машины, в которую было запущено восемь страниц однородного текста. Подставив мешок, они столкнули в него шрифт вместе с обкладным материалом, который им был, наверное, не нужен.

«А ведь ни черта они не понимают в типографском деле»,— подумал Иван. По крайней мере, когда они возились с изъятием шрифта из машины, обнаружилось, что никто из них не знал, как это делается. Наборная форма

в машине клиновыми заключками и роликами закрепляется так прочно, что раму можно ставить на ребро и при этом не выпадет ни одна буковка. А тащить все это вместе с рамой им не подходило. Тогда печатник сам подал им ключ, которым освобождают форму. Только тогда у них дело пошло на лад.

А тут еще пес... В первые минуты он смиренно сидел в сторонке и только поворачивал голову, следя за всей человеческой суматохой. Но когда налетчики стали стряхивать шрифт в мешок, он словно понял наконец, что эти чужие люди нарушают установленный порядок, набросился на них сзади, свирепо мотая головой, начал рвать одного из них за штаны.

Человек с полушалком на лице отогнал его пинками, рявкнув на сидевшего неподалеку с независимым видом Пашку:

— Отзови собаку.

Пашка сидел на стопе бумаги, любопытно поблескивая глазами, словно вся сценка разыгрывалась для его развлечения. Но Бобика он все же отозвал, взял его между колен, сцепив пальцы у собаки на груди.

Вся операция не заняла и пяти минут. Уходя последним, один, самый суетливый из четверых, еще раз потрясая револьвером, приказал:

— Всем оставаться на месте. Кто сунет нос на улицу, худо будет.

А из оставшихся в цехе никто и так не собирался соваться до времени на улицу. Все сделается без них. Кто-то из печатников, правда, сказал:

— В полицию бы сбегать. А то ведь еще нас завинят.

Ему ответили:

— Кому по своей воле хочется, пусть бежит. А нам полагается находиться на месте, где стояли.

Пока они судили-рядили о том, надо ли идти в полицию и кто должен идти, если это так уж нужно, полиция появилась сама.

Молодой околоточный и с ним три городовых ворвались в цех еще грубее и рьянее, чем налетчики. И сразу начали шарить, тыкаться во все закоулки цеха, словно там кто-то мог еще прятаться.

У побросавших работу печатников околоточный первым делом стал спрашивать, как было дело. Ему начали отвечать вразброд, перебивая друг друга. Ничего нельзя

было понять в этом галдеже, и околоточный армейским сиплым фальцетом крикнул:

— Пр-рекратить кагал. Отвечать по одному.

Но поодиночке никто говорить не хотел.

Тогда, ткнув пальцем в сторону Ивана Хаританова, офицер приказал:

— А ну, давай ты, выкладывай для начала.

— А что выкладывать?— хмуро спросил Иван.— Вбежали люди. Все с револьверами. Велели нам стоять по местам.

— Тебя вспрашивают не об этом.

— А о чем тогда меня «вспрашивают»? — дерзко передразнил он офицерское косноязычие.

— Сколько их было?

— Не знаю, не считал.

— Как это так — не знаю. Смотри у меня...

— А чего мне смотреть?! В цехе их было вроде четверо, а на улице, может, и того больше.

Когда от печи тянет жаром, не нужны слова, чтобы объяснить суть этого физического явления. Человеческую ненависть тоже нетрудно почувствовать на расстоянии и без лишних слов. Полицию в народе не любили, еще никто не видел от нее добра. И офицер под своим мундиром кожей почувствовал неприязнь печатников к себе лично, ко всему своему ведомству. И злился от бессилия показать немедленно свою власть.

— Почему никто не оказал преступникам сопротивления? — желчно спросил околоточный.— Вы, что же, заединщики с ними?

Лишь Пашка Балакирев не удержался, пробурчал:

— Бобик вот оказал, ухватил одного за штаны.

— Только Бобик...

— Только он, верноподданный пес,— ехидно подтвердил Пашка.

Офицер наотмашь замахнулся на Пашку, и тот весь подался вперед в полной готовности получить оплеуху. Возможно, что он и действительно хотел ее получить, полагая, что это поднимет его в глазах товарищей по цеху. Но оплеухи не последовало.

Околоточный всем надоел со своим бестолковым допросом. Вдобавок в следовательском раже ему понадобилось еще расставить людей по тем местам, где каждый находился, когда налетчики вбежали в цех («А где ты

стоял в это время?», «А ты чем был занят и что было у тебя в руках?»).

Покончив со всем этим, офицер принялся соединять концы отрезанного провода у телефона. Для этого потребовалось зачистить концы провода, и он спросил: есть у кого-нибудь нож? Ножички, необходимые каждому печатнику для работы, были, наверное, у всех. Но никто не захотел дать ему инструмент. Складной ножик нашелся у одного полицейского.

Офицер принялся куда-то названивать. Коробка телефона тарахтела, словно в ней встряхивали горсть речной гальки.

Уходя, околоточный распорядился:

— Завтра в девять часов всем быть здесь.

Кто-то из печатников из-за спины товарищей проворчал, что работать им завтра во вторую смену и тащиться утром в типографию ни к чему. Но околоточный пропустил это замечание мимо ушей.

Ивану из-за этого происшествия пришлось проторчать в типографии лишний час после конца смены. Тираж бланков «Ресконтро» утром должен был лежать на верстаке. В конце работы ему чуть не прихватило руку тиглем машины. Это заставило его стряхнуть сонливость, всегда одурявшую в конце ночной смены.

На улице сеялся медленный, смиренный снежок. Он словно даже не падал на землю, а висел в воздухе. В свете уличных фонарей это походило на мошкариную толчею летом над ручьем.

Дойдя до дому, Иван прошел по двору мимо окон своего жилья, сунул руку до плеча в известную ему отдушину за дверным косяком, нащупал веревочку внутренней щеколды. Это был их семейный замочный секрет.

Но когда Иван перешагнул порог, Аркадий Павлович уже стоял около стола, чиркая спичками. Засветив лампешку, он юркнул под одеяло, сберегая тепло постели и паутинку сна, которую так легко порвать, а порвавши, так нескоро потом можно соткать снова.

Иван поплескал себе в лицо водой под умывальником. Присев к столу, состряпал тюрьку из хлеба и кваса — их обычный поздний ужин — покропил ее зеленым маслом из олифяно-шершавой на ощупь бутылки.

— А у нас, слышь ты, в типографии сегодня был такой перепо-олох,— начал он рассказывать.— Часу в деся-

том... когда уж отужинали, ворвались какие-то лихачи-кудрявичи с револьверами да еще в масках...

Было странно, что Аркадий Павлович принял известие с таким тревожным интересом. Он моментально сошвырнул с себя одеяло, проворно впрыгнул в штаны и оказался за столом, подобрав под табуретку босые, изуродованные наростями ступни.

Пришлось опять с подробностями, как недавно околоточному, рассказывать, как все оно было. Только Аркадий Павлович расспрашивал толковее и словно бы с какой-то своей подоплечкой.

— Что взяли? — спросил он в одном месте рассказа.

Иван начал рассказывать, как налетчики сталкивали с талера наборную форму в мешок.

— Загудаев был на работе? — опять прервал его Аркадий Павлович.

Было непонятно, почему он из всех выделил Загудаева. Но об этом Иван подумал позднее. А тут он просто ответил: был и что из этого? Доработал смену, как все, и ушел домой. Еще до того как легли спать, Куренных вдруг спросил:

— На улице снег?

— Да, порошит, дает нам на завтра работы.

Тогда Аркадий Павлович с совершенно непонятным раздражением проронил:

— Черти немаканые. Выбрали погодку. Наштемпелевали на снегу следов сапожищами.

Погасив лампу, он откинул занавеску, всмотрелся в ночную муть.

— Ты прошел в нашу калитку, чужого следу не приметил? — спросил он.

— Кроме собачьего, никакого,— сонно пробормотал Иван.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Утром Аркадий Павлович ушел на работу, когда Иван еще спал.

Сквозь сон он слышал, как тот умывался в углу под медным рукомойником, похожим на пузатый кувшин, как потом принес из сарайчика вязанку дров, чтобы Иванке оставалось, вставши, только затопить печь. Щебетнула

щеколда в сенях, проскрипели шаги по свежему снегу за окном.

Иванке тоже пора было вставать. Поспать ему досталось всего четыре часа. Но надо топить печь, разбудить Федорку, последить за ее умыванием, заплести ей косички, снарядить ее в школу. Это его утренние обязанности, когда они работают с мастером в разные смены.

Пока он будет копошиться со всем этим, никто к ним не зайдет, не донесется в их полуподвал ни одного звука с улицы. Только скрипучее пришептывание часов-ходиков на стене. Тишина томит его по утрам. Он рад бывает даже потрескиванию дров в печке и сипенью чайника, закипающего перед огнем. И так каждое утро: все те же звуки, все та же похлебка, которую надо собрать и поставить в печь на дневное пропитание.

Налаженный быт, в который не вторгается ничего нового, еще не испытанного. Раз навсегда налаженная скука, налаженная бедность.

Идти в типографию к девяти, как приказал околоточный, Иван не собирался, решив про себя: мое дело — сторона, понадоблюсь, так рассылку пришлют.

Позавтракав, он вышел убирать двор. Перед утром снегу еще добавилось. Над городом только еще зарождался серый смиренный рассвет, представлявшийся Ивану пыльцою просини, понемногу съедающей ночную мглу. Свет наступающего дня, казалось, не шел на землю сверху; слабое свечение словно бы испускал покров самого юного снега, еще не униженного, не испещренного тропами и санной колеей. Щекотал ноздри его тонкий запах, родственный разве только аромату цветущей мелкой фиалки в летнем сосновом бору.

По такому снегу было жаль даже ступать в своих грязных, подшитых серой стелькой пимищах. Еще раз без нужды перепоясавшись, Иван пошел в сарайчик, где у них хранился всякий дворницкий инструмент — метлы, деревянная лопата и пехло, специальная штуковина, чтобы расталкивать снег, когда он еще рыхл и легок.

За работу он взялся яро, сгрудил снег — часть к забору в виде высокого, в рост человека, отвала, часть — в кучи посреди двора. Изрядно при этом нагрелся, сбросил бушлат, оставшись в одной блузе, и даже начал было жалеть, что двор маловат. Оставалось еще расчистить тротуар за воротами против фасада дома и высоких заплo-

тов усадьбы. Работая, Иван разгорячился не только физически. Явиться перед полицейской властью, как было сказано, к девяти часам, ему теперь стало казаться не зазорно, а даже любопытно.

Поэтому за воротами он только пробуровил своим пехлом дорожку в снегу из калитки по обе стороны, оставив на вечер расчистку всего тротуара.

В типографии за ним действительно собирались посылать мальчишку.

Проходя между погромыхивающих машин, Рафаил Иванович приостановился, поманил к себе Ивана крючковатым пальцем. Заправив острым язычком желтоватый ус в рот, шутливо-зловеще сказал:

— А, пришел! Тебя-то нам и надо. Пойдешь теперь на Воздвиженскую улицу, в ту — знаешь? — архангельскую канцелярию к ротмистру Гратиану. Велено мне посылать вас всех из вчерашней смены одного за другим к исповеди.

Он помедлил еще, разглядывая Ивана, как незнакомого, как бы собираясь еще что-то добавить. Но промолчал, предоставляя парню самому угадать недосказанное.

Припомнилось, как полгода тому назад в типографию приходил унтер из жандармской канцелярии, помощник ротмистра. Русинов в тот раз позвал Ивана в конторку, поручил ему подобрать по годам и месяцам целую кипу бланков-заказов с корректурными оттисками.

Унтер вошел в конторку как власть имеющий, как человек, перед которым здесь должны трепетать. Просипел обычное мужицкое «Доброго здоровьица». Покосился на Ивана, соображая, стоит ли говорить при этом парнишке или выгнать его прочь. Снисходительно решил про себя: пусть сидит, что он может понимать, этот лохмач.

Высыпав старику на стол добытую из кармана горсть шрифта, он спросил:

— Вот поясни, что это такое? Как по-вашему называется?

Слабо усмехнувшись на сиплую грубость пришедшего: «А что другого ждать от жандармского унтера» — старик перебрал литеры костлявыми проворными пальцами и простодушно сказал:

— По-нашему это называется горсточка шрифта. Кегль десятый, гарнитура медиаваль...

— Падажди,— нетерпеливо остановил его жандарм.—

Мне эти ваши кегли-мегли ни к чему. Скажи лучше, где это взято? Не ваш товар?

— Не наш,— уверенно сказал Русинов, качнув головой, смахнув при этом бородой какой-то бумажный мусор со стола.

— Хм, не ваш? А чем докажешь?

— Могу объяснить. В России есть только две словолитни — Лемана и Бергольца. Шрифт этого характера вырабатывают и та, и другая. Но Леман отливает шрифты этого характера с сигнатуркой, вот извольте, этот рубчик на ножке,— от себя, а словолитня Бергольца — сигнатуркой к себе. Мы же много лет уже пополняем свои запасы от Лемана.

Умение тонко врать, врать так, чтобы невозможно было изобличить вруна, у типографских ребят называлось странным выражением «заливать галоши». Иван сидел, копаясь в своих бумагах, не повернув головы. Чувствовал, что оборачиваться не следует. Старик явно «заливал унтеру галоши». Запасы свои типография пополняла не только у Лемана.

Похмыкав, подозрительно поозиравшись, жандарм встал, ушел.

Только после этого Иван подсел к столу своего фактора, взял в горсть несколько литер так и оставленного унтером на столе шрифта. Если судить по сигнатуркам, шрифт свободно мог быть их имуществом. Но кто это может доказать? Старик смотрел на Ивана младенчески ясными, светлыми глазами.

В большом смятении Иван шел на свое первое свидание с императорской властью. Что там надо говорить, как держаться? Хоть бы кто-нибудь из старших подсказал ему линию поведения. Но кто? С Аркадием Павловичем они не успели об этом сказать и двух слов. Да и не знал еще Иван утром, что его вызовут на Воздвиженскую. Русинов что-то посунулся было сказать ему на дорожку, но, видно, не решился.

Вспоминая об этом, Иван поднялся на четыре гранитные ступени крыльца с нависшим над ним тяжелым открылком на кованых консолях. Крыльцо, дверь... Все это было таким, чтобы за ними не зазорно было жить самой короткопалой, грубой власти. Особенно дверь, высокая,

дубовая, с поручнями синего стекла и сияющей даже в пасмурное утро бронзовой решеткой понизу. Иван подумал: кто-то ведь начищает каждое утро ее до такого блеска. Он с трудом, усилием обеих рук отворил двери, и перед ним сразу же вырос чистильщик решетки, пожилой служивый, швейцар в сатиновой рубахе ковровой расцветки и мундире, наброшенном на плечи.

С той проницательностью, которая никогда не ошибается в оценке человека по своей холуйской шкале, швейцар оглядел вошедшего, отрывисто спросил:

— Фамиль, имё?

Заглянув в какую-то бумажку на столике при входе, убедившись, что парень как раз из тех, кому велено быть, швейцар повел его по лестнице на площадку, нависающую над прихожей в виде антресольки. Там уже сидел Пашка Балакирев, вызванный в канцелярию часом раньше.

Швейцар шел впереди, и Иван видел только его шею, коричневую, складчатую, как голенище грубой, задубевшей кожи. Сразу было видно, что старик из тех, кто видел от людей слишком много зла на веку и теперь стоит на том, что от него добра никто не увидит. И с людьми-то разговаривал как-то отрывисто и словно бы обиженно. Он пальцем указал Ивану место на деревянном диванчике с планчатой, как выгульный дворик голубятни, спинкой и сиденьем, отполированным задами всех тех, кто дожидался на нем допроса.

— Сидеть, ждать... Друг с дружкой не разговаривать,— раздраженно сказал швейцар.

Пашка, примостившийся на другом таком же диванчике, подмигнул Ивану, как бы говоря: видал жандармского архангела? И еще старик не сошел с лестницы, как он вынул из кармана четыре бабашки — свинцовые полые кубики, употребляемые в типографиях как пробельный материал, и принялся подбрасывать их и ловить две — в воздухе, две — в руках. Это была постоянная Пашкина забава. Он и на работе делал это каждую свободную минуту.

Одна из дверей вдруг отворилась без скрипа, без стука замочного бегунка, и на антресоль вышел офицер в форменном сюртуке нараспашку. Пашка не сумел вовремя заметить его, увлеченный подбрасыванием бабашек.

— Интересно,— сказал офицер, остановившись перед

ним, и Иван со стороны, необъяснимо почему, сразу угадал: это и есть ротмистр Гратиану.— Сколько же их у тебя?

Пашка протянул ладони и простодушно пояснил:

— Четыре пока. А скоро насобачусь и шесть метать.

— Ну, иди за мной первым,— тускло сказал офицер, уводя Пашку.

Дверь, за которой они скрылись, была ближней, и Иван напряженно вслушивался в то, что говорилось в кабинете. Но ничего нельзя было понять. Что-то там бубнил офицер, что-то толмачил ему Пашка.

На минуту он заговорил выше и гнусавее, как говорят заводские подростки, оправдываясь и защищаясь от чьих-нибудь укоров и брани. Потом придурковато хохотнул и вскоре выскочил из кабинета, торопливо сказав Ивану:

— Иди. Теперь тебя.— И, приставив ладонь к уху, выразительно, лопоуховато махнул ею. Это могло означать и то, что ему складно удалось прикинуться там межеумком, но могло относиться и к ротмистру.

Иван вошел в кабинет, и ему сказали сесть возле стола, затянутого зеленым сукном. Минуту ротмистр молчал, просто разглядывая парня.

Лицо у ротмистра Гратиану было румяным, лунообразным, без единой морщинки и все же почему-то казалось несвежим, словно человеку давно уже не удавалось всласть выспаться. Очень редкие коричневые волосы были гладко зачесаны поперек лысины, так, будто по ней мазнули дегтярным квачом — мочальной кистью, которой мажут телеги.

— Ну-с, молодой человек,— без выражения, как-то мертво, сказал ротмистр.— Расскажи, что там у вас вышло вчера? О том, как твои приятели ворвались в типографию в масках да еще с револьверами.

— Никаких приятелей я не видел,— сказал Иван, сам удивившись своему спокойному тону. Стоял в то время за машиной, и все.

— Ну-ну,— примирительно сказал ротмистр.— Это мы знаем. И это я сказал... просто для первого знакомства. Но мы знаем и то, что с одним из налетчиков ты знаком. Тебя видели с ним в городском саду. Так?

— Нет, не так.

— Тоже не так,— лениво, сыто усмехнулся офицер. Углы рта у него при этом смотрели вверх; ему очень пошли бы усы на немецкий манер с подкрученными

кверху кончиками. Может быть, Иван не сумел бы сказать, выразить это словами, что не мешало ему, однако, отчетливо понимать: перед ним, спокойно утвердясь в кресле, сидела сама, презирающая всех и все солдафонская пошлость, которой лень даже хитрить с ним, хоть и приходилось это делать.

— Значит, все неправда? — сказал офицер.— Ну, смотри у меня. Попробуем поговорить иначе. Тебе восемнадцать лет, и уже пора подумать, как жить дальше. Сколько ты зарабатываешь в своей типографии? А всяких надобностей становится все больше. Приходит, небось, охота и погулять и всякие фигли-мигли. А жизнь у тебя известно какова: «Целый день на фабрике колеса мы вертим, вертим...» Надо пробиваться. Каждый должен делать свою карьеру, кому как повезет. А чтобы повезло...

Тон последних слов ротмистра был таков, что его следовало понимать: я хочу поговорить с тобой попросту, если угодно, по-дружески.

Но принять предложенный офицером доверительный тон разговора Ивану мешало воспитанное в нем отцом и верх-палицкой улицей презрительное недоверие ко всем господам жизни, ко всем сытым и выхоленным захребетникам. И в тоне этом он чувствовал какой-то подвох; иначе зачем бы этот офицер с пряничным лицом запел свою песню иным голосом? Ивашка, держи ухо востро.

— Видишь ли,— продолжал офицер.— Против государя-императора, против порядков наших поднимаются всякие смутьяны — жиды да студенты...

Он замолк, присматриваясь к парню. Барсучья подозрительность вдруг появилась в этом пряничном лице.

— Что, не так? А ты почему молчишь, молодой революционер? — спросил он. И Ивану только теперь стало видать то, что можно было увидеть в самом начале их беседы: офицер пьян. Не так, как бывает пьян мастеровой народ раз в месяц, в дни получки, а постоянной одурью человека, пьющего каждый день и уже утратившего способность думать стройно, ясно.

— Какой же я революционер? — терпеливо сказал Иван.— И чего мне говорить вам, не знаю.

С видом человека, которому давно все осточертело и он бы с великим удовольствием лучше пошел подремать, офицер заключил:

— В общем, ты подумай над нашим разговором. Тому,

кто послужит нам, мы всегда поможем со временем выйти в люди. За нами не пропадет. А тому, кто пойдет против нас, не удержать на заду и таких штанов, какие есть на тебе. Для таких нашими заботами припасены особенные штаны — арестантские.

— Подумаю. Только что я могу?

— Ну, мало ли. Чего не бывает? Случайно встретишь на улице кого-нибудь из этих... вчерашних, проводи его до первого городового.

— Подумаю,— со значением, которого совсем не хотел придать этому слову, проронил Иван. К счастью, ротмистр, кажется, не заметил, как многозначительно оно прозвучало.

Что-то еще в том же роде напоследок говорил жандармский ротмистр. Иван смотрел в окно на белую крапь снегопада. По всему Уралу, может быть на тысячу верст окрест, третий день колышется этот медленный благодатный снегопад. «Но отчего же и почему мне так тяжело здесь сидеть. Хочу на воздух, на Воздвиженскую улицу, где дворники уже по второму разу в день метут тротуары, оставляя на них полукружия следов метлы.

Хочу отсюда прочь, прочь!»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Аркадий Павлович давно стал Ивану как бы вторым отцом. Но называть его таким душевным словом Иван не мог, не поворачивался язык. Еще подумает: сынок выискался. При всем том не станешь же и обращаться к старшему как к однолетку словами «эй, ты...».

Свою дочь Федорку Аркадий Павлович приучил называть его полушутливо, полуласково: батя-Аркаша. Понемногу так же стал кликать его и Иван.

В день, когда Ивана вызывали в жандармскую канцелярию, он встретился с батей только вечером, за ужином. И Аркадий Павлович спросил:

— Ты там лишнего чего не наговорил?

— А чего я мог наговорить? — недоуменно ответил Иван.

Но тут на улице стукнула калитка, проскрипели мимо окон шаги. Кто-то неожиданный, припадающий на одну

ногу, ступил на их крыльцо, долго обивал снег с валенок березовым голиком.

Гость оказался тем, на кого оба они и не подумали бы: их типографский фактор Рафаил Иванович.

— Мир беседе,— певуче, приветливо поздоровался он, без приглашения скинув пальтишко с собачьим воротником.— Под самый ужин поспел. Повезло сироте.

Рассеянно посмеиваясь, он присел к столу. А у Аркадия Павловича так и застыла метнувшаяся вверх левая бровь. Иван видел: удивлен батя и не слишком доволен этим поздним визитом.

— Отужинали уже. И не знаю, чем будем потчевать. Чайку разве...

— Чаек, да ежели покрепче,— всегда впору.

Он принял стакан чаю на надколотом блюдечке, погрел об него пальцы и вдруг, совсем уже другим тоном, качнувшись к бате-Аркаше, твердо спросил:

— Ну, что? Нежеланный гость?

— Не то чтобы нежеланный,— сказал Аркадий Павлович, вернув бровь в нормальное состояние,— но было же условие...

— Ничего, единожды — допустимо. И все условия бывают действительными до поры. Да и не с тобой, а с парнем этим мне надо поговорить.

— Единожды один — один,— все еще в чем-то сомневаясь, пробормотал Аркадий Павлович.— Не рано с ним тебе приватный разговор иметь?

— Не рано,— уверил его Рафаил Иванович.— Ничего хорошего в этом нет, когда мы мешаем им подрастать. Пускай понемногу разбираются, в какую сторону крутятся на мельнице жернова. А то мы не будем им доверять, они не станут нам...

Теперь и у Ивана взлетела бровь, как бывает у бати-Аркаши. Эта привычка старшего перешла к нему совершенно бессознательно, произвольно.

У Рафаила Ивановича вечерами что-то делалось с глазами, веки воспалялись, он болезненно моргал, временами накрепко прижмуривался. Подмастерья в типографии за это красноглазие наделили его беззлобной кличкой Чебак. Щурясь на лепесток света в керосиновой лампе, как бы мимоходом, спросил он Ивана:

— Ну-ка, докладывай, что у тебя там выпытывал фараон? Да вспомни поточнее...

— Да он как раз говорил, чтобы я ни с кем особенно насчет этого не болтал,— усмехнулся Иван.— Так и сказал: набери в рот воды...

— Вот и правильно,— с видимым удовольствием соглашаясь на эту игру в простодушие, сказал старик.— Нам расскажи, а больше ни с кем ни гу-гу.

Рафаил Иванович все время требовал точнее вспомнить, как ставил вопросы ротмистр, и Ивану наскучил этот диалог. А батя-Аркаша сидел молча и только переводил взгляд с одного на другого, наверное, изрядно навихляв себе шейные позвонки.

— Ну и что думаешь? — спросил батя-Аркаша, когда старик закончил свои расспросы.

— Да что... Известное дело. Ротмистрово ведомство все старается в народ корни пустить.

— Да я не об этом. Я про самый экс.

— Да-а, эсеровские повадки,— с досадой сказал Рафаил Иванович.— Все у них получается с шумом-треском, по-гусарски. Наделали переполоху...

— Толку-то,— вмешался Иван.— Вытряхнули в мешок две газетные полосы... Текстового вроде и много, а заголовочных разве только «Попка-дурак» набрать хватит.

Никто не отозвался сразу на это случайное замечание. И на какой-то момент в комнате повисло странное ощущение остановившегося времени. Словно оборвались волокна его серебристой пряжи. Тупо цокали часы-ходики на стене, посапывала во сне девочка Федорка в углу на деревянной кроватке, которая стала ей уже коротковата. На вселенском корабле сорвало с реи снеговой парус, и он плавно, необозримо широко упал, покрыв собою всю эту часть таинственной страны России, от Предуралья, может быть, до самого до Байкала. В наказание за всю неправду жизни кто-то погрузил в тяжелый сон и бедные хибарки мелких ремесленников, и палаты денежных тузов, дерзких молодых бунтовщиков с курчавыми бородками и жандармов вроде ротмистра Гратиану с его лунообразной физиономией.

Но, сразу нарушив тишину, нетерпеливо двинулись руки бати-Аркаши, лежавшие на столе. Очень характерные это были руки, с небольшими сильными кистями и плотными мускулистыми, безволосыми предплечьями.

— А это не твое дело, наберется у них там «Попка-дурак» или нет,— выговорил Аркадий Павлович сердито,

как малолетку, которого не хотят допускать в разговоры старших.— Твое дело было там, на допросе, не брякнуть лишнего, а теперь и дальше помалкивать.

— Вот опять: не его дело,— как бы обидевшись за Ивана, сказал Русинов.— Все равно ты его от этих дел не убережешь.

— От каких «этих дел»?

— А от этих самых. Парню пора понимать что к чему. И не кто-нибудь другой, а ты должен его понемногу вводить в курс дел.

— Пусть доходит своим умом.

— Своим умом человек может дойти до не знаю чего. Мы с тобой своим умом доходили? Своим умом он свободно может забрести на ту дорожку, по которой, кажется, у нас Пашка Балакирев пошел.

Иван растерянно посматривал на того и другого. Они говорили о нем, но так, словно его тут и не было. А молодость самолюбива, и это бывает обидно. Она всегда думает, что знает жизнь не хуже старших, а тут они толкуют о чем-то для них совершенно ясном, для него же этот предмет — темная, мутная вода.

И еще что-то тут упоминалось о Пашке.

— А что Пашка? — спросил Иван.

— О, Пашка... Это такой скоморох,— усмехнулся Рафаил Иванович.— Тоже ведь таскали в жандармскую канцелярию.

— Это я знаю. Его при мне вызывали к ротмистру.

— И кроме ротмистра допрашивал еще унтер Аникин. И этот Аникин, знай на будущее,— вредная фигура. А Пашка, как сам рассказывает, держался на допросе молодцом. Прикинулся там совершенно межеумком. Начал жаловаться: ему бы учиться пению, у него — голос. А где ему, Пашке, учиться? Сказывает, унтер ему предложил что-нибудь на пробу спеть, и Пашка во все хайло запел им изящную песенку «Укусила Жучка собачку».

Гость ушел, нарушив у них всю их мирную настройку на сон. Теперь хотелось разговаривать долго, с полным доверием, со всей чистотой души. Аркадий Павлович, впрочем, знал, что у людей, живущих постоянно рядом, такого разговора по душам не получается. Между близкими для мужского разговора с большим доверием естественно вырабатывается особая манера беседы, самая скупая, лаконичная, с помощью намеков.

— Так что, по-твоему, это были за люди? — спросил Иван, имея в виду вчерашних налетчиков.

— Что за люди? А это такие люди... думают, что они делают революцию.

— А что такое революция? Это — чтобы все пошло навыворот?

— Пожалуй, так. И надо бы навыворот нашу ветхую шубу, раз в ней завелось столько вшей. А шуба русского государства у нас изрядно завшивлена.

— А скоро она будет, революция?

— Как это: скоро ли она будет? — удивленно спросил Аркадий Павлович. — Она давно идет. Те коробки из-под ореховой халвы с гремучей ртутью, которые люди лет двадцать пять тому назад бросали под колеса царской кареты, — тоже была революция. Спрашивать надо не так. Скоро ли она победит? — так надо ставить вопрос.

— Ну, ладно: скоро она победит?

— А вот этого я не знаю. Может быть, мне не дожить до того. Ты доживешь. Тут, видишь ли, загвоздка в том, что революция непосильна для какой-то группки людей. Надо, чтобы весь народишко... А у нас развелось столько разных партий: меньшевики, большевики, эсеры, анархисты. Даже господа в крахмальных манишках играются порой в революцию. Вот это ей и мешает.

— Ну, хорошо, — допытывался Иван. — А когда вывернем шубу, дальше что? Она-то останется какой была.

— Так ведь я об этом и говорю, — с сердитым оживлением пояснил батя-Аркаша. — Революция делается не ребятишкам на потеху. Сейчас уже люди думают, как жить после нее. А как раз в этом у нас согласия нету: кто — в лес, кто — по дрова.

Иван заикнулся было еще о чем-то спросить, но батя-Аркаша сердито прервал его на полуслове:

— Да ты что, думаешь, я могу тебе сразу обо всем рассказать? Хотя бы мы с тобой пять ночей просидели... Да и кто я такой? Много ли я знаю сам? Учиться надо, читать.

— Читать? Это разве ученье?

— Это только и есть ученье. В гимназии, в университеты нашему брату ходу нету. Так хоть читать никто не может запретить. Только, конечно, браться за книги надо с разбором. Одним — книжонки про Ната Пинкертона по сердцу, другим — Толстой и Короленко, а иным — и Пле-

ханов. Ты вот, к примеру, дальше сапожных вывесок не пошел,— словно сердясь на кого-то, закончил батя-Аркаша.

Это было несправедливо. Толстого и Короленко Иван, во всяком случае, кое-что читал, и «Сон Макара» его, непонятно чем, надолго растревожил.

Этот не слишком внятный и для обоих беспокойный разговор не закончился в тот вечер. В тот раз Аркадий Павлович просто оборвал его, сказав: довольно брякать языком, надо спать, время позднее. Но оба они знали, что говорить придется еще много, и действительно возвращались к этому не однажды. Это были как бы беседы, у которых в конце каждый раз стояло: продолжение следует.

Для Ивана много значило уже то, что Аркадий Павлович, по-видимому, нарушил свой зарок держать воспитанника подальше от всякого рода болезненных и опасных вопросов.

Но когда запрет на них оказался снятым, то само собой стало получаться, что оба натыкались на эти самые вопросы часто и неожиданно.

Обычным зимним утром, перед уходом на работу, они сидели завтракали чем бог послал. А бог послал им, как всегда, на этот раз только картошку-стукалку. Так называлась картошка, которую чистят тут же на столе. После этого картофелиной стукают в тонкую лужицу конопляного масла, налитого на блюдечко, присаливают щепотью.

Вяло, безрадостно жуя, Аркадий Павлович по своей неистребимой привычке скашивал глаза в книгу, читая не с начала, а где открылось наугад. Это была книга рассказов писателя, входившего в моду. А книга открылась в этот раз на рассказе «Стена» со странной безотрадной символикой, с абзацной строкой несколько раз повторяемого, как припев, угнетающего рефрена: «Так было, так будет». Иван прочел этот рассказ еще раньше.

— Вот же воронье,— возмущенно сказал Аркадий Павлович, положив на книгу плотный, как булыжник, кулак.— Ведь пишет же. Понимают люди, что это чушь, мрачное карканье, и упрямо долбят свое. Кому-то надо убедить нашего брата, что нам вечно одной картошкой-стукалкой жить.

— А чем еще? — в задир Аркадию Павловичу спросил Иван.— Этим, что ли?

Он небрежно сунул бате-Аркаше под кулак в восьмеро свернутую газету. На первой странице ее было глазасто подано объявление:

«Осетрина, белужина, всегда свежие балыки.

Только в магазине Канцелевича».

— Да разве дело только в стукалке, голова ты с ушами? — враз остынув, терпеливо сказал Аркадий Павлович.— Если бы хоть люди знали, что это надо только перетерпеть, а потом, со временем, все будет иначе. Но ведь: «Так было, так будет». Хоть этим бы не обижали народ. Есть ведь люди — живут тяжелее нас. Вот опять безработицей пахнет. А ведь тому правительству хрен цена, которое не умеет дать работу каждой паре рук. Безработица вообще — стыд и срам любого правительства, да вместе с нею еще бездействие умов...

— Ты в прошлый раз говорил о партиях,— легонько накалывая вилкой узор клеенки на столе, напомнил Иван.— Где они, эти партии? Ведь надо же, чтобы их было видать народу. Не невидимки же они?

— Есть-то они есть,— убежденно сказал Аркадий Павлович.— Только ты с таким партийцем будешь рядом стоять, разговаривать с ним, а не будешь знать, кто он такой. Не носят они для отличия от людей никаких блях, никакого значка вроде белой ромашки, которую нацеплял на пиджак у нас каждый, кто сунул свой двугривенный в кружку помощи раненым воинам. И партии не могут давать в «Уральской жизни» свои объявления: вот где наша контора. Это — не магазин Канцелевича «Осетрина, белужина, балыки». Тут так: искать настоящую партию, большевиков, будешь — так нипочем не найдешь. Они сами себе находят людей, каких им надо.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Рост, развитие в природе не всегда бывают равномерными, плавными.

Даже растения, хлеба в поле, бывает, весной растут медленно, с натугой, и медленное развитие их не поддается наблюдению, и уже земледелец начинает с тоской и тревогой думать: захирел у меня хлебушко...

Но после в пору выпавших дождей приходит всего какая-нибудь неделя томной и вольной теплыни, и поля

не узнать. Хлеба и травы всего за несколько дней подались в росте больше, чем за все предыдущее время.

Может быть, так бывает и с человеком?

Что-то произошло с Иваном за год-полтора, после налета на типографию, такое, что понудило его сделать широкий шаг ко взрослости сознания. И в этом процессе скорого, почти стремительного взросления эти год-полтора, может быть, следовало счесть за три.

Сам он этого ускоренного развития своего не замечал; только понял, уверился теперь, что вокруг него делаются серьезные, в большой секретности свершаемые дела. И ему следовало к этим делам пробиться.

Тогда, год с лишним назад, его еще раз вызывали в жандармское управление. Выспрашивал обо всем уже другой офицер, но Иван даже удивился — настолько похожим был новый допрос на тот, первый. Как и тогда, ему вкрадчиво предложили, если станет что-нибудь известно по поводу этого случая и вообще о преступных действиях чьих-либо в типографии, сразу прийти сюда и рассказать.

Если бы можно было ответить на это от чистого сердца, Иван вернее всего сказал бы офицеру: пшел ты к... Уж он бы нашел, куда этого допросчика адресовать. Но сообразил, что выгоднее этот естественный ответ удержать при себе, и, внутренне забавляясь, ответил: будьте покойны, если что замечу... Разве ж я своей выгоды не понимаю?

После налета на типографию Аркадий Павлович стал держаться с Иваном откровеннее и проще. Так всем другим он рассказывал, что жил до переезда на Урал в Курске. Иван как-то спросил, что за город Курск? Мягче ли там бывают зимы? И в высшей степени удивился, услышав, что батя только собирался побывать в этом прославленном соловьями городе.

Тут же, некстати, как могло показаться тому, кто плохо знал Куренных, он начал рассказывать про Москву. Прямо о том, что живал в Москве, он пока не говорил еще и Ивану.

Вообще, в их беседах Аркадий Павлович как бы предоставлял ему до многого доходить своим умом, давая только направление.

Как-то Иван навел разговор на уже не впервые возникавший между ними вопрос о партиях. О программах

их Аркадий Павлович рассказывал хоть и урывками, но достаточно подробно и раньше. Но парню с нетерпением молодости хотелось узнать практическую сторону дела: как люди приходят в партию, с какого момента считаются ее членами. Но здесь Аркадий Павлович не мог или до времени не хотел сказать ему ничего определенного. Раз только обронил полунасмешливо:

— Что ж ты книжек начитался, так думаешь, в партию принимают как, скажем, в масоны? Торжественное посвящение и прочее? Ничего этого, я думаю, нет. И никакого документа, наверное, не выдается. Кому его предъявлять? Охранке, что ли? Кто работает для партии, того и считают ее членом.

Все последнее время Иван жил в состоянии большой тревоги, душевной сумятицы и ожидания чего-то, тем более томительного, что и сам не знал, чего ждет.

Теперь он особенно пристрастился к чтению. Этому способствовала и работа, постоянное общение с печатным словом. Прочитывал еще в сырых, грязных полосах газету, зачастил в отдаленную от типографии городскую библиотеку. Читал даже на ходу. Но все, что удавалось выудить из книг, представлялось ему не главным. Порой казалось, что люди,— не кто-то из известных ему, а люди вообще, сумевшие постигнуть самое важное в жизни, блюдут свое условие: молодежь, таких ребят, как он, к этому самому важному не подпускать. Из тех книг, которые нельзя было получить в библиотеке, он сумел достать «Женщину и социализм». Кто-то из старших в типографии дал ему Плеханова «О монистическом взгляде...». Он прочитал эти книги, мало что понял. И только снова почувствовал: не то.

Эти год-полтора были для Ивана такими, что позднее, вспоминая юность, он делил свою жизнь и судьбу на до и после них. До этого он жил легко и бессознательно, как растет трава. Теперь же, хоть и не вполне определенно, видел цель, нащупывал линию, которой надо держаться.

В детстве у верх-палицких ребят была такая забава: запускать, кто дальше забросит, с поясного ремня камень размером с куриное яйцо. Берется ремень за два конца, в петлю его кладется камень, ремень раскручивается вокруг головы, и в нужный момент надо только пустить один конец ремня, и камень летит, как из пращи.

В таком положении крутящегося в петле камня теперь

оказывался сам Иван: еще не вышел на свою линию поступательного движения, но уже — не лежачий камень.

Он только ошибался, думая, что это его смутное и ломкое переходное состояние не видно и не понятно никому из старших. Аркадий Павлович незаметно, но пристально следил за ним и исподволь направлял его рост и развитие.

Все трое — они с батей-Аркашей и Федорка — составляли теперь вполне дружную, привычкой и пониманием скрепленную семью.

Как Аркадий Павлович за ним, Иван с интересом и сердечностью наблюдал за тем, как Федорка подрастает, делается серьезнее и самостоятельнее. Она теперь стала уже стесняться, ложась спать, раздеваться при взрослых, а потом и вовсе потребовала повесить занавеску против своей кровати. В свои четырнадцать лет она почти самостоятельно стала вести их немудрое хозяйство.

От своей прежней отцовской семьи Иван к этому времени уже довольно-таки «отшатился», как было принято говорить в их поселке. И отшатывался все больше. У отца появилось еще двое ребят-малышей. Такие братья, опять-таки в точном и остром здешне-народном языке, назывались «сродными», что значило — не чужие, но и не вовсе родные. Родные лишь вполовину. Бываючи у отца, Иван все больше стал чувствовать себя там лишним. И времени на гостевание у него бывало не всегда достаточно, и ходить часто в Верх-Палицу был неближний конец.

Пожалуй, отец чаще навещал Ивана в его полуподвале.

Он приходил обычно в воскресенья в своем «вылюдном» пиджаке и уже в благодушном настроении.

Иногда при этом Ивану приходилось подхватиться сбегать в ближнюю лавчонку за «сороковкой» водки. А бывало и так, что старшие обходились только чаепитием, ведя степенный, сдержанный разговор. Отец выкладывал на стол пачку хороших папирос, которые мог себе позволить только для праздников. Как взрослому, говорил сыну:

— Задыми. Куришь, небось?

И Иван, хоть и начал в ту пору уже втягиваться в курение, все как-то не решался воспользоваться родительским позволением.

Отец спрашивал: как им тут живется.

— Живем помаленьку,— добродушно отзывался Аркадий Павлович.— Зима да лето прочь, глядишь, и котомка за спиной стала полегче.

— Подрос он тут у вас. На заправского мужика стал походить. Брюки навыпуск...

На равнодушный слух это были безразличные слова, но за их вопросительной интонацией легко улавливалось несказанное: а на работе каков? А винишком не балуется?

Аркадий Павлович в том же тоне показного равнодушия обычно отвечал:

— Порядок жизни таков: молодое растет, старое старится.

Но за этим подразумевалось: будь парнишка с изъяном, ну, лодырь там или межеумок, ему бы не удержаться долго на одном месте. А насчет того, чтобы баловаться... На это у нас доходов таких нет. Сам видишь, нешикарно живем.

Но при всем том, что эти беседы двух старших были такими общими и словно бы нарочито безразличными, Иван понимал, что оба зорко присматриваются один к другому, испытывают друг друга, силятся понять то скрытое, что содержится в собеседнике.

В одно из таких посещений отец уже прямее спросил Аркадия Павловича:

— Я слыхал, что середь вас, типографских, есть такие стрикулисты... Смутьяны, фармазонщики. Социалистами, что ли, их у вас зовут. Ты как-нибудь не позволяй парню путаться в такие дела.

— А я слыхал,— с осторожной иронией ответил Аркадий Павлович,— что смутьянов и фармазонщиков, которых зовут социалистами, есть немало и среди вас, заводских. Где их теперь нет? Время такое беспокойное. И в эти дела, если кто хочет впутаться, как ему не позволишь? Да ты не беспокойся, туда пускают не любого-каждого.

— А что, по выбору?

— И по выбору,— серьезно подтвердил Аркадий Павлович.— Только ведь ты — человек с головой, должен понимать, что сейчас время такое: в ту или иную смуту молодые парни, случается, нечаянно попадают.

— Нечаянно не бывает,— не согласился Алексей Денисович.— Попадают от глупости.

— А я слыхал,— продолжал Аркадий Павлович,— у вас много в архангеловцах состоят. Это от ума? Сам-то в Союзе Михаила-архангела не состоишь?

— Да записали тут когда-то,— небрежно сказал отец.— А что?

— Да ничего. Сволочей у вас хватает в этом Союзе.

— Так уж все одни сволочи?

— Я не сказал: все, я сказал: хватает,— миролюбиво возразил Аркадий Павлович.

Отлучившись под сарай за сосновыми шишками, которыми обычно нагревал самовар, Иван не слыхал, как старшие попрощались. Возвращаясь в сени с бадейкой в руке, Иван увидел отца уже на крыльце, в картузе, надетом низко на брови, что всегда у него было признаком мрачного настроения.

— Проводи родителя,— посоветовал Ивану батя-Аркаша из полусумрака комнаты, отдающего тонким запахом полуподвальной плесени.

Советам Аркадия Павловича Иван привык следовать. К тому же он и сам собирался проводить отца домой. Не до конца, только до полдороги. Показалось на этот раз, что у отца есть что-то такое, о чем нужно говорить наедине.

Городская окраина с примыкавшим к ней пустырем, вдоль которого шагали, направляясь в Верх-Палицу, Иван с отцом, в любую погоду выглядела тоскливо-безотрадной. Природа на этом пустыре, заросшем бурьяном с истолченной скотом дерниной, казалось, обижена на человека.

И настроение у Ивана после разговора старших было смутным, под стать этому пустырю.

Идти всю дорогу молча было не очень прилично, отец бубнил что-то насчет монастырской стены, которую надо было обогнуть. Разговор этот он затеял, судя по всему, чтобы поберечь напоследок то главное, что хотел сказать.

— Ты, вот что,— серьезно заговорил он, когда пора было расставаться,— ты своего батю-Аркашу слушай, да не очень. Конечно, добра он тебе немало сделал. А все-таки не очень набирайся от него блох. Мне приблазнивает, что он из тех молодцов, которые в молодых летах пошвыриваются бомбами в губернаторов и полицмейстеров. А за это, не забывай, бывает вешалка. Он-то свое уже отсидел по тюремным замкам...

Проводив отца, Иван брел домой нарочно медленно и сделал немалый крюк по городской окраине, чтобы обдумать только что услышанное, неужто батя-Аркаша метал бомбы в губернаторов? Но откуда отец мог это знать? Положим, у него есть привычка говорить загадками, огорошить каким-нибудь заковыристым насмешливым замечанием, но такого он зря не сболтнул бы.

Иван шел, думая, что сейчас у них с Аркадием Павловичем произойдет серьезный и волнующий разговор и что батю-Аркашу, пожалуй, взбудоражит то, что он собирается сказать. Но серьезные разговоры никогда не получаются такими, как их заранее программируют.

Четверо девчонок, словно изготовленных механически по одной модели, с одинаковыми косицами белесых волос, одинаково плосколицых, играли у ворот дома, прыгая по меловым квадратам.

Федорка метнулась к Ивану, проходившему мимо, повисла у него на руке, на одной ноге допрыгала с ним до калитки и тут же, бросив его, ни слова не сказав, вернулась к своей игре.

С никогда еще не испытанным, странным чувством остановившегося времени Иван подумал: если Аркадий Павлович уже побывал в тюрьме за какие-то таинственные мятежные слова и дела, значит, контора ротмистра Гратиану может взять его опять в любой час. И тогда мы останемся с Федоркой вдвоем на свете. Как же тогда жить?

Остывший самовар все еще стоял в сенях.

Иван несколько минут стучал посудой в кухонном углу комнаты, придумывая, как сообщить бате-Аркаше то, о чем обмолвился отец. Потом решил ничего не придумывать.

— Как тебе мой старик сегодня показался? — коротко спросил он.

— А что «как»? — с видимым нежеланием распространяться по этому поводу сказал Аркадий Павлович.— Обижаться вздумает, дорогу к нам забудет — упрашивать не буду. Я ему не сват, не брат и товарищей у меня в Союзе Михаила-архангела нету.

Хрипло вздохнув, чувствуя, что неприятного разговора не избежать, он медленно продолжал:

— Ты не думай, собственно, про него я ничего плохого не скажу. У них там, в Союзе, тоже не все одинаковы.

Это он верно сказал. Много есть таких: бей «сицилистов», ломай им кости. А есть такие... вроде твоего отца. Их покупают за поблажки. Вот он у тебя работает у плотинного мастера, на всяких там ремонтно-плотничьих работах, да еще каждую осень чинит и уделывает зимние рамы в управительских домах. Это уж совсем чистая работа и у начальства на примете. Думаю, что в своем черносотенном Союзе он состоит только для благочиния, из-за этих привилегий. А нето пришлось бы, пожалуй, работать у огня. Какая разница? Почти никакой. Вся разница в том, что в горячих цехах люди на двадцать лет раньше срока богу душу отдают. А у него двое ребятишек, кроме тебя...

И, хоть все это Иван знал сам, а Аркадий Павлович — уже из вторых рук, из его, Иванковых, рассказов, только теперь он понял совершенно отчетливо что к чему. И уже без колебания рассказал бате-Аркаше о том, что втолковывал ему отец, когда шли вдоль монастырской стены.

К его удивлению, батя-Аркаша нимало не встревожился.

— Не опасно, что он знает такое? — спросил Иван.

— А, пустое...— отмахнулся Аркадий Павлович.— Слышал звон...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В молодости человек не замечает смены времен года. Просто пользуется теми прелестями, очарованием, которые есть в каждой поре. Пришла осень — дышу благодатным, золотистым, как репа с исподу, воздухом осени. Пришла весна — радуюсь сухарному треску льдинок под ногой при утреннем заморозке. Может быть, юность тем и благословенна, что мы еще умеем радоваться, не спрашивая себя при этом, чему ты, дурак, радуешься?

Но эту осень Иван приметил. Шел как-то вечером с работы и вдруг увидел, что в огородах их окраин почти везде, пользуясь, может, последними ведренными днями, народ выкопал картошку. И везде босоногие, крикливые, как галчата, ребятишки бегали по бугристым картофелищам, швыряясь мелкими клубеньками.

Это была обычная осенняя утеха ребят. Иван и сам когда-то этим забавлялся. На огородах всегда остается

много мелкого картофеля, мельче грецкого ореха, который уже не принято собирать. Если такой клубенек насадить на ивовый прут, его удавалось, размахнувшись, запустить так высоко в небо, что он скрывался из глаз. Бредя вечером с работы, вслушиваясь в ребячий грай на огородах, Иван подумал: вот и осень. Опять предстоит возня с капустой.

Каждую осень они с Аркадием Павловичем брались заготавливать капусту на зиму. Тяпкой, прямо в кадушке, крупно рубили ее. Каждую осень капуста у них не удавалась: не хватало женского усердия и смекалки, чтобы сделать все по правилам, и все же они не попускались этим занятием. После того придется ставить на зиму вторые рамы в окна, затыкать ветошью и заклеивать щели. И тогда в их жилье сделается еще глуше и скучнее, еще плотнее запах полуподвала, особенно ощутимый, когда вечером входишь с улицы, с первого легкого, спиртуозного и какого-то смешливого морозца.

А на другой день после этого ему довелось быть свидетелем эпизода, который еще больше усилил владевшее им в последнее время состояние неуверенности в себе, как бы нетвердости в ногах.

Пашка Балакирев еще за полгода до того совершенно неожиданно взял и уволился из типографии. В их мастеровщицком бытье это случалось как большая редкость. Работа считалась не из последних, по доброй воле у них редко кто уходил, если не выгоняли за какой-нибудь «балдеж». Этим словом у них называлось многое: и откровенное лодырничество, и кража бумаги, и беспробудная пьянка на работе. Но Пашка ни в чем таком замечен не бывал. Считался, правда, малость придурковатым, но работал не хуже других.

Побывавши в воскресный день в Верх-Палице, Иван спросил у своих про Пашку. Оказалось, что он ушел из дому и никто не знал, где он теперь обретается. Впрочем, у Балакиревых, кажется, не были особенно удручены Пашкиным исчезновением. Отец его, Никита Балакирев, сказал по этому поводу только: с хлеба долой. Парни в поселке, входя в возраст, нередко устрашали родных дерзким намерением — уйти на заработки, куда-нибудь на рудники. Но редко кто действительно уходил.

Может, Пашка и верно махнул куда-нибудь на Кочкарь в старатели.

Ивану в тот день на работу надо было во вторую смену, к четырем часам, но он ушел из дому пораньше, чтобы пройти через торговый центр, «попродавать глаза», пройти вдоль Гостиного двора. Улица, на которую он забрел, выходила на городской пруд, как бы замыкалась стенкой воды, отразившей синее осеннее небо. Переулок, собственно, был малопроезжий, тихий, обсаженный кустами уже побуревшей акации. И тротуар вдоль него был засыпан мусором стручков акаций, полураскрывшихся, от сухости свернувшихся спиральками. Таким же шуршащим под ногой мусором было припорошено крыльцо дома среди переулка, не слишком примечательного, построенного из карминно-яркого кирпича. Зато сад при доме был старым, хорошо устроенным, с желтыми аллейками и цветочными клумбами на их скрещениях.

Парадной дверью с наслоениями пыли в завитках резьбы, сразу было видно, никто не пользовался. В дом попадали через решетчатые ворота, где всегда сидел охранник, отставной солдат в старинной, каких теперь уже не носили, фуражке-бескозырке. Очень обветшалый вид был у этого старого служаки с крупно-морщинистым лицом. Словно самодержавная власть брезгливо донашивала его, как донашивал он свою бескозырку.

В доме жил прокурор военно-судебного присутствия. Имя его с перечислением всех титулов Иван встречал в газете, в судебных отчетах, которые часто завершались приговорами к повешению или каторге.

Еще не поравнявшись с парадным крыльцом, Иван увидел, что навстречу идет Пашка.

Сначала Иван подумал, что просто обознался. Потому что как может Пашка оказаться в мундирчике военного писаря и в штиблетах со входящим в моду широким округлым носком «Бомбэ», в виде небольшой боксерской перчатки. И под локотком, немного скособочившись, он нес какую-то голубую папку.

Ворот прокурорского дома Пашка достиг сажен на десять раньше. Он даже не кивнул Ивану, только глянул зло и как бы предупреждающе. Что-то буркнув служивому в воротах, пошел по диагональной аллейке в глубину сада.

С чувством тревожного любопытства, с догадкой, что тут что-то неспроста, Иван шел вдоль решетки сада. Решетка была кузнечной работы из прутьев, расплющенных

на концах в копьецо. Высокая решетка; если даже вскочить на каменное основание, то и тогда с трудом можно дотянуться до верхнего ее перехвата. Через такую не перемахнешь в любом месте.

Листопад очень осветлил сад, и Иван видел мелькающую в просветах сначала только фигуру в писарском мундире, а вслед затем еще разглядел человека в домашней господской куртке со шнурами на груди. Скорее всего это и был прокурор. Он шел по аллее, высоко подобрав заложенные за спину руки. Пышная седая шевелюра подрагивала на ходу. Возможно, так и надлежало ходить прокурорам — важно, грудью вперед.

Кусты закрыли обоих, когда Пашка встретился со старым чиновником. И тут Иван услыхал два выстрела, слабых и таких чужих этому осеннему тихому саду, такому смиренному дню. С немного большей паузой прозвучал еще один хриповитый выстрел.

Шага через два-три, опять в просвете, Иван разглядел прокурора уже лежащим на песчаной дорожке. Упав, он схватился за тонкий стволик какого-то деревца, шатая его в попытке подняться и, может быть, перехватываясь по стволу, еще встать.

Оглянувшись, Иван увидел, что Пашка выбежал из ворот, отбиваясь от повисшего на нем охранника. Кажется, он ударил солдата по его блинчатой бескозырке и, вырвавшись, побежал в ту сторону, откуда пришел Иван.

Ничего не поняв в случившемся, но загоревшись желанием как-то помочь делу, Иван повернул к воротам. А кому помочь? Сам себя позднее осудив за свою бестолковую энергию, он пошел навстречу стражнику, готовому бежать за Пашкой. Иван приготовился схватить его и задержать. Но тот сразу повернул обратно, бросился в дом, может быть, затем, чтобы звонить по телефону. Вспомнив, что налетчики в ту памятную ночь в типографии первым делом обрезали провода телефона, Иван, нащупав в кармане перочинный нож, поискал глазами проводку, но не увидел ее и тут же сообразил, что лучшее, чем он может помочь, — это убраться отсюда, пока не нагрянула полиция. И уже спокойно подумал, что кто-нибудь есть поблизости из тех, что поставлен прикрывать Пашкино предприятие.

Он пошел своим путем до перекрестка. И там действительно стоял человек, по виду мастеровой, лет тридцати,

беспокойно ловя тонкой папироской в пригоршнях бледный огонек спички.

— Ты, малый, уходи отсюда,— не глядя на него, словно не ему, сказал этот человек.— И ковыляй не оглядываясь.

Всю смену на работе и всю ночь после того у Ивана не выходило из головы дневное происшествие: Пашкины глаза, когда они встретились против ворот прокурорского дома, старик, пытающийся еще встать, перехватываясь руками по стволу деревца...

В последнее время на работе Пашка всем казался пустым и балалаечным малым. Но Иван знал своего дружка лучше, чем могли знать взрослые. Однажды Пашка показал ему нож, который носил на шнурке под рубахой в кожаном футлярчике. Это был дорогой, златоустовской работы укороченный финский нож с травлеными узорами по лезвию. Если он его где-нибудь не украл, то должен был заплатить за него, пожалуй, весь недельный заработок.

— Во-о. Всегда с собой ношу,— хвастливо сказал он.

— Зачем это тебе? — спросил тогда Иван.

— А как же? С этим я никому в руки не дамся.

Иван тогда подумал: да в чьи руки ты можешь понадобиться?

И вот Пашка оказался участником каких-то больших дел, после которых к нему потянутся самые жестокие и самые длинные руки.

Кому из поселковых ребят не доводилось слыхать от взрослых сокрушенное предсказание: вот, подожди, вырастет из тебя варнак и разбойник. Чаще всего это было все же предсказанием на крайний случай. Вырастала же из них в большинстве безропотная и бесправная мастеровщина. А вот из Пашки вышло нечто другое.

Но Иван понимал, что «варнак» и «разбойник» — это не те слова. Пожалуй, Пашка сумел войти в то таинственное и грозное, что называют словом «революция». Иван еще не знал толком, что практически оно означает. Было в этом слове что-то влекущее и вместе с тем устрашающее. Уже в газетах оно стало время от времени появляться, но не становилось понятнее от этого и привычнее.

Жизнь вокруг была скучной и мелкой. Но где-то есть же настоящее. Где-то же люди живут в кипении большого дела, а не тратят дни и годы только на то, чтобы не

голодать, не холодать. Наверное, надо сделать раз великое усилие, чтобы вырваться из тщеты и скуки нынешней жизни. Вот Пашка сумел сделать такое усилие...

Возможно, последняя мысль у Ивана не отлилась именно в эти слова. Отчетливо в этот день ему не раз подумалось только одно: ай да Пашка!

Поделиться с Аркадием Павловичем впечатлениями от всего пережитого Иван сумел только через сутки с лишним.

Город уже был к тому часу перенасыщен слухами о происшествии, самыми искаженными.

— Слыхал, убили военного прокурора? — сам спросил Аркадий Павлович.

— Я не слыхал. Видел.

— Как видел?

— Вот так.— Иван округлил глаза, подавшись вперед с вытянутой шеей, словно хотел заглянуть через плотный забор. Может, и в натуре в тот час у него были такие же ошарашенные глаза.

И вот уже в подробностях он рассказал все, чему был очевидцем.

— Час от часу не легче,— сердито пробурчал Аркадий Павлович.— Ты что, припутан к этому делу? Стоял сигнальщиком? Ну-ка, без фортелей!

Пришлось Ивану повторять все сначала, убеждать, что около дома военного прокурора он оказался случайно.

— Случайно...— все еще с сомнением проронил старший.— А нам с тобой даже эти случайности ни к чему. Ты никому хоть не похвастал?

— Что я — недоумок?

— Да нет, ни о тебе, ни о Пашке такого не скажешь,— тяжелодумно вымолвил батя-Аркаша.— Рано бы ему еще ввязываться в эти дела. Но вот, значит, каких ребят господа эсеры теперь начали использовать для своих операций.

Позднее, когда снова зашел разговор о партиях, Аркадий Павлович сказал:

— У каждой партии есть свой устав. Их надо прочитать, хотя не всему, что в них написано, стоит верить. Кадетский у нас недавно печатался. Прочитал? Поют складно, а на деле что? Вот и у эсеров есть свой устав. Это документ жестокий. Уж очень просто они распоряжаются человеческой жизнью. А что до тебя,— с непонят-

ным раздражением произнес Аркадий Павлович,— то не торопись, слепая баба, в баню, успеешь угореть.

И тут Ивана подхватило. Никогда еще он не разговаривал со своим наставником так дерзко.

— «Не торопись...», «Пока твое дело больше читать...» — эту песню я слышу давно. Так можно только читателем и остаться. А я хочу идти к людям, которые делают дело.

— Поди. Кто тебя держит? Но этих людей надо еще найти.

— Найду. Павлушка как-то нашел.

— Павлушка ничего не нашел. Это его нашли. Его взяла в ученики партия, в которой тебе нечего делать. Если ты изволишь меня спросить, так я тебе такой дорожки не посоветую.

— Так посоветуй другую.

— Вот я и советую: пока живи и не скреби копытом. Всему свое время. А оно нынче такое, что в стороне от драки захочешь остаться — не останешься. Очень уж вы, молодежь, горячий, нетерпеливый народ. Услыхали слово «революция», и уж не терпится: пишите в революционеры. А все делается не так. В революции как на войне. Революцию сделает не горстка отчаянных ребят, а народная масса. И тут, как в армии, каждый должен знать свое место. Воюет и тот, кто ходит в разведку, и тот, кто чинит солдатам разбитые в походах сапоги.

— Так пустите меня хоть чинить сапоги.

А за окном неведомо до каких пределов простирался глухой беззвездный вечер. Такая чернота, что сколько ни вглядывайся — ни проблеска света. Только отражаются в оконных стеклах, как в черном зеркале, своя лампа, свои глаза, свои тревоги и смятение.

— Ну вот скажи, что это за жизнь? — снова с тоской заговорил Иван.— Научи все-таки, где настоящее дело?

— А думаешь, ты один такой неприкаянный? — расстилая постель, сказал Аркадий Павлович.— Время нынче глухое. Опостылели народу порядки эти. Многим хотелось бы подробить все на куски. Свобода, революция — эти два слова на языке даже у тех, кто понимает революцию только как большую уличную драку: бей направо и налево, кто под руку попадет. Что-то должно быть. Только кто знает, какова она будет, революция, кто ее сумеет правильно понять. Ей же, кроме всего другого, еще по-

требуются жертвы. В пятом году мы попробовали заварить кашу и уже зашатался было царский балаган. Но, видишь, не получилось, балаган стоит себе. Помнишь пятый год?

— А что я тогда понимал? Когда на Кафедральной была заваруха со стрельбой, мы в ногах у людей путались. Сейчас бы я уже знал, что надо делать.

— Знал бы? — с сомнением переспросил старший.— Самоуверенности в тебе хватает.

— А с Павлушкой что будет?

— А в таких делах всегда бабка надвое сказывает: либо уйдет на нелегальное положение... либо схватят его.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Бородатый гном, фактор Рафаил Иванович, зазвал к себе в конторку батю-Аркашу.

Иван в это время находился там же, и, пожалуй, впервые ему довелось наблюдать, как умеют разговаривать с глазу на глаз двое таких, если они оба хитры, если между ними существует дружественное понимание, но обоим не нужно, чтобы отношения их видели чужие глаза.

— Есть выгодная работа,— поблескивая детски-влажными глазами, сказал Русинов.

— Старуха любила выгоду, а старик говорил...— мужицкой поговоркой отозвался Аркадий Павлович, четко выговорив скабрезную побаску некоего безымянного озорного старика.— Знаем мы ваши выгоды.

— Ну, знаешь,— тем лучше. В общем, господа с Воздвиженской хотят иметь у нас в типографии свое секретное отделение. Тот угол, где сейчас у нас стоят наборщики-акцидентщики, мы отгородим глухой перегородкой...

— Тогда там будет, как в погребе,— деловито возразил Аркадий Павлович.— А я и без того начал глазами слабеть.

Батя-Аркаша с первых слов понял, в чем суть, чего нельзя было сказать об Иване.

— Ну, перегородка может быть не вовсе глухой,— терпеливо пояснил фактор.— Можно сделать поверху стеклянную. Подвесим пару дополнительных лампочек. Тиражи у них будут невеликие; поставим туда гутенбер-

говский станок. Сами будете наборщиками, сами печатниками.

— Сами? Сколько же нас будет самих?

— Одному работать там будет несподручно, а больше двоих не потребуется.

— А кого ты мне в помощники? — помолчав, сколько требовало приличие, спросил Аркадий Павлович.

— Парень твой чем не помощник?

— Парень мой — Иванушка, да не дурачок. Его надо самого спросить.

— Спросят, когда будет надо. С вас обоих еще и подписку возьмут. Да ты что, малолеток? — начиная сердиться, продолжал Русинов.— Не понимаешь, что тут дело не в этих пустяках. Это будет строгая работа. С вами постоянно будет сидеть служивый оттуда, с Воздвиженской, чтобы и обрывка бумаги не вынесли, а гранки, сразу после того как их отпечатают, рассыпать придется.

— Ну, как, Иван? — только теперь включая в беседу своего будущего помощника, спросил Аркадий Павлович.— Послужим верой-правдой охранному отделению?

— А ты не балагурь,— болезненно помаргивая, предупредил Русинов,— за разглашение секретов они тебе язык вырвут.

— Языки рвать — законов таких нет. Не при Иване Грозном живем.

— Ну, прогуляешься по Сибирскому тракту куда-нибудь к якутам. А сзади у тебя пойдет пономарь в шинели с трехгранной свечкой.

— Тоже старо. Сейчас в ссылку пешком никого не гоняют. Возят в решетчатых, пропахших кислятиной вагонах.

Все составилось так, как предсказывал Рафаил Иванович.

В наборном цехе появились плотники и клинобородый старик стекольщик. К обычным и уже не замечаемым запахам цеха эти люди в полотняных фартуках с нагрудниками прибавили запахи своего ремесла: смолистый дух теса и свежей стружки. Дня за три они соорудили потюремному крепкую перегородку, выдолбив в кирпичных стенах гнезда для поперечных прогонов, заделав цементом боковые щели вдоль стен.

Когда вся эта работа была закончена, приехал в служебной пролетке самолично ротмистр Гратиану. Он

осмотрел перегородку, потряс плотно пригнанные в косяках двери, велел укрепить дверное полотно еще понизу и поверху полосовым железом.

После этого троим ребятам-печатникам было велено переселить на новое место пресс-станок, на котором Аркадию Павловичу с помощником теперь предстояло работать. Тут оказалось, что станину пресса невозможно протащить в узкую дверь. Едва ли Рафаил Иванович про которого говорили, что у него и сзади глаза, не мог бы этого предусмотреть. Просто мастеровой народ всегда рад создать полицейским лишнюю заминку в деле, если ее можно скудесничать безнаказанно.

Пришлось снова звать плотников, разбирать дверную коробку. Это отсрочило начало работы в секретке еще на день-два, чем батя-Аркаша с Иваном совсем не были огорчены. Предвидели, что после веселой сутолоки цеха им обоим будет не очень красно.

И действительно, работа здесь оказалась тягостной, скучной, как ходьба по пропыленному, пустынному тракту, когда не знаешь конечного этапа.

Первые документы им в набор принес жандармский унтер Акулов, человек с серым крупнопористым лицом, с глазами, разрезом своим напоминавшими тельца сытых пиявок, с крупными, белесыми слезными мешочками по обе стороны вдавленного переносья. Глаза-пиявки как бы присасывались ко всему, на чем останавливались.

В типографском деле,— печатники это заметили сразу,— их надзиратель не смыслил совсем, допуская в служебном своем рвении сущие нелепости. Подлинники для набора он выдавал им по одному листку, не считаясь с переносными со страницы на страницу словами. Набранные страницы тут же отнимал, хотя у мастера под рукой все равно остается столбец текста в гранке. Наверное, думал, что прочитать оборотный, как при зеркальном отражении, текст им так же трудно, как ему самому. Ему было невдомек, что типографщики читают свой набор так же просто, как страницу книги.

Особенно усердствовал унтер в первые дни работы. Дверь поначалу закрывал на внутреннюю задвижку. Но в их закутке не было никакой вентиляции, а унтер был нездоров грудью, порой начинал сипло кашлять, подаваясь вперед, отводя плечи, как это делают астматики.

— А службишка ваша здесь у нас будет пыльная,—

сказал ему в первые же дни Аркадий Павлович не то сочувственно, не то с иронией.— Что случится, если хоть двери будут стоять открытыми?

Молчаливо согласившись, унтер стал открывать двери, ставил в дверном проеме табуретку, садился, предоставляя тем, кто работает в цехе, целый день любоваться его спиной.

Было похоже на то, что люди в цехе не одобряли согласия Аркадия Павловича и Ивана работать в секретном отделении. Но и не осуждали тоже: кому-то все равно досталось бы это место. Не согласись они, нашелся бы кто-нибудь похуже. Да и случай такой: попробуй откажись.

Лучше бате-Аркаше с Иваном в секретке было разве только тем, что работа здесь была в одну смену. На ночь приставленный к ним унтер, кроме того, что замыкал двери на тяжелый замок, еще опечатывал их большой сургучной печатью. В первые же дни, утром, на дверях появилась карикатура: согбенный Рафаил Иванович с бородой, припечатанной ко дверной филенке сургучной печатью. Рисунок был сделан умелой рукой; так мог только Трифон Булахов, наборщик из молодых, но уже поставленный Русиновым же на сложные акцидентные работы. На рисунке было хорошо схвачено выражение лица фактора: печальные глаза и хитрая и вместе с тем добрая ухмылка.

В числе первых работ жандармский унтер дал Аркадию Павловичу с Иваном в набор какой-то список. Кроме графы для фамилии и имени в списке имелись графы: приметы и партийная принадлежность. Были в списке РСДРП-большевики, РСДРП-меньшевики, эсеры, анархисты-максималисты и несколько других партийных группировок и оттенков.

— Вот и изучай основы политической грамоты по жандармскому документу,— сказал вечером Аркадий Павлович.

Рабочий день у типографских составлял десять часов. Но и этот долгий предел часто добровольно нарушался: года два назад для всех, чью работу можно учесть, была введена сдельщина.

Для Аркадия же Павловича с Иваном работа в секретном отделении имела свой интерес. Распоряжавшийся ими унтер не желал оставаться при своем деле после шести

вечера даже пяти лишних минут. Ровно в шесть навешивал на дверь секретки замок, вытаскивал из кармана брусок сургуча, поджигал его спичкой, сопя, притискивал к косяку печать.

Иногда они покидали типографию вместе — все трое. Расходились молча, не прощаясь. Унтеру при выходе надо было поворачивать направо. Путь подопечных его лежал в ту же сторону, но они сворачивали налево и только потом направлялись своей дорогой.

Бывало, что унтер уходил из типографии один, а Куренных и Иван оставались, чтобы за особую доплату, сверхурочно сделать какой-нибудь срочный заказ. Кажется, унтеру это чем-то не нравилось. В таких случаях он некоторое время топтался в цехе, потом все-таки уходил.

В один из таких вечеров, на который у Ивана были свои планы, они зачем-то задержались в типографии после закрытия секретного отделения. Никакой сверхурочной работы Русинов им не предлагал, а Аркадий Павлович не шел домой, хотя не в его привычках было попусту тратить время.

Насколько Иван понимал, его батя-Аркаша просто пережидал, пока жандармский унтер отправится наконец восвояси.

Они спустились в машинный цех. И Аркадий Павлович встал к смывке дожидаться, пока освободится какой-нибудь кран. Иван стоял поодаль, вертел цигарку, стараясь, чтобы этого занятия хватило надольше. Он понимал, что дожидаться своей очереди у крана не минутное дело, а потом батя-Аркаша, наверное, будет мыть руки долго и усердно.

Все так и вышло: Куренных оттянул-таки время, пока унтер не спустился из наборного цеха и не прошел мимо, подозрительно скосив глаза на спины людей, обступивших смывку. Иван отметил себе,что и руки мастер моет както странно, намылив только пальцы, не расстегнув рукава блузы и стараясь не смочить руки выше запястий.

На выходе тяжелая дверь сильно толкнула Ивана, словно кто-то подбодрил его сзади хорошим пинком: на дверях только что поставили новую тугую пружину, и он не привык еще к этому. Аркадий Павлович оглянулся и, рассмеявшись, сказал:

— Что, получил? Вот усваивай понемногу, в каком родстве состоит пинок с задницей.

Почему-то он был сегодня в нечастом у него легком, брыкливом настроении, и это заставляло настораживаться.

В пиджачишке под вечер стало уже прохладно и щекотно, воздух как бы весь свит в жгуты родниковой текучей прохлады, по гранитным плитам тротуаров, медлительно крутясь, текут блеклые листья, сметаемые легким ветром в водостоки мостовой и случайные выбоины, где удастся зацепиться.

Иван любил такие осенние дни, чувствовал себя при такой погоде легко, встрепанно и смешливо.

Они молча прошли квартала два или три до того перекрестка, что был последним, если бы держали путь домой. Но Аркадий Павлович и тут не повернул налево, пошел прямиком.

— Откуда мы, куда и зачем? — спросил Иван словами затрепанного анекдота про офицера и солдата.

— Из казармы — в кабак, за вином,— в том же тоне пробурчал Аркадий Павлович. Однако тут же пояснил: — Зайдем в какую нибудь пивнуху, выпьем по бутылочке.

Это не объяснило Ивану какой-то непонятной стороны дела: в пивную им ближе и попутнее было зайти в свою, в типографскую «Ямку».

Но они прошли еще минут сорок по улицам и переулкам, попав наконец в район города, где Иван бывал редко, только по нечаянности. Оказалось, что Аркадий Павлович тянул его не просто в какую-нибудь пивнуху, а в известное и загодя избранное заведение. Эта пивная была тоже в полуподвале, такие же низкие потолки, такие же серые окна с дождевыми подтеками по стеклам, как бы плюшевым, отмякшим от пыли.

Только вход в нее был не прямо с улицы, а в глубоком, гулком, как тоннель, въезде под крыло двухэтажного кирпичного здания. Каменный пол в пивной, как в цирковой конюшне, с утра посыпали слоем опила, вечером выметали его уже грязным, перебитым с уличным песком. В подъезде и в обе стороны от него по тротуару на улице всегда светлела дорожка из опилок, выносимых из этого заведения подошвами посетителей. И не разбери-поймешь, чем в пивной сильнее пахло: влажными опилками ли, ржаными ли сухариками, всегда стоявшими на столах вместе с моченым горохом в круглых вроде пиал мисочках. Этих запахов не заглушал и коренной дух заведения — бродильно-дрожжевая кислять несвежего пива.

Желтые, как репа с исподу, светили под потолком неяркие электрические фонари.

Иван подумал: рабочему человеку только и достается посидеть в свободный час в такой пивной. Тут и вся наша утеха. Но и это, подумавшееся, не погасило в нем того светлого настроения, с которым он шел по улице, той очарованности чистым днем, который на глазах у него сегодня скатывался, как огромный прозрачный шар, в оранжевое сусло предвечерья.

— Присядем, окропим душу,— предложил Аркадий Павлович, выбирая столик.

Час и день недели были не те, когда в пивных бывает шумно и чадно. В дальнем конце зальца сидело только трое ломовиков, а на четвертом табурете возле их столика лежал гак. Так еще не выродившееся к тем годам племя грузчиков-крючников называло особый крюк с широкой и короткой подпружкой из пожарного рукава. Таким крюком чертоломы-грузчики подхватывали тюк товара и вздрючивали на спину.

Последнее это дело — работа крючников, и приписанными к ним оказывались уже только те бедолаги, которым ниже падать было некуда.

Острым глазом новичка в трактирной обстановке Иван усмотрел и уплотнил в памяти все сумрачное убожество пивной, все ее мелочи и особенно группку этих грузчиков, уже шумно о чем-то споривших, входивших в хмельной задор.

Еще Аркадий Павлович с Иваном не огляделись со света солнечной осенней улицы, еще не взялись за свои кружки, когда в пивную спустился новый посетитель.

Никогда нигде этого вошедшего Иван не видел, но, несмотря на это, почувствовал необъяснимый интерес к нему, словно предвидя неизбежное в дальнейшем знакомство, общность с ним. Юношеская психика бывает порой очень чувствительна, тонка и прозорлива.

Незнакомец коротко и пристрелочно-точно оглядел полупустой зал и, больше уже ни на что не оглядываясь, прошел к стойке, перекинулся там несколькими словами с кабатчиком и, навесив на пальцы две кружки, прошел к их столику. Тут Иван разглядел его уже коротко и отчетливо.

Пожалуй, ничего в нем не было приметного. Разве только лоб. Чистый, костяно-жесткий, со впадинкой выше

переносицы. Словно когда-то ударила сюда излетная, уже потерявшая силу пуля из охотничьего ружья крупного калибра, оставив слабо заметную вмятинку. Бровям эта впадинка придавала характерный излом. Чем-то этот человек с первого взгляда примагничивал к себе Ивана, который, сопротивляясь своему влечению, старался думать о нем неприязненно, отыскивая что-нибудь в нем такое, что могло бы не понравиться.

Но глаза, брови и лоб незнакомца как раз оставляли впечатление мужества и ума. Зато бородка, темная, с солнечной рыжеватинкой, острым мыском подпирающая чуть вывороченную нижнюю губу, относилась к числу тех, которые, как деталь служебной униформы, носили в те годы судейские и межевые чиновники и, вообще, разный преуспевающий служащий народ. На крепких плечах человека ладно лежала форменная тужурка с молоточками в петлицах — отличкой горнопромышленной администрации. В отворотах тужурки белела крахмальная сорочка того фасона и качества, которые носят, меняя через каждые два дня.

«Ты, барин, — мысленно задирал незнакомца Иван.— Я вот косоворотки ношу, так, думаешь, хуже тебя?»

Но так как это было сказано только мысленно, ответа ему не последовало. Господин в тужурке поставил свои кружки на их столик, прочно сел, повел плечами.

«Припотел баринок,— отметил себе Иван.— Куда-тось торопился. На дворе нежарко».

В зале было куда сесть кроме их столика, а этот все-таки причалил к ним, не спрося. Третьеразрядная пивная не располагала к церемониям, однако Иван был готов уже отвадить непрошеного соседа, указать ему на свободный столик.

Но как бы упреждая его, господин в тужурке коротко, чтобы вышло незаметно на чужой глаз, кивнул Аркадию Павловичу, и тот поздоровался ответно, тоже кивком.

После этого незнакомец — или знакомец теперь уже — проникающе и для первого раза бесцеремонно смотрел Ивану в глаза. Иван постарался ответить на это достойным образом, но ему мешало какое-то необъяснимое смущение.

— Ижболдинское? — отведя наконец пытливые глаза, спросил пришелец у Аркадия Павловича про пиво.— Дрянцо или можно пить?

— Нет, доброе пиво,— степенно ответил Аркадий Павлович.— Бывает хуже.

— Здесь, у Минеича, тоже бывает всякое,— чему-то засмеялся господин.— Иной раз припасет такое пойло...

Он обернулся веселым лицом в сторону содержателя пивной, сидевшего за стойкой.

Иван с детства знал порядок жизни простых людей: ни в чем, кроме труда, не проявлять крутости, не суетиться, блюсти неторопливую степенность. И потому он, медленно прихлебывая пиво, старался не опережать старших, хотя он мог выпить обе свои кружки залпом, тем более что пиво не очень любил. Но он уже понимал, что они трое встретились здесь не случайно, а по какой-то общей надобности.

Прошло, однако, минут пять или десять, пока ему начало что-то проясняться.

— Этот самый? — вдруг спросил господин в тужурке у Аркадия Павловича, кивнув на Ивана.

— Иванушкой зовут,— добродушно отрекомендовал его старший.

— Справится?

— По вашей надобности его мастерства хватит. Даже с излишком.

Господин в тужурке снова испытующе и долго посмотрел на Ивана, потом наконец отвел глаза, словно что-то себе усвоив.

— Ну а теперь за дело.

Аркадий Павлович, чего-то опасаясь, оглянулся на бражничающих грузчиков, но те вели себя так, словно в зальце никого, кроме них, и не было. К тому же от них Аркадия Павловича заслонял один из стояков, поддерживавших потолок подвала.

Он сел вольнее, расстегнул воротник блузы, потом поднял рукав и поставил локоть торчмя на стол, подавшись к собеседнику.

На предплечье у него было оттиснуто что-то из набранного днем на работе. Сделать такое при съемке корректурного оттиска наборщик может за доли секунды. Случается, даже ненароком, если рукава блузы были закатаны, на руке типографа может отпечататься ясно различимый текст.

Судя по всему, барин не знал печатное дело и потому этот нехитрый фокус-покус встретил с веселым удивле-

нием. Весь навострившись, подрагивая лицом, он читал бати-Аркашину скрижаль, делая при этом еще второе дело: достал из кармана серебряный портсигар, на ощупь выскреб из него папироску, на ощупь закурил.

Предоставив собеседнику достаточное, по его мнению, время для того, чтобы прочитать оттиск на предплечье, Аркадий Павлович снял руку со стола, и рукав у него опять легко скользнул до запястья.

— Смекалисто,— одобрительно тряхнув головой, сказал господин в тужурке горного техника.— Площадь только маловата. Может, еще на каких местах у тебя есть отрывки такой беллетристики?

— Чем могу,— сдержанно ответил Аркадий Павлович.— Весь циркуляр разверстался на четырех колонках, тут самое главное. Остальное доходите своим умом.

— А натуральный оттиск получить нельзя?

— Не взыщите, нет,— сдержанно ответил Аркадий Павлович.— Около нас безотлучно топчется жандармский унтер. Только что в отхожее место не провожает.

— Ну, что же,— согласно сказал новый их знакомый.— И то ладно. Поставь еще раз локоток на стол.

А ручища у Аркадия Павловича была крупная, крепкая и в предплечье женственно-белая, что всегда было странно видеть при его как бы вороненой смуглости лица. И сказать про эту руку «локоток» мог только человек с ироническим складом ума.

Аркадий Павлович снова занял прежнюю позицию, подняв рукав; человек в тужурке сидел и считывал с его руки строчки из жандармского циркуляра, что-то мелконько записывал себе в книжечку.

Иван, которого старшие даже не пытались вовлечь в разговор, понимал, что происходящее имеет отношение к работе на революцию, но впечатление серьезности дела не приходило, одно смущение. Даже записная книжечка, в которой незнакомец ковырял своим карандашом,— дорогая книжечка, в коже с позолоченным обрезом,— говорила, что человек получает от казны не сорок копеек за смену изнурительной работы и, значит, во всякие крамольные дела впутывается не от нужды.

Все-таки Иван был верх-палицким парнем по своему роду-племени, а в поселке у них еще не рождалось ребят, которым были бы по душе господа в крахмальных сорочках.

Прощался с ними господин в тужурке не по-людски. Просто сказал:

— Ну, пойду.— И встав, не подал руки, как того требовало приличие.

Осторожность, что ли, понуждала их так расставаться?

— А с юношей мы еще, надеюсь, встретимся,— сказал он напоследок.

Помедлив, они вышли из пивной. За столом, где пировали грузчики-крючники, теперь оставался только один из них, он спал, уронив голову на край столешницы, свесив руку до самого пола.

— А ты знаешь, что все это кабатчик видел? — сообщил Иван бате-Аркаше по дороге.— То и дело посматривал в нашу сторону.

— Минеич? — совсем не обеспокоившись, сказал Аркадий Павлович.— Ну, у Минеича глаз не вредный.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Рождественские сочельники запомнились Ивану еще с детских лет, еще с той поры, когда он жил в Верх-Палице, у отца.

Были эти сочельники из года в год одинаковыми в семьях окраинной мастеровщины, изо всей зимы отличными днями, зябкими, смиренными и печальными. Кажется, даже погода на такие дни выпадала одинаковая — серые изморозные дни, в которые полный дневной свет приходил всего часа на четыре.

Хозяин дома, в котором жили Куренных с Иваном, степенный и богобоязненный фельдшер, в сочельничный вечер выходил на двор уже принаряженным, примаслив прямой пробор на голове, расчесав бороду надвое,в виде тетеревиного хвоста. Он расхаживал по двору в расстегнутом полушубке и без шапки, кропя все дверные проемы, даже двери пустующих конюшен и всякие темные углы святой водой из круглой фарфоровой чашки с помощью бритвенной кисточки. Для надежности на всех притолоках он ставил мелом косые кресты. В простонародье считалось, что этот ритуал на целый год преграждал доступ во все двери разной чертовщине, любой нечисти.

И в полуподвал к Аркадию Павловичу домохозяин не забывал заходить со своей святой водой и каждый раз брюзжал на то, что его жильцы не соблюдают обычая всех православных возжигать в сочельник с утра лампадку в красном углу. А Аркадий Павлович каждый раз отвечал на то, что бог с них не взыщет. Уж он-то знает, что жителям в этом полуподвале просто некогда сходить в москательную лавку за деревянным маслом. Можно бы, конечно, принести из типографии пузырек минерального масла, но ведь еще неизвестно, как такой заменитель понравится господу.

Так было из года в год. Но на этот раз рождественский сочельник прошел у Ивана совсем иначе.

Накануне вечером Аркадий Павлович словно ненароком, словно речь шла о самом обыденном, спросил:

— Ты на праздники не думаешь кое-куда съездить?

— Съездить? — удивился Иван.— Куда же, по какой оказии?

Съездить куда-то на праздники было для него недоступной роскошью и некуда было ему ехать, и, вообще, на своем веку он еще города ни разу не покидал, если не считать редких отлучек летом куда-нибудь в окрестные леса с ночлегом у костра.

— Съезди хоть на Медный рудник. Федор Иваныч тебя приглашает.

— Что еще за Федор Иваныч? — недоверчиво спросил Иван.

— А тот товарищ, которого ты видел в пивной у Минеича... Ну, как, съездишь? Для дела надо.

— Если для дела...— повторил Иван, уже размышляя о предстоящей поездке за какой-то надобностью, еще непонятной.— На Медный рудник езда известно какая: на своих двоих. В сапожонках по морозцу.

— Подсядешь на попутную подводу. И поезжай в валенках.

— В моих-то дерьмоступах?

Аркадий Павлович сказал, что если идти, так лучше всего сегодня же под вечер, чтобы иметь в запасе время, не слишком припозднившись, добраться до Медного. Иван понял, что насчет его явки у них с тем человеком, с Федором Иванычем, все заранее условлено. И то, что Аркадий Павлович говорил «смотри сам» и «я тебя не посылаю»,— все это обычные повадки бати-Аркаши, его

манера разговаривать всегда неприказательно, не напрямик.

Под вечер серая морозная хмарь истаяла в воздухе, идти было хорошо. Не очень крутой мороз, но и такой, что не позволяет идти вразвалку, а велит поторапливаться. Перистые редкие облака над дальним лесом в закатном свете стали розово-перламутровыми. Неподвижные, как сталактиты, встали тут и там над крышами окраинных домишек дымы.

Провожая Ивана на Медный рудник, Аркадий Павлович был грустен и немногословен еще больше, чем всегда. Он сказал только:

— Федор Иваныч служит там управляющим рудника. Дом ты найдешь легко: в поселке он самый заметный. Лучше по дороге никого ни о чем не спрашивать.

Дом управляющего в поселке Иван нашел, действительно никого не спрашивая. Кирпичный, оштукатуренный по кладке, он заметно выделялся среди разбросанных в беспорядке серых бревенчатых изб.

К парадному не вело даже следа. Значит, в эту хоромину входили со двора.

Иван вошел, поднявшись на три ступени каменного чисто разметенного крыльца, в заднюю прихожую, в надежде встретить кого-нибудь из прислуги, которая пойдет докладывать хозяину.

Но в прихожей не оказалось никого. Из кухонных дверей выглянула старуха в повойнике. Она промычала пришедшему нечто совсем невнятное, махнув рукой на другую дверь.

У старухи получилось что-то вроде: о-и-и о-а-ы. Иван с трудом сообразил, что это мычание следует понимать: проходите в комнаты.

Уже позднее, проживя в доме управляющего три дня, и потом, бывая здесь еще раза два или три, Иван узнал, что у Федора Иваныча нет никаких лакеев, а эта старуха — кухарка — вся его прислуга. Да и старуха оказалась полунемой.

На языке простонародья в Верх-Палице и других горнозаводских поселках края людей с таким пороком речи, таких ущербнокосноязычных называют особенным словом «немтой». И вовсе не по случайности у Федора Иваныча оказалась в домоуправительницах эта «немтая» старуха. Наверное, расчет тут был и в том, что если бы кому-то

понадобилось выведать у старухи кухарки об образе жизни ее хозяина и о том, кто у него бывает, допросчику ничего бы не удалось понять из ее толкования.

Позднее Иван убедился, что и дворников при доме Федор Иваныч не держит, а всю расчистку двора и площадки перед фасадом утрами, после ночных снегопадов, делает сам, выходит еще впотьмах буравить, разгребать снежные завалы, работает самозабвенно, азартно, неистово. Возвращается домой взбодренным, потным, чувствуя, как все мускулы у него все еще поигрывают зарядом здорового труда.

Это Ивану понять было легче всего другого: он и сам любил такую зимнюю утреннюю разминку.

Впоследствии он узнал, что Федор Иваныч вышел из семьи златоустовского прокатчика, то есть по роду-племени он такое же заводское кудло, как сам Иван. Только он сумел как-то пробиться в Горное училище, закончил его и вот вскарабкался по служебной лестнице так высоко, как только и может человек, если родитель его был не отставной генерал или крупный горнозаводчик, а всего только мастеровой в кожаном фартуке и вачегах со стальными наладонниками.

Когда Иван узнал эти подробности биографии Федора Иваныча, к нему пришла догадка, что и вообще свою карьеру этот человек сделал не для самой карьеры, а больше потому, что в этом состоянии ему удобно было делать еще и вторую, скрытую работу.

Но все это было позднее, а пока Иван, не очень уверенный в себе, вошел в ту дверь, куда ему указала «немтая» старуха, и там оказалась комната, освещенная только голубовато-серым светом сумерек, печальным и смиренным. В такие зимние вечера природа отпускает людям Севера не верхний свет небес, а только отраженный холмами кристаллического снега за окном. Не будь там этих отлогих снежных завалов, в комнате была бы совсем непроглядная темень.

Такой же неосвещенной оказалась и вторая комната, через которую прошел Иван, стараясь на что-нибудь не наткнуться, и только в третьей через полуоткрытую дверь был виден свет. Иван остановился на пороге, постучал костяшками пальцев.

Только тогда Федор Иваныч поднял голову:

— А-а, Садко богатый гость! Драсьте.

Комната была освещена сильной керосиновой лампой. Федор Иваныч сидел за столом и резал по дереву. Несколько плашек-заготовок лежало у него слева, на краю стола, а справа — инструмент, хороший набор штихелей, аккуратных, с одинаковыми рукоятками.

Он резал по узкой планке какой-то растительный орнамент, короткими движениями поворачивая планку под неподвижно лежавшей правой рукой со штихелем, так что двигались у него, и очень проворно, только кисть и пальцы. И это не мешало ему говорить:

— Садись. Там или тут, где удобнее.— Стружку из-под штихеля он небрежно сметал на ковер.— Ты в сапогах? Ноги подмерзли? Тогда сними сапоги, надень бахилки, они у печки в углу.

Ноги у Ивана действительно подмерзли, и он почувствовал это только сейчас, в тепле. Он нашел возле печи то, что Федор Иваныч называл бахилками; они оказались просто валеными опорками. Сел к столу, взяв в руки еще не обработанную плашку. Древесина была не простая, каких-то ценных пальмовых пород, совсем бесслойная, мягкая, бледно-апельсинового цвета.

Иван и раньше видел работу резчиков по дереву. Его давно привлекало это занятие, хотелось попрактиковаться самому. Сейчас он взял уже вырезанную какую-то декоративную накладку, принялся чистить ее лоскутком наждачной бумаги, и это совсем избавило его от неловкости, с которой он вошел сюда. Набравшись смелости, он даже спросил, для какой поделки назначена вся эта резьба?

— А вот! — Федор Иваныч, перегнувшись назад, достал с этажерки несколько листов с эскизами.— Хочу соорудить себе книжный шкаф. Чтобы единственный в своем роде. Основу, всю простую работу сделает мне один наш здешний мастер. Облицовка же, все художественные бирюльки — мои.

Закончив наконец обрабатывать свою плашку, Федор Иваныч предложил перейти в другую комнату, чтобы там пообедать.

Он шел впереди, неся лампу; бородка его, при другом свете выглядевшая вовсе не светлых мастей, теперь освещенная снизу, казалась серебряной. Молодая, задорная, курчавая бородка. И живые молодые глаза. Иван безотчетно проникался все большей симпатией к нему.

На обед старуха принесла грибной суп и гречневую

кашу — все постное, как принято у людей, не позволяющих себе нарушать рождественский пост.

— Она у меня ведьма, истово верующая,— юмористически сказал по этому поводу Федор Иваныч.— Всю неделю кормит меня этим: грибной суп, кисели. Кисель овсяный, кисель гороховый. Мне это говенье нужно, как попу гармонь, но тут ничего не поделаешь. Властная старуха.

Когда кухарка убрала со стола, он сказал:

— Только мы этот старухин деспотизм все равно разрушим.— Из нижнего шкафа он достал бутылку хереса и кусок языковой колбасы, завернутый в бумагу, плутовато пояснив: приходится кое-чем наставлять свой рацион. Учись жить, юноша. Контрабанда любит смелых.

Вино понравилось Ивану. Оно было почти совсем несладкое, просто незнакомо-вкусное, с запахом каких-то нездешних, южных трав. Язык и все во рту от него делалось как бы шелковым. И пил Федор Иваныч как-то совсем по-своему, небольшими и редкими приемами, не делая при этом никаких глотательных движений.

— По-господски пьете, не по-нашему, — заметил Иван.— У нас мужики пьют размашисто и много, не пьют, собственно, а халкают.

— У кого, «у нас»?

— У рабочего люда.

— Пожалуй, не так,— наставительно сказал Федор Иваныч.— Рабочие пьют, в общем-то, не больше, а меньше, чем разная знатная шваль. И я даже не скажу тебе, что лучше было бы совсем не пить. Ничего человеческого чураться не надо. Надо научиться пить не одурманиваясь. И без этого,— он презрительно кивнул на фигурную бутылку на столе,— у нас придумано многое, чтобы одурманивать рабочий люд.

Иван встал — размять ноги. Они все еще жалобились на непривычный двенадцативерстный переход по жесткой зимней дороге. От выпитых двух рюмок или от опрятного тепла изразцовой печи и уюта управительских комнат, а скорее от всего этого вместе он отмяк и подобрел ко всему на свете.

Он попросил разрешения покопаться в книжных шкафах.

— Пожалуйста,— небрежно ответил Федор Иваныч.— Будь как дома.

Книги в шкафах пристально поблескивали золотом тиснений на корешках, казалось, смотрели на человека живыми глазами. Было много классики и другого незнакомого в мягких обложках, уложенного стопками на нижних полках, с видимым расчетом, чтобы не сразу попало в чужие руки. В этом Иван копаться не рискнул.

— Богато тут у вас,— пробормотал он.

Книги пахли упоительно и покойно, как бы чуть горошковым перцем и человеческой мудростью. Вдыхать их запах было еще приятнее, чем запах того вина.

— Сказать вам, что я подумал, когда мы разговаривали в первый раз тогда, в пивной?

— Совершенно обязательно.

— Нет, не о вас. Подумал тогда: когда выйду в люди, буду носить хорошие полотняные рубашки. А сейчас хотел бы понемногу накапливать книги. И переплетать их стал бы сам.

— А это что значит: выйти в люди? — улыбнувшись только глазами, спросил Федор Иваныч.

— Это первым делом значит жить достаточно. Не богато, этого мне не надо, а только чтобы без нужды, чтобы не весь век на одной картошке-стукалке сидеть. И чтобы никакой пес не старался мне показать, что я хуже его. А те, кто действительно лучше меня, чтобы поучились с этим не выпяливаться.

— Немалого хочешь,— серьезно сказал Федор Иваныч.— Откровенно сказать, у тебя довольно широкая программа. Человечество бьется над этим веками и очень медленно приближается к целям, которые ты ставишь. И, может быть, еще очень не скоро придет к ним. Конечно, надо переламывать человеческую натуру, каждому учиться быть человеком среди людей. Никто не должен сметь даже в глубине души желать себе больших прав, чем права для всех и каждого.

Но это, пожалуй, второй и пока отдаленный этап. Первый же — бороться за приблизительно равные экономические возможности для всех. Заметь — приблизительно равные, чтобы каждый, даже если он большой шишкой будет, получал ненамного больше, чем остальные. А совершенно равные,— не знаю, будет ли это когда-нибудь. Насчет картошки-стукалки это вы изволили верно заметить...

За весь вечер он впервые сказал Ивану «вы», и тот

заключил из этого, что, кажется, Федор Иваныч попал в свой привычный тон беседы. Наверно, ему нередко приходится где-то спорить, рассуждать, отстаивать свои взгляды. Только где это происходит, среди каких людей? И почему он расходует порох на меня одного?

— Правильно,— продолжал Федор Иваныч.— Начинать приходится с этого. Нельзя терпеть, чтобы одни весь человеческий век прозябали в бедности, другие — жили в роскоши. Но одно только экономическое приблизительное равенство не стоило бы той большой крови, которую потребует...

— Революция,— проронил Иван то единственное слово, которому собеседник, замешкавшись, пытался найти синоним.

— Да, революция. Допустим, мы сумели бы после нее более или менее справедливо поделить все блага жизни поровну на всех. Но тут обязательно в дело вмешается наша вредная привычка к собственности. И она долго еще после одного или нескольких, — это уж как получится,— переворотов в общественном устройстве будет мешать и вредить человечеству... Ты сказал: выйти в люди, стать человеком. Это можно сделать, оставаясь совсем неимущим. В известном смысле ты должен быть счастлив тем, что гол как сокол.

— Ну, вам-то это легко говорить,— возразил Иван.

— Да, и без всякой фальши. Все, что ты видишь, это ведь не мое. Не знаю часа, в который мне придется сдать это все какому-нибудь другому собственнику. Знаю только, что такого часа не миновать. Даже одежду, возможно, придется сменить на другой гардероб, в котором не найдется полотняных сорочек. А пожалею разве только о книгах. Запомни, человек свободен только тогда, когда на нем не висят ни гнет бесправия, ни лишняя собственность, ни груз предрассудков.

Бутылка, просвеченная лампой, все еще стояла на столе. В золотистой жидкости крупно играли искры — узелки света.

— Хочешь еще? — спросил Федор Иваныч, касаясь его крупной рукой.

— Нет.

— Почему?

— Теперь уж не так вкусно будет, да и голову дурманить неохота. Этак и не поймешь, почему вы со мной

так открыто разговариваете. Вы же совсем меня еще не знаете?

— Знаем,— серьезно возразил Федор Иваныч.— Аркадий Павлович сказал про тебя: «Можете с ним разговаривать как со мной». А ему мы доверяем вполне.

— Все-таки... Дела рисковые.

— О рисковых, как ты говоришь, делах речи еще не было. Об этом потом, возможно, завтра.

Либо утомившись уже всей предыдущей беседой, либо сожалея, что сказал, может быть, лишнее, Федор Иваныч стал теперь говорить отрывочно, рублено, подчеркнуто деловито. И Ивану оставалось только попадать ему в тон.

Он спросил все-таки, желая показать, что тоже разбирается в политических направлениях:

— А кто это мы? РСДРП?

Вошла старуха, прервала их беседу, которая и без того начала пересыхать. Она что-то прокурлыкала на своем индюшачьем языке.

Иван ничего не понял.

— Готова баня,— пересказал ему Федор Иваныч.— Сегодня как-никак банный день. Хочешь пойти вымыться?

— Можно бы. Да нет белья.

— Найдем тебе белье.— Он принялся копаться в ящиках комода.

Баня стояла недалеко, на задней межени управительского двора: только пробежать саженей восемь по узкой траншее, прорытой в сугробах. Обыкновенная домашняя баня, какие сооружались при каждом домишке на городских окраинах. Только немного просторнее и почище тех, какие он видывал. И отопительное приспособление в ней было не таким, как везде. Поверх обычной топки был сооружен какой-то замысловатый шкаф из листового железа с присобаченным сбоку раструбом, который можно было повернуть в любую сторону. Поддавать жар следовало в форточную дверцу спереди и уже потом, взлезши на приполок, вдоволь прогреваться, блаженствовать в потоке сухого, перегретого, или влажного, по желанию, пара.

Нетрудно было догадаться, что все это — выдумка Федора Иваныча и сделано по его чертежам.

Выходя из бани, Иван все еще думал, что для Федора Иваныча и резьба по дереву, и постройка такой бани, и всякие другие штучки-забавы лишь упражнение беспо-

койного, тароватого на техническую выдумку ума, все вокруг себя желающего усовершенствовать.

После бани в той же комнате они пили чай. Для Ивана на спинке стула был приготовлен халат, покойный, неслышный на плечах, пахнущий хорошим табаком.

— Хочешь, скажу, о чем ты думал сегодня здесь, и, может быть, не раз? — спросил Федор Иваныч.

— О чем?

— Полагаю, ты думал: живут же люди! Угадал? Ну, угадать это вовсе нетрудно. Я сам когда-то был парнишкой, учился в горном и тоже, глядя на тех, кто живет в благополучии, думал: живут же люди... Потом у меня это прошло. Пройдет и у тебя.

Пока они благодушествовали за чаем, старуха кухарка все топталась в комнате, что-то ворча. Федор Иваныч отмахивался от нее теми ленивыми фразами, которые произносят, вовсе не думая ни о чем: ладно и ну тебя.

— А ведь она любит вас,— сказал вдруг Иван, когда старуха вышла.— Предана вам по-настоящему.

— Может быть. И что из этого? У нас принято ценить преданность делу, а не личную кого-то кому-то. Личная преданность часто оказывается просто лишней.

— Да нет! Как же с ней, случись с вами то, что давеча было сказано? Ну, насчет смены гардероба.

— Легко представить себе, что будет. Она — бобылка. Ей деться некуда. Но мы живем в жестокое время. Время кануна еще более жестоких времен.

Утром Иван проснулся, не сразу поняв, где находится.

В доме стояла тишина. Не та обычная, в которой, если прислушаться, все же услышишь какие-нибудь да звуки, пусть очень слабые, и не поймешь что значащие. Нет, тут была тишина совершенная, в которой слух рождает звуки мнимые. То вдруг прислышится, что где-то дрожит тончайшая струна, то вдруг зажужжит под потолком маленькая муха. Хотя откуда зимой взяться мухе?

Прислушиваясь к этой тишине, Иван понял, что он в доме один.

Времени было около девяти.

Определять время без часов, которых, кстати говоря, у него никогда не бывало, Иван умел с точностью до четверти часа. Может, это умение само собой приходит к

каждому, кто вырос в таком селении, как Верх-Палица, где крыши приземистых домишек не закрывают от глаз горизонт с его восходами и закатами. Впрочем, в рождественский сочельник, в пору самых коротких дней, определить время и совсем нехитро. На дворе был как раз только-только созревший рассвет белесого изморозного дня.

День прошел так, как он может пройти у человека, оказавшегося в пустом чужом доме: скука, ожидание, недоумение — как я тут оказался? Старуха кухарка показывалась в комнатах только для того, чтобы принести завтрак и убрать посуду. Потомившись некоторое время в одиночестве, Иван зарылся в книжные шкафы.

Федор Иваныч приходил за день два раза, но с Иваном ни о чем не успел поговорить. Первый раз он забежал, только чтобы взять из ящиков стола в кабинете какие-то бумаги; во второй раз, едва переступив порог, снял в передней шубу и надел поношенное рабочее полупальтишко.

И только перед сумерками он появился дома снова, переодевшись в домашнее, вольно расположился в полукресле у стола и обстоятельно, с каким-то особенным вкусом, с каким он брался за любое дело, принялся набивать машинкой папиросы.

Иван подумал, что сейчас бы самое время прямо спросить, чему он обязан приглашением сюда.

— Есть в некотором роде предложение тебе,— медленно ответил Федор Иваныч, выстреливая в коробку очередной папиросой.— Но об этом потом, в свой час. А теперь — пора обеда. Пелагея Ефимовна, слышишь, гремит на кухне чашками-ложками. Потом мне придется еще сходить на рудник часа на два. А вечером мы махнем на охоту.

Когда встали из-за стола, Федор Иваныч сказал:

— Придется тебе потрудиться. Надо набить патроны...

Он достал из одежного шкафа два ружья, и одно из них было дорогое двуствольное, второе попроще, но тоже из таких, какого Ивану никогда еще не приходилось держать в руках.

Затем выставил шкатулку с припасом и охотничьими принадлежностями, объяснил, как все делается, и ушел.

Просто думать, оказывается, составляет тоже работу, беспокойную, трудную и интересную. А то, что делают

руки,— пустяки в сравнении с этой работой. В охотничьих делах Иван немного разбирался, как многие верх-палицкие ребята, где ружья, правда самые дешевые, были у многих, промышлявших охотой в свободный час. Но при этом считалось, что снаряжать патроны — дело, требующее не умения, а только некоторой сноровки. Все охотники в поселке брали порох на заряды, полагаясь только на глазомер. А Федор Иваныч показал Ивану, как надо брать порох аккуратной мерой, говорил, что даже спрессовывать заряд в патроне надо с определенным усилием и определенным же порядком, а не как попало укладывать на пыж картечь.

Теперь, возясь с набивкой патронов, Иван дивился тому, как он сам, своим умом, не дошел, не понимал, что положи немного больше пороха, чем нужно, и ружье будет без толку разбрасывать заряд. И так во многом. Слишком часто люди делают неумно, по-дикарски то, что нетрудно делать разумно, правильно.

А ведь есть же люди, у которых стоило бы многому поучиться. Этот же Федор Иваныч с его тысячью и одной мелкими хитростями во всяком деле, за которое он бы ни взялся. Человек, делающий с выдумкой даже все свои мелкие бытовые дела вроде носорожьих нашивок на валенки, вроде его резьбы по дереву. А кроме того, завел у себя в поселке местную электростанцию, не зависимую от городского электричества, привез и поставил двигатель «Кpослей» с генератором. Об этом Федор Иваныч рассказывал еще накануне вечером. Правда, с электричеством у него еще не ладится: лампочки, где они уже подвешены, то сгорают от слишком сильного накала, то светятся, как огонек-моргалка.

— Вот и день прошел,— покойно, как говорят люди в сумерках, сказал, входя в комнату, Федор Иваныч.— Как тебе здесь пожилось, что за день передумалось?

— Передумалось,— всего и не перескажешь.

— А самое важное впечатление дня?

— Самых важных не одно, а два. Первое, хорошо мне, конечно, у вас. А второе... Я не знаю, как это сказать, чтобы складно и точно. В общем, я чувствую себя, как лягушка в мягком кресле. Нет, дело не в непривычном обиходе жизни. Это бы не велика беда. Уйду завтра, и спасибо за доброту, и не взыщите, если что не так. Это, надеюсь, скоро забудется. Не забудется, что вы застави-

ли меня почувствовать всю беззащитность свою, что ли. Вот насмотрелся я на все это,— Иван кивнул на шкафы с книгами,— а вернусь домой — все покатится по-старому...

Федор Иваныч, протянув руку через стол, прибавил в лампе свет.

— А что делать? — с мужественной печалью сказал он.— Кто виноват, что нас с тобой угораздило родиться в такое мрачное время? В такие годы, когда даже молодость, самая светлая пора жизни, обездолена, омрачена социальной неправдой. Но что до меня, если бы я имел право выбора, я выбрал бы как раз эти годы. Потому что скоро нам будет на что посмотреть. Предчувствую, что скоро развернется такой кинематограф...

— Это я слышу не первый раз,— нетерпеливо сказал Иван.— Скоро-де разразится революция.

— Тем лучше. Это только значит, что теперь уже мало кто не чувствует ее дыхания. Надо понять: самая большая несправедливость нашего времени в том, что у человека отнято право учиться. Самодержавие угнездилось на суку народного невежества, зачем оно станет его рубить. А у человека есть неутолимая потребность познания. И твоя жалоба на беззащитность — выражение ее в наших условиях. Ты хотел бы все вокруг себя понять, а так нельзя. Познание жизни — как рубка леса: надо валить одну лесину за другой и возле каждой изрядно согреться. Все путаники у нас потому и сделались таковыми, что хватались за многое, одно за другим, без разбору. У Чехова в каком-то рассказе герой говорит: мне, вероятно, на роду написано ничего не понимать. Но ему, бедняге, это простительно; он интеллигентный хлюпик, праздный помещик. А ты — рабочий парень. Рабочий класс должен иметь ум ясный, собранный как бы в пучок света.

Федор Иваныч умолк, глядя на коронку света в тонко сипящей лампе. Возможно, он подумал: не довольно ли разговоров в таком духе. Серьезный разговор — черствая коврига, и от нее не следует откусывать полным ртом.

Вечером, когда подобру пора бы уже ложиться спать, Федор Иваныч сказал:

— А ведь мы с тобой собирались еще пойти пострелять.

Уловив недоуменный взгляд Ивана — не поздно ли? — он добавил:

— Да тут, недалеко, подсидеть волков на окраине поселка.

И пояснил: нынешней зимой по окраинам житья не стало от волков. Звери стаями приходят ночью в улицы, шарят по хлевам, бывает, утаскивают овец.

Он заставил Ивана надеть собачью полудоху, сам надел поношенное, городского покроя пальто, перепоясавшись цветастой мужицкой опояской.

Иван вышел на крыльцо и даже хохотнул от удовольствия. Такой искристый, спиртово-чистый стоял морозец на дворе, и так хорошо ему было в этой дохе.

Пелена облачности к вечеру стала тоньше, только над горизонтом протянулась гряда облаков, и луна над ними виднелась нерезко, как небольшая тыква на пожухлой плети, на осеннем огороде под слоем кристаллического инея.

— У вас тут всегда такая тишина? Ни звука вокруг,— спросил Иван.

— Что ты? — как бы издалека отозвался Федор Иваныч.— Карьеры наши в этой стороне, совсем близко, бывает, что в улице матерки слыхать. И всяких других звуков довольно. А иногда еще породу рвем. Бывает, грохнет так, что, если дело весной, с крыш снег сползает.

Потом улица кончилась, дальше пошла стылая молочная мгла без видимой границы между небом и землей, между тьмой и светом. Только в полуверсте виднелся одинокий огонек в ночи.

Охотники добрались до одинокой избы об одно оконце, мерцавшее издали тем, кто шел сюда со стороны поселка.

Федор Иваныч постучал в оконце; из избы вышел мужик в одной рубахе, надетой по-татарски — распояской,— и в валяных опорках.

— Ну, мы посидим у тебя на сеннике,— сказал Федор Иваныч, должно быть, облюбовавший этот охотничий скрадок еще днем.

— Посидите, попужайте, кто побежит,— разрешил хозяин двора.— Только лешего ли вы увидите.

— Нам лешего не надо.

— А волки, они не дурее нас с тобой. Они как-то узнают, когда и где охотники их окарауливают. Ты вот табак подай сюды и спички,— требовательно сказал хозяин.— Со спичками я вас на сарай не пустю.

— Да нету у нас при себе ни табаку, ни спичек. Не

взял ничего такого: знаю, что ты по этому поводу сна лишишься.

Охотники полезли по шаткой стремянке на сарай. Иван вспомнил, как он впервые увидел Федора Иваныча в городе и каким барином он ему тогда показался. Как-то умеет этот человек в городе в соответствующем тому обществе быть интеллигентным, независимым, знающим себе цену, а здесь — простым, свойским с этими людьми. Вот и этому надо учиться: в самой различной обстановке и среде быть таким, как того требует случай.

В охотничьем скраду лишку не разговаривают. Кто этого не знает? И они только изредка перебрасывались отрывочными замечаниями, и этого было все же достаточно, чтобы одному чувствовать, о чем думает другой.

Сколько прошло времени в этом ожидании волков, трудно было определить на глазок ночью, когда то проваливаешься в дрему, то опять возвращаешься к полной ясности сознания. Стожары в вызвездившемся небе заметно переместились. Охотники собирались было уже уходить, когда на дороге показались волки.

Звери шли по дороге растянутой стайкой, тугой напористой кавалерийской рысью.

— Вот печенеги,— полушепотом пробормотал Федор Иваныч.

И правда, странное впечатление славянской древности порождала такая ночь, и поселение, уснувшее в снегах, и звери, врывавшиеся в него, как дикая конница кочевников.

— Секи вожака,— азартно прошелестел Федор Иваныч в ухо Ивану.

А где тут вожак? Догадавшись, что вожак должен скакать первым, Иван выждал, пока звери поравнялись с сараем, прицелился с необходимым упреждением и даже не услышал выстрела. Увидев, что зверя перебросило через голову, что волки, бежавшие следом, принялись его рвать, выстрелил еще раз в эту серую груду, закипевшую на снегу.

Странно все-таки, что своих выстрелов в этом азарте, сразу смахнувшем с него сонливость, он все-таки и не слыхал. Слышал, как рядом дважды кашлянула одностволка Федора Иваныча, выстрелы на морозе всегда звучат приглушенно и как-то харкающе. Слышал, как хлестнула по дороге картечь, когда он разрядил стволы

уже неприцельно, после того как зверей разметало в стороны от их свалки и они бросились обратно в степь. А своих выстрелов как бы и не было.

Сидя на пятках, Иван закрыл ружье, и щелчок замков прозвучал теперь очень отчетливо и сочно.

Они спустились с сеновала. В избе опять засветилось маленькое оконце, и мужик вышел теперь одетым в зипун, но с непокрытой головой и все в тех же опорках на ногах.

Волков на дороге было три головы, теперь мертвых.

Федор Иваныч спросил хозяина двора, возьмется ли он снять со зверей шкуры.

— Можно,— согласился мужик,— только две моих, одна твоя.

— Пусть будет так: все три твои,— небрежно сказал Федор Иваныч.

— Еще лучше,— подхватил мужик.

Утром Ивана разбудил заполнивший весь дом теплый и благодатный шанежный запах.

Старуха накрыла на стол так, словно сесть за него должны были не двое, а человек двенадцать.

После завтрака Федор Иваныч долго сидел в своей комнате и что-то писал, а Иван поставил стул между двух раскрытых дверей книжного шкафа.

Читал он не заправски, как делал бы, имей на это достаточно времени; брал одну книгу, прочитывал две-три страницы, ставил на место, брал другую. Было так, словно он стоял на крутосклоне горы, где пробивались из-под земли сразу несколько родников, и он отведывал пригоршнями по глоточку от каждого, стараясь продлить удовольствие, и не желая погасить чувство здоровой жажды, и принимая, как первый, каждый последующий глоток.

Хозяин дома в своей комнате перестал шелестеть бумагами, со стуком вбросил на место ящик своего письменного стола, щелкнул ключом, вышел к нему.

— Ну, что же, побеседуем о делах,— сказал он, щурясь и помаргивая, как это делает после письменной работы каждый, кому пора уже носить очки.— О деле, которое тебя ищет.

— Так, без предисловия?—невпопад спросил Иван.

— Предисловия у нас были. Целых двое суток предисловий. Или даже больше. Если ты не против, примем

такую методу беседы: я буду говорить, каким условиям должен отвечать наш кандидат, ты взвешивай, насколько можешь им соответствовать.

Как бы рассердившись на себя, что не нашел нужного тона разговора, он продолжал сухо, служебно, твердо: — В общем, так: нам нужен человек. Он должен быть типографом, хорошо знающим и наборное, и печатное дело. Дерзкий и смелый человек. Свободный от семейных обязанностей. Человек, которому нечего терять...— с силой и как бы с облегчением, что главное сказано, закончил Федор Иваныч.

— Я понял,— медленно сказал Иван.— Нелегальная типография...

— Можешь не отвечать немедленно. Конечно, твое дело такое, надо твердо обдумать.

— Нет, зачем же,— возразил Иван.— Я отвечу сразу. Только не взыщите, если не так складно буду говорить. Не взыщите потому, что с этого дня вся моя жизнь, возможно, приобретет... ну, новый смысл, что ли. Дерзкий и смелый человек... Дерзко и смело было с вашей стороны мне это так напрямик предложить.

— Тебя ведь уже проверяло жандармское управление, когда допустило к работе в секретке. Мы предпочитаем доверять человеку. С теми же, кто обманывает наше доверие...

— Знаю, этих вы строго наказываете.

— Не то и не так,— поправил его Федор Иваныч.— «Наказание» — не то слово. Даже предателей мы не наказываем, мы защищаемся от них. Тут есть разница во внутрипартийном порядке и у нас, и у эсеров. У них даже местный комитет может принять решение лишить предателя жизни. Тут же персонально указывают, кому это поручается. И уничтожают протокол.

— Тогда зачем его вообще писать? — поинтересовался Иван.

— А и действительно, зачем,— усмехнулся Федор Иваныч.— Но у нас речь идет о другом. В революционной борьбе партий всегда используется оружие двух видов: типографский валик и маузер. Мы ставим на первое место валик, они — пистолет. Должен ли я тебе говорить, что типографский валик как оружие не проще маузера?..

— Может, перейдем к делу? — прервал его Иван.— Где? Когда? Что у нас для этого есть? Кто со мной еще?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Когда едешь в вагоне третьего класса, нельзя требовать каких-то особенных удобств и не приходится выбирать соседей по купе.

Соседи, впрочем, за дорогу сменились раза три. Ночью Аня сквозь сон слышала, что кто-то садился с ней рядом, кто-то выходил. Она уснула, привалившись головой в уголок, на свой тючок, и часа на четыре перестала слышать тот тяжелый запах — пыльный, олифяный, карболковый, который поверг ее в такое уныние и тоску, когда вечером она вошла в вагон.

Проснулась, когда за окнами светало и уже можно было различить мраморную ровень бурых весенних лугов с прожилками еще не сошедшего там и тут снега, зеленоватые стволики бедных, смиренных осинников, облачно-плотные кусты вербняка, опушенные золотистыми, нежными соцветиями.

Вербу, весеннюю, первой пробуждающуюся от зимнего сна, Аня трогательно любила и, где было можно, всегда весной ставила на стол веточку вербы в стакане.

Вид вербовых соцветий за окном вагона привел Аню к воспоминаниям о том времени, когда она жила в угрюмом, заброшенном селе Вятской губернии в первый год после окончания учительских курсов, а потом и об уездной гимназии, о детстве.

Отец служил в управе письмоводителем, пока не был изгнан со своей должности «за слабость», которую с цинической иронией называли еще: русская болезнь, а если попросту — за пьянство. Мать — измученная нуждой, заботами и ранними болезнями женщина. Сколько раз в прочитанных ею книгах Аня встречала судьбы семей, похожих на ее семью. Порой ей казалось, что и судьба ее семьи не пережита, не видана своими глазами, а только вычитана в какой-то книге.

В гимназии их было несколько девочек, обучавшихся на казенный счет. И начальница гимназии, немка с холодными и змеинонеподвижными глазами, которую девочки за ее привычку держаться по-фельдфебельски прямо прозвали «аршин с четвертью», часто напоминала им, что

учатся в гимназии они, собственно, из чьей-то милости.

Аня дотянула гимназический курс до конца, и это удалось нелегко. Таких, как она, учившихся на казенный счет, в классе было немного, всего шестеро из тридцати. Остальные были из состоятельных семей. И они с той жестокостью, которая бывает свойственна детям, растущим в холе и неге, обижали своих сверстниц-«казенниц». Как-то пустили по рукам тетрадь со старательно выписанным на обложке заголовком: «Кем мы станем?» Каждой ученице была отведена в тетради своя страница, и кем они станут — было изображено в рисунках. На Аниной странице оказалась нарисованной изможденная женщина-прачка с большим животом, склонившаяся над большим деревянным ушатом.

Девчонки ошиблись: Аня не стала прачкой. Она получила место учительницы в отдаленной сельской школе, где ей пришлось работать одной на два класса.

«Сеять разумное, доброе», как напутствовала начальница гимназии на выпускном вечере, Ане пришлось во многом иначе, чем думалось раньше.

Вечера в деревне бывают томительно долгими. Мужиков на зиму дома почти не оставалось: уходили на заработки, на промыслы, на извоз. Чтобы скоротать вечер, бабы собирались с прялками, с вязаньем в какой-нибудь избе на посиделки.

Аня читала в такие вечера женщинам «Антона Горемыку», «Подлиповцев», рассказы Льва Толстого. В жалостливых местах бабы начинали слезливо сморкаться. Навертывались слезы и у самой учительницы... Не от прочитанного: от чего-то другого.

Печальны в зимнюю пору северорусские поля.

Дорога наискось перевита поземкой. По колено в снежной пыли трусит мохнатая, как пудель, крестьянская лошаденка.

Двадцатое число, и сельская учительница Аня Орехова едет в земство за жалованьем.

Еще хорошо, что оказалась попутная подвода. Она бы не отважилась идти пешком за двадцать верст в город, полем, где только сипят на ветру остекленевшие от мороза ветви лозин да волчьи тропы кое-где пересекают поперек узкий, продавленный в сугробах лоток пустынного зимника.

Учительница одета в плюшевый салопчик и шерстяной платок, повязанный глухо, до бровей. Одежду ее пронизало ветром на первой же версте пути. Старуха хозяйка не зря предлагала надеть в дорогу ее нагольную шубенку. Но тулупчик у старухи заношен, непригляден, и Ане показалось неприличным ехать в нем на люди. Теперь она пожалела, что не взяла его, чтобы хоть накинуть на плечи поверх салопа.

Ноги у Ани совсем зашлись в истончавших валенках. Несколько раз за дорогу она выскакивала из розвальней чтобы согреться, бежала за подводой. Согрев ноги, снова забиралась в сани, примащивалась в свое гнездышко в перебитой со снегом соломе, подвертывая под себя полы салопчика.

Один раз при этом она даже всхлипнула от жалости. К кому были обращены эта жалость и почти детская обида? Жаль было своих озябших ног, жаль мужика в санях, недавно овдовевшего с четырьмя ребятишками, тоже промерзшего в сермяжном понитке.

Если бы Аня пыталась разобраться в этом своем чувстве жалости, то она поняла бы, что ей не сегодня, а давно уже и горячо жаль не себя, не этого мужика-попутчика, а жаль вообще русскую деревню, народ, среди которого ей довелось жить после того, как прошлой осенью она закончила гимназию и получила должность в забытой богом и царской администрацией бедной деревеньке Верхосунье.

В незнакомый уральский городок, где раньше ни разу не бывала, Аня ехала теперь потому, что у себя на родине, в Вятской губернии, жить ей стало больше нельзя.

Вскоре после окончания гимназии она втянулась в социал-демократический кружок. Раз в месяц приезжая за жалованьем в город, сразу же, справив служебные дела, шла в одну интеллигентную семью, где собиралось до десятка молодых людей. Ее встречали радушно: «Орешек приехал...», и она обычно оставалась в этом доме до утра. Вечером собирался весь кружок, читали, спорили.

Ей по общему решению было поручено вести пропагандистскую работу среди крестьян. Но это оказалось нелегким делом, и больше всего потому, что ей самой предстояло еще многому научиться. Попытки завязывать беседы с крестьянами попервоначалу оказывались досадно неудачными: измученные постоянными заботами

чаще всего неграмотные люди не понимали ее книжной во многом речи и, больше того, поглядывали на нее с опаской, как Савва, о котором она вспомнила сейчас, сидя в пропахшем карболкой вагоне. Но и этого оказалось достаточно, чтобы ее заметило полицейское начальство.

Кроме этого поручения в ее пришкольной квартире кружок устроил свое хранилище литературы, выписываемой через Вольно-экономическое общество, и другой, куда более опасной.

В деревне она учительствовала только два года, потом в кружке решили перевести ее в город, устроили сначала библиотекарем в городской читальне, а потом накладчицей в типографию. И тут ей вскоре не повезло. Двое молодых людей из их кружка, ей хорошо знакомых, попались при расклейке прокламаций. В жандармской канцелярии ее допросили, взяли подписку о невыезде. И тогда товарищи по кружку решили, что незачем ждать, пока жандармы возьмутся за нее всерьез.

Кружком руководил старший из всех их по возрасту и уже опытный в революционной работе Иван Бушен. Провожая ее на вокзал, он говорил:

— Немножко я тебе даже завидую. Здесь, сколько ни бейся, все же что-то не то. А там рабочий край, сильная организация и люди наши, кажется, развертывают большое дело.

Он снабдил Аню адресами явок в уральском городе. А в обыденной работе революционера-подпольщика это — все. Снабжен явками, и на новом месте сразу окажешься среди друзей и в кипении живого дела. Не получил явки или утратил их, и надо заново искать связи, доказывать свое право на доверие.

Думала ли Аня, пыталась ли представить себе, как произойдет ее переход на нелегальное положение? Одно знала с несомненностью: этого не минуешь, если решительно вступила в глухо кипящую борьбу против зла, угнетения, народного бесправия. Знала от товарищей немало случаев, когда люди, недостаточно сильные духом, при первой же стычке с властью понемногу отходили от черновой практической работы на революцию. Жили после этого смиренно, безгласно, делались верноподданными.

Сначала было странно думать, что там, на новом месте, надо будет жить по чужому паспорту, забыть свое прежнее имя.

Она благополучно доехала до места назначения, напроход миновала тяжелое, толстостенное здание вокзала. Дальше она все проделала с тщательностью начинающего конспиратора: не стала брать извозчика на стоянке, а окликнула свободного, трусившего порожним в какой-то пустынной улице. Отпустила его за два квартала до указанного в адресе дома.

Книжный магазин, куда должна была явиться Аня, она легко нашла на Главном проспекте по вывеске. Стараясь не привлечь внимания хозяйки, оказавшейся в этот день в магазине, Аня выждала, пока освободится указанная ей вятскими товарищами старшая приказчица. Пришлось улучить минуту, чтобы сказать условную фразу и получить отзыв.

Старшая приказчица, коротко назвавшаяся Клавдией, проводила Аню в каморку позади торгового зала и только вечером, после закрытия магазина, выбрала время, чтобы спокойно поговорить.

Чем-то она сразу расположила к себе приезжую. Может быть, дружелюбным спокойствием, с которым держалась.

— То, что вы делали там, в Глазове, придется отставить,— заговорила Клавдия.— Товарищи настроены доверить вам типографию. Будете хозяйкой предприятия и с вами еще двое наших. Так что вот... предстоит вам стать капиталисткой, собственницей, эксплуататоршей,— улыбнулась Клавдия.— Пока я только спрашиваю на это вашего согласия. Разумеется, вы еще можете отказаться...

Отказываться от этого поручения Аня не собиралась. И не требовалось ей времени на размышление. По каким-то признакам, по намекам почувствовала, что дело здесь — крупного масштаба.

— Ну, коли так,— сказала Клавдия,— тогда вот документ.

Это был паспорт на имя Александры Ва́сильевны Краевой. Первое из нелегальных имен, которое пришлось носить Ане Ореховой.

А на другой день Клавдия отвела Аню на квартиру, находившуюся на одной из окраинных улиц. В первый раз, выйдя из дому по хозяйственным делам, Аня с тру-

дом нашла потом эту ветхую избенку, запутавшись в каких-то улочках. И внутри квартира была не лучше, чем снаружи. Искривленный, некрашеный пол, сделавшийся словно лубяным от частого мытья. Пропыленные, клочьями висящие обои на стенах. Стоял посреди так называемой горницы — передней комнаты — трехногий стол.

Клавдия, уловив невеселые мысли Ани, попыталась ее утешить:

— Неприглядное, конечно, жилье. Зато в смысле конспирации здесь вам будет, кажется, неплохо. Нет у организации пока денег, чтобы устроить вас поуютнее.

Утром Аня проснулась с печальной и усмешливой мыслью: вот ты и домохозяйка.

В державе Российской было только одно, что делало человека хоть по видимости самостоятельным: владение собственным жильем, в землю вросшей недвижимостью в виде двухэтажного дома на два десятка комнат или в виде покосившегося, подпертого плахами бревенчатого тырла на одно окно. Конечно, это ни в каких законах не говорилось, но тем крепче вбивалось в умы: только тот вправе считаться полноценным гражданином державы, кто записан домовладельцем, каким ни есть.

Правда, были в России люди, ее дерзкая, беззаветная молодежь, которые надеялись разрушить, разметать этот проплесневелый, берложий уклад, и в числе их была Аня, теперь волей партии ставшая домовладелицей.

Сейчас, утром, Аня еще раз оглядела избу уже другими глазами, чем накануне, прикидывая, с чего начать уборку. Вышла во двор.

Может быть, поселись она здесь летом, когда свежей травой прикроет нечистоту и убогость двора, впечатление было бы не таким безрадостным. Но сейчас из-под снега вытаяли, обнажились все запустение усадьбы, вся тоска, лютость жизни прежних хозяев, беспомощных уже стариков, умерших, по словам Клавдии, не так давно, клочья бурьяна, какое-то щепье, белесая корка впитавшихся в талую землю помоев.

К дому примыкал небольшой огород. Но с осени он остался брошенным, неприбранным. Было больно думать, что кто-то хозяйничал на огороде, зная, что делает это в последний раз и что весной ему уже не придется на нем копаться.

Но размышлять и печалиться над чужой судьбой было

не время. Приходилось думать о том, как начинать жить самой. А начинать разумнее всего было бы с того, чтобы протопить печь в остывшей избе. И хорошо, что она выросла не белоручкой, не барышней, а в такой среде, где с детства знают все мелкие хитрости избяного сурового простонародного бытья.

В числе первоочередных дел, которые наметила себе Аня, была побелка печи, пугавшей мерзостью запустения каждого входящего сюда. Значит, придется пойти к какой-нибудь соседке, позаимствовать извести. При этом не обойтись без того, чтобы отвечать на нежелательные и все равно неизбежные вопросы. Придется оповещать соседей, что она будет жить теперь здесь втроем с братьями, что допрежь они жили на Староуткинском заводе, но после смерти родителей решили очертя голову переселиться в город. Такую биографию-легенду ей придумали товарищи из Уральского партийного комитета, те самые, что сумели по дешевке купить эту избенку.

Изба, в которую Аня постучала, была немногим лучше ее нового жилья, только что выглядела обжитее. На стук никто не ответил, и, помедлив минуту, она открыла дверь.

Хозяйка, возившаяся у печи, после обычного «милости просим» в ответ на Анино приветствие подбросила гостье табуретку, сначала обмахнув ее фартуком.

Все было так, как Аня предугадывала. Пришлось рассказать бабе, что они теперь волею судьбы оказались соседками, изложить все выдуманные обстоятельства своей дальнейшей жизни в новокупленной избе. И соседка вслед за тем сказала почти то, что Аня ожидала услышать: что она девушка на выданье и пора о себе подумать, а братья — какая подмога в этих женских делах?

Аня вышла от соседки, неся ведерко с известью.

Солнце к полудню вошло в свою полную силу, нарядилось в блеск и шелк. Поселок рябью крыш поднимался в угор, и крыши дымились, испаряя влагу, которой напитались за весну. Тысяча крыш, и под каждой свои заботы, свой лад и дружелюбие, а иногда и свары.

Сразу за огородами крайних в улице изб начиналась свалка, но в такой день даже она не выглядела тем пакостным и клятым местом, как в иную пору года. И над нею колыхалась все та же жемчужная марь, что над кровлями изб.

И Аня по-бабьи подумала: в хороший день начинается

моя жизнь здесь. Может быть, к добру, может быть, все будет хорошо.

В такой день не хотелось думать ни о чем дурном. Оставалось деловито и холодно, как бы душевно прищурившись, мысленно порассуждать о кое-каких подробностях дела. Живя так, как она собиралась, не обойдешься без того, чтобы не общаться с соседями. Та же ее новая знакомая не утерпит забежать, отдать ответный визит. А печатный станок, когда он будет стоять в избе, не скроешь от чужого глаза. Значит, придется его как-нибудь скрывать. Это же не кросна для тканья домодельного холста, держать открыто посреди избы его нельзя.

И тут ей пришла озорная мысль: может быть, именно кросна поставить посреди избы для маскировки своего подлинного предприятия. Как раз стук кросен может замаскировать работу станка. Конечно, если это не будет машина типа «Бостонки», звонкое лопотанье которой ничем не заглушить.

Об этом следует посоветоваться с товарищами.

Еще две ночи ей довелось провести одной в этой бедной, стоявшей особняком избе. Никогда ни до, ни после ей не приходилось испытывать такой странной неопределенности своего бытья, как в эти дни и ночи. Трудно было найти подходящее случаю слово для обозначения этого состояния. Скука? Не то, потому что можно ведь и не позволить себе скучать. Страх? Это было, но немного и недолго, и только вечерами, когда смеркается, но поселок еще не спит. Нет, название этому — только томление перед жизнью, которую придется теперь начинать по-новому. И в ней надо быть душевно готовой больше к лишениям и бедам, чем к светлым дням. Но ведь она добровольно и сознательно выбрала себе это.

Днями ей не приходилось выдумывать себе занятия, чтобы скоротать время. Всякая мелкая работа по хозяйству сама просилась в руки. Одного мытья полов, потолка и побелки печи хватило почти на полный день. Обои на стенах выцвели, местами пооборвались, но с этим пока ничего нельзя было сделать. Из козелков, найденных в сараюшке, и досок она соорудила себе и застелила совсем неплохое ложе. Подвесила к потолку в виде ширмы старенький материнский плед-шаль. Уже было сказано, что с нею в избе будут жить еще двое — мужчины. Что-то это будут за люди?

Ей было назначено явиться в определенный день и час в правление Общества горных техников. Так на прощание сказала Клавдия.

Дом Аня отыскала легко, хотя помещался он совсем не на приметном месте, в центре города, а на нешумной, какой-то серой улице с таким же тусклым названием — Почтовая.

На доме не было вывески, и Аня опознала его по описанию. Вот и этому надо учиться, если ты решил работать на революцию: умению находить дорогу, никого не спрашивая. Спрашивать чаще всего нельзя, надо идти с таким видом, будто ты знаешь, куда направляешься.

По трем гранитным выщербленным ступенькам Аня поднялась на крыльцо дома, под скворешенный открылок над крыльцом, который поддерживался коваными орнаментальными укосинами. Крыльцо, входная дверь неизносимой прочности, украшенная глухой искусной резьбой, вся добротность постройки наводили на догадку, что дом строился когда-то для состоятельной чиновничьей или купеческой семьи, верившей, что их род никогда не сойдет на нет. Но род приходит и уходит; семья вымерла или разорилась, дом перешел какой-нибудь не очень солидной конторе, потом другой, пока в нем не поселилось Общество горных техников. Она вошла в полутемный, пахнущий подвальной плесенью коридор, открыла одну дверь. За ней оказалась пустая комната, в которой стоял только колченогий стул с ободранным сиденьем.

Аня постояла на пороге печальной и пустой комнаты, потом прикрыла дверь и постучала в другую. В этой другой комнате были люди, пятеро мужчин. Она и здесь постояла минуту в нерешительности, соображая, который из них может быть Калганцевым. Эту фамилию ей назвала Клавдия.

— Входите, барышня,— сказал тот, что полусидел на столе.— Присядьте пока. Знаю, вижу, что вы ко мне.

А как он мог знать и видеть? Тут Аня вспомнила, что Клавдия наказала, перед тем как идти на Почтовую, непременно надеть голубой шарфик.

Девушке таких лет не просто жить на свете: кажется, что мужчины смотрят на нее во все глаза. Здесь на Аню никто не глянул ни нескромно, ни оценивающе. Для собравшихся в комнате она была просто товарищ.

Двоих своих собеседников Калганцев сразу отпустил

и, откинув полы пиджака, сунув большие пальцы за витой шелковый поясок, дважды прошелся по комнате, строго глядя в пол, не слишком избалованный частым мытьем.

— Ну, кому говорить? — спросил он, резко остановившись перед сидевшим на диванчике человеком в горняцкой тужурке.

— Не все ли равно. Говори,— флегматично ответил тот, чуть подняв, однако, руку с папиросой взамен слов: — Только прежде...

— Анна Петровна? Не ошибаюсь? — спросил он Аню, поморщившись при звуке резко скрипнувшего дивана.— Как живется Бушену там, в Глазове?

— Насколько мне известно, живется как жилось,— ответила она, без труда поняв, что этому человеку давно известно, что Бушена в Глазове нет.— Только ведь он еще зимой перебрался в Вятку.

И товарищ в горняцкой тужурке по-доброму улыбнулся ей одними глазами, извиняясь за нелишний,— сама должна понять,— проверочный подвох.

— А, коли так, будем знакомиться,— сказал Калганцев, обходя вокруг стола.— Это Федотыч. Более полное имя вас, наверное, и не интересует. Партийный порядок: каждому должно быть известно только необходимое. А знать больше — лишнее. Держись подальше от всякой ненужной осведомленности, и благо тебе будет жить на земле,— с мелькнувшей в лице гримасой закончил он свое назидание.

Третий из оставшихся в комнате, молодой человек, все еще стоял спиной к окну, и по его неподвижности, по тому, что он пока не сказал ни единого слова, Аня чувствовала непростоту и напряженность этого разговора со старшими товарищами, общую и одинаковую для обоих.

— В общем, так,— сказал Калганцев. Тут же, однако, задержавшись на подступе к главному, он обернулся к юноше, заметил: — Кстати, стоять в окне, как в раме, может быть, и не надо. Хотя бы и спиной к свету.

И парень согласно и смущенно переместился от окна на стул.

— В общем, так,— продолжал Калганцев.— О вашем согласии я не спрашиваю, предварительный разговор с вами обоими был, так? Остается, значит, объяснить только практическую сторону дела. Жить вам придется...

Он назвал окраинную улицу, где группе придется жить.

— Будет вас там трое: вы, этот молодой человек, которого величают Иваном Харитановым, и третий удалец, который явится на место завтра. Иван с ним встречался и знает его в лицо. Ваши обязанности распределяются так: вы в этом фешенебельном особняке — хозяйка, экономка и фуражир. Выберите сами, как вам лучше именоваться. Вы — организатор быта, стола и всего прочего. Ивану в вашем штате отводится роль техника, мастера. Третий товарищ будет представлять собой корпус охраны.

Читая эту программу действий, Калганцев время от времени взглядывал на товарища в горняцкой тужурке, и Аня поняла: старший в деле тут он.

— Н-да, корпус охраны...— впервые вмешиваясь, с сомнением сказал тот.— Как бы Никифор не понял этого слишком буквально. Оружия у них в доме не должно быть.

— Это ведь Никифор,— напомнил ему Калганцев.— Он без оружия, как поп без кадильницы.

— Во всяком случае,— сказал горняк, обращаясь к обоим молодым людям,— при крайности вам разрешается все, кроме вооруженного сопротивления. Это вам следует запомнить.

— Ну, что же еще? — возвращаясь к прежде сказанному, продолжал Калганцев.— Жить придется не роскошно. У нас в партийной кассе когда густо, когда пусто, когда и совсем ничего. Это я вам говорю, хозяйке дома. Приходить сюда будете только вы и только по действительной надобности...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Вся эта крутая перемена в ней, все то, как она из гимназистки, а потом сельской учительницы оказалась живущей не по своей воле, а по воле некоей организации и на нелегальном положении,— все это произошло так просто и неотвратимо и, как казалось Ане, в такое короткое время, что она порой сама дивилась: я ли это? Со мной ли это произошли такие удивительные превращения? Она могла только смутно догадываться, что такие превращения в те годы происходили не с ней одной, а с тысячами

других молодых людей и девушек, честных, думающих и непокорных.

Все в конце концов становится привычным, будничным и даже как бы прискучившим. Пусть даже поначалу от одной мысли о том, какой образ жизни придется вести, пробегал холодок по спине.

И только изредка по какому-нибудь случайному поводу доводится вспомнить, что из твоей жизни никуда не ушли риск и неуверенность и каждый час надо быть готовым (или готовой) к провалу, то есть к перемене жизни, разумеется, не в праздничную, не в радужную сторону.

Так было в то утро, когда Аня, делая обычную приборку в избе, стала взбивать небрежно брошенную, смятую подушку на кровати Никифора и увидела, что там лежит-таки пистолет. Оружие лежало, собственно, не под подушкой, а было прикрыто еще и одеялом, но это было тонкое байковое, вытершееся, как дерюжка, одеяло, и пистолет под ним нельзя было принять ни за что другое.

Откинув край одеяла, она сумела различить, что это не револьвер, а именно пистолет, судя по тому, как описывал ей Никифор разницу в системах оружия.

Она вспомнила то, что говорил Калганцев насчет оружия. Но в смысл этого она тогда по-настоящему не вникла, а поняла все, что подразумевалось, только теперь.

С этим Никифором будет нелегко ладить. Это Аня сказала себе уже в первый же вечер, когда он появился в их избе.

К тому времени Иван Хаританов уже два дня как переселился на их новое пристанище на подводе, как было сказано, со всем своим «шурум-бурум». Они с Аней уже присмотрелись друг к другу, и, кажется, оба нашли компанию подходящей, приемлемой.

В тот поздний вечер они еще не спали, только укладывались.

Иван раскинул на топчане свою постель: свернутую вдвое киргизскую кошму со ввалянным по краям цветным орнаментом, снял сапоги. Аня у себя, за занавеской из клетчатого пледа, причесывалась на ночь. Обоим хорошо было сидеть, отдавшись тишине, чувствовать, как дрема, крадучись, заходит со спины и, кажется, скоро мягко положит свои добрые ладони на глаза.

И тут в сеночные двери условленно, осторожно постучали. Иван вышел в сени, прислушался, стараясь дер-

жаться за косяком, а не против дверного проема, словно кто-то там мог выстрелить прямо через тонкую дверь. Дрема с него слетела, чувствовал он себя решительно и смело. В избе оставалась девушка, которую он теперь считал себя обязанным защищать. За дверью слышалось чье-то дыхание.

— Ну, отзовись, какого черта,— вполголоса сказали оттуда.

— А кто ты такой есть? — грубо спросил Иван.

Ему назвали пароль, и он, еще помедлив, открыл.

Ночной гость шагнул через порог, толкнув дверь ногой, как подвыпивший мастеровой входит к себе домой, чтобы такой размашистостью движения показать хотя бы своим домочадцам характер и независимость, если не перед кем больше этим щегольнуть. На спине он нес сундучок, подхватив его через плечо сыромятным чересседельным ремнем.

У стола, кроме расшатанного табурета, стояла еще кадушка вверх дном. Иван принес ее днем с чердака для пополнения их убогой меблировки. Пришедший сел на кадушку так грузно, что крякнуло ее прелое дно.

— Ничего себе, палаццо,— сказал он, критически осмотрев стены и низкий провисший потолок избы.— В самый раз бы над ним на двух шестах водрузить полотнище с надписью: «Мир хижинам, война дворцам!» Значит, ты Иван Хаританов?— спросил он, ткнув пальцем в сторону парня.

— Да,— подтвердил Иван.

— А по правде?

— И по правде так.

— А вы — Анна Петровна?

Этого человека Иван видел только раз. Их даже толком не познакомили, только позволили взглянуть друг на друга, чтобы потом опознать при новой встрече, чтобы под видом этого Никифора не явился кто-нибудь другой и нежелательный. Но Федор Иваныч вкратце, самое необходимое, Ивану рассказал.

По его словам, Никифор путался с анархистами, пребывал у них в боевиках, участвовал в нескольких эксах. Потом разошелся с этой шатией-вольницей и, склонив не очень поклонную голову, пришел к социал-демократам. Его приняли потому, что самое-то главное у Никифора не отнимешь: верность революционному слову. Что другое,

а на предательство, провокацию, хотя бы и невольные, человек этот не способен. Умеет разумно конспирировать, разумно рисковать. И все же...

— Мы не без колебания вводим его в вашу группу,— говорил Федор Иваныч.— Поэтому не слишком принимайте на веру некоторые его суждения...

Теперь Иван рассмотрел этого парня ближе. Как-то он не заметил себе при первой встрече его рябоватость. Неглубокие, правда, оспенные знаки, и не так их много, только возле носа. А все же примета. И еще глаза с расширенными зрачками, словно однажды его что-то ввергло в бешеный гнев, и теперь ему уже не отойти. Положим, при неверном свете коптилки глаза и бывают расширенными, но такими он наблюдал Никифоровы зенки и позднее, при ясном дневном свете.

— Ну и птенцы мне в товарищи достались,— заговорил Никифор.— Кстати, каким зерном вы тут питаетесь?

Никифору было около тридцати лет, а в таком возрасте к человеку только и приходит настоящая уверенность в себе. Ивану не понравился его задиристый тон, и он хотел было ответить что-нибудь соответственное, но Аня мягко и дружественно предупредила возможный выпад:

— Кстати, вы, может, хотите поесть?

— Неплохо бы, не откажусь,— истомленно сказал Никифор.— Но больше того хочу спать. За двое суток, почитай, ни разу не прилег.

— Тогда ложись. Вот на мой топчанок,— предложил Иван.

— Нет, лягу здесь, на полу.

Иван еще попытался настаивать, но Никифор взял только подушку. Не раздеваясь, лишь скинув сапоги, он улегся на подостланную свою куртку.

Уже в первые дни у них сложилось нечто, заставившее Ивана подумать: странно все-таки получается, и всех-то их три души, да и те зачем-то разделились на две группировки. Одну составили они с Аней, другую — Никифор, человек куда более опытный в нелегальном бытье, но чем-то уязвленная, недоверчивая и как-то слишком уж сучковатая личность.

Когда они принялись разбираться в своем хозяйстве и прикидывать, как настроиться на работу, для которой их сюда приживили, Никифор вдруг сказал:

— Итак, будем теперь действовать на подставе. Толь-

ко этого мне еще не доводилось: быть мальчиком для битья.

Сразу почувствовав в этом что-то подспудное и такое, что он не мог понять, Иван спросил, как это понимать.

— А тут и понимать нечего,— сердито ответил Никифор.— Ты что, не знаешь, что мы у комитета не первая, а вторая фабрика. Есть еще одна, и та будет посолиднее. Так какую же из этих двух им будет жальчее потерять?

Иван и сам знал, что их предприятие будет типографией-дубль. В Обществе горных техников его предупреждали, что они получат шрифты той же гарнитуры, какой пользуется другая типография, и даже одинаковые по степени износа. По возможности одинаковую они будут получать и бумагу. И только по своей догадке Иван понял, зачем это делается: в случае провала одной останется в действии другая типография, как бы та же самая.

Но в толковании Никифора эта затея приобретала иной смысл.

— В том, что вы сказали, мне не нравится слово «подстава»,— сказала Аня, прежде чем Иван собрался это сделать.— По-вашему, выходит, мы нужны затем, чтобы при надобности подставить нас и тем сохранить другую, как вы изволили сказать, фабрику.

— Ну, я не говорил, что будет именно так.

— Если вы с первых шагов так думаете,— строго продолжала девушка,— тогда зачем вы здесь? Тогда уходите...

Было бы все понятнее, если бы Никифор начал спорить, что-то им объяснять. Но Никифор не сказал больше ничего, замкнулся в себе. Только глаза у него стали тяжелыми, печальными, как у слепца.

Когда он вынул из сундучка пачки шрифта, Аня сразу же с нетерпением принялась разматывать стягивавший их шпагат. Иван, более опытный в типографском деле, придержал ее руку, водрузил на стол кассу-чемодан, развернул ее, с удовольствием посматривая, как оба его сотрудника склонились над ней. Обоих поразила сноровка человеческого ума, придумавшего сделать отделеньица кассы разновеликими и так, чтобы наиболее употребительные литеры лежали ближе к рукам.

Иван немного пыжился оттого, что товарищи почти ничего не понимают в типографском деле, которое он знает до тонкости.

Человеку всегда нравится в чем-нибудь превосходить своего ближнего; с этим ничего не поделаешь. Конечно, эти двое в чем-нибудь другом превосходят меня, размышлял Иван. Аня как-никак закончила гимназию, Никифор, по рассказам, из бывших студентов. Куда мне до них. А вот в типографском деле они совсем новички.

— Выходит, я вам плохой помощник? — жалостливо сказала Аня.— Мне и в полгода не заучить, где какая буква лежит в вашей мудреной кассе.

— Два дня,— категорично сказал Иван.— На заучивание кассы у нас полагается только два дня. Столько дают мальчикам, которых берут в типографию учениками. Можете для облегчения написать на боковинке в каждом ящичке соответствующую буковку. Вообще-то, так не делается, и за это мальчишек по затылку бьют. Но для вас — так и быть.

Но Аня не захотела этими пометками на стенках кассы облегчить себе ее запоминание.

— Если так не делается в настоящей типографии,— сказала она,— то не будем делать и мы. Не то ведь и самое наше дело покажется ненастоящим. Мне и так порой кажется, что мы затеваем что-то вроде игры для взрослых.

— Когда-нибудь охранка вам докажет, что это не игра,— мрачно сказал Никифор.

— Может, не надо каркать,— укоризненно заметила ему Аня.— С таким настроением, что дело обязательно закончится провалом, лучше сразу не браться. Надо думать, что будет все хорошо.

— Надо думать, что мы провалимся обязательно,— упрямо возразил Никифор.— Как вы полагаете: нам так и позволят печатать нашу нелегальщину год, два, три? Так не бывает. Господа жандармы тоже не дураки.

— Странный вы,— мягко сказала Аня.— Нам говорили, что вы сильный человек. Но пессимизм ведь всегда малодушие.

— Всегда? — тоненько, с насмешкой переспросил Никифор.— Так вот: сила человеческого духа не в том, чтобы избегать думать, как будет в худшем случае, а в том, чтобы представлять себе всю опасность и все-таки сознательно идти на нее.

Иван медленно и пытливо переводил взгляд с одного на другого, не вмешиваясь в их спор. Если бы он мог

сейчас, сразу и решительно сказать — кто из них прав? Он еще не знал, что с этим разноречием ему придется в жизни сталкиваться не раз.

Ане действительно понадобилось несколько дней, чтобы запомнить раскладку кассы. Иван видел, что дается это девушке с трудом. Для удобства, для наглядности она сделала себе на листке бумаги чертежик кассы, и как-то, проснувшись ночью, он увидел, что она все еще сидит над этим чертежиком.

Никифор раскладку кассы заучил сразу, за каких-нибудь два часа, и технику набора — тоже скоро. Сказывалась трудолюбивая ухватистость человека, которому на его веку приходилось делать много самой разной работы и которого условия жизни понуждали быть проворным и хитрым в любом деле.

Странное отношение к этому человеку сложилось у Ивана с первых дней. Он и привлекал к себе, возбуждал интерес и симпатию, и настораживал.

Станок им доставили уже в мае. И приемка его тоже была тщательно продумана.

Было сказано, что машину привезут самым ранним утром в разобранном виде, упакованную по частям, и возчик сбросит кладь против их калитки, а сам, не задерживаясь ни на минуту, проедет дальше в сторону пустоши, где вдали по утрам, словно стелющийся дымок пастушьего костра, сиреневели заросли вересовника, и за ними полоса черного леса.

Вечером молодые люди засиделись дольше обычного. Говорили, что надо бы лечь спать пораньше, чтобы утром подняться ко времени. Но как раз забота — как бы не проспать появление возчика — мешала уснуть пораньше.

Иван проснулся вовремя. Открыв глаза, увидел, что окна еще непроглядно серы. И тут же встрепенулся Никифор, спавший теперь голова к голове к нему вдоль той же стены.

Иван вышел во двор и с полчаса дрог возле калитки, по сю ее сторону, ожидая подвозчика, поглядывая на дорогу через низкий и ветхий заплот. Ранний серо-шинельный свет над улицей сменился тем оттенком, которым бывает окрашена полость крупной морской раковины. Такая раковина с раструбом имелась у них с Аркадием Павловичем — единственная из дешевых безделушек, какими обычно скрашивают свой домашний рекви-

зит небогатые мещанские семьи. И Иван успел повспоминать и Аркадия Павловича, и его девчушку Федорку. Словно бы два-три года прошло с тех пор, как он с ними расстался.

На дороге показалась подвода. Мужичонок в крестьянском зипуне сидел в телеге, вроде бы подремывая. Еще не поравнявшись сажен двадцать с их калиткой, он начал сталкивать свою поклажу, и коня ему потребовалось остановить не больше чем на минуту.

Станина станка, разнятая на две боковины, была аккуратно упакована в рогожи, а барабан обтянут вязальной проволокой поверх упаковочных реек. Кто-то сделал все это с той сноровкой, какую имеют руки, приученные все делать на совесть.

Иван с Никифором в две-три минуты затащили кладь сначала во двор, потом перенесли в избу. Ни одной души не показалось за все это время на сонной рассветной улице. До заводских гудков оставалось еще часа полтора.

В поселке люди встают ото сна рано. Когда над ним начнут, как галька в вашгерде — в золотопромывочном желобе, перекатываться ясные и чистые окатыши гудковых переливов, тогда людям надо уже быть в цехах или, по крайней мере, в пути на работу. А до этого надо еще успеть умыться, разодрать роговым гребешком свалявшиеся за ночь патлы. А потом еще тщательно, неторопливо обуться, разминая залубеневшие портянки. Время на завтрак в счет не идет: из заводских мужиков редко кто завтракает в такую рань.

Значит, начало пятого часа пополуночи — как раз такая пора, когда вот-вот придется всплывать из глубин сна на поверхность жизни. Тем более дорожит этими последними минутами отдыха рабочий люд. И на улице в эти минуты мертво. Возчик с рассудком выбрал время, когда удобнее всего ему было привезти и сбросить, как велено, здесь свой груз.

Отложив распаковку груза на после завтрака, Иван с Никифором сели покурить на крылечке, где под стреху уже вонзилась, словно еще покачиваясь с полета, оранжевая стрелка солнцевосхода.

— Интересно знать, что это был за мужик? — заговорил Иван.

— Мужик как мужик. Обыкновенный зипунник.

— Я хочу сказать: что-то он ведь должен думать по поводу своей поклажи?

— Конечно, он понимает, что привез какую-то нелегальщину. Но учить такого мужика конспирации вовсе не надо. Этому он поучит еще нас с тобой. Ему заплатили, он привез и сбросил. У таких есть отличное свойство укороченной памяти. Сейчас, отъехав от места действия полверсты, он уже ничего не привозил, никого не видел, знать не знает никаких криминальных дел. Рассуждает, небось, так: одни мошенники бунтуют, другие их выслеживают. Но от первых мошенников, сиречь нас с тобой, он пока худа не видел, а от вторых натерпелся всякого... Думаешь, революцию готовим только мы с тобой? Миллионы людей приносят и бросают в ее закипающий котел каждый свою крупицу.

— А ведь то, что ты сказал, это нехорошо. Это гнило,— очень мирно, тоном, совершенно не вяжущимся со смыслом слов, произнес Иван.— Получается, что мужик — эгоист, все у него мошенники, и в глазах его чуть ли не одна цена — и нам, и царским холуям.

— Тоже нет. Отлично он понимает разницу. Но нам еще много надо работать, чтобы он всей душой стал на сторону тех, кто протестует и восстает. А когда он поверит нам, самодержавие рухнет само собой.

Как-то в июле Никифор объявил, что через три дня его именины.

Это известие обеспокоило больше всех Аню.

В честь именинника она испекла пирог с кетой и визигой; на их праздничном столе появилась немыслимая вольность — бутылка красного вина. Пирог удался, Аня очень радовалась этому и похорошела, как хорошеет всякая женщина любого сословия, когда ей выпадает случай устроить своим близким праздничный стол и что-то из своей стряпни ей при этом вполне удалось.

Застолье получилось скромным и недолгим, но все равно это был их праздник. Все трое по опыту своей не слишком достаточной жизни знали, что праздник человеку составляют не роскошь и реквизиты торжества. Действительный праздник всегда внутри нас самих. Внешне ему бывает достаточно какой-нибудь одной скромной детали: чистой рубашки в утро знаменательного дня или пахучей ветки кедра в кувшинчике на столе, за которой кто-то заботливо сходил накануне неблизко в лес.

Аня утром передвинула стол в избе с его привычного места на середину и накрыла его чистой полотняной скатертью. За ветками кедра с еще незрелыми шишками на них в лес сходил Иван.

Он возвращался из лесу накануне уже в плотных сумерках. Шел, думая: вот и началась у нас размеренная жизнь, заполненная привычной работой, которая ладится.

Станок оказался по их избе достаточно громоздким. В типографиях такие давно вышли из употребления и только кое-где служили для корректурного тисканья. В «Уральской жизни» тоже был такой, но им редко кто пользовался, он стоял в самом непочетном углу наборного цеха и казался там маленьким, отжившим свой век. В избе же он выглядел настоящей и во всяком случае опасной машиной. Чтобы убрать его с глаз долой, Никифор расширил люк-западню в подполье, приладил две слеги, и парни стали, закончив печатание, вдвоем легко опускать машину в неглубокий погреб. Трудно было вытаскивать станок по покатям наверх. Но Никифор нашелся и тут, укрепив на стене примитивный блочок. С его помощью на веревке вытаскивать станок стало куда легче.

На блочке, за исключением тех минут, когда он использовался по назначению, всегда висела чья-нибудь одежка. Но кроме станка в их хозяйстве было еще несколько предметов, которые приходилось прятать от чужого глаза: зеркальное стекло, на котором вместо камня они раскатывали краску, валик, касса и стопы бумаги, еще чистой, и листки с бунтарскими, призывающими к несогласию и сопротивлению властям словами. Понемногу они приловчились делать все рационально, удобно.

Ивана даже перестало тяготить, что приходится жить в затворничестве. Только Аня могла два-три раза в неделю ходить по общим делам туда, где она получала тексты прокламаций, деньги на прожиток и наставления, как им следует себя вести. Изготовленные прокламации она уносила частью в кошелке из рисовой соломы, частью обернувшись ими под кофточкой. Достаточный запас бумаги им дважды доставлял по ночам на велосипеде парень, которого они не успели и разглядеть.

Надо было только радоваться тому, что дни идут за днями и ничего у них не случается, потому что непредвиденные случайности могли быть только неприятными,

если не драматическими. Радостные случайности были теперь для них исключены. Но скуке жизни радоваться невозможно, ее можно только принимать как должное.

Иван так и принимал свой теперешний образ жизни и не позволял себе тревожиться по поводу того, чем это может кончиться. Он с детства слыхал и принял как постулат народную поговорку, что не следует умирать прежде смерти, опасаться того, что может случиться, но еще не случилось.

Спокойно видеть он не мог только то, как Аня уходит, унося в кошелке перевязанные бечевкой пачки. Выходил во двор, смотрел через забор, пока она не скрывалась за поворотом их, теперь такой знакомой, кривоколейной улицы, и не находил себе места, пока она не возвращалась домой.

Никифор с некоторых пор стал странен, брюзглив. Однажды сказал:

— Н-да, жизнь. Бежит себе трусцой и только. А я немного бы хотел. Музыки бы. Хоть изредка выбраться бы в театришко наш. В ушах стоит: «На воздушном океане», «Лишь только ночь своим покровом...».

Возможно, потому, что Иван и сам смутно, неосознанно хотел не зная чего, его рассердила эта жалоба. В их положении нельзя себе позволять никакой блажи, никаких не идущих к делу желаний. Что-то в этом роде он и сказал Никифору, некстати заскучавшему по музыке.

Аня не проронила по этому поводу ни слова. Но, вернувшись из своего очередного выхода в город, она принесла билет в театр.

— Как же так? — растерянно спросил Никифор, взяв билет, словно приняв на ладонь раскаленный уголек.

— А вот так: я сказала там, что один из наших людей захандрил, через каждые пять минут твердит: музыки бы.

— Помнится, я обмолвился об этом только один раз.

— Надо же понимать человека с одного слова.

— И что же тебе там ответили?

— Ну, мне сказали, что в этом желании нет ничего плохого и невозможного. Сказали, что конспирация, осторожность нужны, но перегибать палку даже и в этом не надо. Ну, что с человеком надо считаться...

— Место на галерке,— словно извиняясь, проговорила Аня, заметив, что он даже не посмотрел на билет.— Мож-

но бы взять куда-нибудь получше, но у тебя ведь нет приличного для театра костюма. А на галерку идут кто в чем.

— Галерка... Самые места для ценителей,— беспечно ответил Никифор.

Иван понимал, что Никифор старше его не только по возрасту, но и по опыту работы на революцию. У этого человека ему бы только и учиться. И все же что-то в нем мешало Ивану безоговорочно принять это ученичество.

Такое двойственное чувство заставило его однажды прямо спросить Никифора:

— Хочу понять: что ты за человек?

— Законный вопрос, раз уж мы ходим в одной упряжке,— согласно, как бы даже покорно ответил Никифор.— Подробно?

Они сидели под навесиком, где Никифор устроил себе верстак и мастерил на нем кое-что для хозяйства. Возвышаясь на чурбаке, посматривая на свой верстак, он, кажется, далеко ушел в ленивых мыслях своих от начатого разговора. И кажется, тень от крыши навеса насколько-то передвинулась, пока он заговорил снова.

— Ну, первым делом, я — попович. Есть люди, которым этого достаточно, чтобы отнести человека к определенной породе.

— Мне не достаточно.

Чувствовалось, что Никифору уже расхотелось об этом говорить. Но коли начал...

— Только батька мой был, наверное, не заправский поп. Среди этой жеребячьей породы есть и свои аристократы, и свой плебс. Мой был больше тружеником-крестьянином, чем попом. Пахал и сеял, возил навоз на поля, на досуге столярничал. Во всем нашем селе оконные рамы были сработаны его ручищами. Руки его, помню, совсем не поповские были, хваталища...

— Ты расскажи о поповиче,— напомнил Иван.

— А поповича вытряхнули из семинарии, как кота из мешка, за попытку сколотить кружок смутьянов. Дальше ты можешь и сам представить себе мою биографию.

— Могу, конечно,— согласился Иван.— Только ведь я не про биографию. Интересно мне другое.

— Кредо мое выпытываешь, убеждения. Ну, пытай. Тебе это надо. Первым делом мое убеждение состоит в том, что человек в своих убеждениях всегда индивидуа-

лен, своеобычен даже. Конечно, когда несколько сотен, тысяч или больше личностей создают группировку или партию, им не обойтись без того, чтобы выработать общую программу. Но для отдельной личности любая программа — одежка не по росту: всегда либо тесна, либо мешковата.

— А если короче?

— А короче — я сам по себе.

— Неограниченная свобода личности? Это ведь тоже программа. Анархистская.

— Нет. С анархистами я имел дела, и нам оказалось не по пути.

— Утонуть можно в твоих рассуждениях. Погрузиться в них и больше уже не вынырнуть. Чем больше слушаю, тем меньше понимаю. Вот сейчас ты взялся за практическое дело, предпринятое партией с ясной и строгой программой...

— Ну и что? Я вроде плотника по вольному найму. Работаю на подрядчика. И подрядчик знает, что если я взялся, так на меня можно понадеяться.

— Но должны же быть свои убеждения. Ты ведь и начал с разговора об убеждениях. Кто ты? С анархистами тебе не по дороге. Наш комитет для тебя только подрядчик. Может, я лучше пойму, если ты скажешь, против кого ты.

— Могу ответить. Ненавижу белоподкладочников. В этих я мог бы стрелять с таким же легким сердцем, как вот протесывал этот брусок. Есть социально-общественное явление, которое породило все беды земли, всю несправедливость, все слезы. Я называю его белоподкладочничеством. Если сказать другими словами, это чванный, лакейский паразитизм. Человек на своем веку должен исполнить назначенный ему урок простого физического труда. Помимо этого он может быть кем угодно: ученым, музыкантом, конторщиком в белом воротничке. Но только сверх этого и попутно с этим. Если человек никогда не копал землю, не работал верхним пильщиком, не сидел, сгорбившись, сложив ноги калачиком, на портновском столе,— такого надо расстреливать. Видишь эти руки? Знаешь, сколько они сделали простого, честного труда?.. Строчка из нашей песни: «Владыкой мира будет труд» — могла бы вобрать всю мою программу, если бы я мог верить, что труд когда-нибудь таковым станет...

...В наше время белоподкладочничество приняло свою самую бесстыдную форму — форму самодержавия и капитализма. Как никогда, оно стало распространяться, вросло корнями во все стороны жизни. И зреет, наливается гневом против этого явления народный протест. Но у нас иногда протест против этого чудовища сводят к экономической неустроенности и несправедливости. А ведь страшнее этого насилие над человеческим умом. Думай, как мы, не смей думать иначе. Несогласные подвергаются дискриминации, видам которой и счету нет. Вымогательство согласия... что может быть страшнее?

Должно быть, заметив в глазах товарища смятение и глубокую жалость к себе, Никифор сказал:

— Я — человек-пуля. Судьба выстрелила мною в белый свет. А пуле ведь не сомкнуться в полете даже со своими сестрами, летящими в ту же сторону. И ей не суждено иметь ни семьи, ни покоя, ни мира в душе. Не знаю, сумею ли я что-нибудь поразить в своем полете или упаду на излете куда-нибудь в торфянистую, не слишком благовонную грязь, только коротко всхлипнув при падении. Не знаю.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Однообразие жизни прискучивает и притупляет оценку состояния наших дел. Но оно же теперь приглушило все тревоги и ту нервозность, в которой Иван жил здесь в первые дни. Он уже начал думать, что там, в комитете, излишне осторожничали, установив для них такой строгий, замкнутый режим. Тянуло хотя бы разок в неделю выйти в город, пошататься вечером в толпе на проспекте, зайти в кинематограф на галерку, из-под которой узкий шипучий голубой конус света, упираясь в экран, прокалывает пропахшую розовой помадой тьму. По городу он соскучился. Странно было, живя на окраине, в часе ходьбы от беспокойных и людных улиц его центра, быть отлученным от города.

Как-то он сказал об этом Ане, добавив свой, ему казалось, убедительный резон.

— Может, зря нас держат здесь затворниками. И насчет конспирации это ведь не очень продуманно. Соседи видят: два таких лба, как мы с Никифором, живут байбаками...

— И все-таки там знают, что делают, и не нам рассуждать,— ответила Аня.

— Начальство знает,— иронически сказал Иван.

Девушка только строго и вместе с тем так, как смотрят на своего человека, который и в раздоре остается своим, посмотрела на него. Но Иван видел, что это «начальство знает» ей пришлось не по душе, так же как жаргонное слово «хаза», которым однажды Никифор назвал их квартиру. Но Никифору она бы нашла что ответить, неуступчиво и непререкаемо.

Может, и не ответила она потому, что пришлось бы на этот раз сказать что-нибудь не в лад тому, как они привыкли теперь разговаривать. А говорили друг с другом они теперь часто, выбирая случай, когда Никифора не было в избе. Может быть, зарождающаяся симпатия, душевное влечение одного к другому вначале в том и проявляются, что бывает одинаково хорошо и слушать, и рассказывать о себе такие подробности, которые не расскажешь никому другому.

Аня с видимым удовольствием рассказывала о своем детстве, о прочитанных книгах, о матери, о сумятице ранних смешных и милых девических мечтаний.

А о чем мог ей в свою очередь рассказать Иван? Рассказывал про отца, про Федорку — дочурку бати-Аркаши, про годы обучения типографскому мастерству, про летние вылазки со сверстниками в лес, с ночевками, на разрезы Кокошинского рудника.

Кому-нибудь другому этого не расскажешь. Другой бы и не понял остроты и свежести этих подробностей. Зато к тому, кто сумел понять, зарождается в душе что-то еще не испытанное.

В эти дни, точнее сказать — в эти ночи, его стали томить сны, летучие, как бы пронизанные странным бестеневым светом. В такого рода снах он словно переставал быть самим собой, делался другим человеком — сильным, бесстрашным и гармоническим. Ни одного из таких сновидений наутро он не помнил в подробностях, но, проснувшись, долго еще ходил, словно утратив вес собственного тела, ходил как в чистом, бездурманном хмелю.

Он еще не знал, что этому есть человеческое название: зарождающаяся любовь.

Когда Аня уходила из дому, не просто в бакалейную лавочку или на рынок, а «туда», парни нетерпеливо жда-

ли ее, и это немного обоих смешило. Ждали, как ждут малолетние ребятишки свою мать, надеясь, что она принесет какой-нибудь нехитрый гостинец. Приносила же она газеты сразу за четыре-пять дней, иногда книги, которые им рекомендовалось проштудировать. Но обычно они ждали от нее не только газет и книг, которые были у них чем-то само собою разумеющимся. Это был их литературный паек, который вынь да положь.

Нужнее и жданнее были новости, касающиеся их житья, работы либо возможных перемен в образе жизни. Поэтому первый их вопрос Ане, как только она переступала через порог, содержал требование рассказать, что ей там было сказано, какая задана дальнейшая работа.

На этот раз, вернувшись из своей очередной отлучки, Аня, не дожидаясь этого обычного вопроса, сама сказала:

— Ну вот... Все жалуетесь, что вас здесь держат, как легкомысленных девиц, под надзором старой ведьмы. Один из вас завтра пойдет на дело.

— Один из нас? — переспросил Никифор.— Тогда это, конечно, я. На жеребьевку не согласен, сразу вам заявляю.

— Никакой жеребьевки не будет. И там нужен человек, еще не примелькавшийся шпикам.

Иван с внезапной тоской подумал, что завтра ему придется уйти из этой прискучившей и, значит, сделавшейся родным местом избы, а Аня останется здесь, и неизвестно, когда-то потом еще доведется увидеться.

— Ну, ничего,— сказала Аня, по-видимому, заметив в его глазах выражение растерянности и горечи.— Ты от нас уходишь ненадолго, может, всего дня на три. Мы с товарищем Никифором еще не вовсе типографские мастера...

Не договорив, она вскочила, первая услыхав, что в двери скребется кошка. Это была кошка соседей, живущих через улицу. Аня приучила ее к дому, всегда находя чем-нибудь ее попотчевать, подолгу забавлялась с ней, расчесывая ей шерстку. Соседи взяли ее еще котенком, а кошка не из тех тварей, которые забывают свой заправский дом и способны уйти из него туда, где жилось бы лучше. Настоящий дом у ней был все-таки там, но и Аню она не забывала навещать почти каждый день, не мяуча под дверями, а только вежливо всаживая коготки в рогожную обивку.

Сколько раз, начиная с отроческих лет, Иван убеждал себя в надобности воспитывать душевную стойкость, ничем не умиляться, не впадать в сантименты. И кажется, этому, худо-бедно, научился. Но вот сейчас эта выучка в нем оказалась куда как не прочна. Так умилительно, и радостно, и утешливо, и отрадно, и просто хорошо ему стало, когда Аня прошла через избу, чтобы впустить кошку. Такая у ней была походка — зыбкая, неслышная, с мягким покачиванием плеч.

«Есть ли у кого еще такая походка? Во всяком случае, в движении, в ходьбе она у меня краше всех красавиц»,— подумал Иван.

Вот подумалось: «она у меня». Подумалось так еще простительно, но сказать нельзя. Никому, даже ей. Что делать, если появилось это мое, глубоко личное, сокровенное, без чего жизнь пуста? Она и была до этих дней пуста, заполненная только ожиданием чего-то настоящего, крупного, сильного.

Вечером Аня сидела на порожке из сеней во двор, обхватив руками и еще больше сузив плечи, сиротливо и неподвижно, лишь поблескивая по-сурчиному робкими, любопытными глазами. А Иван маялся в избе, поглядывая через открытую дверь на ее трогательно обтянутые тонкой кофточкой лопатки, на покатые плечи и узел волос с выпадающими шпильками. Самое бы простое: выйти и сесть рядом, сказав что-нибудь смешное, легкомысленное, но сделать это было почему-то трудно, и никак не придумывалось что сказать.

Набравшись смелости, он вышел и опустился рядом. Садясь, восхищенно сказал:

— Ну и вечер же, черт бы его побрал!

И только, когда сказанного было уже не поймать и не вернуть, заметил, что в глазах у девушки стоят слезы.

Он только тронул ее за локоть, сказав, таким образом, беззвучно и участливо: «Ну, зачем, к чему это?» И ответила она ему тоже только прямым и правдивым взглядом сияющих от слез глаз: «Не знаю. Только это не печаль и не тоска. Просто такой чудный вечер...»

А вечер был тих, смиренен, радужен.

Только минут на десять-пятнадцать за весь долгий вечер полоса небес над лесом, где только что укрылось солнышко, сохраняет такой чистый, праведный тон, которому нет соответствующего и точного в наших человече-

ских названиях красок и оттенков. И только, может быть, два-три за все лето выпадает таких вечера.

И бордюр дальнего сосняка против этого закатного света становится совсем иным, чем днем,— смоляно-черным, и как бы различимы глазом теперь все зазубрины и зубцы, словно нанесенные сухой иглой на редкостной старой гравюре.

Посредине двора столбом висела мошкара. Может, от нее исходил тот тонкий, всего на трех однообразных нотах звук, который стоял в ушах. Хотя ведь мошкару, столбом вьющуюся перед сумерками, Иван видал много раз и раньше, но это бывало всегда при полном беззвучии. Может быть, это только его слух рождает для полноты прелести вечера такой призрачный звук. Он спросил:

— Слышишь, как зундит, ноет мошкара?

— Слышу,— ответила девушка.— Только это, пожалуй, и не мошкара. Наверное, это нам только слышится.

— Обоим враз?

— Может быть, и так. Когда люди думают и чувствуют все в один лад...

— Тогда это хорошо. Но тогда это значит, что им надо так и жить: всегда рядом, всегда на один лад.

— Может быть. Но нам с тобой нельзя загадывать далеко вперед. У нас все может оборваться.

— А мы будем каждый раз наново сращивать,— беспечно сказал Иван.

— Да? — с любопытством спросила девушка, и глаза у нее теперь были сухими, снова озабоченными.— То, что ты сейчас сказал, похоже на объяснение в любви, и мне приятно это слышать. Но сейчас нам надо поговорить о другом. Завтра тебе предстоит выехать на извозчичий промысел.

— Ух ты! — восхищенно сказал Иван, еще не поняв дела, еще полагая, что это сказано не буквально, а в каком-то ином, переносном смысле.— Чего лучше: на тройке с бубенцами. Только бы лучше зимой, чтобы снег из-под копыт.

— Нет, в самом деле,— настаивала Аня.— На несколько дней ты сделаешься обыкновенным «ванькой», извозчиком.

Она объяснила: есть некий старик, который содержит извозчицкое предприятие об одну пролетку с казенным номером. Ездит себе старик, развозит пассажиров кому

куда нужда и тем кормится. Но в последнее время он занемог и его конь оказался не при деле, а ведь этого одра надо удовольствовать всем, к чему он привык, и это становится старику не по силам. Расстаться с конем ему нельзя: на какие же доходы жить, если еще замешкается близкая и вовсе не нежеланная смерть?

Она рассказала это Ивану неторопливо, обстоятельно, словно вся суть его задачи состояла только в том, чтобы занять работой простаивающего коня и сохранить старику его доходишко, пока не будет в силах ездить сам. Но главное было, разумеется, не в этом; и Иван понял, что к чему, только когда Аня сказала, что стоянку он должен будет выбрать на площади у вокзала и сделать это так, чтобы к нему понемногу привыкли соратники-извозчики и те другие люди, которым полагается все примечать.

Он понял: в ближайшие дни в город приезжает новый человек и его надо встретить. И встреча должна быть такой, чтобы у приезжего ни один волос с головы не сдуло сквозняком в вокзальном тоннеле и дальше — в пыльной котловине площади, припорошенной паровозной гарью. Наверное, важного и нужного для дела человека ждут в комитете, если так готовятся к его приему.

— Беспокоишься? — спросила Аня, когда они посидели, минуту помолчав.

— Нисколько. Еще спросишь, не трушу ли я.

— Это не спрошу. Знаю, что не трус. Думай, что все будет хорошо. А беспокоиться буду я.

Душевно-нежные краски неба померкли, пришли сумерки, серые, шелковистые. Они словно еще переливались, как муар, но с каждой минутой все больше этих закатных бликов смывало полой водой ночи. Летучая мышь метнулась на них из темноты, заставив девушку вздрогнуть.

— Буду помнить обещанное тобой: беспокоиться обо мне,— сказал Иван.

— Я сама не позволю тебе забыть. Потому что буду говорить это часто. Только сегодня об этом больше не надо. У нас еще не все сказано насчет завтрашнего.

Утром он пошел разыскивать дом, куда надо было явиться, и это оказалось не просто. Адреса Аня ему сказать не могла. Не было там ни улицы, ни номера дома на

фасаде; это был особнячок в дачном пригороде, в стороне от шоссейки.

Если идти по шоссе, то эти дачки мелькают в просветах редкого сосняка растянутыми верст на пять, и поди разбери, какая из них та самая, а спрашивать у прохожих Иван всегда избегал. Местами сквозь гребенку леса осколками расколотого зеркала поблескивало большое озеро. Аня сказала, что от верстового столба с восьмеркой надо повернуть налево, в третью дачу, но он и верстовой столб с такой цифрой отыскал не сразу в зарослях затянувшей всю обочину боярки.

Толкнув невысокую, по грудь, калитку из вольерной сетки, Иван пошел по песчаной дорожке. На полпути к дому его встретил вышедший из кустов пес, старый брыластый пойнтер. Глаза у собаки были печальные, слезливые, оттянутые вниз, и этот грустный хранитель дачи глазами спрашивал: ну, кто ты такой?

Иван поднялся на крыльцо дома, вошел через незапертую дверь в коридорчик, словно слабым зеленым фонариком освещенный процеженным сквозь листву светом с веранды по ту сторону дома.

На веранде двое, в этом зеленоватом свете, похожем на тот, что осветители в театре включают для эффекта лунной ночи, играли за круглым столом в карты. Играли, похоже, не на деньги, а только чтобы занять время. Один из них в расстегнутом жилете и манишке, которая бугром коробилась на груди, не дометав талию, сгрудил карты и встал. Второго Иван узнал только тогда, когда тот обернулся. Это был Калганцев.

Собственно, Иван и встречался-то с Калганцевым раньше лишь дважды, и в обыкновенной жизни, обычном обывательском быту, это считалось бы только шапочным знакомством. Но их жизнь и работа, как себе представлял Иван, сложилась в виде хитрого механизма на цепных передачах, и Калганцев с ним был в одной цепочке, и стояли они в ней давно уже почти рядом: между ними было только одно звенышко — Аня, которая виделась с ним часто и решала все разной степени важности дела. Ближе Калганцева к центру этого механизма стоял, вероятно, Федор Иваныч. А сам Иван, если считать по удаленности от мотора машины — комитета, был уже последним звеном. Последнему звену, известно, всегда труднее, подумал Иван. И тут же поправился: ой, нет.

Может быть, труднее только в малом — в практической стороне дела. Зато не надо ничего решать самому, делай что скажут. С подручного все-таки меньший спрос.

Во всяком случае, он будто немножечко обрадовался, что действовать в эти дни придется под началом Калганцева.

Человек в расстегнутом жилете медленно поднялся, протянув руку, назвался:

— Ергин.

— Однако же поговорим о деле,— после всего сказанного для приличного начала предложил Калганцев.

— В общих чертах мне оно известно.

— В общих чертах мало знать и тебе и всем нам. Надо, чтобы вся эта наша операция прошла как по-написанному. Поэтому еще и еще раз надо все пересмотреть... Приезжает из Центра один наш товарищ, и, возможно, полицейские власти об этом знают. И постараются его схватить как раз на вокзале. Чего доброго, наводнят вокзал и площадь шпиками.

— Н-ну?

— Вот тебе и «ну». А мы ведь тоже не лыком шиты. Мы теперь не те, что были, скажем, до девятьсот пятого года, и не можем просто позволить полиции делать все по своему нраву. Пошлем на вокзал столько своих ребят, сколько потребуется по ходу дела. В худшем случае...

— Если схватиться с фараонами придется?

— Может быть, и так. Что, ребята драться разучились?

— Оружие будет?

— Кое у кого, только не у тебя. Зачем оружие извозчику?

— Думаете, у извозчика самая легкая задача?

— Да уж, конечно, нелегкая. Потруднее других. Вот рассуди: принял ты приезжего в свою пролетку, тронулся. Что дальше? Какой аллюр?

— Чем скорее, тем лучше. Но не во весь опор.

— Отлично,— согласился Калганцев.— Я бы тоже поехал так: поторапливаясь, но не вскачь. Однако же извозчиков на вокзале всегда бывает не один, не два. Агенты выхватят из биржи того, чья лошадь порезвее. И вот они уже мчатся в угон за тобой. Вот тут надо все продумать до мелочей. Давай вообразим, что дело уже сделано и все обошлось благополучно. И ты теперь рассказываешь

мне, как оно получилось. Вот ты увидел, что они тебя уже настигают. Что ты сделал после этого?

— Ну, тут ведь долго думать некогда. Надо делать то, что меньше всего ожидают. Я бросил вожжи пассажиру, выскочил навстречу тому коню и накинул свое пальтишко ему на глаза. Конь от этого шалеет, и им уже не управишь.

— А извозчик тебя кнутом...

— Кнутом — не страшно. Это я, допустим, принял с удовольствием. Но тут на меня набросились агенты, а они ведь вооружены.

— Стрелять они без крайней надобности не станут,— как бы втолковывая это кому-то третьему, произнес Калганцев.— Застрелить среди улицы человека — это даже полицейским сыщикам даром не пройдет. Даже у нас на святой Руси. Но их будет двое, а ты один.

— А почему я, кстати, окажусь один? Почему с пассажиром ко мне не сядет кто-нибудь из наших ребят?

— Да потому, что приезжих будет не один, а двое, и второй из них — женщина, связная. Разве тебе этого не сказали?

— Еще не лучше,— с веселым недоумением проронил Иван.

Они сидели еще часа полтора, пытаясь наиподробнейше все обтолковать, все предусмотреть; обоим уже казалось, что они толкут воду в ступе. Калганцев в конце концов сказал:

— Ладно, хватит. Каждый раз ведь так: думаешь, что предусмотрел все, а на деле окажется...

«Каждый раз,— подумал Иван.— Сколько же таких «разов» — случаев, эпизодов, рискованных и дерзких дел бывало у этого человека?»

Он знал уже теперь, что у Калганцева было много всего — тюрьма, побеги, служба в дружине боевиков. В октябре девятьсот пятого товарищи унесли его с Кафедральной площади с головой, пробитой кистенем какого-то «архангеловца».

Все это о Калганцеве Иван слышал и раньше. Но, бывает, хорошая книга была уже однажды прочитана, однако прочитана равнодушно, без душевного всплеска. Но придет такой час, прочитаешь ее снова и — откуда что? —

пронзит сердце певучая стрела волнения, боли, восторга. И книга тут ни при чем. Может быть, сам при первом прочтении еще не созрел для нее.

Они расстались за полдень. Калганцев еще остался на даче, чтобы не выходить вместе. Ивана опять проводил до калитки все тот же брыластый пес, похожий на лакея, которого держат в доме уже только из неверной, не слишком надежной милости.

Там, на даче, Иван было подумывал, что сегодня уже поздно идти к старику извозчику. Сейчас решил: надо идти, не откладывая на завтра. И выехать на извоз сегодня же. И так остается только два дня на то, чтобы осмотреться на местах будущего дела, примериться к новому ремеслу.

Идти было неблизко, сначала пригородным дачным лесом, потом окраинами, чуть ли не в другой конец города. Дневное высокое солнце успело прокалить лес; от запаха смолы-живицы и горячей хвои голова стала легкой, хмельной, беззаботной.

От волнения, которое всколыхнулось в нем, когда разговаривали с Калганцевым, теперь не осталось и следа. Теперь было покойно, хорошо.

«Раз уж такая пляска»,— смешливо подумал Иван.

Это значило: раз принял на себя такой удел, надо привыкать к тому, что сегодня здесь, завтра там. И надо уметь управлять своим настроением. Волнения и тревоги будут вторгаться часто и непрошено; быть всегда спокойным, бесстрастным нельзя. Только чужому глазу надо уметь всегда казаться таким.

Домишко, в котором жил старик извозчик, был ветхий, прискорбный, дворик запущен. Ворота осели и перекошены, одна верея, подпертая дрынком, стояла с большим наклоном в улицу, другая — во двор. С первого взгляда можно было заключить, что хозяин либо стал дряхл и немощен, либо его нет вовсе.

Иван прошел в калитку, остановился на пороге избы, откуда даже при открытых настежь дверях тянуло запахом нежили и тухлости.

Старик лежал на убогой, как сам, деревянной кровати, на каких-то лохмотьях, покрывшись ватным сборчатым кафтаном. На зов, на приветствие он начал медленно подниматься, сползать со своего лежбища и поднимался долго, кряхтя и пристанывая. Прежде чем встать, поси-

дел, уронив голову, тяжело, исподлобья глядя на пришедшего.

— Явился, значит? — спросил он, когда Иван назвался, как было условлено.— Пришел по мою душу.

Иван сказал, что он пришел не по душу старика, а по поводу коня.

— По душу и выходит,— возразил старик.— Михей теперь и есть моя душа.

Пролетка во дворе стояла оглоблями под навесом, надо было ее повернуть, направить на выезд.

— Берись, выкатывай, чего стоишь? — сварливо сказал старик, когда Иван не сразу догадался, с чего начинать.

Иван, взявшись за оглобли, повернул, поставил пролетку как надо, и старик одной рукой будто помогал ему, держась другой рукой за грудь. Белая, жалкая грудь его в расстегнутой до пупа рубахе астматически вздымалась и западала, в ней сипело и всхлипывало, и у Ивана опять нарушилось то покойное и ровное состояние, с которым он шел дачным сосняком. Пронзила жалость к этому старику бобылю, которому, по всей видимости, и жить осталось всего ничего.

Что это за жизнь, когда здоровые, состоятельные люди позволяют себе подобному доживать в таком забросе и убожестве, подумалось ему. До чего довели старика? А кто довел? В том и беда и мерзость, что не скажешь, кто это сделал. Повинен самый уклад жизни, и это страшнее, чем чья-то известная вина.

Старик вошел в денник и что-то бормотал там ругливо и ласково, и конь Михей так же невнятно всхрапывал, радуясь хозяину.

— Запрягать умеешь ли? — спросил старик, выводя коня.

Иван принял повод, ввел коня в оглобли, но старик гневно окликнул: «Куда?» — сразу задохнувшись от непосильного повышения голоса.

— А почистить животную не надо, что ли? Берешься за дело, знай порядок. Да Михей и со двора не пойдет таким неприбранным.

Тут обнаружилось, что такое простое дело, как почистить коня, у Ивана не получается. Может, он и справился бы с этим наедине с Михеем, но старик стоял рядом, следя за каждым движением, и все ему казалось

не так, не по его. Он отобрал у Ивана щетку и скребницу, чтобы сделать по-своему, но тут у него снова захватило дыхание.

А конь терпеливо стоял, только перенося тяжесть тела с ноги на ногу, и косился на извозчика-практиканта, словно тоже насмешничая и брюзжа.

Иван наконец кое-как приладился, и дело пошло, и старик, угомонившись, присев на перевернутый окорёнок, неожиданно спросил Ивана:

— Как там Тимошка Калганцев? Ходит по воле иш-шо? Не доигрался до чо-нибудь сызнова? Он ведь племянничек мне, черти бы его...

Было Ивану затруднительно ответить на такой простой вопрос. Что знает старик об их с Калганцевым делах и знает ли вообще, для какой цели дает своего коня? Что можно ему сказать, чего нельзя? Решив, что со стариком кто-нибудь предварительно говорил и позволенное ему знать он знает, а большего не надо, Иван пробормотал:

— Не знаю, ничего не знаю.

Старый извозчик иронически потряс бородой, не поверив этому незнанию, но ни о чем больше не расспрашивал.

А Иван тревожно думал: как же так? Ведь в случае худого исхода их операции полиции будет нетрудно добраться до старика по номеру на пролетке, и она не поглядит ни на его старость, ни на беспомощность. Жаль, он не спросил об этом Калганцева. А теперь что уж?

Часа два потребовалось на все их сборы. В конце старик заставил его поднять кожаный верх пролетки, названный им «откидухой». Затем изложил свое требование: выручку, сколько Иван наездит, привозить всю до копейки, и деньги, какие было сказано сверх того, чтобы доставили завтра же. Овес у него на исходе. Ему самому деньги теперь как бы и ни к чему. И не ест сейчас, по летней жаре, почти ничего. Но пока он, старик, жив, Михею стоять голодным не даст.

На извозчичьей бирже — стоянке возле вокзала — Ивана сначала приняли нехорошо, враждебно. Новичка на любой работе принимают без особенного привета: это было известно. Обязательно придумают какую-нибудь каверзу, подвох. Иван по опыту знал, что насмешки, из-

девки даже, новичку в первые дни надо принимать спокойно, как нечто неизбежное, должное. Иначе им конца не будет. Пока ехал по городским улицам до вокзала, его раза три окликали с обочин мостовой люди, ищущие извозчика, и он видел, что попадают пассажиры из порядочных. Таких случаев извозчики не пропускают, потому что на стоянках жди еще, когда удастся заполучить пассажира. Но у него была своя цель, и он отрицательно мотал головой. Зато Михей, зная порядок, извозчичью выгоду, на каждый окрик замедлял ход и норовил подвернуть к тротуару.

Выкатившись с Арсеньевской улицы на вокзальную площадь, Иван пустил коня на его волю, и тот привычно сделал круг по правой стороне площади, заняв место в хвосте очереди.

На унавоженной, пахучей полосе стоянки вдоль серого дощатого забора сгрудилось уже пролеток пятнадцать. Извозчики стояли кучкой немного в стороне, дымя махоркой, похохатывая, сквернословя. Только трое из них были одеты в когда-то обязательно принятую одежду, от которой в эти годы стали понемногу отступать,— в кафтаны со стоячим, сбоку застегивающимся, как у косоворотки, воротом и шляпы-цилиндры. Остальные — кто во что.

Сразу же от группы извозчиков отделился парень в плисовых штанах. Поигрывая кнутовищем, блестя веселыми и наглыми глазами под истертым козырьком картуза, он строго спросил:

— Ты откедова взялся? Порядка не знаешь? Билет у тебя есть?

Иван уступчиво ответил, что билет есть по всей форме.

— Покажь.

— Покажу, не тебе только — старшему.

Никакого билета на промысел иметь не полагалось. Парень просто задирался.

Переложив кнутовище в левую руку, он вдруг дернулся правым плечом вниз, как бы намереваясь ударить новичка снизу в челюсть. Но Иван не дрогнул, не отшатнулся, и парень, дурашливо ухмыляясь, отошел. Вместо него подошли трое других. Они молча осмотрели его пролетку, коня, упряжь.

— Постой,— вдруг сказал пожилой извозчик,— это ведь Михей Сидора Иваныча.

Он спросил, каково у старика здоровье, надолго ли, на каких условиях Иван нанялся к нему: в работники или только на выездку?

Было похоже на то, что в коллегию извозчиков Ивана теперь примут и место на вокзальной стоянке он будет иметь.

Все-таки строгий вопрос насчет порядка ему задали еще раз.

Когда приходили поезда, извозчики на этой «бирже» не застаивались, но между поездами пассажиров приходилось ожидать порой долго. В такой час вынужденного безделья кто-то из его новых товарищей многозначительно напомнил Ивану, что ему на работу «фарту не будет», если он поскупится угостить кое-кого из здешних постоянных извозчиков.

И — что делать? — пришлось вести человек восемь в ближнюю полупивную за углом, потратив на это почти всю дневную выручку.

Езды как раз в эти дни оказалось много, и от непривычки к такой работе, от этого целодневного кружения по городским улицам на жаре, к вечеру Иван почувствовал себя так, словно три очереди подряд прокрутился на ярмарочной карусели.

Вечером он приезжал во двор Сидора Иваныча, протирал коня куском рогожи, ставил в денник. А уйти было еще нельзя: надо было ждать два часа, пока его можно будет свести к колодцу и напоить. Уже почти затемно Иван приходил к бате-Аркаше, где ночевал эти дни,— было сказано, что показываться на той их квартире ему пока не надо.

На свой ночлег он шел со странным чувством, что по-теперешнему живет не два, не три дня, а давно и что добывать свой хлеб нелегким извозчичьим промыслом ему придется долго-долго.

Когда он появился в первый раз у бати-Аркаши, заметно подросшая Федорка даже присела от изумления и, опершись руками в колени, долго и светло смотрела на него снизу, потом бросилась к нему, крича: «Ивасик пришел!»

А батя-Аркаша встретил воспитанника сдержанно и ни о чем не спросил.

Только когда Федорка, смешно сморщив нос, сказала, что от Ивасика пахнет лошадью, он заметил:

— Верно ведь, ты весь пропах чем-то таким. В кучерах служишь, что ли?

Иван неопределенно ответил: вроде того.

Накануне того дня, который должен был стать последним в извозчичьей службе Ивана, к нему сел человек, которого он сразу узнал. Это был один из тех двух, которых он видел в Обществе горных техников в день первого знакомства с Аней.

Иван стоял в очереди не первым, и брать пассажира, обойдя стоящих впереди, ему было не с руки. Извозчики этого не любят. За такое нарушение порядка ему могут сделать потом что угодно: прорезать кожаный откидной верх экипажа — самое ценное у извозчика после коня, могут выдернуть потихоньку чеку, чтобы где-нибудь на ходу сошло колесо. Правда, бывает, что разборчивый пассажир берет извозчика по своему выбору, но тогда он садится в пролетку пощеголеватее других или выбирает коня порезвее на его взгляд. И тогда считается, извозчик не виноват перед товарищами.

Но у Ивана пролетка была не из лучших на бирже. И когда он выправлялся из очереди на мостовую, тот пожилой извозчик, который в первый день работы опознал Михея и справился о здравии Сидора Иваныча, заступил дорогу.

— А очередной вон стоит, господин хороший,— хмуро сказал он нанимателю.— Туда пожалуйте.

— А это мое дело. Беру — кого хочу.

Ткнув Ивана в спину, как это делали часто заносчивые, важные пассажиры, он нетерпеливо сказал:

— Трогай. На Знаменскую.

Виновато пожав плечами извозчику, который считался у них на бирже вроде старосты, Иван тронул. Когда проехали квартала четыре, Михей сам повернул на Знаменскую.

— Он что у тебя, улицы города знает наперечет? — с удивлением спросил седок.

— Лучше меня,— довольно усмехнулся Иван.

Смеяться стали бы, скажи кому-нибудь, что за три дня работы Иван сдружился с Михеем и теперь ему даже немного жаль, что завтра с ним придется расстаться.

Может, это было и не так, но Ивану думалось, что

Михей с первого дня стал узнавать его походку. Когда утром он входил еще только в калитку двора Сидора Иваныча, конь начинал топтаться в своем деннике и приветственно рокотать. При запряжке он не упускал случая дыхнуть ему в ухо, и это получалось у него очень дружелюбно. А, кроме того, у него не было, чем еще выразить свое дружелюбие, и тогда он только смотрел в глаза.

— Ну как новая служба? — с незлобивой усмешкой спросил пассажир.

Иван не ответил, и тот, по-видимому, думая, что Ивана тяготит и смущает не слишком почетная работа извозчика, добавил:

— Ничего, завтра выедешь последний раз, а там вернешься на свое место.

— А мне хоть бы и навовсе остаться. Я работы никакой не боюсь. Был бы смысл.

— О смысле разговор особый и долгий,— уже деловито и озабоченно сказал пассажир.— И сейчас об этом не время. Сейчас — о завтрашнем. Я — Курзенев. Надо полагать, тебе называли меня.

Иван оглянулся, пристально оглядев своего седока.

Курзенев действительно была давно знакомая ему фамилия.

Когда Иван работал в «Уральской жизни», Курзенев подвизался в ней фельетонистом.

Его фельетоны всегда хорошо принимались читателями. Курзенев было имя для их губернии достаточно известное. Но в лицо, накоротко, фельетониста Ивану видать как-то ни разу не довелось.

Потом это имя перестало появляться в газете. И вот теперь — странная встреча с глазу на глаз.

Боком сидя на козлах пролетки, искоса посматривая на своего пассажира, Иван сказал:

— Года два тому назад кто в городе Курзенева не знал?

— Ну, спасибо. Елей на авторское сердце.

Но вышло это у него равнодушно, скучливо и разве только немного грустно. В пролетке журналист сидел прямо, осанисто. Одет в чесучовый просторный пиджак. Вместо галстука под мягким воротничком подвязана шелковая синелька с кисточками. Накидка с застежкой в виде двух аграфов — львиных голов и бронзовой цепочки, аккуратно свернутая, лежала у него на коленях.

«Не чухры-замухры — товарищ»,— подумал Иван.

Как бы то ни было, от этого человека ему следовало получить последние инструкции на завтра. И он осторожно спросил:

— Зачем же вы взялись организовывать завтра встречу? Вы — человек приметный...

— Тут, видите ли, молодой человек, такой камуфлет: в лицо приезжего знаю только я один.

Он велел ехать пока на Логвинский бульвар («потом скажу — куда дальше») и по дороге объяснил, что его роль во всей этой операции не велика: только встретить приезжих при выходе из вагона, но не подходить и не здороваться, лишь показать их одному из своих людей. Тот будет на перроне с группой помощников, и этим ребятам предстоит, может быть, самое трудное — проводить приезжих до Ивановой пролетки, а там уже все дело возляжет на него, Ивана, и тут опять может получиться по-разному. Либо агенты охранки не сумеют погнаться за ним след в след («конечно, эти ребята из группы страховки постараются их задержать»), и тогда будет все к общему удовольствию. Либо какая-нибудь чертовщина случится позднее. Ведь предполагается, что Иван с приезжими оторвется от полиции, покинув вокзальную площадь. Но при этом он оторвется и от своей группы прикрытия.

Конечно, не мешало лишний раз вернуться к этим подробностям предстоящего дела. Но Иван уже столько о нем думал и уже положил себе все это загодя не ворошить в уме, что теперь слушал рассеянно.

— Дело покажет. А умирать раньше смерти тоже не резон.

Что еще он мог, кроме того, что отвечать поговорками? День покажет.

А пока еще был вечер в предшествии этого дня, опять тишайший вечер, час, когда природа углублена в себя, дойдя до той черты, за которой лежат равновесие и совершенный покой. Словно в ней не будет больше гроз, метелей, ветров, и только росы по ночам будут увлажнять землю.

Иначе, чем днем, гулче и эховитее цокали копыта коня по булыжной мостовой, и уже стали видными искры, высекаемые подковами.

Логвинский бульвар был пустынен, только несколько

мальчуганов-малолеток, которым пора бы уже спать, висели, кружась на крестовине турникета при входе.

Иван с седоком проехали немного вдоль литой решетки бульвара, и там, из полутьмы, уже плотнеющей под старыми деревьями, ближе к мостовой вышли трое парней.

— Заметь того, что в кепке,— вполголоса сказал Курзенев.

Иван вгляделся в парня, кивнул, что заметил и запомнил. И тот кивнул ответно, этим подписав подразумеваемый протокол встречи и обоюдного представления.

— Это — старший в твоей группе прикрытия,— пояснил Курзенев.

Вот и все, ради чего они встретились. Курзенев только и должен был на сегодня, что показать Ивану этих ребят, и теперь они могли расстаться. Ивану пора было ехать домой, поставить коня до утра в его глухой пахучий закут. Но Курзенев, кажется, не собирался выходить из пролетки, и Иван спросил: куда теперь?

Вздрогнув, словно пробужденный от невольной, несвоевременной дремы, Курзенев сказал:

— А все равно. Поезжай, куда тебе самому путь.

Иван ответил, что Михею путь лежит в его конюшню, а потом и ему самому надо поспать хоть часа четыре, если утром вставать со светом. Извозчичья жизнь, сказал он усмехнувшись, чем меньше спать, тем больше прибытка.

— Ну, поеду с вами, поставим коня, потом пройдусь пешком,— как бы просительно, с той смиренной, ослабевшей интонацией, с какой говорят усталые люди в час властной вечерней тишины, сказал Курзенев. И зачем-то спросил еще, есть ли у Ивана часы? Часов у Ивана не было, но он в них и не нуждался.

Была та пора лета, когда ночи коротки, рыхлы и как бы разжижены. Оперенная, серо-голубая, таежного цвета заря лишь проплывает над горизонтом в волшебно-замедленном полете, лишь ненадолго скрывается за зубчатым кремлем леса вдали и снова затлевает лишь немного восточнее и только чуть лиловее.

Иван оглянулся на пассажира. В сумерках лицо журналиста казалось похудевшим, серым. Приспущенное поле шляпы спереди затеняет лоб, но и при этом глаза поблескивают болезненно и неспокойно. Клинышек бородки-эспаньолки как подрисован гримировочной тушью.

И почему-то Ивану подумалось: человеку некуда пойти. Домой? У каждого есть свой дом. Даже у Михея, причем утвержденный за ним надежнее, чем бывает у людей.

У этого изящного журналиста, конечно, есть своя крыша. Но, видно, бывает и так, что, и имея дом-пристанище, идти все-таки некуда.

Пока Иван ставил и прибирал коня, Курзенев прохаживался вдоль заборов, потом шагов стало не слыхать. Иван подошел к окну избы старика, открытому во двор. Сидор Иваныч всегда еще не спал, дожидаясь его возвращения с работы. Из окна тянуло тяжким запахом махорочного дыма и неопрятного бобыльего жилья.

— Приехали, работнички? — сипя больной грудью, спросил старик.

— А ты бы хоть не курил, дед,— участливо сказал Иван.— С такой-то одышкой.

— Ну, спаси тя Христос,— благодарно откликнулся старик из смрадной своей берлоги. Может, уже много лет ему не от кого было услышать слово участия. И скрипуче, отдыхая после каждого слова, он заговорил, чтобы Иван шел домой, а напоить Михейку он как-нибудь сползает сам.

И он еще просипел что-то о том, что завтра надо выбрать час и съездить в лабазы за овсом.

Со странным чувством какой-то своей личной вины перед стариком Иван вышел на улицу, думая, что журналист ушел, не дождавшись. Но тот сидел на скамейке в нише соседних ворот.

Некоторое время они шли молча. Потом Курзенев сказал:

— Вот это ты все-таки возьми. Завтра тебе надо подъехать к месту действия не слишком рано, чтобы не стоять в ожидании, но и опоздать нельзя ни на минуту.

Он протянул Ивану весомые, как гирьки, карманные часы, и тот, приняв их, почувствовал, какие они теплые, услыхал их деловитое, частое тиканье.

Утром на вокзале все сложилось так просто и произошло так стремительно, что Иван даже подосадовал на себя за опасения, за тревогу, которым предавался все эти дни.

К назначенному времени он приехал на место и, не выезжая на площадь, встал за углом так, чтобы видеть

большую ее часть. Виден ему отсюда был только центральный выход из вокзала, а боковой был закрыт дощатой табачной лавочкой, но те парни, которых ему накануне показал Курзенев, были на месте, и старший из них тут же снял свою кепочку с отворотами, обмахиваясь ею, что значило: все пока идет хорошо.

И стоять в ожидании долго не пришлось.

Поутру из кутнего угла белого света,— так называл извозчичий староста северо-западный клин горизонта,— тянуло сырой прелью, и небо там было окрашено в тона серого шелка. По его приметам, это значило, что к обеду бог даст дождичек с крепким ветром.

Иван сошел с пролетки, тряпочкой освежил Михею глаза, согнав докучавших ему мух, без надобности перевязал покрепче намотку чересседельника. И тут над площадью, неся вздыбленную космами пыль и мелкий мусор, прошелестел первый порыв ветра. И словно этот ветер раскачал вокзальный колокол, тут же донеслось его треньканье — сигнал прибытия поезда.

Иван вскочил на переднюю беседку пролетки, напряженно следя за ребятами на площади, только боковым зрением заметив, что из-под вокзального портика потекла толпа пассажиров с прибывшего скорого. Он не мог видеть всей цепочки знаков, которыми сопровождала приезжего группа его дружинной охраны. Зато вовремя заметил отмах кепкой, адресованный ему. Скорой рысью он выкатился на площадь, и только на долю минуты ему пришлось приостановиться, чтобы принять остролицего человека в шляпе и бежевой визитке, которого ему подвели ребята, отделив от других пассажиров слаженной и ненарочитой цепочкой. Вместе с приезжим, собственно, первой, как бы брезгливо-равнодушная ко всему, что делается вокруг нее, в пролетку поднялась его дама. И уже на ходу экипажа в ноги к ним кто-то сунул небольшой чемодан.

Позднее все это дело для Ивана как бы поделилось пополам: на то, что видел своими глазами, и на то, что узнал из чужих слов и по своей догадке. И первая часть оказывалась куда меньше, короче второй.

Полиция и агенты жандармской канцелярии, а их на вокзале было немало, как оказалось, совсем не проворонили приезд этого человека и пытались организовать приезжему достойную, по их понятиям, встречу. Но никто

из них не знал его в лицо, а только по приметам. Своими глазами Иван видел, пожалуй, лишь две мимолетные подробности. Когда он отъезжал, за его пролеткой бросился «некто в сером». Так называл сыщиков кто-то из товарищей по организации. Может, он успел бы еще вскочить на заднюю ось пролетки, но кто-то из молодых извозчиков с «биржи» захлестнул ему ноги кнутом, и шпик упал, пропахав носом пыльную обочину мостовой. Скорее всего сделано это было без намерения помочь подпольщикам, из простого извозчичьего озорства, но пришлось весьма кстати.

На повороте с площади в улицу навстречу пролетке очень медленно шел какой-то мещанин. Ничего в его обличье не было, изобличающего шпика,— обыватель как обыватель. Только двигался он странно: подавшись вперед, и кулаки в карманах, и плечи сведены, сужены. И шел, зачем-то держась поближе к мостовой, сойдя даже с плит гранитного тротуара.

И все-таки это был еще один из тех, кого зовут наружными агентами. Сузив глаза, он вгляделся в лицо приезжего и вдруг бросился, пытаясь силою рысьего прыжка в пролетку сбить Ивана с облучка и завладеть вожжами. Но не оробел и Иван, хотя позднее никак не мог вспомнить, куда пришелся его удар кулаком. А тут и Михей, которому этот инцидент оказался явно не по душе, рванулся в оглоблях, чаще защелкав подковами о булыжник.

Того, что происходило за его спиной на площади, Иван уже не видел. А там, к его счастью, вся извозчичья очередь пришла в движение. Одна за другой пролетки ходко покатились к подъезду вокзала. Это помешало агентам схватить и погнать следом за Иваном любого извозчика, на что они всегда имели крутое, кулачное полицейское право. А когда схватили все же какого-то возницу из замыкающих «биржу», дорогу коню преградила группа парней, галдящих и пьяно смеющихся. И они задержали погоню только на секунду, но, подхлестнутый, после этого конь вдруг вышел из оглобель: у него оказался пересечен гуж, одним ловким взмахом ножа.

А дальше, после стычки с агентом, Ивану опасаться было, пожалуй, нечего, так как Михей,— он надеялся,— не подведет. Еще накануне извозчики хвалили его за резвость, говорили: его бы при другой жизни на скачки пустить.

На скорой езде через весь город по очень путанному маршруту Ивану стало покойно и почему-то грустновато. И вскоре самым важным и желанным из всего, о чем теперь ему следует думать, стали думки о том, как он вернется в их избу на окраине поселка. Снова под одну крышу с Аней...

Не то чтобы он не вспоминал о ней в последние дни. Просто старался не слишком мысленно задерживаться на этом, а теперь это можно себе позволить с чистой совестью.

Где-то в восточной части города он увидел медленно трюхающие впереди обывательские дрожки, которыми управлял Калганцев. Все вышло, как было условлено.

Иван пересадил своих пассажиров к Калганцеву. Прощаясь, остролицый приезжий встряхнул руку Ивана своей длиннопалой, крепкой при таком тщедушном сложении рукой, сказав:

— Приятно было познакомиться.— И Калганцеву: — Товарищ у вас из молодых, но серьезный. Надо нам будет встретиться снова. Сумеем?

— Встретитесь, и не один раз,— благодушно пообещал ему Калганцев.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Чистый, легкого дыхания, но довольно прохладный для августа день. Аня, уходя из дому, кроме кашемировой косынки на голове, надела еще на плечи теплый платок, скрестив на груди сложенные вымпелом концы и завязав их узлом сзади. Она стала при этом уже в плечах, женственнее, хрупче. Так, по-рыночному одетых женщин-хозяек, принюхивающихся к рыбе, пробующих изюм, уносящих с рынка кур вниз головой за связанные лапки, в часы позднего утра толчется не один десяток возле прилавков на всех базарных площадках города.

Ботинки она носила на пуговицах, продеваемых в тугие петли специальным крючком. В первые дни жизни на их квартире она нипочем не позволяла Ивану помогать в этой канительной операции — застегивании ботинок, но он однажды настоял и потом уже каждый раз делал это как само собой разумеющееся. Наклонялся, застегивал ей ботинки, делал безразличное и скучное лицо, хотя

каждый раз его так радовало и волновало, словно делал это впервые. Девушка ставила ногу на порожек, обтягивая колено юбкой, усмехаясь смутной, стеснительной улыбкой.

А Никифор только посматривал на них с видом человека, который стоит выше такой телячьей галантности. Он-то Ивану не соперник, и черт с вами, с вашими тонкостями, с вашей понемногу созревающей робкой сердечностью.

Но в этот раз как-то получилось, что Никифор раньше завладел крючком и, словно делая им обоим одолжение, предложил:

— Ну-те, дайте я.

— Пожалуйста,— по-доброму и нимало не удивившись, сказала Аня.

— Вдруг когда-нибудь женюсь, так стоит поучиться,— бормотал он. Справившись с застежками, Никифор небрежно бросил крючок на подоконник. Всякие мелкие предметы — карандаш, типографское шило, отвертку — он никогда не клал беззвучно, а скучающе и будто презрительно отбрасывал, словно никогда ему больше это не потребуется.

Аня ушла и должна была возвратиться часа через два с половиной. У них твердо соблюдался уговор: если кто-то отправлялся по делам, остальные должны знать, когда тот вернется. И опаздывать было не принято, потому что оставшиеся дома будут считать такое опоздание сигналом о неблагополучии.

Работы, обязательной и их непосредственной, в этот день у парней не было, и Иван на досуге занялся переливкой валика. Он растопил печь, расплавил вальцовую массу, соорудив водяную грелку из ведра и какой-то помятой жестяной банки.

Никифор помогал ему, выспрашивая подробности этой нехитрой работы, простодушно погмыкав по поводу того, что вальцовая масса состоит всего только из клея и глицерина. Оказывается, глицерин — тоже революционный материал, сказал он. Он ведь идет еще и на взрывчатку.

Они расплавили массу, вылили ее в форму, поставили все это в угол, чтобы валик постепенно остыл и уплотнился.

— Вот я и еще одному научился,— довольно сказал Никифор.— Теперь я уже заправский типограф.

— Типограф ты еще никакой,— возразил Иван.— Опыт в этом мастерстве у тебя самый элементарный. Думаешь, зря ребят держат по три года в учениках?

— Это-то я понимаю,— согласился Никифор.— Вообще, я умею многое, да только все приблизительно. А так, чтобы по-настоящему,— ничего. Кем ведь только ни бывал?! На заводе работал в прокатном цеху почти полгода. Правда, там больше всего заставляли волосовину зубилом вырубать. На сплаве работал, на чаеразвесочной фабрике. Был даже подручным у часовщиков, братьев Зильберман.

— Даже? И это была вершина твоей карьеры?

— А ты не смейся. Может, главный порок нынешних порядков в том, что рабочий человек не может выбирать себе дело по душе и мало кому удается дойти в своем деле до настоящего мастерства. После революции иначе будет.

— А как?

Вдруг, на малую долю минуты споткнувшись, но совершенно тем же тоном, Никифор сказал, указав глазами в окно:

— Как там будет, поживем — увидим. Пока смотри вон...

В окно было на что посмотреть.

Пролетка вроде извозчичьей, но с казенным кучером на переднем сиденье подкатывала к избе, и кучер уже сдерживал сытого крутошеего коня, всхрапывавшего себе в грудь. Двое штатских выбросились из пролетки, прежде чем она поравнялась с калиткой, накренив повозку так, что она едва не шаркнула подножкой о дорогу.

Служивых, почтивших ребят своим визитом, было четверо. Пока старший, полицейский офицер, неторопливо, вальяжно сходил с пролетки, а кучер обертывал вожжи за запряг, пригнув голову коня на сторону, двое первых уже рвали двери в избу, закинутые на крючок.

Чем-то крепким они сумели их подковырнуть, потому что крючок, звякнув, вырвался из пробоя. А ничего такого — ни топора, ни ломика в сенях не хранилось.

«С собой они, что ли, возят ломик-фомку. Как грабители»,— успел подумать Иван, удивляясь своему спокойствию. Страх ареста, лишения свободы и того, что за этим последует, то есть того тяжкого, нечистого и злобного, на что так щедра царева тюрьма,— страх этого всего

он уже пережил в воображении раньше и сумел его погасить в себе. А проверить себя на крепость в послеарестных условиях еще только предстоит.

Может быть, как раз для обозначения такой критической минуты придумано простецкое присловье: что было — знаем, что будет — увидим. Только ведь между этим «было» и «будет» всегда есть разграничительная черта, представляющая собой, хоть на секунду, некую немую сцену.

Чужому глазу немая сцена здесь представилась бы в таком виде. Двое ворвавшихся в избу после того, как звякнул сорванный дверной крючок, на момент застыли возле порога, только глазами шныряя по избе. Двое других, обитатели этого жилища, замерли за столом, один держа в руках колоду карт, тасуемую для сдачи, другой спокойно глядя на его руки.

Никаких карт у Никифора Иван за время их совместной жизни не видал. Тут они откуда-то взялись, Никифор успел коротким жестом показать товарищу, чтобы тот сел за стол, и оба успели принять вид двух бездельников, присевших перекинуться в картишки. Из двух агентов у одного было самое заурядное, пожалуй, приличное, лицо мелкого банковского служащего, но он держался несколько позади. Зато у другого — истинное мурло, нечистое, мясницкое, с казацким коком, выбивавшимся из-под картуза.

— Встать, руки на стол,— звучным голосом архиерейского певчего выкрикнул первый, хотя руки у обоих ребят были и так на столе.

Немая сцена кончилась. Теперь надо было играть свою игру.

— Пшел-ко ты к такой-то матери,— со вкусом ответил Никифор.

Но тут в дверь шагнул полицейский офицер, форменный, мундирный и, сразу видно, умевший находить верный тон обращения с подозреваемыми. Прежде чем он раскрыл рот, можно было заключить, что это человек добродушный, обученный деловито, беззлобно исполнять свою недобрую работу.

— Встаньте, господа,— укоризненно сказал он.— Как видите, мы — полиция. Имейте уважение.

Никифор медленно поднялся. Иван сделал то же самое. Он решил все делать по примеру старшего.

— Теперь видим, — сказал Никифор. — А то ведь ворвались, как налетчики.

— Корниенко, понятых! — не оборачиваясь к своим агентам, приказал офицер.— Сам не знаешь?

Второй из агентов бросился к двери. Пока найдут понятых, приступать к обыску у них не полагается. Это знал даже Иван, которому еще ни разу не приходилось проходить через такую процедуру. Чем-то полицейский офицер займет эту паузу?

— Сядьте,— устало повел он рукой.— Да нет, не здесь, а у стены, рядышком. Сидеть смирно, руки на коленях.

И Никифор, и Иван понимали, что Корниенко, убежавшему собирать понятых, не скоро это удастся сделать. В улице живет рабочий народ, не слишком жалующий полицию, и мужики в этот час на работе, а женщины одна за другой будут отговариваться от участия в обыске, отругиваться, дерзить.

— Имеются ли какие-либо вопросы? — со скучной казенной интонацией спросил офицер.

— Да, и несколько.

С места, на которое им было указано сесть, в окно мало что можно было увидеть. Но, шагнув туда, Иван успел обозреть улицу, насколько она открывалась его взгляду. Полицейской пролетки там уже не было. Ясно, ее поставили куда-нибудь в заулок. Садясь, Иван с Никифором успели обменяться мнениями, без слов, только глазами. «Через полчаса вернется Аня, и надо что-то сделать, чтобы ее предупредить... Мы с тобой попались, и пока ничего не поделаешь. И не унывай, выдерживай стойку, как пойнтер. Но если не убережем девушку...»

Удивительно, как много можно сказать только глазами. Иван ясно понял наставления товарища и глазами же спросил: надо подать какой-то знак? Но как? Их ведь сейчас только двое, нас — тоже. Может, попробуем?

— Первый вопрос,— деловито продолжал Никифор.— Почему вы держите на своей службе дураков вроде этого чубатого?

— А вы бы воздержались от оскорблений чинов государственной полиции,— вяло посоветовал офицер.— Вижу, что вы стреляный воробей, но надо же, господа, вести себя прилично. Вы делаете свое дело, мы — свое.

Чубатый агент стоял у притолоки, осев на одну ногу, опираясь на носок другой, развязно извернутой. И его

злобно передернуло, когда Никифор кивнул в его сторону.

— Прилично? — насмешливо переспросил Никифор.— А вы видели, как у него заходили руки? Только что сейчас условия не позволяют ему показать приличное обращение.

— Вот и идите к нам на службу, если вы такой умница,— сказал офицер.

— С удовольствием принимаю ваш дубовый полицейский комплимент,— выигрывая время, сказал Никифор.— Но такие предложения всерьез даются с глазу на глаз. Значит, вы хорошо знаете, что я в архангелы самодержавия не гожусь.

— Ну, довольно,— решительно сказал офицер.— Прошу вас замолчать.— Было видно, что самоуверенное полицейское добродушие начинало ему изменять. Кажется, даже усы офицера, ухоженные, причесанные волосок к волоску, встали щеткой, как щетина на поросячьем загривке.

— Ну, зачем же так: замолчать? — Теперь уже Никифор говорил издевательски мягко и добродушно.— Вы же сами спросили: имеются ли вопросы? А я задал вам еще только один.

— Довольно. Вопросы теперь будем задавать только мы. Я уже вижу, что вы за субъект. Опасный смутьян без царя в голове.

— Вот это правильно: без царя в голове. И чтобы вы заранее знали, с кем имеете дело: я против всех и всяческих царей. Не хочу иметь царя в голове, не признаю вашего натурального царишку, который постыдно обо... на недавней русско-японской войне.

— Смею вам заметить, что вы дерете кожу клочьями с собственной задницы. То, что вы здесь сказали, окажется записанным в следственных документах.

— Да, уж как водится...

— И вот такие отпетые люди сбивают с толку, развращают молодежь. Юноша, ваш товарищ, который еще не сказал ни одного слова...

А юношу, еще не сказавшего ни одного слова, била тяжелая, внутренняя, не видимая никому дрожь. Аню надо было предупредить. Но что можно сделать? Сделать что-то немедленно, потому что она должна вернуться вот-вот...

— Юноша, мой товарищ, здесь только статист.

— Если позволите, мы сами разберемся, кто тут у вас был только статист, а кто арти-ист,— со вновь обретенным ленивым спокойствием сказал офицер.

Но тут по настилу в сенях почему-то незнакомо и дерзко, как в цыганский бубен, забоцали шаги сразу нескольких пар ног. Корниенко привел понятых.

И офицер за столом сразу подобрался, как по сигналу, раскрыл свой портфель, достал бланки протоколов, принялся объяснять понятым их обязанности при обыске. Он больше не хотел тратить понапрасну свое дорогое время, и для него все, что должно было произойти дальше, было привычным и прискучившим, как старому попу обычная церковная обедня.

— Теперь встаньте, «товарищи»,— сказал он ребятам, со скрипучей издевкой произнося это слово.— Мы приступим.

Иван поднялся, как бы ненароком подойдя ближе к печке. Там стояла кочережка — железный пруток длиной аршина полтора с расплющенным и загнутым концом. Все в нем словно онемело, как немеет нога при долгом неловком сидении, когда в ней копошатся щекотно-колючие мурашки. Только теперь такие мурашки копошились где-то глубоко в груди. И было горячо ногам, будто стоял босиком по щиколотку в накаленном солнцем песке.

Понятые привели соседку, к которой Аня, случалось, ходила по всяким мелким хозяйственным нуждам. Женщина, войдя, взглянула Ивану в глаза коротко, предупреждающе и как бы со значением. До него не дошел смысл этого взгляда. Лишь много позднее он узнал, что женщина успела, уходя из дому с агентом, шепнуть старшей из своих девчушек, чтобы та встретила Аню и предупредила ее о непрошеных гостях.

Но тогда он этого не знал, и рука налилась тяжестью, словно кочережка была уже в кулаке. Он изготовился драться и даже выбрал, кого ударить первым: этого скуластого, чубатого. Конечно, у них, у всех троих, есть оружие, и они с полным основанием будут стрелять. Стрельба, драка, которая завяжется, так или иначе выкатятся во двор. А поселковая улица бывает любопытна ко всяким переполохам. Повыскакивают из дома бабы, ребятишки. И после этого, сколько полиция их ни разгоняй, необычное движение в улице не погасить долго.

Особенно ребята будут сновать, заглядывать в окна и через забор.

Значит, драка, нарочито грубая, пылевая. Ничего другого не придумаешь. Правда, Аня не раз говорила: в случае провала следует избегать сопротивления.

Однако, считая, что обстоятельства позволяют нарушить эту инструкцию, Иван уже потянулся к кочерге. Но тут Никифор, у которого было что-то свое на уме, незаметно и упрямо оттеснил его от припечья.

В избу шагнул и четвертый полицейский, остававшийся при лошади с пролеткой.

— Ладно, ваше благородие,— миролюбиво сказал Никифор.— Дозвольте, я сам скажу, что у нас есть. К чему вам затрудняться.

Как пошло бы дело дальше, согласись офицер с этой неожиданной уступчивостью? Какой еще ход придумал бы Никифор в этой недоброй игре? Все, что он мог «и сам показать» полиции, было легко найти без показа. Наборная касса стояла за ширмой, под кроватью у Ани, прикрытая листом картона. Чтобы найти станок, было достаточно только поднять крышку лаза в подполье.

— Нет, дозвольте уж мы сами будем делать как нам лучше,— возразил офицер.— Корниенко, Лазарев, осмотрите первым делом сараюшку, чулан. Возьмите одного понятого и этого просвещенного молодого человека...

Вторым понятым оказался живущий через два дома старик, кажется, никогда не снимавший рук с согбенной больной спины. Он выходил в сени последним, и только за ним закрылась дверь, там послышалась возня, опять топот ног на крыльце, затрещала калитка, выбитая тяжестью брошенного на нее тела.

Иван выглянул в окно. Там чубатый агент держал за воротник Никифора, вырвавшегося на улицу. Но прежде чем к ним доспел Корниенко, Никифор сбросил с себя руки полицейского, ухватил с земли булыжину, поднял ее в уровень плеча. Он мог бы свободно метнуть камень с двух шагов в широкую наглую физиономию агента и, конечно, сделал бы это с большим удовольствием. Но успел не он, а полицейский, выстреливший раз за разом сначала поверх головы Никифора, потом ему в ноги.

И тут четвертый полицейский, рванув Ивана за плечо, отбросил его от окна.

Офицер, повидавший на своей службе и не такое, даже

не встал из-за стола. Иван присел на свое прежнее место у стены. Улица теперь будет гудеть, беспокоиться, по крайней мере, два-три часа. Полверсты не доходя до дому, будет видно, что там неблагополучно.

Аня шла домой, когда парней уже увезли.

Сначала раненного в ногу Никифора забросили на проезжую телегу, даже не сделав ему перевязку. Ехал из лесу какой-то мужичонка, вез с десяток тонких жердей, волочащихся вершинками по земле, и вдруг его остановил, схватив коня за повод, кто-то чужой, незнакомый.

— Эй, не тронь коня. Смотри, ушибу,— слабо, негрозно крикнул мужик, будто не понимая, что имеет дело с полицией.

Но его скоро вразумили, отпустив крепкий тычок под ребра. Жерди сбросили, и Никифор, сопровождаемый одним из агентов, уехал, вытянувшись на телеге, зажимая рукой кровоточившую рану.

После того, как был закончен обыск и оформлен протокол, вывели Ивана. Офицер грузно сел в пролетку и, покряхтев, угнездившись, приказал ему сесть рядом. Пролетка ровно покатилась по улице, раскачиваясь в ухабистой тележной колее.

Аня разминулась с ней всего минут на пять.

Второго агента офицер оставил с наказом стеречь, пока не пришлет телеги, типографскую технику и возможных посетителей. Не спуская глаз с избы, агент прошел по кварталу, загоняя во дворы любопытных баб, и еще не вернулся в калитку, когда Аня показалась из-за угла.

Она шла по теневой стороне улицы, подгоняемая странным недобрым предчувствием, которое укрепилось при виде жердей, лежавших перед их двором.

Двора за четыре до дома из притворенной калитки ее окликнула соседка, с которой у них всего и знакомства было что вежливо-небрежное: здравствуйте.

— Зайди-ка, девонька,— вполголоса, но требовательно-остро сказала она.

В сарафане, без кофточки, крутоплечая, распространяя здоровый подмышечный запах, она прошла в избу, лишь раз обернувшись на крыльцо, глазами сделав заговорщицкий знак. А в избе непривычно для летнего полдня пахло керосином, горела на столе лампа со спущенными в стекло завивочными щипцами.

Агент, оставленный в засаде, видел Аню входившей в калитку и, понуждаемый своим сыщицким любопытством, подошел к открытому окну избы. Но когда он заглянул в погребно-сумеречную при полуденной яркости улицы комнату через горшки цветущей герани и королевской бегонии, то увидел только двух женщин, одетых по-домашнему, без кофточек. Одна, наматывая другой прядь волос на горячие щипцы, с незлой резкостью прикрикнула:

— Сиди нето, не дергайся! Смотри, прижгу.

Нечисто усмехнувшись голым плечам женщин, агент оторвался от окна, ушел на свой пост.

Он сидел в избе до позднего вечера. Было душно, жарко, но открыть окно или двери он остерегался. Часу в шестом, если судить по стоянию солнышка, агент услыхал в сенях шорох, шевеление. Кто-то шарил по рогожной обивке дверей. Весь напрягшись, на носках, вывертывая пятки наружу, он подобрался ко дверям, распахнул их. Но там была только соседская кошка, пришедшая проведать Аню.

Он поддал ее сапогом так, что кошка отлетела, ударившись о стенку сенец.

Вечером, уже в сумерках, его, голодного, злого, сняли с поста, увезя станок, наборную кассу и мелкое оборудование типографии.

Изба еще месяца два стояла сиротливо, необитаемо. На ее дверях висела крупная печать кирпичного цвета. Потом соседские ребятишки сорвали ее, употребив сургуч для заделки канальца у бабок-свинчаток, через который внутрь заливается металл.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Если бы Ивана спросили о главном в его умонастроении этих дней, он мог бы с полным правом и чистым сердцем сказать: главное в том, что нет ничего напрасного.

Все, что сделано и что впереди,— все освещено большим смыслом, который вполне открылся ему только теперь.

И три года тюрьмы будут ненапрасными. Не понять было самому, почему он решил, что ему предстоит отсидеть именно три года. Знал, что при похожих обстоятельствах царский суд осуждал своих противников и на год, и

на два крепости, но, бывало, и на восемь лет каторги. Себе же он как бы сам определил срок заключения в три года и был бы даже удивлен, если бы этот срок оказался иным.

На следствии, как обычно, офицеры жандармского управления не очень старались установить степень его вины — тут все и без того было ясно,— а больше старались выпытать имена других участников организации. Он сбился со счету, сколько раз его вызывали на допросы из «предварилки» и в служебные дневные часы и среди глубокой ночи. Допрашивали разные люди. Одни разговаривали грубо, угрожающе, обещая показать кузькину мать. Другие пытались разговаривать отечески, говорили о молодости, которую он губит своим упорством. Но все их последующие вопросы сводились к тому же самому: к требованию, чтобы он выдал причастных к делу товарищей. С этими разговаривать ему было тошнее, чем с первыми. Тут надо было побороть в себе всякую брезгливость и все же отвечать коротко, спокойно. Это было вроде того, когда приходится руками браться за что-нибудь отвратительно нечистое.

В ходе следствия он скоро понял, что жандармское управление в их деле потерпело, кажется, крупный конфуз. Кроме Ивана с Никифором были привлечены только двое ребят, изобличенных в распространении прокламаций. Ни до каких других связей и участников организации охранка не докопалась. Самое же главное для Ивана было в том, что у жандармов не дотянулись руки до Ани.

На допросах следователи назойливее всего спрашивали о ней. Но Иван, с первого часа решив разыграть следственную партию без лукавства, просто не отвечать, когда пришлось бы лгать и хитрить, неосторожно сказал:

— Никакая девушка с нами не жила.

Следователь, тот же пожилой офицер, который его арестовывал, словно обрадовавшись, что легко словил подследственного на неуклюжем плутовстве, попрекнул его:

— Ну, зачем же так? А предметы женского одеяния, найденные в квартире? Ты сам, что ли, носил юбки и кофточки? Как это понимать?

— А так, что на такие вопросы я не буду отвечать и нечего тратить время попусту.

— Эх, молодой человек,— укоризненно покачал голо-

вой офицер, блестя сытыми, влажными глазами.— Как ты еще зелен и неопытен. На следствии и позднее, на суде, стоит вести себя ну хотя бы корректнее. Надо расположить к себе людей, от которых зависит теперь твоя судьба.

— Вот уж этого я никак не пойму. Располагать вас к себе? Друзьями нам все равно не быть, и я не удивлюсь, если со мной здесь обойдутся строго. Так что же вы учите душой кривить?

Лицо офицера, его атласные щеки и выпуклые, сытые глаза — все это отразило растерянность и непривычное движение отвлеченной мысли.

— Н-да,— медлительно протянул он.— Были и мы такими же строгими и несговорчивыми.

Но только обоим стало неловко от этой ненужной фальши. Никогда офицер, по всему видать, не бывал таким.

На суде было объявлено, что дело мещанина из города Твери Михаила Галанщина, он же Лаптев, он же Кузьма Лутков, носившего, кроме того, конспиративную кличку Никифор, выделено в отдельное производство и передано в Казанскую судебную палату. Что же касается Ивана и привлеченных вместе с ним парней, то дело их рассматривалось без особых эмоций, бесстрастно, со скукой в лицах и словах. Хотя и то сказать: кому не наскучит, может, в сотый раз повторять одни и те же протокольные формулы, задавать обвиняемым все те же вопросы, зная заранее, какие будут на них ответы.

И Иван подумал: унылая служба судейских чиновников — тоже не мед. Слишком много, если считать с девятьсот пятого года, пришлось им рассматривать таких дел. Может, только удивление порой вызывало у судейских нераскаянное упорство таких, как эти ребята, пытавшихся пробить бреши в глухой стене самодержавия.

Только прокурор, еще молодой для своей должности человек, тонкогубый, желчный, произнося обвинительную речь, неожиданно распалился.

Тыча пальцем в сторону подсудимого Хаританова, он призывал суд отнестись серьезно к этому человеку, не обольщаться тем, что молодой и с виду заурядный мастеровой случайно, из одного лишь юношеского ухарства, оказался в преступно-революционной организации, которую, к сожалению, следственным властям не удалось

вскрыть и обезвредить вполне. И он, прокурор, не советует суду думать, что с возрастом подсудимый образумится, вернувшись в число верных престолу и отечеству, благонамеренных подданных империи. Нет, ум и характер этого человека, по его мнению, бесповоротно растлены революционными идеями, и из тюрьмы он выйдет не смирившимся, а еще более ожесточенным, и властям еще придется иметь с ним дело как с крупным и дерзким революционером.

Своим правом на последнее слово Иван не собирался воспользоваться. Хотел просто заявить, что оправдываться считает излишним, а снисхождения просить — унизительным. Но речь прокурора как бы подстегнула его.

— Не знаю, о какой организации говорил господин прокурор, но если она есть, то в том и сила ее, что там не делят людей на крупных и мелких. Это наша самодержавная государственная система ввела в закон жизни разделение на знать и чернь, на распорядителей жизни и на тех, кого хотят раз навсегда заставить стоять перед «крупными людьми», почтительно склонив голову. И не думайте, что такое деление на крупных людей и человеческую мелкоту сохранится надолго. Вы еще сможете убедиться в этом, и скоро.

В этом месте речи подсудимого председатель суда, благостный, добродушный и мягкий, весь какой-то белопенный старик, вдруг словно переродился на глазах. Не сдерживая злости, он пророкотал:

— Пр-рекратить! Я лишаю подсудимого слова! Здесь не место для злонамеренной агитации!

Но подсудимый Хаританов иссяк уже и сам. Перед кем тут стоило распинаться? В зале сидело человек с десяток, и среди них половина, наверное, полицейские шпики.

Приговор — три года тюрьмы — он встретил, словно бы не устрашившись, не скорбя душой, нимало не почувствовал себя подавленным.

Эти три года суд зачем-то разделил ему на два различных вида отсидки: год он должен был содержаться в крепости, а два остальных — в Туринских арестантских ротах. В чем тут разница — он не понимал, а когда позднее обсуждал это дело с товарищами, и те толковали по-

разному. Все же знающие люди считали, что в заведении, называемом Туринскими полуротками, сидеть труднее, режим там, говорили, куда суровее крепостного. Крепость — это только звучит внушительно, а на деле — те же общие камеры в городской тюрьме, лишь отгороженные от уголовного отделения решеткой во всю высоту коридора.

Но после суда Ивана определили все же не в «крепость», а почему-то в камеру уголовных, разлучив и с теми двумя парнями, с которыми он «проходил» по одному процессу. Это было нарушением, но Иван в тюремных правилах был пока не силен и протестовать не стал, приняв это как должное.

Он вошел в камеру со своим мешком, жалко висящим в руке, растерянно встав возле стены в узком проходе, остававшемся вдоль длинных, во всю стену, нар. И тут же кто-то оттолкнул его дерзко, грубо назад, в угол к дверям, обитым листовым железом. Это был первый из многочисленных уроков поведения в тюрьме, которые пришлось познавать в дальнейшем. Входить в камеру новичку, какое ни будь у него подавленное настроение, полагается бодро, с бесшабашным выражением лица и неплохо сказать при этом что-нибудь наигранно-веселое, распотешное.

— Ты куда пришел? — строго спросили его.— К тетке в гости? Порядка не знаешь?

А порядок тут состоял в том, что места на нарах хватало не для всех и вновь прибывшим приходилось спать на полу, пока не докажут, что умеют постоять за себя.

Камера, как это Иван сразу понял, была заселена ворами разных «специальностей». И первые вопросы, на которые ему пришлось отвечать своим сокамерникам, были о том, в каком виде воровского ремесла он практиковал и на чем попался.

К счастью, недели через две его перевели из этой камеры в другую, к политическим. По какой-то прихоти начальства это сделали поздним вечером, когда тюрьма уже засыпала. Загремели дверные засовы снаружи, и пропойный, как бы брезгующий всем человечеством, надзирательский бас вбросил в камеру обычные слова: «Хаританова с вещами». А от такого вызова, да еще в неурочное время, всегда делается неспокойно, тревожно не только тому, кого вызывают, а и его сокамерникам; в тюрьме

любые перемены привычного бытья всегда вселяют тревогу, потому что они почти никогда не бывают переменами к лучшему.

И сказать, хотя бы при выходе, в дверях, куда ведут арестанта, здесь бывает не принято. Тюрьма умеет походя и ненужно унижать человека.

Но Ивана вызвали всего только затем, чтобы перевести к политическим. И произошло это потому, что в какой-то из камер прослышали о нем и группа товарищей, совсем ему не знакомых, при обходе прокурора заявила ему протест против содержания политического заключенного с уголовниками. Камера в голос заявила: если Хаританова не переведут к ним, они примут свои крайние меры. Какие это будут меры, четко не представляли ни сами заключенные, ни прокурор. Там будет видно по ходу дела. И возможно, весь этот демарш был предпринят только затем, чтобы лишний раз показать начальству свое непокорство, то, что никаким своим самым малым правом люди здесь не поступятся.

Иван вошел в камеру политических, и здесь его приняли совсем иначе, чем в первой. Впрочем, иным здесь было все. Чище и опрятнее, чем у уголовных, не смердело так потными телами, прелыми портянками, не висела в воздухе постоянная грязная брань, которую там люди даже не замечают. Никто не «резался» в самодельные картишки, никто не щеголял по случаю проигрыша целыми днями в одних подштанниках.

Та же тюрьма, на одном этаже с теми, но как бы иной человеческий мир.

На него, вошедшего, никто, кажется, не обратил внимания.

Люди только мельком вскинули глаза, словно он был давним здешним и только отлучался на полчаса. И на арестантов этот народ не был похож, а скорее на обитателей какой-то рабочей казармы где-нибудь на строительстве «чугунка» в отдаленной губернии.

Первое, что Иван услыхал, войдя, были слова:

— Вы что же думаете: с победой революции прекратятся войны? Да после этого только начнется новый период войн, еще более жестоких. Я не ленинец, но, по-моему, Ленин совершенно прав, не доверяя пацифистам. Бороться против войн вообще, проповедуя надежду на вечный мир, значит, броситься с копьем на ветряную

мельницу. Но Дон-Кихот хоть не был таким, каковы наши пацифисты. Войны были и останутся непременным обстоятельством жизни человечества на земле.

Говорил человек, неловко, уродливо сидящий на нарах спиной к стене с согнутыми острыми коленями. Высокие залысины на впалых висках, неспокойные глаза, в которых все ходят клиновидные блики, глаза человека, истомленного перемежающейся лихорадкой. «Из этих, из максималистов»,— отметил себе Хаританов.

— Знаю, знаю,— выбросил руку навстречу еще не высказанному возражению этот неистовый человек.— Сейчас вы скажете, что социалистическая революция победит сразу в нескольких странах. Но тогда война будет еще страшнее: между группами государств. Даже допустим такое — ваш социализм распространится на весь наш грешный мир. Думаете, тогда будет войнам конец? В социалистическом вероучении столько оттенков. Как вы сумеете их примирить? Война вообще в природе человека. Помните, Толстой написал: сцедите из кровеносной системы человека всю кровь и заполните ее водичкой, только тогда не будет войн на земле.

— Это сказал не Толстой,— спокойно и веско возразил анархисту человек, стоявший возле окна, в косоворотке и одних носках, на каменном полу. До этого он, казалось, даже не слушал оратора, а просто растроганно, мягко смотрел в вечернее небо и на тускло горевший за окном фонарь.— Это сказал старый князь Болконский. И надо понимать, что в любом произведении идеи и взгляды героя далеко не всегда выражают взгляды самого автора. Часто даже наоборот: автор позволяет героям высказаться лишь затем, чтобы самому же их развенчать. Но это между прочим.

Он говорил негромко, неторопливо, как бы размышляя вслух. Но позднее Иван заметил, что его слушали, никогда не пытаясь прервать возражениями. Слушали так, как идут в лесу за человеком, знающим каждую тропу.

— Все, что здесь поведал нам товарищ Нифонт по вопросу о войнах, только один из закоулков того запутанного лабиринта, каким является вся теория возможностей безвластия в человеческом обществе. Человек-де способен к организованности только для насилия и разрушений. А организованность позитивная, назидательная ему, по-вашему, чужда и без надобности? Так вот: вся

идеология анархизма есть действительно лабиринт, из которого выйти можно только через тот же проем, через который вошел, если вообще отыщешь выход. Самодержавие это понимает, и оно считает анархизм вовсе не самым своим опасным врагом. Посмотрите, на воле, даже в нашем захолустном городе, вашего Прудона, Шопенгауэра, Штирнера можно купить где угодно, а попробуйте купить Плеханова, Ленина, Маркса!

— И что отсюда следует? — сердито спросил анархист.

— А отсюда следует, что даже ваши бомбы и дерзкие налеты властям представляются все-таки не столь опасными, как наше слово.

— Не забывайте, что слова имеют такое свойство: они со временем стираются и тускнеют, теряют свой блеск. И, как порох, теряют силу.

— А вот это даже технически неграмотно. Нитропорохи, например, при многолетнем хранении, приобретают бризантные, дробящие свойства.

— Но, друзья мои,— вмешался третий заключенный интеллигентного вида, картаво грассируя актерским, глубоким и звучным голосом.— Это же опять казуистика. Сколько раз говорилось: спорить, держась в рамках одного определенного вопроса.

Иван провел среди политических, в этой и другой камерах, куда его переводили,— иногда перетасовывая зачем-то состав тюремных постояльцев,— около года. Но ему порой казалось, что этот спор-дискуссия, начавшийся в тот вечер, так и длился все эти месяцы, с перерывами только в часы ночного сна и дневных прогулок.

Собственно, так и было: весь свой невольный досуг люди здесь отдавали межпартийным словесным боям. Часто разговоры проходили принятым порядком: кто-то, заранее подготовившись, прочитывал лекцию-реферат на избранную с общего согласия тему, после этого позволялось говорить всякому, кто пожелает, в защиту или в опровержение реферата. Была даже попытка составить план таких лекций наперед, устанавливая очередность, потому что мало кому в камере не хотелось, выступив, изложить свои взгляды.

Может быть, тут сказалась обстановка тюремного бытья, делавшая, как этому не противься, людей несколько наивными, погруженными в себя, но каждому из этих лекторов казалось, что именно его выступление

особенно важно. «Вот я вам изложил свою программу и свои взгляды, а там пеняйте на себя, если вы их не примете и если потом революционный процесс пойдет через пень-колоду».

Но чаще споров по этим, заранее подготовленным лекциям вспыхивали споры по случайным вопросам. Вроде того спора о сути человеческих войн, который Хаританов услыхал, едва переступив порог камеры.

И почему-то именно они казались Ивану особенно поучительными.

На первых порах на Ивана мало кто обращал внимание и никто не просил этого молчаливого, лишь тревожно слушающего чужие споры парня изложить свои взгляды. И он только молча радовался тому, что, кажется, не ошибся, выбрав себе знамя большевиков.

Иван ошибался, полагая, что не вызвал интереса у товарищей по камере. Просто люди, вероятно, хотели дать ему время осмотреться, попривыкнуть к обстановке.

Место на нарах ему досталось рядом с тем ершистым, с повадками пожилого мастерового, товарищем, которого он в первый вечер увидел расхаживающим в одних шерстяных носках. В одну из первых ночей Иван проснулся оттого, что его что-то больно ударило в плечо. Это сосед, рванувшись в каком-то тяжелом сновидении, ненароком ударил его локтем. Иван приподнялся; сосед спал, неспокойно вздымая грудь, болезненно вздрагивал.

И Ивану впервые на минуту стало страшно тюрьмы. Представилось, что ему не три года по приговору, а гораздо больше придется провести по тюремным замкам и арестантским «полуроткам» и что со временем и ему придется носить в себе какую-то скрытую болезнь, и бороться с нею придется в придачу ко всякой другой борьбе. А днем собственный характер будет принуждать скрывать болезнь от людей, как это делает спящий сосед. В камере его все звали коротким революционным: товарищ Фрол, хотя было известно и его полное и подлинное имя — Филипп Николаевич Лавров.

— Я не толкал тебя ночью? — спросил Фрол Ивана утром, когда они умывались, тоже рядом, в умывальной камере, из длинного, во всю стену ржавого корытца с полутора десятком медных рожков-клапанов.— Извини, если так. Человек, к сожалению, во сне невластен над собой.

И за первых три дня между ними это только и было сказано, потому что Фрол обычно был занят либо спорами со своими сокамерниками, либо читал какую-то книгу в крепком переплете с кожаным корешком и крупными уголками.

Несколькими днями позднее товарищ Фрол спросил:

— Ну, как там остался Федор Иваныч? Жив, здоров?

Иван понял, что «жив, здоров» означает: не попал ли Федор Иваныч на жандармский цугундер? Но при всей невольной симпатии к этому человеку он недоверчиво и как, по его мнению, полагалось ответил:

— Не знаю никакого Федора Иваныча.

— Ну, правильно,— усмехнулся товарищ Фрол.— И я не знаю никакого Федора Иваныча. А все-таки: как он там? Живет все еще на Медном руднике?

Иван, упрямо прикидываясь простачком, сказал что-то вроде: «Не знаю, у нас на Урале медных рудников не один», и товарищ Фрол снова понимающе усмехнулся, больше не настаивая, но глядя с таким видом, словно знал верный способ заставить парня заговорить начистоту, но только пока не станет им пользоваться. Всему свое время.

И был потом, еще позднее, в камере опять разговор, странно взволновавший Ивана.

Кто-то, коснувшись вопроса о пороках самодержавной государственной системы, высказал мысль, что главным из них является карьеризм чиновников, служащих этой системе. Говорилось, что все социальное зло на земле, может, идет от этого: когда хоть один из десяти одержим этим желанием — шагать по служебной лестнице со ступеньки на ступеньку, все вперед и вверх. Может, властолюбие — самый большой и злокачественный порок человеческой натуры.

— Вот видите,— словно выкладывая четкий мозаичный рисунок из весомых, хорошо пригнанных одно к другому камешков слов,— заговорил Фрол.— Все здесь будто верно, но все это может быть уродливо вывернуто наизнанку и потому ошибочно. В серьезном споре надо употреблять слова в их коренном значении. «Карьера» — вовсе не одиозное слово. Продвижение по службе по мере накопления опыта — вот его значение. И если мы служим своему делу, и если при этом один уже обладает серьезным опытом, а другой еще делает только первые шаги, то кому из этих двух можно доверить большее, а кому

меньшее, посильное ему? Ведь и после победы революции нужен будет какой-то аппарат управления. Другое дело, что мы никому не позволим тогда извлекать личные выгоды из своего общественно-служебного положения. И если кто-то вообразит, что его высокое служебное положение дает ему какие-то особенные права сравнительно с простонародьем, это сразу будет отбрасывать его назад и вниз — к подножию служебной лестницы. Полагаю, что в новом обществе зазнайство, чиновное высокомерие будут приравниваться к самым отвратительным преступлениям.

— А все-таки,— с ехидством спросили из анархистского угла,— останется подчинение человека человеку? Снова разделение людей на патрициев и плебс?

— Не забывайте, что есть еще такая незыблемая вещь, как биология,— мельком глянув на своих оппонентов, продолжал товарищ Фрол.— В политике тоже старое старится, молодое растет. С этим ничего не поделаешь: молодость набирает силу, старость уходит в небытие. В обществе, как в море, каждый индивид — волна. Где-то в этом просторе она вдруг возникла и вот нарастает в своем движении, какое-то время стремительно движется, вздымаясь все выше. А дальше где-то она слабеет, спадает, но уже рождается ей на смену новая, и еще никто не может угадать, какой силы она достигнет. И, возможно, мы — единственная партия, которая смело и нелицемерно делает ставку на молодежь...

Может, вся политическая зрелость человека заключена в том, умеет ли он смотреть на младшее поколение, участливо и точно оценивая его судьбу. За себя, в наше время я бы сказал, перефразируя слова поэта: «Со скорбной гордостью гляжу на наше поколенье молодых». Знаю одного молодого человека из нынешних и думаю, что о нем интересно всем рассказать. Представьте себе парнишку, родившегося в бедной рабочей семье. Робкое детство, в котором из радостей, законно причитающихся детству, не сумели отнять только то, что вообще невозможно отнять: солнце, да синие ягоды вересовника летом, да ракушки на берегу заводского пруда, зимой ледяная горка да гоньба по улицам на одном самодельном коньке. В четырнадцать лет уже работа на фабрике. Что об этом говорить, кто из нас не знает, что это такое для хрупкого еще человеческого растеньица? А в двадцать лет — царе-

ва политическая тюрьма. И вы, конечно, сами понимаете, что такому парню назад дороги нет, ему остается идти до конца. И вот когда я слышу хоть и совершенно верные, но уже ставшие тривиальными слова, что грянет революция и что уже возгорается заря новой жизни, я думаю, что никакая статистика не учтет, сколько тысяч таких ребят положили жизни за эту революцию и сколько их еще подрастает...

...А вы толкуете тут о карьеризме, опасность которого якобы будет существовать и в новом обществе. Неужели это трудно понять, что революция принесет не только замену одной государственной системы другой системой, но, главное, перестройку психологии человека. Как клочья зимней шерсти весной с медведя, с нас спадет все низменное... И парнишка, про которого я вам рассказывал, предвижу, станет большим человеком, будет вершить крупномасштабные дела. Но никто не назовет это карьерой. Это назовут беззаветным служением. И таким оно и будет — существование в мире этого парня, который продолжит наше дело, когда мы состаримся раньше срока. Не говорю за всех, но со мной, наверное, так и будет.

...Могу напомнить вам, что в девятьсот пятом закончилась скорбной неудачей наша первая революция. Что же, будем считать ее генеральной репетицией, как выразился один наш серьезный товарищ. Но за нею, как известно, всегда следует премьера. Обязательно потому, что зачем иначе была бы нужна репетиция — все наши предварительные тяжкие труды? Значит, потребуются свежие силы. Вот почему забота о молодежи — сейчас наша первая забота. И, может, важнее этого ничего нет.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

А следующим летом, не давши досидеть года, как следовало по приговору, Ивана Хаританова перевели в Николаевские полуротки.

О Николаевских полуротках шла дурная слава, и ничего доброго для себя те из политических арестантов, которые тогда в августе были назначены на этап, естественно, не ждали. Из камеры туда пошли трое: кроме Ивана еще Фрол и лысеющий анархист, кочегар с городской мельницы.

Лето в первой половине простояло по-уральски прохладным, зато запоздалый августовский зной, казалось, вырвался из какого-то подземного резервуара, из самых раскаленных недр и затопил землю, все иссушая, испытывая на жизнестойкость. Уже в тюрьме люди истомились этой жарой, словно с тревогой ожидая, что еще на градус, на два окрепнет этот накал и тогда сам камень стен начнет плавиться и оплывать. Решетки на окнах не успевали остывать за часы душной сухоросной ночи и утром были такими же горячими на ощупь, как с вечера.

А в арестантском вагоне оказалось и совсем невмоготу. Всего каких-нибудь триста километров эти три вагона тащились по старой горнозаводской железной дороге почти двое суток.

Товарища Фрола еще накануне отправки на этап настиг астматический приступ. Уже на этапном дворе начальство могло бы видеть, что переезд окажется человеку не по силам, что он может просто умереть по дороге. Но начальство, формировавшее этап, лишь небрежно выслушало его заявление о болезни. Оно как бы решило, не высказав этого, конечно, вслух: если арестанту суждено вскоре умереть, пусть умирает трудной смертью, в духоте вагона, самые стены которого, казалось, были пропитаны мучительством.

Вагон с наглухо задраенными окнами накален солнцем до того, что грязно-охряная краска внутри стала податливой, как резина, и если кто-нибудь прислонялся к стене плечом, на ней так и оставался отпечаток ткани. Воздух был нагрет, как в котельной океанского корабля, с той разницей, что ни в каких котельных человека не принуждают быть двое суток без права выскочить на палубу глотнуть воздуху.

Фрол как вошел в вагон, так и лег и больше не вставал, напоминая о себе только хрипом. Порой он терял сознание, закатывая глаза, и всем в отсеке вагона думалось, что это его конец. Потом приходил в себя, возвращаясь из бесчувствия, возможно, только усилием воли. Смотреть на его мучения было нестерпимо, и арестанты несколько раз начинали кричать часовому, требуя вызвать начальника конвоя, колотили чем попало в стены и потолок вагона. Такой гвалт и грохот протеста в тюрьме производил свое действие; в вагоне же часовой, мотающийся в проходе за решеткой и сам отупевший от жары,

лишь равнодушно заглядывал сквозь решетку в отсек и уходил в другой конец вагона. Какой-то из них при смене все же сообщил начальнику, что в вагоне гибнет человек. Начальник, оскотинившийся на своей службе казачий офицер, с мокрым чубом, свисающим из-под фуражки, на каком-то разъезде пришел в вагон, тоже через решетку заглянул на больного, тупо-презрительно усмехнулся на выкрик арестантов и молча ушел. Было только одно, что могло бы пробудить в этом человеке подобие человеческого чувства: это если бы при сдаче партии арестантов не сошелся счет. А тут все были налицо. И пусть среди них один окажется покойником — одним врагом царя и отечества меньше, к его полному удовольствию.

Иван впервые видел картину умирания человека, причем здесь это походило на медленное изощренное убийство. Он всю дорогу просидел возле Фрола, обмахивал его рубахой да обтирал ему лицо, грудь и плечи теплой вонючей водой из ржавого помятого котелка.

Многожильный, несгибаемый товарищ Фрол не умер в вагоне.

От станции назначения до Николаевских полуроток надо было еще верст полсотни идти пешком. Фролу разрешили ехать на подводе, и Иван большую часть пути шел рядом.

— Нам еще повезло,— сказал ему, между прочим, Фрол.— Август, и мошки в тайге не так много. Знаешь крестьянскую поговорку, что до петрова дня комара в лесу каждый день решето прибывает, а после петрова дня убывает тоже каждый день по решету. А сейчас только одни слепни донимают...

Знойно было и в тайге, но здесь этим, тоже накаленным воздухом было не боязно и не тяжко дышать. И Фрол отошел, перестал задыхаться, обрел снова способность разговаривать.

* * *

Зима, которую Иван пережил в Николаевских полуротках, была самой тяжелой из всех зим в его прошлом и, пожалуй, в многолетнем будущем наперед.

В камерах политических здесь уже не было того, чем скрашивался тюремный досуг на Урале: ночных споров и дискуссий, а если иногда они и завязывались, то походи-

ли больше на ссоры, на злые словесные драчки, чем на поиски истины и спокойные доказательства своей правоты. То, что в других тюрьмах в известной мере позволяло политическим заключенным отстаивать свои права — коллективные протесты, здесь оказывалось вовсе недейственным, а случаи голодовок, даже самых решительных, не получали за отдаленностью широкой общественной огласки.

С самой осени до мутно-сизых кованых крещенских морозов, когда всего часа на три невысоко над горизонтом вставало смурое неяркое солнышко в своих «рукавицах» — с радужными пятнами-бликами там, где у него могли бы быть руки,— все это время Иван выходил на работы, в карьер, где добывали кварцевый песок для какого-то стекольного завода.

Он мог бы этого не делать — от выходов на работу многим удавалось отбиваться. Но не легче тяжкой костоломной работы было и сидение в промозглой камере, весь день полутемной от плотного куржака на стеклах окон, нарастающего, как белая овчина, даже в углах от пола до потолка. К тому же в карьере работало десятка полтора вольных мужиков-коновозчиков, а с ними иногда удавалось перекинуться словом, исподволь разузнавая о путях-дорогах, связывающих поселок и тюрьму с обжитым горнозаводским краем, о направлениях и расстояниях. А дерзкая мысль вырваться, уйти как поселилась в нем, когда они с Фролом перебросились об этом двумя словами, так и не оставляла.

Фрола он потерял в первые же дни по прибытии в полуротки; того сразу взяли в больницу — заведение, про которое говорилось, что из него легче попасть на погост, чем обратно в камеры. И в течение всех долгих непереносимых месяцев очень не хватало Ивану этого человека, похоже, связанного с ним, Харитановым, принадлежностью к одной партии. Во всяком случае, Федора Иваныча, Калганцева и Курзенева товарищ Фрол знал близко. А с этими именами у Ивана были связаны все надежды на то время, когда он так или иначе окажется на воле.

Зато судьба вскоре свела Ивана с тем, кого он меньше всего ожидал здесь встретить.

В одну из тех бессмысленных перетасовок, когда начальство принималось перегонять людей из камеры в камеру,— и делалось это зачем-то всегда в субботу,— из

камеры, где сидел Иван, взяли троих, а вскоре из другого коридора привели им замену. И в числе вошедших оказался Пашка Балакирев.

И вот ведь как оно получается: трех лет не прошло с той поры, когда Иван видел Пашку в последний раз, а словно минуло десять. Это был все тот же Пашка, но и далеко не тот. Был лохматый подросток, вертлявый, не умеющий даже смотреть на людей по-человечески, разговаривающий сипло и гнусаво от полипов в носоглотке. И не стало того Пашки, растворился в каких-то своих дерзких делах; образовался уверенный в себе, даже в тюрьме не вянущий, крепко сбитый парень. В обыкновенной обывательской жизни и впрямь понадобилось бы десяток лет жизни, чтобы так возмужать. Вот что значит верх-палицкая заводская, прокаленная в поколениях порода. И манера разговаривать стала другой, решительной, жесткой. И, по всему видать, умеет ничего своего не упустить, а при надобности отнять чужое.

— Павел, ты? — сползши с нар навстречу ему, спросил Иван.

— Ошибаешься, друг,— прямо и многозначительно глядя в глаза, возразил Пашка.— Меня зовут Андрей Воронкин.

И только что не добавил вслух: запомни и больше не ошибайся.

Удивительного в этом не было: и с Иваном могло быть такое, что он носил бы теперь чужое имя. В образе жизни, который они избрали, такие превращения имен были частыми, почти у каждого.

Но, отказавшись признать Ивана за друга детства, Павел место на нарах избрал рядом, попросив двух соседей перекатиться на две доски в сторону окна. И вечерами они теперь подолгу разговаривали, пока не сморит сон.

Странен и строг был этот обычай разговаривать в тюрьме, к которому Иван успел приглядеться и усвоить его. Если в камере идет общий разговор, никому не заказано слушать и вступать в него. Но если кто-то беседует присекреченно, вдвоем, вполголоса — прислушиваться, наводить ухо нельзя. Сразу вызовешь подозрительное отношение к себе. И люди приучаются поставить себя на том, что до чужих секретов дела нет.

Иван из недомолвок и намеков своего приятеля понял,

что все эти годы тот подвизался у эсеров. Как-то вечером он все же осторожно спросил его, к каким делам его сопричислили, закатав в полуротки на целых пять лет.

— А ты про лесных братьев слыхал? Так вот мы с Александром Лбовым, как сейчас с тобой, в пермских лесах, в избушке делили на двоих нары из колотых плах. А насчет того, что закатали на пять лет, так ошибаются. Андрюшку Воронкина им столько не удержать.

— Уйдешь?

— Рванусь так, что только в дырках штанов лесной ветер свистнет,— бесшабашно сказал Пашка, он же теперь Андрюшка Воронкин.

И партийных разногласий друзья не минули в своих вечерних разговорах-перешептываниях. Как-то Павел спросил:

— А ты, значит, к эсдекам прилепился?

Не отрицая, но и не подтверждая догадку Павла, Иван ответил в том роде, что если бы Павел сумел трезво разобраться в оттенках партийных программ, что будь у него достаточно ясности в голове, то и он пошел бы не какой другой дорогой, а именно с эсдеками-большевиками.

— То, что ваша партия делает, это же срывы от своего бессилия, отчаяния,— заметил он.— Казачьи ухватки: по всякому поводу — в ухо, а нето шашку долой и руби и правого, и виноватого. А в политике в ухо бить надо, только когда без этого уже совсем нельзя обойтись.

— А-а, не убеждай меня,— оборвал его Павел.— Все равно не убедишь. Собрались у вас одни говоруны. А я боевик.

— Слишком многое вы пытаетесь делать нахрапом. Вот ты сказал: рванусь, что только в дырках свистнет. Но, пожалуй, стоит кое-что обдумать, прежде чем сделать этот рывок. Вокруг тайга, а у ней свои законы. Любой стражник из рудничного поселка на твоем пути еще гордиться будет тем, что с пяти шагов сразит тебя, безоружного, пулей из своей берданки. И даже не в горной страже суть. Сама тайга нас стережет здесь надежнее всего. Шутка в деле — пройти две сотни верст по солнышку и звездам, обходя подальше прииски и поселки, с пустой сумой, считая каждый вечер спички в коробке.

— Тайга тебя страшит? — насмешливо спросил Павел.— Ты из поповичей, что ли? Только поповичам да интеллигентикам тайга — мачеха, а мне она матушка.

Почему-то странной тяжестью ложились на душу Хаританова эти хвастливые слова его дружка-приятеля. Он понимал, что Пашка просто хорохорится, разыгрывая роль несгибаемого парня, которому сам черт не брат. Убедил себя однажды, что он человек особенный по своей дерзости и крутости характера и теперь должен жить, не выходя из этой роли, хоть иногда, как любому другому, ему бывает и тяжко и непереносимо.

Тюрьма затихала. Все тусклее начала гореть керосиновая лампешка-трехлинейка в оконце над дверями, забранном из камеры решеточкой. Но скоро и ее уберут, погасят. И тогда часов на восемь камера останется в полной тьме, и только тяжкий запах будет говорить, что здесь людское обиталище, а не пещерная глубь. Только по дыханию спящих, по всхлипываниям и сонному бормотанию можно будет, проснувшись среди ночи, понять, что находишься среди живых, а не в склепе какого-нибудь раскольничьего таежного скита.

Вспомнилось где-то прочитанное: в средневековье людей за смуту, за мятежные дела приковывали в подземельях цепью к скале, а когда такой смутьян умирал, то и скелет его оставался прикованным там.

А многое ли изменилось с тех пор в жестоком деле лишения человека воли и его прав? И ныне здесь все сделано так, чтобы назначенные приговором три года показались человеку за десять.

И Пашка прав в одном: нельзя смиренно подчиняться произволу. Бросить думать о побеге будет значить: уже смирился, сломлен, покорен.

Верховодили в камере двое. Одного из них никто и не называл иначе как кличкой, принесенной еще с воли, Студент, хотя был он уже не молод, на четвертый десяток перевалило. Этот человек, выделявшийся из среды остальных всегда аккуратно подстриженной бородкой, происходил из деповских рабочих и студентом никогда не бывал. Он был обладателем исключительной в тюремном быту роскоши — никелированных ножниц, и когда позволяло освещение, почти каждый день кого-нибудь стриг, сам устанавливая очередность, часто внушая при этом своим клиентам, что и в тюрьме человек не должен опускаться, зарастать медвежьей шерстью. Работал умело и споро, как, вероятно, делал все на своем веку.

Вторым из тех, чей авторитет в камере молчаливо

признавался, был Загорский, поляк, отсиживающий уже третий срок, побывавший в эмиграции. Каждодневно, минут по пятнадцать утром и вечером, кинув на пол бушлат, он делал гимнастику йогов, надолго принимая позы «соляного столба», «орла», «змеи». Каждого новичка в камере он принимался вербовать в сторонники своей гимнастической системы, каждый раз, впрочем, безуспешно.

Разговоры, перешептывания Ивана с Пашкой все же не прошли мимо ушей их сокамерников. Кто-то с пятого в десятое, но слышал их. Да и не надо слышать, чтобы понять, о чем могут столковываться двое ребят, таясь от всех других.

И в один из долгих и пустых вечеров Студент позвал их обоих к себе в угол, пригласив сыграть «на высадку» в шашки, слепленные из хлебного мякиша. А доска была тут у них расчерчена прямо на досках нар с затушеванными чернильным карандашом темными квадратиками.

Приглашение это оказалось только поводом для разговора. Отрывочно и тихо, и оттого еще внушительнее, чем это было бы сказано в полный голос, с долгими паузами и вразбивку с безобидными замечаниями по поводу игры Студент строго запретил ребятам болтать о побеге:

— Вы здесь не одни в камере, и не одни вы об этом думаете... Дела не сделаете, а только навредите.

Он сказал еще, что надо считаться и с тем, что в камере больше двух десятков человек и каждому в душу не влезешь.

— Положим, что есть такой естественный закон,— уже отчетливо и всем слышно сказал он,— провокаторы и доносчики редко оказываются в ожидаемых прибылях. Они, как бабочки-поденки, долго не живут.

И снова вполголоса добавил, что не желает запугивать их трудностью этого дела. Но... если говорить о нем всерьез, надо иметь связи с волей. Надо иметь явки где-нибудь в ближних поселках, чтобы дальше уже идти в люди не на ощупь.

В последующие за этим дни Иван Хаританов заболел.

Вышел в рабочей команде в карьер, долбил киркой мерзлый грунт. А пласт песка проковало морозами до гранитной твердости. В открытом забое, удлиненном, как

горная расселина, тянуло ветерком, прохватывало злее, чем на поверхности. Часа три не разгибаясь, он подкапывался под стенку откоса забоя, и никто ему не подсказал, что так на каторжной работе не делается, что надо рассчитывать свои силы. Нагревшись, сбросил бушлат и врубался, забывшись в работе, еще с полчаса. Потом надел промерзлый, колом вставший бушлат на влажную от пота рубаху.

Вечером Иван будто вышел на широкий двор, чувствуя себя статным и ловким, готовым померяться силой с любым, принять на одну руку по двое. Был он обут в новые крепкие и ладные сапоги, под которыми бодряще поскрипывал сухой, крупно-кристаллический снег. Ногой толкнув ворота, он вышел на вольный свет. Какие-то люди, мелкота, пытались его остановить в воротах, висели на нем, но он легко разметал их, пошел себе под звездами по широко наезженной обозной рубчатой дороге на уже мерцающие вдали огоньки поселка Медный рудник. Одет он был в новенький полушубок нараспашку, и все было бы хорошо, только полушубок испускал тяжелый запах заношенной овчины и все сильнее давил на плечи. С каждым шагом эта тяжесть нарастала, и чья-то рука все больше затягивала на груди сыромятную седелковую подпругу, рывками захлестывая пряжку с одной дырочки на другую.

В тоске и страхе он рванулся, пытаясь напряжением грудной клетки порвать эту подпругу-обруч, и очнулся, с трудом поняв, что находится там, где ему и следует быть по ходу так уж сложившейся жизни.

Понял, что уже надвигается полночь, но лампешка в оконце над дверями за решеточкой еще горела, и люди в камере еще не спят, а двое — Студент с Пашкой — хлопочут возле него, меняя мокрые тряпки на голове, охлаждая их о заиндевевшее стекло окна. Услыхал, что Павел предложил натереть больному грудь свечным салом, но Студент сердитым шепотом возразил: еще чего выдумаешь. У него скорее всего воспаление легких, а человеку при этом кожное дыхание знаешь как нужно?

Так и пошло. Жил он теперь в мире призраков и кошмаров, лишь изредка на короткое время приходя в сознание. Но лучше бы этих просветлений не было, потому что, очнувшись, оказаться в камере было не легче, чем бороться с призраками горячечного бреда. К тому же в

бреду его часто посещала Аня, и он тихонько плакал тогда, светло и радостно, ловя ее руки, чувствуя на лице ее дыхание, когда она склонялась над ним.

Но этот образ пригреживался ему ненадолго, потому что вскоре его опять захлестывала сухая тяжелая вода.

Сухая вода... В здравом уме такое сочетание слов показалось бы ему нелепым. Но тут он узнал, что сухая вода бывает и сейчас она давит на него всей тяжестью своего пласта, как случается, когда нырнешь в озере слишком глубоко, но только тут она не освежает, а жжет и изнуряет, отнимает остаток силы. И мучило, что кровь во всех сосудах, до самых мельчайших, теперь была насыщена ржавью, тончайшей окалиной.

Продолжительнее была ясность сознания, когда Ивана подняли, одели и двое товарищей по камере повели его в больницу. И опять слезы жалости к себе навернулись у него, когда он попытался идти сам, но не смог и чуть не рухнул на пол. На лестнице повстречались трое возвращавшихся с работы, и среди них был Пашка. Они молча посторонились, прижавшись к стене, и по выражению страха и сочувствия в их глазах он понял, насколько выглядит слабым и обреченным.

В больничном деревянном бараке за полусотней больных ходило всего два санитара и старик фельдшер из расстриженных попов. Про него рассказывали, что сначала он разуверился,— не в боге, а в неправедной церковно-бюрократической системе — и был отлучен от своего колокольного звания, а потом устроил в доме явочную квартиру максималистов-боевиков.

В зыбком тумане горячечного отупения Иван пролежал около двух недель. Равнодушно покорялся, когда фельдшер два раза в сутки делал ему обертывание в обрывок мокрой горячей простыни. Да еще по утрам он чем-то смазывал ему рот и гортань. И это было все, что врачеватель-расстрига мог сделать для него, как и для других больных. Чахоточных старик лечил отваром ягод вереска и липовым чаем.

Когда кто-нибудь из его пациентов агонизировал, фельдшер торопливо шел в угол барака, опускался на колени перед иконой — покоробленной темной доской без оклада, молился, выхлопатывая у своего бога арестантику легкую и скорую смерть. Иногда садился на пятки, прислушиваясь к хрипам больного. Затихал умирающий, под-

нимался с колен и фельдшер, становясь опять распорядительным, деловитым.

Ивану молитва о легком и смиренном переходе в иной мир не понадобилась. После двух недель барахтанья в своей сухой воде он начал поправляться, хоть и чувствовал такую слабость, что за большой труд было даже подтянуть повыше сбившееся серое одеяло, пахнувшее тленом, таранью, чахоткой в последних градусах. Вся мерзость тюремного быта, казалось, сгущалась в этом запахе. А у Ивана, как у каждого из выздоравливающих, обоняние стало болезненно-чувствительным, и ничто его теперь так не мучило, как все эти запахи, одинаково и мочи, и лекарств, и обеденной баланды из квашеной капусты. Оказаться бы теперь в лесу, вдохнуть запах весенней снеговой воды и сосновой хвои, уже согреваемой в полдень солнышком.

Не будучи в силе помогать умиравшим, старик фельдшер посильно помогал выздоравливавшим, задерживая их в больнице насколько мог дольше. И нескольких таких больных, как Иван, он сумел удержать в своих владениях с зимних холодов почти до мая.

Если на дворе показывалось начальство, идущее с обходом, он принимался звенеть ложечкой о мензурку, словно что-то размешивая в ней. Это был его сигнал: всем ходячим больным нырнуть под одеяло, приняв соответствующий вид.

Жил старик тут же, при больнице, в чуланчике с зарешеченным маленьким окном. Поднявшись на ноги, Иван стал часто посещать его там.

Волосы, еще не слишком обильно простегнутые сединой, фельдшер носил подрезанными «под горшок», должно быть, найдя в этом нечто среднее между священнической гривой и светской стрижкой. Странно выглядели на его иссохшем смиренном лице неистовые, смелые глаза.

— Сказать тебе, что ты бормотал в бреду? — спросил Ивана как-то вечером, когда палата уже затихла, фельдшер.

— Любопытно, что же?

— Читал, например, Пушкина: «И жизнь перенесу стоической душою, одно желание: останься ты со мною». Какую-то Аню Орешек вспоминал часто. Кстати, мне от начальства велено: записывать все интересное, что мои

арестантики говорят в бреду. Особенно имена и прочее такое.

— Раз велено, надо записывать,— угрюмо посоветовал Иван.

— Надо? — бесстрастно, с мертвящим спокойствием переспросил старик.— У меня сына такого, как ты, власти пеньковым вервием, оторвав от земли, вознесли под самую перекладину.

Этого было достаточно, чтобы Иван почувствовал полное, безоглядное доверие к старику. Даже не смысла сказанного стариком о сыне, а тона, каким он это сказал. А по какому мотиву старик оказал ему ответное доверие — это было трудно понять. Не по одному же ведь тому, что он читал в бреду Пушкина.

Но разговаривали они после этого часто, без боязни открываясь в думах и ожидании. Сходились на том, что в России уже вполне назрела обстановка, которая может разрешиться одним: великим переворотом жизни. Расходились в предсказании сроков.

Иван однажды сказал:

— Вам ведь сидеть еще десять лет. Что, как не доживете до тех дней, когда революция распахнет двери тюрем?

— Десять лет? — переспросил старик, имея в виду не свой срок приговора, а другой свой заветный срок.— Нет, это мне не годится. Для меня что десять, что пятьдесят лет — едино. Однако же верю, что все придет раньше.

И Ивану подумалось, что только теперь он стоит на подходе к пониманию какой-то сложнейшей, трудно постижимой сути.

Сколько их, таких честнейших людей, которым по разным причинам остаются недоступными мудрость и высота некоей науки наук! Но не заглушить в людях пусть еще не осознанную тягу к ее постижению и ненависть к строю, глушащему эту тягу.

И совсем не велика плата — три года тюрьмы за то, что в тюрьме передумано, узнано, за многочисленные встречи с добрыми, сердечными и умными людьми.

Вот хотя бы этот старик...

В конце апреля он объявил Ивану, что держать его в больнице не может: «Себе наживу неприятности, и тебе больше незачем сидеть взаперти. На дворе весна, а для полной поправки вольный воздух нужен».

Но в тюрьме ожидались беспорядки: политические готовили первомайскую демонстрацию своей непокорности, и старик задержал Ивана еще на несколько дней. Возможно, он просто хотел уберечь Ивана от того, чему подвергало тюремное начальство политических после иногда случающихся заварух.

Утром Первого мая на тюремных дворах было пусто, никого не вывели на работу. В коридорах маячило по два — по три надзирателя сверх обыкновенно дежурящих. Даже в больничной палате посадили сизоносого, всегда полусонного заику — служивого, которого арестанты прозвали почему-то странной кличкой Поршень.

Но Первое мая на этот раз противу того, что рассказывалось о прошлогоднем празднике, прошло сравнительно спокойно.

Не было битья стекол, выламывания нар, долгого общего грохота, который устраивала тюрьма в крайних случаях, долбя в двери досками от нар.

Обошлось одними песнями. Сначала политические пели свои боевые песни — «Вихри враждебные...», «Красное знамя...», «Смело, товарищи...» Исчерпав песенный запасник этих мятежных активных напевов, долго еще пели другие — «По пыльной дороге», «Замучен тяжелой неволей». И у старшего начальства тюрьмы отлегло от души: песни этого рода поются уже не ради бунта.

Пока пел коридор политических, в камерах уголовных стояла уважительная непривычная тишина. Ни ругани, ни картежной игры. Песни эти заставляли хоть накоротко забыть о своем униженном состоянии, не замечать грязно-плесенной спертости воздуха, зловония, расчесов на теле, ржавых решеток на окнах.

Так или иначе Первое мая прошло спокойно. Этому помогла песня.

Второго мая старый фельдшер выписал Ивана, отпустил из-под своей опеки.

— Не знаю уж почему, а жаль мне тебя отпускать,— брюзгливо, сердясь на свою чувствительность, сказал он.— А чем тебе помочь еще, ума не приложу.

Иван ответил, что старик сделал для него,— спасибо ему от души,— и так немало. Что касается расставания, так это понятно. Старому человеку, потерявшему сына, каждый молодой человек подходящего возраста может напомнить о нем.

Старик пробормотал еще, что надо бы что-нибудь подарить на память, да вот нечего.

— Вот это разве?..

И протянул Ивану книгу, переплетенную, как это называется у переплетчиков, «кругом в кожу», с обившимися углами.

— Начальством дозволено...

Это был словарь «25 тысяч слов», изданный лет семьдесят назад. И старый фельдшер словно знал, что надо подарить Ивану, всегда любившему читать словари.

Так с одним этим словарем в руках, даже без обычной котомки его провели сначала через хозяйственный двор, обнесенный как в старокаторжных тюрьмах «палями» — заостренными, вплотную вертикально врытыми бревнами в полтора человеческих роста. Потом через прогулочный двор, огражденный стеной из камня-плитняка.

Весну в этом году можно было считать небывало ранней для здешних мест. Полоса почвы аршина полтора вдоль стен на присолнечной стороне уже покрылась ворсом нежной, тонкой, как плесень, зелени. Вверху, на стене, прозябали прутики какой-то древесной растительности. Когда-то ветер занес туда семечки березы, осины или ольхи, и они проросли там, подвытянулись, насколько позволяли условия такой жизни. И на них уже полопались почки, но, наверное, это были напрасные старания природы: больше, чем они стали, этим деревцам на тюремной стене все равно не вырасти.

Иван всхлипнул, глядя на эти веточки и на травку вдоль стен. Не одна сотня арестантов побывает за день на этом дворе, топчась здесь положенные каждой камере полчаса. Но люди берегут эту любезную им посылку весны: ведь вот не вытоптали же.

«И я вот выжил, перезимовал. Буду жить и дальше, как те лозинки на стене».

Он поднял лицо к небу, щурясь на плывущие там редкие вальяжные кучевые облака. Им оттуда видать все широко вокруг: весь океан тайги, нечастые людские поселения в ней и, может быть, кромку тундры, оленьи стада, тоже тяжко перезимовавшие, а теперь вышедшие на моховой откорм.

Но стражник, шедший позади след в след, ткнул Ивана в спину, незлобно, служебно сказав:

— Иди. И смотри вперед, не задирай рыло.

— Сам ты рыло,— весело огрызнулся Иван.

В камере его встретили так, словно он был в отлучке самое меньшее год, и теперь здесь — лицо нежелательное.

Люди разговаривали с ним немногословно. И Иван на это не обиделся: понял, что за время его отсутствия в камере произошло что-то особенное. Либо должно произойти что-то такое, при чем неуместны лишние слова. И товарищам в камере надо еще сообразить, следует ли его посвящать в дело.

Иван даже не стал любопытствовать о причине такой, заметно прохладной, его встречи в камере с товарищами. К тому же за это время изменился ее состав: появилось несколько новых лиц, не оказалось нескольких прежних.

Дня через три после выхода из больницы его вызвали из камеры и повели в служебное здание тюрьмы.

Его вызвали не первым: до него вызывали одного за другим уже троих, и никто из них не вернулся в камеру.

И люди в двадцать девятой — таким был номер камеры, напрягшись, как бы душевно окостенев, тревожились, хотя никто этого старался ничем не выдать.

Каждому думалось: видно, пронюхали «архангелы» о разговорах насчет побега. Будут, конечно, добиваться, кто был зачинщиком, подстрекателем. А таких просто не было, поскольку в любой тюрьме не бывает человека, не желающего вырваться из нее.

Но люди в камерах знали, что администрации полуроток непременно понадобится выделить двух-трех человек, чтобы для устрашения других создать судебное дело. Как они будут это делать? Какие сумеют притянуть доказательства виновности тех, на кого падает их выбор,— вот в чем сейчас состоял вопрос.

Ивана пригнали в комнату, в которую скошенным столбом входила через окно оранжевая взвесь из пыли, табачного дыма и закатного света.

— Так воли, говоришь, захотелось? — едва Иван переступил через порог, спросил сидевший за столом старший надзиратель, прибавив специфично тюремное ругательство, которым на воле гнушаются даже завзятые сквернословы.

И сразу же без приказа его, без жеста на Ивана двинулись стоявшие у стен вышколенные нижние тюремные чины.

Били жестоко и сноровисто, кулаками перебрасывая друг к другу. Кажется, по голове ударили только первый раз, для оглушения, а дальше по корпусу, норовя отбить почки или что-нибудь другое, но чтобы не оставалось очень заметных следов от избиения.

А сколько времени это продолжалось, он ни тут, в ходе дела, ни позднее не мог бы прикинуть. Били, пока не выдохлись сами.

Потом, взмокшие от своего праведного труда, стражники начали один за другим сходить с кона. Разошлись, опять заняв свои места, кто на корточках возле стен, кто на подоконниках. Один из них, уже пожилой, с темным лицом гипертоника, отошел, пошатываясь, не чувствуя себя в силе даже поднять руку, чтобы поправить волосы, свесившиеся на глаза. Иван смотрел на этих людей, превозмогая боль в шейных позвонках, где что-то свихнулось.

— Смотришь? — хрипло, одышливо, словно и сам от души потрудился вместе с другими, хотя даже не вставал из-за стола, спросил его старший надзиратель.— Озираешься, стараешься запомнить в лицо. Надеешься еще посчитаться с нами после вашего христова дня — после революции? Только ведь не будет никакой революции, дурачок. Мы в пыль втопчем таких, как ты.

— Втопчете всех? — тоже хрипло переспросил Иван, не сумев от бессилия даже придать вопросу тон сарказма.

— Огрызаешься? Сейчас я встану и захлестну тебя с одной руки.

Но он так и не встал с места, не исполнил обещанного «захлестнуть до смерти».

В последующие дни обитатели тюрьмы могли убедиться, что администрация была все-таки изрядно всполошена, напугана даже не осуществившимся побегом. Дня три заключенных перегоняли из камеры в камеру в одиночку и группами и чаще всего без всякого смысла, если не считать таким стремления держать арестантов в беспокойном напряжении и тревоге. Иногда всю камеру выводили на двор с «вещичками», как на этап, и, продержав там два-три часа, вталкивали в другую. Иногда среди ночи затевали перемещения по каким-то спискам. И в коридорах, обычно затихавших после одиннадцати

вечера, теперь чуть ли не до утра топали сапоги охранников, гремели дверные засовы.

В этой сутолоке случилось то, чего начальству, может быть, как раз не следовало допускать: Иван при очередной перетасовке оказался в одной камере со Студентом.

А этот человек был сейчас Ивану нужнее, чем кто-либо другой. Теперь Иван уже достоверно знал, что Студент на воле работал в комитете социал-демократической партии, сначала где-то в Центральной России, позднее был прислан на Урал, но действовать в этом краю ему недолго пришлось.

Когда Иван вошел в новую камеру, которую уже по счету за эти три дня, Студент лежал на крайнем от окна месте, подмостив под лопатки и затылок все, что ему собрали в камере. Свет из окна падал ему в лицо, серый свет при солнечном дне на дворе. Окна в такого рода заведениях не мылись никогда.

Но в этом сером свете лицо Студента не казалось ни поблекшим, ни несчастным, а каким-то странно оживленным. Только присев рядом и заговорив с ним, Иван понял, что это — нездоровое, горячечное оживление.

— Ну, простирнули тебя в тот вечер? — спросил Студент, приветственно тряхнув его руку за предплечье. Это тоже было одно из тюремных присловий. Когда из камеры брали кого-нибудь из заключенных и было известно, что его в служебном здании ожидает трепка, об этом говорили: «парня взяли в стирку».

И свое: «простирнули тебя?» — Студент спросил так ровно и как бы даже насмешливо, словно сам не прошел через это же. С трудом сев на нарах, он поднял рубаху на плечи, показал спину, всю в кровоподтеках, местами гноящихся. Было видать, что истязали его не голоручь, как Ивана, а использовали для этого случая какую-то специальную снасть. Скорее всего это была тяжелая и гибкая шестипрядная плеть из сыромяти.

Снова откинувшись на свое изголовье, сооруженное ему из бушлатов, передохнув, высоко вздымая грудь, он заговорил уже о другом:

— Ну да ладно, это только присказка...

А «сказкой» было то, о чем Иван и сам думал все эти дни. Как он только теперь узнал, дело не ограничилось одними только разговорами о побеге. Оказывается, пока он находился в больнице, его товарищи по камере

приступили к действиям. И было мало вероятия, что их подготовку к побегу выдал кто-нибудь из своей камеры. Могло быть другое.

Лаз для побега они нащупали под полом камеры, где вдоль балки отыскалась пазуха между половицами и перекрытием нижнего этажа, достаточная, чтобы проползти в нее. А за стеной была какая-то никогда на замок не запираемая каморка, где хранились швабры, ушаты. Но чтобы попасть туда, потребовалось сделать пролом в полукапитальной стене, работая ощупью, вытянув руки над головой.

Задумано было, может быть, и неплохо. Как ни крепка тюрьма, все равно в ней можно, бывает, отыскать место для возможного подкопа или пролома. Были бы время, терпение и усердие, которое всякому разумному человеку на воле покажется немыслимым.

И в двадцать девятой всего этого было не занимать. Но в середине дела, поздним вечером, в камеру нагрянули тюремщики, нашли поднятую под нарами половицу и пролом, который требовалось еще только малость расширить.

Может, в камере внизу под ними кто-то слышал ночью лязг железного прута — их инструмента — о кирпич. Что теперь гадать об этом?

И когда Иван посетовал, что это все-таки тяжелая неудача, Студент словно только и ждал, когда это слово будет сказано, круто ответил:

— А кто может знать наверняка, что в этой неудаче важнее — наши потери или наша прибыль в виде полученного опыта? Слабого неудача пригибает к земле, сильного обогащает опытом. Только ведь теперь, когда наше дело сорвалось, стало видать, как кустарно, по-топорному мы пытались его сварганить. Надо думать, что наша вторая попытка окажется подготовленной умнее.

— А с чего начинать?

— Есть такая прибаутка-загадка: когда строилась Москва, во что били первый гвоздь? В одном сибирском селе, где мне пришлось не своей волей прожить три года, был плотник-старик. С этой загадкой он приходил к каждому новичку-ссыльному. И очень радовался, что никто ему не мог правильно ответить. В конце концов сам подсказывал отгадку: да просто в шляпку били этот первый гвоздь. И сам себе казался при этом хитрее всех на свете...

...Спрашиваешь: с чего начинать. А я этого не знаю, как и ты. И не считаю себя хитрее всех на свете. Во всяком случае, надо умеючи подобрать себе попутчиков-товарищей. Только не в одиночку.

Отойдя от утомленного разговором Студента, Иван прикинул, на кого можно положиться как на товарищей по побегу: «Ну, конечно, он сам, Студент, когда поднимется, и хорошо бы Пашку еще...». Но про Пашку, которого в тот вечер взяли из двадцать девятой в числе первых, никто толком ничего не знал. Прошелестела арестантская молва, что Пашка, когда его принялись избивать, начал буйствовать: раскровянил физиономию одному тюремщику, нанес другому тот удар, который даже среди уголовных практикуется только в особых случаях. И с тех пор как в воду канул.

Если возможно, что человек всего за несколько дней становится душевно старше на десять лет, то это было как раз то, что произошло с Иваном. Еще работая в типографии-нелегалке, да и в первые месяцы сидения в двадцать девятой камере — до своей болезни, он был таким, каким ему полагалось быть — молодым, все принимающим с сравнительно легким сердцем. Теперь же словно груз сорокалетнего возраста лежал на плечах.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Можно считать, что это были вторые сутки без сна.

Предыдущей ночью ему удалось поспать всего часа три. И то поспал лишь оттого, что усталость и волнения после всего перед этим пережитого сломили его, погрузив в беспокойное, совсем мало освежившее забытье.

И вот вторая ночь, и в голове — отупляющий хмель самого тяжкого из лишений, которые может испытать человек. Сейчас ему не нужно ничего и ни до чего нет дела. Только бы спать. Но как раз этого было нельзя.

Ночью в лесу человеку, как ни будь он бесстрашен, каким ни будь лесовиком, все равно бывает неспокойно. Да что там, просто жутковато в лесу ночью, когда свет полной луны под купами старого сосняка не только не рассеивает мрак, а еще больше сгущает его, делает все неживое кругом живым, словно бы изготовившимся для прыжка.

В эту ночь обильная роса выпала еще с вечера, кругом все отсырело, отмякло и нечего было думать о том, чтобы где-нибудь прилечь. Да и нельзя себе этого позволить, потому что войти в город, может быть, лучше всего в самое глухое время. А город — вот он. Блуждая по лесу до полуночи, Иван все старался не терять из виду свечение городских огней в небе. Потом и оно померкло, истаяло, и только дальние гудки паровозов на вокзальных путях помогали не терять направление. Гудки почему-то заставляли поверить, что все происшедшее накануне ему не померещилось, было в яви. Лунный свет, испестривший лес, запах мокрой хвои, затекшие ноги в промокших от росы сапогах — все это слишком походило на томление в тяжелом сне. Но эти гудки маневрирующих паровозов...

И позавчера, когда снова в арестантском вагоне его привезли в город, тоже на станционных путях перекликались маневровые паровозы, будто лениво, без смысла толкающиеся по путям, растаскивая составы товарняка и снова сталкивая вагоны в длинные закопченные плети. Чисто, музыкально, как это бывает только в предзакатной тиши, звенели тарелки буферов.

Там, в Николаевских полуротках, месяца через полтора после неудавшегося побега Ивана вызвали на этап. Кто-то в камере успел разузнать от одного надзирателя,— есть ведь и среди них покладистые люди,— что его и еще двоих политических повезут в город на какое-то доследование. И опять была та же дорога, что год тому назад, но только как бы обернутая другим концом.

В городе арестантские вагоны втолкнули в какой-то тупик на дальних путях и арестантскую партию долго не выводили, а, выведя, посадили на путевом откосе и еще держали часа полтора, обложив реденькой цепкой таких же истомленных, обалдевших за дорогу, охрипших конвойных солдат.

Так и вышло, что в тюрьму они попали уже за полночь. А там еще немалое время заняла медлительная, скрипучая процедура приемки, развода по камерам.

Чуть ли не родным домом показался утром после Николаевских полуроток городской тюремный замок. Из окон западного крыла тюрьмы, куда теперь занесло Ивана, через лохмовидные вершины сирени и бузины, которыми заросло старое городское кладбище, виднелись,

12 Заказ 382

словно мелко настриженное лоскутье, крыши верх-палицкой окраины. И Иван, ухватившись за решетку, полувися, только носками сапог доставая до полу, долго смотрел в утреннюю синь, на дымы из труб поселка, которые приминал и разметывал свежий ветер. Где-то справа, если бы удалось изловчиться и хоть одним виском втиснуться в переплеты решетки, он знал, можно бы увидать кусочек заводского пруда. Но под стеной ходил часовой и, бывало, стрелял по окнам навскид, когда кто-нибудь бесшабашно вскарабкивался на подоконник.

А после обеда Ивана выкричали на допрос, повезли в пролетке,— с почетом, которого удостаивался далеко не каждый,— в знакомое здание жандармской канцелярии. То, что произошло вслед за этим, его и самого ошеломило своей простотой и как бы сказочной условностью. Со временем ему стало приятно относить случившееся за счет своей дерзости и ловкости. Но если по правде, то в тот час нисколько не ощущал он в себе ни удали, ни азартного желания кого-то провести, одурачить.

Действовал он словно в оглушении и шел сначала как на ходулях, как чужими ногами.

Жандармский нижний чин, привезший его, провел Ивана на второй этаж, где площадка в виде антресольки нависала над полутемной даже в солнечный день клеткой лестницы, и, приоткрыв одну из нескольких дверей в коридоре, доложил какому-то «благородию» о прибытии. Кто-то невидимый буркнул ему из глубины кабинета «подождать», и служивый, указав Ивану на скамью, открыл другую дверь в глубине, ведущую, наверное, в писарскую, и распялился в ней, с кем-то балясничая.

Время в человеческом сознании — предмет упругий, растяжистый. Возможно, Иван сидел на своем месте и долго, но ему в напряженном ожидании допроса оно показалось за несколько минут. Офицер в кабинете встал из-за стола, выглянул в дверь, сердито глянул на арестанта, снова захлопнул её. И, совсем еще ничего не собираясь предпринять, ничего не обдумывая даже на две минуты впредь, Иван встал со скамьи, шагнул за выступ стены. И тут же нижний чин, обязанный его стеречь, выглянул из писарской комнаты. Коридор теперь был пуст. Решив, очевидно, что арестанта взяли в начальственный кабинет, он и совсем вошел в писарскую и, возможно, нашел себе там нашест для сидения: в ногах правды нет.

«Если что — скажу: пошел поискать сортир»,— тупо подумал Иван, спускаясь по лестнице.

Внизу, при выходе, всегда дежурил еще один служивый, ветеран от жандармерии, но Иван еще с антресоли видел, что тот зашел в свою каморку под лестницей, звякая там, судя по звуку, медным чайником.

Глухо, чуланно было в прихожей, пахло какой-то капустной едой. В левом крыле дома, на первом этаже, на казенной квартире, при месте службы, проживало какое-то полицейское полуначальство. Иван открыл дверь на дворовое крыльцо. Не могло быть, что никто не слыхал ни его шагов, ни того, как всхлипнула дверь. Но, наверно, так бывает во всем: счастливые обстоятельства сцепляются в свою цепь, несчастные — в свою.

Заставив себя идти неторопливо, прогулочным шагом, он доковылял до угла надворных строений, и только там дела у него пошли резвее. Но, перебросившись через заплот захламленного заднего двора, переулками выбравшись на людную улицу, он теперь уже сознательным усилием заставил себя опять пойти ровнее, как все.

Каждый в улице идет по своему делу, по своему шел и он, безотчетно правясь на окраины, а там через пустыри в пригородный лес.

Сначала он просто торопился углубиться в чащу, смутно думая, что там-то его не настигнет никакой розыск, что там-то он, по поговорке, и царь, и бог, и воинский начальник. Но, зайдя в лес верст на пятнадцать, остыл, начал рассуждать трезвее. Как ни был оглушен привалившим ему счастьем, как ни истомлен за дорогу и за прошлую, почти бессонную ночь, пришел к единственно разумной мысли, что надо идти к людям. В лесах, побродяжьи, хоть бы и по летней поре, ему долго не прожить. А люди, которым можно довериться, были только в городе.

И, наблуждавшись по ночному лесу, подремав немного на сравнительно сухом месте, где-то под елью, он пошел снова в город. И пока шел, мучительно думал, куда ему можно явиться с наименьшим риском. Не к отцу же в Верх-Палицу, где первым делом ему расставят западню. И не к бате-Аркаше, где домохозяин-фельдшер не упустит случая показать полиции свою благонамеренность.

Промаявшись в лесу до утра, не придумав ничего другого, как идти в Общество горных техников, Иван при-

ближался к городу, уже видневшемуся в просветах просек и отложий трубами заводов и маковками церквей, уже знойно сиявших под утренней лучезарью.

Но, видно, не кончилась еще для него цепочка счастливых случайностей.

На большаке, идущем из города в сторону купеческих дач, он набрел на калитку из вольерной сетки, что сразу помогло ему определить, где он находится.

«Дача ведь... инженера Ергина, на которой бывал ведь раньше»,— подумал он, ожидая и почему-то горячо надеясь, что навстречу ему из кустов опять выйдет тот пойнтер с грустными глазами.

Вышел не пойнтер, а из-за поворота аллеи навстречу брел, подагрически загребая ногами, сам Ергин. Торопливо, не желая, чтобы раннего гостя увидел кто-нибудь с большака, инженер увел его в дом.

Иван попросил его о немногом: известить кого следует о его появлении, а пока позволить переგодить некоторое время на даче. И тот, похоже, обрадованный, что его просят не о большем, радушно предложил располагаться в комнатах или на веранде, на вольный выбор гостя, а об остальном не беспокоиться.

А Ивану его приветливая покладистость слишком ясно говорила другое: подсказывала догадку, что инженер уже тяготится своими связями с социал-демократами и тем, что его дача все еще числится явочной квартирой, и только по слабости характера он еще не положил этому конец.

Но выбирать Ивану было не из чего.

— Понимаете, сначала я было держал направление в Общество горных техников...

Инженер испуганно сказал: «Ой!»

И пояснил, что Общество уже не существует, оно самоликвидировалось.

На веранде Иван лег на широкий турецкий диван в парусиновом чехле, сняв только сапоги и куртку. И жизнь на планете померкла, остановилась. Ничего живого в мире не осталось.

Разбудили его голоса в соседней комнате.

Утром стеклянная веранда, заросшая снаружи хмелем на шпагатовых струнах, была вся расписана пятнами и разводами зеленоватого свечения. Теперь и свет был другим, будто на небе, как в театральном прожекторе, сме-

нили стекла на другие, с преобладанием оранжевых тонов. И он понял: дело к вечеру.

Понял также, что в комнате за неплотно закрытой дверью говорят о нем. Того, что говорилось вначале, он не расслышал, но заговорил Федор Иваныч Сыромятников, и Иван сразу узнал его по голосу.

— Друзья мои, так нельзя,— говорил Федор Иваныч.— Человек вырвался из такой ямы. И насколько я знаю, ему просто некуда деться. Первое, что ему нужно,— это отмыться от тюремной грязи, сбросить рванье, которое сейчас на нем. Я бы с удовольствием отвез его к себе, но у меня, вы знаете это, сейчас не те условия. Надо подумать, где его поселить, чтобы хоть неделю-две человек мог отдохнуть, просто подкормиться, наконец... И уже после этого решать, куда его направить и что поручить.

Сообразив, что слушать, когда говорят о нем, не полагается, Иван спустился в сад. Но уже через несколько минут ему тихонько свистнули с веранды. Он вернулся.

Федор Иваныч сидел на диванчике, глядя на входившего пристально и любовно. Он сказал:

— Подойди поближе. Хочу тебя обнять, печенег.

— Не стоит меня обнимать,— смущенно возразил Иван.— Я весь пропах тюрьмой.

— Подойди поближе,— настойчиво сказал Федор Иваныч.

Но поговорить обстоятельнее им удалось лишь позднее. Ивану приготовили баньку, наскоро протопив, так что она не успела и хорошо нагреться; только что вода в чугунной колоде стала пригодной для мытья.

Банька пряталась в густых зарослях бузины, и Иван долго, с удовольствием плескался в ней.

После бани и чаепития они с Федором Иванычем спустились в сад.

В чужом, чистом, тонко пахнущем белье, в мешковатых брюках, которые пришлось подтянуть повыше и еще подвернуть снизу, в мягкой и покойной куртке он чувствовал себя как бы не принадлежащим себе.

И Федор Иваныч, которому, возможно, самому приходилось побывать в таком положении, без труда поняв его состояние, с грубоватой сердечностью сказал:

— Черт нас с тобой, двух дубоносов, знает, почему я так рад тебя видеть на воле. Было бы жаль, если бы такому парню пришлось попусту тратить время на сиде-

ние в тюрьме. Мы в тебя поверили, и такие, как ты,— наш золотой запас. Надеюсь, не надо объяснять, что все тобой сделанное и пережитое — только начало, вступление.

Еще годы придется прожить Ивану до того поворота судьбы, когда в Оренбургской степи белоказачий вахмистр, пригнувшись в седле к плечу коня, с левой руки достанет его клинком и срубит с него полевую сумку.

Многое еще оставалось не испытанным: то, к примеру, яростное чувство боевого азарта, когда с трех шагов человеку выстрелят в лицо, но пуля пройдет, лишь шевельнув волосы на виске, и только ослепит на миг пороховым жаром.

Но это еще только предстояло ему когда-то, в отдаленном будущем. Пока же было только то, что было. И в этом сущем, сиюминутном главное для него составляла тревожная и отрадная думка про Аню.

За долгие месяцы он не обмолвился о ней ни разу, ни с кем, хотя не переставал помнить и думать, кажется, ни на час. Теперь же, когда почувствовал себя на свободе, мысль о ней стала тем, важнее чего у него нет. И он, как бы между прочим, спросил Федора Иваныча: где она сейчас? Можно ли ему с ней увидеться?

Федор Иваныч, мягко усмехнувшись на его усилие спросить как можно проще, не выдать волнения, ответил:

— Почему же нельзя? Увидишься с ней в самом недалеком будущем.

«Недалекое будущее» представлялось Ивану как полгода, год. Он был согласен и на это, но все же спросил: в насколько недалеком?

— Ну, завтра, послезавтра...

И, растрогавшись его растерянным лицом, Федор Иваныч взъерошил ему волосы, пройдясь по комнате из угла в угол. Ведь не гладить же сильному человеку сильного человека, как котенка, благостным движением по голове.

КНИГА ВТОРАЯ

СЕМЬ ВЕТРОВ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Чувство стран света

Суббота в поселке всегда бывала днем топки бань и стрижки ребятишек.

Мать поймала на улице, за калиткой, своего малолетка, привела во двор, усадила на табурете возле крыльца. Он низко пригнул голову, заранее содрогаясь от лязга ножниц, стрекочущих еще только на пробу, еще где-то над головой. Стянул, как велено, полотенце вокруг цыплячьей шейки и стал совсем узкоплечим и крохотным. И до чего же жалок! Палевые от солнца волосы стали сухими и жесткими, голова похожа на спинку ежа, а ноги просто страшны: настолько черны ступни, и все они в ссадинах, в поперечных мелких кровоточащих трещинах.

Мать стригла голову парнишки, не очень заботясь об аккуратности, а только затем, чтобы в волосах не накапливалась дорожная пыль и чтобы не заводилось что-нибудь похуже того. Стригла так, как в лесу рубят тонкий подлесок: только бы проехать один раз к какой-нибудь дальней поленнице. Стрижка получалась клочковатой и ступенчатой. Но так стригли в поселке всю детвору...

Кончилось лязганье ножниц, тупо отдающееся в мозгу, мальчик встал, встряхнулся и вдруг увидел: мир чудесен. Во всей его ослепительной красе увидел то, что бывает уже не доступно глазу взрослого человека, уставшему от впечатлений прожитого.

Оттеняя причудливую линию дальних лесистых холмов, мерцали над ними узкой полосой нежные краски лета как на лезвии нагретого в горне топора; у кузнецов такое свечение металла называется цветами побежалости.

Всего в полуверсте от окраины поселка, за нешироким ожерелком пахучего, как бы бессмертно-отвердевшего вереска, начинался лес, рослый, добротный сосняк. А лес силен не только своим пространственным величием, но и какой-то необъяснимой властью над людьми. Этим летом лес раз уже попытался взять мальчишку.

В такой же полдень мальчик ушел из дому в лес, все дальше погружаясь в него, пробираясь по мягкому ковру

сухой иглы, держа пальцы у рта, боясь заплакать. Его нашли через сутки и доставили домой бабы-ягодницы.

Что увело его в лес? Может, это было то, трудно объяснимое влечение, сказывающееся на людях всех возрастов? Дети из поселка целыми днями пропадали в лесу, начиная с поры цветения сосны, когда на ее ветвях за какую-нибудь неделю теплой погоды успевали вызреть съедобные крупитчатые шишки, до тех дней, когда перед долгой зимой, как заря, погорала радужная горная осень. Запоминались детям на всю жизнь дни праздника земляники.

Молодые парни с девушками по воскресеньям ходили в лес справлять любовь; возвращались вечером, неся обструганную вересинку с узорами, вырезанными ножом по коре, с кисточкой зеленой хвои поверх последней мутовки.

Пожилые люди в свободный час, с собакой, в тех валенках, в которых работали у заводских печей,— своей привычной обуви со следами от колодочных веревок на ней, бесцельно уходили в лес, приносили, возвращаясь, либо десяток заготовок на туески из снятой целиком, без надреза, бересты, либо несколько обломков кварца с черными прожилками, чтобы показать знающим людям («Не золотишко ли, случаем, попадает в руки?»), либо неся в кожаном фартуке добытого без ружья огромного, черного, с сизым отливом глухаря.

Даже животные испытывали на себе это влияние леса: коровы, в исходе молочности отпускаемые без пастуха, неделями не приходили домой и хозяева не слишком беспокоились о них, зная, что все равно придут в свой час, может быть, уже с телком, или будут кем-нибудь найдены, одичавшие и раздобревшие. Коты нередко приносили на двор с залитых водой, таинственных, как окна, старых торфяных разрезов уже летных, крупных чирят.

И еще одно посетило мальчишку впервые в этот странный час: чувство стран света. Что оно такое и когда зарождается в человеке, чтобы сопутствовать ему везде, всегда? Компас мертво и точно знает, где находится север и юг. Но что компас, если у нас есть об этом всегда свое представление. Кому не случалось, оказавшись в новой местности, вдруг почувствовать, что в мире что-то стоит не так, как нам привычно, и солнце всходит не там, где следует. Рассудок, веря солнышку, твердит свое: на юг —

туда. А нам упрямо кажется, что направление на юг должно лежать совсем иначе. Иногда надо прожить на новом месте несколько дней, чтобы наше представление о странах света совместилось с действительным.

Окраинная улица, на которой стоял дом Харитановых, на запад не имела ни хода, ни выезда; сразу за последней по присолнечной стороне избой придурковатого мужика Фоки Зыкова начинался заболоченный пустырь, высокий кочкарник, прямой, как столбушки, с пучком резуна на каждой кочке. Между кочек торфянистая почва все лето сохраняла следы ржавчины, остающейся после того, как высохнет прелая вешняя вода. И — рукой подать, виднелась за этой мочажиной сопка-голец Собачья гора.

Собачья гора ничем бы не отличалась от других таких, рассеянных в окрестностях холмов. Может быть, только оперявший ее сосняк был моложе коренного леса,— когда-то, с полсотни лет назад, на горе сменился лесистый покров. Но как раз над нею приходился, вероятно, вихор воздушных течений, которыми постепенно уносило в виде пыли мягкий грунт; с годами на вершине и по склонам горы из-под почвы вылущило, обнажило верхушки подземных скал. И никогда не затихающий шорох стоял в бронзовых стволах сосен, в глыбах серого гранита, изрытого ветрами.

По какому-то необъяснимому капризу природы, почти на каждой из таких глыб имелись тарельчатые углубления, в которых после дождя долго держалась вода. Это обстоятельство и самое название горы не только для пятилетних, но и для более старших ребят поселка делали ее местом таинственным, страшным и привлекательным.

На вершине горы огромный плоский камень, весь в пятнах жестяно-жесткого лишайника, наклонно выдался из земли своим острым, сточенным о ветер краем, образуя навес, под которым можно было стоять в рост. Не раз дети, застигнутые в лесу дождем, сиживали под этим каменным навесом, закопченным от дыма костров, тесно сбившись в кучку. Воображение рисовало им, что живут на горе какие-то особенные, крупные псы, из тех, что зовут Кровяными собаками; днем рыщут по лесам, а к ночи собираются сюда на ночлег, спят в углублениях под камнями, а выбоины на камнях, похожие на блюдца, выскре-

бены их же железными когтями, чтобы иметь воду для питья.

Было известно, что за Собачьей горой есть еще Желтая гора; на нее зимой старшие дети в поселке уходили кататься, привязывая вместо лыж две клепки от рассыпавшейся бочки. А дальше, за Желтой горой... Там была уже Неизвестность, та вселенская бесконечность, от одной попытки представить себе которую становится жутковато даже позднее, зрелому уже уму. Пока же необъятность Вселенной начиналась для мальчишки сразу за видимой кромкой леса...

— Жил в одном селе старик, и было у него три сына...

Еще не поздно, но по зимней поре это уже ночь. Летом в этот час вся ребятежь поселка еще благоденствует на улицах и в зарослях вересовника, подступающего к самой окраине. Но сейчас не лето, смеркаться стало раньше. И бродит вокруг дома, неслышно ступая, под стать ночи, темношерстяная, мягкая дрема, поблескивая огромными глазищами...

Отец спокойно сидел на скамье, в углу между печью и дощатой перегородкой, положив локоть на какой-то кирпичный выступ. Мальчик, сын, подобрав под себя босые ноги, возился рядом, примащивался, отыскивая самое удобное положение. Но самым удобным положением было бы лечь на свою кошомку, служившую ему тюфяком, и укрыться одеялом. А так, сколько тут ни трепыхайся, все это было не то, все было неудобно, томно. И он слепо припадал к отцу, перекатывал голову у него на груди, обоняя запах его бороды. Борода пахла сосновыми стружками.

— И было у старика три сына,— продолжал отец.

— Как у нас? — рассеянно спросил мальчик.

— Пошто — «как у нас»? Вас-то все-таки четыре брата. Есть еще где-тось Иван.

— А мама говорит: Иван не наш. Она говорит: Иван фармазон, арестант.

— Ну, она скажет...— безобидно сказал отец. Этот вопрос в их семье был когда-то болезненным, но теперь отца уже не обижало то, что ненароком сказал мальчишка.

— Так вот, поехал однажды старик по каким-то своим

делам. Может, на покос или еще куда. И взял он с собой старшего сына. Едут полем. Сын поглядел вокруг себя и говорит: «Ох, батько, земля-то какая, только бы здесь пахать и сеять». Отец думает: «Славно. Крестьянином будет, на земле работник...»

...Поехал старик другим разом, взял с собой среднего сына. Едут лесом. Сосны стоят такие, что на верхушки их глянешь, спине больно. Сын говорит: «Ох, батько, деревья-то какие! Только бы строиться». Отец думает: «Хорошо, плотник вырастет, рабочий человек».

...И поехал он в третий раз, взял с собой младшего сына. Едут трактом где-то, к примеру, скажем, по Припасной горе. А впереди мужик в телеге едет, дремлючи на езде. И сзади у него годовалый бычок ковыляет, за тележный отвод привязан. Сын говорит: «Слышь, батько, давай украдем бычка». Отец думает: «Вот это сынок растет. Вот и вор в семье окажется. Все в полном комплекте». Сам, однако, спрашивает у сына: «Как же ты его украдешь, у мужика на глазах?» Сын отвечает: «А вот погляди...»

Сказка течет, журчит. Старик,— не тот сказочный, испытывавший своих сыновей, а подлинный, живой,— видит, конечно, что мальчишка засыпает и уже едва ли слышит его. Но он досказывает сказку, повествуя о том, как плутоватый парнишка, забежав по кустам вперед, сбросил на дорогу левый сапожонок. Мужик, хозяин того быка, слез с телеги, поднял находку. Ничего не скажешь — сапог. Но один левый же. И вдобавок разбитый так, что лучше некуда. И бросил его снова на дорогу. А парнишка опять забежал вперед и кинул на видном месте уже правый сапог...

А сын уже ничего этого не слышит... Дрёма уже в доме. Нигде ничто не скрипнуло, не всхлопнула дверь, а она как-то вошла, наверно, проникла сквозь стену. И вот уже тусклая керосиновая лампешка на стене стала казаться далекой и чистой звездой с длинными-длинными разновеликими лучами.

Мальчика зовут Денис. Отец уводит его, сонного, в постель.

В семье Алексея Денисовича Хаританова рождались все одни сыновья. И Денис, наименованный так в честь деда, которого не помнил, долго так и не мог понять, каким по счету сыном он оказался в семье. По счету отца,

не забывавшего, что у него есть еще отколовшийся от семьи Иван, Денис выходил третьим сыном. Между ним и Иваном был еще Николай,— по их поселковому словарю — Кольша,— возрастом лет на шесть старше Дениса. По счету же матери, не считавшей Ивана за своего, он оказывался вторым.

Денису было пять лет от роду, когда взрослые начали говорить о большой войне. И они, ребятишки, все-таки никогда не желающие оставаться в стороне от «взрослых» дел, принялись играть в войну на своих огородах. Война была объявлена первого августа, и огороды вскоре после этого освободились от посадок, на огородах, следовательно, для игры открылся полный простор. Иногда переносили игры в заросли вересовника, прилегающего к окраинным улицам: там развертывать «военные действия» было еще интереснее.

Война непосредственно не коснулась семьи Харитановых: из них на нее некому было пойти. Остался, значит, только ребяческий интерес к тому таинственному, что называется войной. Стало, правда, голоднее жить, но не слишком — лютому голоданию было непосильно прорваться в детский меловый круг. Может быть, в раннем детстве недоедание переносится легче, чем взрослыми людьми, потому что оно не отягощено сознанием унижения человека, которое создается голоданием.

В год начала войны, в середине лета, в семье произошло еще одно событие: родился третий сын. Или четвертый? Разве поймешь, когда сами взрослые не приходят к согласию в этом счете.

Мать рожала дома, на широкой скамье в их кухоньке, и Дениса на этот случай выгнали из избы на двор и не пускали целые полдня. А когда пустили, то мать уже покойно, как ничего не случилось, лежала на кровати, а в длинной бельевой корзине-решетке, на двух табуретах, лежало что-то аккуратно упакованное в одеяльце, и только виднелось из этого свертка маленькое красное личико с неким подобием носика. Только глаза казались уже живыми на этом личике, и они походили на глазки клеста, которого одну зиму отец для Денькиной забавы держал в клетке на окне.

Денису сказали: это теперь будет твой маленький братик. И это была самая большая кривда из всех, какими отличаются взрослые, не могло это, хоть и живое сущест-

во, быть ему братиком, и не могло быть, что оно когда-нибудь вырастет в человека. Слишком оно мало и непрочно изготовлено.

Но позднее оказалось, что это все же не обман, не лукавство взрослых. Народившееся существо, которому дали человеческое имя — Вениамин, Венька, Веничек, не прошло и года, как стало походить на заправского братика. Это был спокойный мальчонка, нереввливый с первых дней жизни. Отец иногда в час досуга брал его, ставил, еще не умеющего держаться на ногах, на стол, поддерживая за локотки. Заставляя приплясывать, наговаривая: «Тень-потетень, возле города плетень...»

Может быть, только этим и богато было детство поселковых ребят — песнями без слов, бессмысленным напевным лопотаньем. Но ведь к песням лесных птиц тоже никто еще не сумел сочинить слова.

Чем плохо: Гранитоград?

Летом Кольша, старший перед Денькой брат в семье Харитановых, с двумя сверстниками взялся пасти свою и десяток соседских коров, чтобы заработать на одну особую надобность.

В поселке было и большое общее стадо, в котором коров метили крупной смоляной буквой «икс» слева на крестце. Пастух, клыкастый, крикливый, но безобидный старик, с тремя подростками-подпасками каждое утро прогонял стадо в лес по трактовой дороге; в безветрие, долго после того, как оно скрывалось в лесу, над трактом еще висела розовая завеса пыли.

Ребята пасли своих коров на старом торфянике, отдельно от общего стада. Старый торфяник — это елань, столь широкая, что дымчатым казался в любую сторону окаймляющий ее низкорослый, низинный лес. Как осколки зеркала, для приманки жаворонков были разбросаны по ней старые, заброшенные, до краев залитые водой торфяные разрезы.

И травы на торфянике не те, что по лесным полянам, а крупные, дудчатые, больше всего кипрей, пахучий лабазник.

Коровы на елани на версту кругом — все на виду, пастьба легкая. Часами ребята сидели у костра, пекли

картошку, варили в котельчике сочную мякоть прилистников известного всем растения, которое зовется в этих краях: сумчатка, пикан, дударь и еще многими названиями, чуть ли не в каждом селении — своим. Торф в этих местах залегал близко, под самым тонким дерновым слоем, под костром выгорала глубокая лунка, полная пухлого, летучего пепла. За ночь пепел уносило, развеивало самым легким ветром; явившись на то же место утром, ребята находили вместо вчерашнего кострища глубокую, аршина в полтора воронку, словно из почвы была только что выдрана огромная редька. И только удушливый торфяной дымок все еще реял в воздухе.

* * *

Особенная надобность, на которую Кольше хотелось заработать деньги пастьбой, состояла в залоге на право пользоваться заводской библиотекой.

Библиотека на заводе была уже тогда, когда их еще не было и в городе. Кто-то в роду владельца завода был любителем, собирателем книг.

Старики рассказывали, что среди владельцев были люди самых разных качеств: картежники, пьяницы, поврежденные умом. Кто-то из них вместе с тем мог оказаться и любителем-книжником.

Под библиотеку было занято все правое крыло первого этажа заводской конторы — здания с двумя колоннами, со ступенями во весь фасад, с высоким фронтоном, во фрамуге которого стекла от давности стали ярко радужными. Обращено здание на пруд, где зимой особенно широкой и щемящей кажется пустынная даль и горбится его ледяной панцирь, весь в застругах и волнистых снежных надувах.

Зимой темнеет рано, а для парнишки семи лет даже такое несложное предприятие, как посещение библиотеки со старшим братом в вечерний час, может стать увлекательным. Интересно и ново просто идти по темной улице, по дороге, поблескивающей там, где она приезжена полозьями саней. Дорога гребенчата, равномерно выбита копытами, и валики целого наста на ней лежат, как шпалы железнодорожного полотна: шел бы и шел по ним вприпрыжку за тридевять земель. А в домах заводской администрации, под аркой ворот на плотинный двор, при входе

в заводоуправление — и совсем начинается иной мир: здесь горит электричество и его слабо-шафранный свет, словно процеженный сквозь цветочные лепестки, делает все вокруг в глазах мальчишки сказочным, нереальным и каким-то щекотным. Две такие же, как при входе, цилиндрические лампочки, из тех, что назывались экономическими, горят над прилавком в библиотеке. В первое свое посещение библиотеки со старшим братом Денька, кажется, ничего и не видел, кроме этих лампочек с фарфоровыми грушами на блочках. Так и простоял все время, пока были там, не сводя глаз с лампочек, переступая с ноги на ногу, наблюдая, как на остром шипике ее стеклянного баллона вспыхивает и гаснет голубая искорка.

При втором посещении библиотеки Денька заметил и успел рассмотреть девушку-библиотекаршу. Как в первый раз на лампочку, он смотрел и на нее во все глаза, без всякой связной мысли, с одним, наверное, только желанием — впечатать в память ее облик. Она и впечаталась в памяти совершенно отчетливо такой, какой он видел ее несколько раз — тихонькая девушка в темном платье с кружевным воротничком. Голос у нее был до жалости слаб, если приходилось что-нибудь сказать повышенным тоном, у нее даже появлялись пятна на лице от чисто физического усилия.

И был особенно запомнившийся вечер. Братья шли по темной улице опять в библиотеку, когда позади послышались какие-то непонятные хлопки, топот, такой гулкий, как бывает, когда бегут по зимней дороге взрослые грузные люди в тяжелых сапогах. Ребятам крикнули: «Ложись!», но Кольша и без того успел заметить опасность, сбежал в сторону, в снег свалил с ног малыша и упал сам. И сразу над ними пробежал человек, а в двух десятках шагов следом три фигуры в шинелях, стреляющие на бегу из револьверов. У детей любопытство почти всегда сильнее страха: Денька, нимало не устрашась, с интересом смотрел, как рождались в темноте, вздувались и с треском лопались золотистые пузыри вспышек, а ночь после них стала еще темнее.

На крыльце библиотеки, на обтертых подошвами каменных ступенях, ребята долго отряхивали снег с одежды, а когда вошли в библиотеку, там стоял и вполголоса разговаривал с девушкой-библиотекаршей не кто другой, как Иван.

По дороге сюда, обсудив случившуюся на улице стрельбу, ребята пришли к тому, что это кто-нибудь удрал из тюрьмы и его преследовали стражники. Так оно, впрочем, и могло быть или что-то схожее с этим. А Ивана в их семье мать называла не иначе как арестантом, говорила, что чем реже он будет появляться в их доме, тем лучше. Его и в самом деле не видали в отцовском доме.

И воображение Деньки сразу связало все эти обстоятельства в одно: ему представилось, что это Иван убегал только что от преследователей, за его спиной хлопали выстрелы и еще грубее, слышнее их бухали сапоги стражников.

Одет Иван как ходят все мастеровые среднего достатка: на нем суконная куртка вроде флотского бушлата, шапка — татарский малахай, высокий суконный шлык с узкой меховой оторочкой по нижней кромке. Такую шапку можно носить, лихо заламывая за висок, как папаху, а можно при нужде нахлобучивать глубоко на уши. Брюки, крепко заправленные в сапоги, он носит, как следует быть, внатяжку, без единой складочки. Денька с жадным интересом присматривается к Ивану. Как все в белом свете таинственно и непонятно: почему мать так не любит Ивана, почему отец только упрямым молчаливым несогласием с ней выражает свое отношение, а не скажет прямо и ясно. Где живет Иван? Чем он занят? Одно мальчишка знает несомненно: он на все согласен, лишь бы скорее, хоть завтра вырасти, стать таким, как его таинственный брат, крепким, словно отлитым в скорлупу своей простой и ладной одежды, иметь такие же крутые и крупные плечи. Старая песня — эти видения, эти желания, которые в детстве зовут и манят, но лишь отуманивают сладким чадом воспоминаний, отойдя в прошлое.

Николай был на пять лет старше Деньки, но и ему было не все понятно в их сводном брате. Где, как Иван прожил последние годы,— это никому у них в семье не было известно. Неизвестное — притягательно, может быть, настоящую работу воображению только оно и дает. Одно они понимали хорошо: мать хотела бы как-то отделить своих ребят от старшего брата, боялась его влияния на них. Но уже жило в детях от нее же унаследованное упрямство: чем резче она отзывалась об Иване, тем больше укрепился у них интерес к личности брата.

В тот вечер из библиотеки они вышли втроем. Очень

пустынно было на заводском подворье. Пустыннее даже, чем в улицах поселка; там по крайней мере хоть разнообразила пейзаж темнота, кое-где расщепленная снопиками света из окон домов. Здесь же небольшая площадь была неподвижно освещена редкими фонарями, свет их точно завораживал ее. Налетал порыв ветра, и через весь двор понизу протягивались, проползали, как живые, ленты поземки. За створами плотины над прудом, где не виделось ни огонька, ночь стояла и совсем глухой стеной.

Иван шел, прижимая Деньку плечиком к своему бедру, и тому это было почему-то приятно, хоть и не совсем удобно идти в таком положении; он брел, не вырываясь, что обязательно сделал бы в любом другом случае. Иван сказал Кольше, чтобы тот увидал одного ихнего заводского человека. Только и сказать, что видел его, Ивана, больше ничего говорить не следует. И дома хорошо бы ничего о нем не говорить, но ведь у них, у ребят, такая новость не удержится в секрете. А поселился Иван пока что у дяди Васи. И напоследок, когда мальчикам надо стало идти прямо, а ему поворачивать налево, Иван сказал, чтобы они заходили к нему, проведывали бы, пока он живет здесь, потому что вскоре ему опять предстоит уехать, и неизвестно, надолго ли, на коротко ли.

Братниным приглашением Николай воспользовался уже на другой же день.

Иван спал на убогих нарах дяди Васи, покрытых войлоком, когда ребята вошли к нему, с трудом отодрав оледеневшую низкую дверь, которая в своих покривившихся косяках проворно закрывалась сама, одной собственной тяжестью. Она, чувствительно ударив Деньку в спину, сердито втолкнула его в избу. В ветхом жилище дяди Васи было прохладно; Иван, сразу проснувшись, поднялся, для согрева прошелся несколько раз по избе, зябко встряхиваясь, накинув на плечи пиджак, засунув руки в карманы брюк, прорезанные по-старинному, не вдоль шва, а почти горизонтально, под поясок. Он спросил ребят, не хотят ли они пообедать с ним; полез в печь, темную и бесформенную, как звериная нора. Но ребята по запаху определили, что на обед у брата — только пустая картофельная похлебка, вдобавок перестоявшаяся в печи, то есть то, что на худой конец у них и дома всегда найдется. Да и пришли сюда эти два соловья именно за баснями.

Двое старших сидели, разговаривали о житье-бытье поселка, о немалой харитановской родне. Было ясно, что Николке хотелось спросить у старшего кое-что свое, а тот был не прочь рассказать ему тоже кое-что, уже доступное по его возрасту. Но понятие приличия мешало ему начать сразу с этого. Денька же, еще не обзаведшийся предрассудками приличий, из-за спины брата вдруг прямо и звонко спросил — правда ли, что Иван сидел недавно в тюрьме?

— Ух ты, какой строгий допросчик,— с веселым удивлением отозвался Иван.— Ну, сиживал. Бывало дело.

— А за что? — опустив лицо к столу, тихо спросил Николай.

Иван долго не отвечал. Он убрал со стола, снова лег навзничь на нары, пристально глядя в закопченный потолок, где на срезе сучьев поблескивали янтарные капли смолки.

— Возьми на гвоздике грифельную доску,— будничным тоном начал он.— Где-то на подоконнике я видел грифелек...

Николай снял с гвоздя над окном грифельную доску в узкой рамке, висевшую на бечевочной петельке, отыскал обломок грифеля.

— ...Пиши заглавными, крупно... Эти буквы надо крупно писать... Рцы, Слово, Добро, еще Рцы, Покой. Написал? Вот и все,— прочитай еще раз и запомни. Теперь сотри это все, чтобы следа не осталось. И не подумай написать эти буквы где-нибудь в тетради в своем там церковноприходском училище. Понял?

— Понял,— скромно ответил ему брат.— Только еще бы узнать, что эти буквы значат?

— Резонный вопрос. Старайся и дальше всегда узнать все до сути. Только вот оно, дело: знание — вещь опасная. Узнаешь одно, потребуется знать и дальше, что идет за первым. А там стоит еще третье, четвертое, и конца тому не будет. Можно тебе коротко ответить: буквы эти значат Российская социал-демократическая рабочая партия. Но ведь тут же тебе потребуется знать: а что такое партия? А это уже труднее объяснить. Ну, я скажу тебе, как сам прочитал в одном словаре: партия — это сообщество, союз людей, принявших на себя определенный устав. Но, во-первых, мне это объяснение самому не нравится, а потом придется объяснять слово «союз». И пошло бы, и пошло...

Из-за черноты стен, из-за низких окон сумерки в избе дяди Васи наступали получасом раньше, чем в других избах поселка. Иван все еще лежал навзничь на полатях, затылком на сцепленных кистях рук, и лицо его в бледном свете, падавшем за окна с мокрой, осклизшей рамой, выглядело напряженным и печальным. Поставив локоть на стол, не отрываясь, смотрел на него Кольша-Николай, с усилием понять, заметным по всему его лицу, даже по резче обозначившемуся рисунку верхней губы. Денька же из всего, что он тут услышал, не понял ничего, но бесчувственным к этому не остался, странно тревожно стало ему от надвигающихся сумерек, от выражения лиц братьев. Свое отношение к происходящему он мог бы выразить только одним доступным ему способом — захныкать, запроситься домой. Но он не сделал и этого, присмирел, вытянув голову, положив ее подбородком на кисло пахнущую столешницу.

На улице тем временем смеркалось. Кольша боком, чтобы ни на момент не терять брата с глаз, передвинулся по лавке, нащупал маленькую медную прозеленевшую лампочку, висевшую на косяке, засветил ее. Если бы кто-нибудь прошел мимо под окнами, увидел бы, что старший из трех сидит за столом с грифельной доской и еще две головы над столом, причем младшему из троих для участия в этой ассамблее пришлось встать коленями на табуретку. Но на улице, если кто и проходил, то лишь по дороге, посредине ее, а вдоль домишек не было натоптано даже пешеходной тропы, и свет из окошек, до половины утонувших в сугробе, бледно маячил, как из снежной норы,— снизу вверх.

Они засиделись в тот вечер до девятого часа, что, по их семейным и поселковым понятиям, считалось за поздным-поздно.

Старший увлеченно и долго говорил о будущем, в котором люди не будут знать нищеты, оставляющей нынче «меты» даже в... географии. Столько на Руси селений с постыдными прозваниями: Горелово, Неелово, Развалюхино. И разве не насмешка, что наш город, созданный на гранитных отрогах Урала горемычным трудом рабочего люда, носит почему-то имя вздорной императрицы.

— А в самом деле,— оживились младшие.— Угадать бы наперед, как город наш будет называться в этом будущем.

— Предлагайте,— с доброй насмешкой сказал Иван.— Придумывайте уже сейчас. Может, люди в будущем учтут...

— Я бы предложил: Гранитоград,— глядя в темень за окном, сказал Николай.

И, чтобы проверить слово не только на слух, но и в начертании, он крупно написал его на грифельной доске, прищурив глаз, полюбовался своей каллиграфией, медлительно спросив:

— Чем плохо: Гранитоград?

Прокаленная солнцем, пропыленная армия вступает в Верх-Палицу

Ну а это было когда — переполох и свара в семье, по причинам, уже Денису вовсе непонятным, каким-то политическим?

В каком году и месяце, разве вспомнишь? Денис запомнил только, что оно случилось опять летом или поздней осенью. Все такие передряги в его памяти как-то связывались с летней порой. Может быть, так оно и было. Может, зимой на время утихали страсти революционной борьбы, чтобы снова разгораться по весне.

В какой-то благодатный летний день брат Николай прибежал домой в неурочное время, в расстегнутой куртке, взбудораженный, как человек, решившийся на отчаянность. Он потребовал, чтобы мать побросала ему в небольшую ивовую корзинку пару белья, две сменные рубашки, какую-нибудь еду. Объяснил, что к городу подступают белочехи, комиссар банка приказал грузить ценности в вагоны, которые стоят уже на товарном дворе.

— Эвакуируемся...— дважды, со вкусом произнося незнакомое и тревожное слово, сообщил он.

И тут обнаружилось, что мать, самый неразговорчивый человек в семье, никогда и ни в чьи политические свары не ввязывающаяся, все-таки имеет на этот счет свое мнение.

— Раздевайся, садись, поешь,— спокойно сказала она, ногой задвинув под кровать корзинку, которую Николай вытащил оттуда и распахнул.— Пусть едут, кому надо. Ты никуда не поедешь. У тебя есть родители, и надо их сперва спросить. Это тебя твой Федор Иваныч сомустил...

О Федоре Ивановиче Сыромятникове, известном в городе члене большевистской «головки», Николай рассказывал дома много и уважительно, хотя комиссара новой власти по финансам он и видал-то всего два-три раза, и не близко.

Мать же, человек набожный, большевиков, напористо взламывающих прежний, привычный для нее образ жизни, молчаливо не жаловала. Федора Ивановича, ни разу его не видавши в глаза, особенно не взлюбила за одно то, что о нем рассказывал Николай. А теперь пришел случай ей выразить свое отношение ко всему «фармазонству», которое творилось последнее время.

Но и Николай, несмотря на свою младость, был упрям и дерзок ее же собственным упрямством.

В банке творилось черт-те что, как он сбивчиво рассказал отцу, торопливо собираясь в свою эвакуацию. Слитки золота, платины наспех упаковывают в обыкновенные гвоздарные ящики, металл в изделиях, не взвешивая, сволакивают в брезентовые мешки, пришлепывая какую-то случайную печать.

Ушел Николай со своей корзиной. И оказалось, надолго. А, жесткая характером, мать не вышла за ворота посмотреть ему вслед.

Все таким же оставался их двор и дом. Только тоскливее стало в нем, словно поселилось в доме предчувствие, что это — первое, за чем последует разброд семьи, и дети с годами один за другим будут отрываться от нее.

И вечер пришел тревожным, серым при безоблачном небе. Висела в воздухе серая пыль-марь. Денис заснул на сеновале, на широкой кошме, брошенной поверх прошлогоднего хрусткого сена. Спали они там обычно вдвоем со старшим братом под одним одеялом. Теперь он лег один.

И только заснул, его начали подбрасывать на кошме какие-то короткие громовые удары. Но первый детский сон бывает таким, что его не может нарушить и пушечная канонада.

С той городской окраины, что смотрит в таинственную Сибирь, били пушки вплотную подступившей к городу армии белочехов. Отец в этот час долго сидел на дворе, на деревянном, торчмя поставленном обрубке, с в крошево изрубленным торцом. Слушал шепелявый говорок снарядов, летящих через город в сторону станции Пас-

сажирская, ее северного парка, где днем грузился банковский эшелон. Беспокойно думал: ушел ли уже эшелон, где сейчас сын, какие бедствия ему предстоят.

Утром он прослышал, что на юго-восточной станции города оказались разбитыми много вагонов с зерном, и оно грудами лежит на путях, понемногу сгорая в пламени пожарищ, отдельными очагами охвативших станцию.

Собрав пустые мешки, подхватив за оглобельки ручную двухколесную тележку, кликнув на помощь Дениску, отец пошел туда попытать удачи. По его понятию, никогда не следовало упускать того, что можно задаром приволочь в свое хозяйство.

За день отец с сыном сделали три ездки, верст за восемь в один конец, каждый раз привозя по три мешка отличной крупной сибирской пшенички, правда, пропахшей гарью, но вполне съедобной, если ее промыть, а потом снова высушить.

Семье предстояло жить, потихоньку плыть, куда понесет поток.

Для ребят Денискиного возраста самое удовольствие было по вечерам вертеться около взрослых мужиков, выходивших на чью-нибудь завалинку посудачить, куря и не глядя друг на друга. Странная это была манера у поселковых жителей: сидеть, словно каждый сам по себе, и разговаривать в час по слову. И все-таки в свободный закатный час эти люди сходились на чьей-нибудь скамейке возле ворот, при подчеркнутой своей самостоятельности испытывая как-никак потребность в общении.

А в то лето людям в поселке было о чем поговорить.

Конечно, все они знали, что существуют партии и группы и у каждой какая-то политика. И каждый про себя был уверен, что до политики ему лично дела нет. Но образ жизни заводских мужиков был таков, что стоять в стороне от политики можно было лишь в мыслях и на словах. А на деле от нее все равно не убережешься. Пока была новая непривычная власть — Советы, ее поругивали за то, что в «потребке» — в магазинах заводского потребительского общества — редко и скудно стало можно чего купить.

Как-то на митинге, состоявшемся на заводе, люди стали попрекать новую власть за плохую провиантировку, и оратор из городского Совета в запальчивости спросил:

— А вы, значит, белой булки захотели?

И Алексей Денисович дома несколько раз сердито и насмешливо повторял это, запомнившееся ему. И задним числом мысленно как бы возражал тому человеку: а ты поработай на нашей работе при такой еде. Если взялись править народишком, наведите порядок...

Но вот приключился новый переворот, пришла белая власть, и сразу стало видать, что уж она-то верх-палицкому люду вовсе не ко двору.

На завалинных посиделках рассказывали, что здешние тюрьмы забили фабричным народом, как не бывало и при царишке. Что время от времени по ночам под откосом Черной горы за кладбищем группами расстреливают большевиков. И совсем по-варнацки по ночам же увозят трупы на телегах, сбрасывая их в глубокие дудки заброшенных рудников в окрестностях.

На перекрестке Первой Ключиковской и Заводской улиц в белом двухэтажном доме с крепким глухим подвалом разместилось некое зловещее учреждение со странным названием: контрразведка. Сказывали, что старшим в контрразведке служит какой-то поручик Манохин, которого из окраинных жителей мало кто видал в глаза, но мало кто не слыхал о нем.

Будто допросы арестованных он ведет всегда сам и по-своему. Будто особенно любит самочинно допрашивать женщин, выработав при этом свою галантную манеру допросов: нанося удары арапником по сокровенным местам.

В один из вечеров, стоя на средней слеге забора со стороны двора, перегнувшись через забор, Денис с любопытством слушал разговор старших о поручике Манохине. Алексей Денисович никого в отдельности, а как бы всех заодно, сидящих с ним, сердито спросил:

— Да что он за святой дух, Манохин ваш? Он что, по ночам никогда на улицу не выходит?

— Выходит или не выходит...— возразил ему сосед через два дома Ермолай Верстов, работающий с отцом в дворово-плотинном цехе завода.— Поди тронь его. Он, небось, без револьвера на поясу и в сортир не ходит.

— Да что, у нас на заводе дерзкие ребята совсем перевелись? — все так же удивленно и сердито спрашивал отец.— Если ловко суметь, так он хоть весь револьверами обвешивайся...

— Вот ты и сумей,— сказали ему.

— У меня уже годы не те,— возразил отец.— И у меня семья.

— А у кого не семья?

Дня через три после этого разговора Денис шел в библиотеку по Заводской улице, заткнув за поясной ремешок две растрепанные книжки.

Даже детскому уму при взгляде на белый дом контрразведки приходило на ум, что под ним есть еще крепкий подвал. И кто знает, что делается в том подвале.

Дом имел два входа-выхода: крыльцо на улицу с первого этажа и лестницу с точеными перилами вдоль боковой стенки, спускающуюся в сад.

Как раз когда Денис шел вдоль кованой решетки сада, на тесной и шаткой площадке лестницы, висевшей над кустами бузины, начиналась какая-то возня, топот сапог. А дальше было нечто непостижимое уму, в сравнении с чем меркло все прочитанное в книгах страшное и диковинное о человеческих злодеяниях. Первым по лестнице, боком, а порой и совсем пятясь, нащупывая ступеньки щегольским сапожком, спускался щуплый офицер в нетопырьих галифе с плетеным, гибким, как лозина, хлыстом. Вторым, подталкиваемый сзади двумя солдатами, шел человек в пиджаке со связанными назади руками. Офицер, через каждые две ступеньки приостанавливаясь, крестообразно — то с правого, то с левого плеча — бил того рабочего человека хлыстом по лицу, на котором все прибавлялось следов с проступающей сквозь кожу кровью.

Группа, спустившись с лестницы, прошла в глубину сада. Возле решетки на улице, кроме Дениса, задержалась еще какая-то старуха и двое мужчин. С запозданием, когда уже не на что было смотреть, старуха, первой выйдя из оцепенения, толкнула Дениса в плечо, сказала: иди, куда шел. Нечего тебе на это глазеть. И тот сорвался на скорый бег, забыв, что шел в библиотеку. Одурев от жути всего увиденного, какими-то дальними переулками он вернулся домой. Не смысля, зачем это делает, спрятал свои книжки во дворе между поленницами, с полчаса мыкался по двору, не смея идти в избу.

Два мужика идут в лес.

Что из того, что одному из них только десять лет, а

другому — шестой десяток. Некое обоюдно-уважительное отношение одного к другому как бы уравнивает их. Старший думает: вот и Денька мой подрастает, крепышом растет. И не заметишь, как войдет в стать и, чего доброго, еще меня перерастет. Потому что молодое растет в небо, а старое в землю.

Только одно несходство есть между ними в этот час, когда они идут сначала по добела прокаленной июльским солнцем дороге вдоль поселковых выгонов, потом через Большие грязи, где черная маслянистая торфяная замазка теперь превратилась в прочную корку и пройти можно не обязательно по жердяной стлани, а и в любом другом месте. Идешь по этой корке и ногами чувствуешь журчание подпочвенных родниковых вод. Несходство это в том, что Дениску словно сами ноги несут. Ему идти, как стрижу лететь, не надо делать для ходьбы никакого усилия и даже перескочить, перекинуться через небольшой куст на тропе — ничего не стоит.

У старшего же ноги уже не идут сами собой. Идти для него не тяжкий пока, но все же труд. Он идет, с удивлением и недовольством чувствуя, что устал. Это для него ново и невесело: всегда он был неутомимым и в работе и в ходьбе.

Это не та усталость, при которой надо только хорошо выспаться да в воскресенье выдуть сороковку водки, а после того еще раз выспаться, и ты опять хорош, и усталости как не бывало. Эта усталость подступает понемногу, вкрадчиво, незаметно, но зато от нее уже нет избыва.

Он начинал уставать от того, что, пожалуй, уже лет пять,— считай с начала войны,— стало все труднее тащить тележку жизни с такой семьей, все больнее врезывается в плечо ее лямка. А тут еще остановили завод, уже четыре дня как встали даже горячие цехи, потому что к городу подступают красные.

Красные, белые... Сколько еще это будет продолжаться — смена в городе властей, окрашенных в эти цвета, кому какой любезен? Может, есть люди, которым нетрудно и полгода переждать, просидеть, запершись в своем дворе. Но в Верх-Палице таких немного, все они наперечет. А таким, как семья Харитановых, даже две недели окажутся невтерпеж, если старший в доме потерял работу и заработок.

В доброе, спокойное время Алексей Денисович, кроме

работы на заводе, прирабатывал еще тем, что дома мастерил людям оконные рамы, дверные полотна, нарядные наличники с резьбой — кому какую потребно чистую столярно-плотничную надобность. Но в такое время кому придет в голову строить заново жилье или приводить в порядок старое, ветшающее? Потому и в лес с Дениской он поплелся, что дома нечем было занять руки.

Вообще-то, плохо ли сходить в лес, проветриться, хоть бы и ни за чем. Но если только на душе спокойно. А сейчас этого покоя нет. И он идет, думая: младшему его сынишке — Веньке — еще пошел только пятый годок, а второму — Дениске, который то идет впереди степенно, по-мужиковски, то сбивается на припрыжку, весной исполнилось десять. А самому Алексею Денисовичу перевалило за пятьдесят. Значит, еще лет пятнадцать, пока эти двое его ребят будут в силе сами о себе позаботиться, он не имеет права уставать.

Два раза в году бывает в природе такая пора, когда ее растительный мир достигает как бы своей верхней точки, через которую надо перевалить. Это — середина зимы — дни покоя перед весенним пробуждением, еще невидимым человеческому глазу. И середина июля. На перевале лета тоже все уже остановилось в росте. От малой былинки до могучей сосновой конды; все налилось соками в свою меру, все завязалось в плоды и семена. И начало созревания этих плодов и семян всегда сказывается началом увядания стеблей, листвы, ослаблением сокодвижения.

Для отца это было необыкновенно и непривычно: пойти в лес на целых полдня без всякой определенной надобности. Обыкновенно он ходил в лес обязательно за чем-нибудь: за ильмовыми заготовками для топорищ, за косоствольной березинкой на гнутые оглобельки к ручной тележке. Старательский золотопромывочный ковшик, правда, он давно перестал таскать с собой в лес. Но специально за ягодами и грибами никогда не ходил, считая это не мужским, а ребячьим занятием.

Прямиком, мочажинами, где люди не ходят, через заросли ольховника, где даже в такой сухой и знойный день было сыро, как в погребушке, они вышли к Сухой реке. Так называлось место на Московском тракте, где давно не было никакой речки даже в виде пересохшего русла, а журчал поодаль от гранитного верстового столба

лишь родничок с копанкой, всегда доверху заполненный студеной чистой и даже как бы спиртиком припахивающей водицей. И почему-то, сколько Денис помнил себя в детстве, на краю копанки, в которую вместо сруба была врыта бочка без днища, всегда висел берестяной ковшик. Это был добрый обычай каждого лесовика: напился сам, пусть будет и неизвестному путнику после тебя из чего напиться.

По левую сторону тракта за Сухой речкой пошел чистый сосняк-мачтовик. Денис, сробевший от его величавой устремленности ввысь, от ровного гуда в его вершинах, плелся теперь позади отца. Самый дневной свет в этом лесу был иным, чем в любом другом месте. Тот, кто когда-то сказал о свете над землей: «белый свет», допустил такую приближенность выражения, возможно, потому, что не бывал в полуденный час в июле в таком бору. Свет здесь был неповторимо-особенным — оранжевым, как бы сгущенным, не терявшим при этом своей чистоты и самоцветной прозрачности.

Верстах в трех от Сухой речки кривые тропы вывели их опять на тракт, потом на правую его сторону. Здесь лес был уже помельче; сосняки перемежались с лиственными колками. И свет над ними стоял другой, без той оранжевой хмурости. Денис знал, что до самой речки Каменки пойдут старые вырубы, чередуясь с полосами нетронутого леса шириной в чертову полуверсту. Эти полосы старых лесосек давно заросли буйным малинником.

Но малине была еще не пора, и эти двое — старый и малый — очень удивились, когда в одном месте набрели на пригорок с почти вполне поспевшей ягодой. Не то почва тут была какой-то особенной, не то солнечный сугрев выгоднее, чем на других вырубах.

Алексей Денисович из большого пласта бересты сделал кузовок-коробушку, и они вдвоем скоренько накидали ее, чтобы было чем,— первенькой малиной,— дома удивить и полакомить своих домашних.

Жутковато было и здесь, в малиннике. Тот же бодрящий и какой-то особенный, лесной страх, заставлявший держать ухо востро, как недавно в бору, овладел Денисом. Только здесь он был понятнее: отец сам рассказывал, что летом медведи пасутся главным образом в малинниках. А вдруг медведь...

И только Денис успел это подумать, поблизости где-то послышались треск и смелый шорох. Кто-то проламывался к ним сквозь кипрейно-малиновую чащобу.

Разве не удивительно, что даже треск шагов приближающегося чужого человека может быть разным. Этот шел как человек, которому часто приходится ходить осторожно, по-разведчицки, но уже и прискучило осторожничать, умерять шаг. Денис видел, что и отец тоже насторожился, понял, что идет кто-то не свой брат, не заводской лесовик. Но оба они не бросили своего занятия: объедать малиновый куст и хлопать себя по шеям, давя комаров. А комаров в такой безветренный день бывает невпроворот, и они все летели и летели на запах разгоряченных человеческих тел.

Денис сидел возле куста на корточках, и первое, что увидел, был армейский поясной ремень подошедшего с двухгнездовым патронным подсумком.

Отца подошедший человек увидел первым. Отстранив стволом винтовки ветки малинника, заглянул через куст, убедился, что второй из незнакомцев только мальчишка.

— Здорово, лесовики,— хрипло, устало сказал подошедший.

— Почтеньице,— с прищуром ответил Алексей Денисович.

Военный человек, не отводя от старшего глаз, наугад сосмыкнул с куста несколько ягодок, бросил их в рот. Небритая челюсть, когда прожевывал ягоды, двигалась у него медлительно, тяжело, как у очень отощавшего.

Отец, конечно, разглядел, понял подошедшего сразу. И даже Денис догадался, что этот человек — армия. Но только армия, в его понятии, связывалась пока с теми щеголеватыми, по-осиному затянутыми поверх шинелей ремнем прапорщиками в погонах, которых он видал на улицах. А на этом, кроме винтовки и подсумка на поясе, не было ничего армейского. Гимнастерка... Но гимнастерки в ту пору носили и многие в поселке. Правда, эта была выгоревшая на солнце, пропыленная и отвердевшая от пота. Вольный человек такую хотя бы постирал давно.

— Кто такие? — строго спросил военный человек.

— Али не видишь? Сборщики лесной малины,— по-лесному, где приветливость считается за лишнее, ответил отец.— Сам-то кто будешь?

Но военный человек проламывался к ним сквозь чащобу не за тем, чтобы отвечать, а чтобы спрашивать. И, повысив голос, он снова вопросил:

— Откудова вы, спрашиваю?

— Помягче надо спрашивать. В лесу находишься. А то ведь...

— Что — «то ведь»?

Денис с беспокойным любопытством наблюдал, как двое старших задираются, как поселковые мальчишки. И он уже достаточно знал, что скорая уступчивость в споре — не мужское качество. Но у пришлого было ружье в руках...

— Ладно... Верх-палицкие мы,— несколько миролюбивее сказал отец.— Сам-то дальний?

— Не ближний,— тоже помягче сообщил пришлый.— Пензяк, если слыхал. До Верх-Палицы сколько здесь ходу?

— Как пойдешь: верст восемь тому, кто дороги знает. А тебя в Верх-Палице кто-то ждет?

— Нас, мужик, рабочий народ везде ждет.

— Вот и видать сокола,— опять понемногу сердясь, сказал отец.— Какой я тебе мужик? И с тобой меряться не стану, кто какой рабочий человек. И ты мне здесь не начальство, мужиком меня называть.

— Здесь нам обоим начальство — вот...— пристукнул пальцами пришелец по цевью винтовки.

— Это твое начальство — тьфу! — не согласился отец, повернувшись тылом, чтобы показать легонький топоришко за поясом, без которого никогда не ходил в лес.— А оружие и у меня есть.

И тут, отдать справедливость, пришлый человек все же усмотрел смешное в их пререканиях.

— Но винтовка все же поважнее топора,— усмехнулся он сухим, запавшим ртом.— Армия чья-нибудь у вас стоит?

— Есть какая-то.

— А какая? У солдат погоны на плечах?

— А ты прямо спрашивай. Мы между белыми и красными разницу знаем.

Но тут с тропы, идущей о край вырубки, красноармейца-разведчика резко условно освистнули. И тот заспешил, на прощание все же уколов старшего Хаританова не полюбившимся ему словом:

— Пока, мужик. Может, в Верх-Палице увидимся.

После встречи в малиннике с разведчиком-красноармейцем Алексей Денисович заспешил домой, попер прямиком, где люди не ходили, через звонкую от комарья заболоченную низину, через зыбкие кочкарники и заросли тальника-водолюбца. Шел, забыв привычку выбирать на ходу в лесу покойные травянистые тропы и тем сберегать силу да и обувь от лишнего износа. Денис едва успевал за ним и домой дотянулся весь взмокший, со вспухшими от комариных укусов шеей и ушами.

Уже неделю стояла июльская сушь, и армия словно занесла в поселок всю пыль пройденных дорог. Необъятное облако пыли вошло в поселок с нею, притемнив радужный блеск закатного солнца над холмами лесистой страны света. Сначала трактом в город прошла кавалерия.

Ребята из поселка бегали смотреть, как проходила конница на словно бы одномастных под слоем пыли лошадях, и даже детскому глазу было видно, что все усилия всадников идут главным образом на то, чтобы держаться в седлах.

Но вот пошла пехота. Одна пешая колонна свернула с тракта на верх-палицкую окраину, и босоногая ребячья орава, опережая ее, метнулась домой, чтобы оповестить об этом своих.

Колонна вошла и разместилась на Ключиковских улицах вместе с обозами, пришедшими часом позднее. Один из полков удалой дивизии, о которой жители были уже наслышаны, определился на стоянку как раз в улице, где жили Харитановы. И, действуя по привычке и правилу всех армий: жить на бивуаках хоть тесно, зато дружно, сплоченно, красноармейцы плотно заставили часть улицы повозками вдоль заборов и сами набились по десятку, по полтора в каждый двор. Благо обмануть короткую летнюю ночь, то бишь переспать три-четыре часа, в эту пору можно было где упадешь — в палисадниках, на межах в огороде, под стрехами завозен и дровяных навесов.

Оглобли повозок красноармейцы подтянули по-крестьянски, попарно, торчмя вверх, лошадей ввели во дворы. В тесном и всегда чистеньком дворе Харитановых стало можно только пробегать по узкому проходу между лошадиных крупов от калитки до крыльца и от крыльца

в огородные воротца к необходимой каждому человечине — штатскому и военному — тесовой будочке.

Странную тревожную праздничность улице придало вдруг то, что над всеми трубами каждой избы поднялись дымы, хотя время для топки печей в обычном бытье считалось бы самым неурочным. Это красноармейцы получили пайковый провиант и, не желая пользоваться едой опостылевших полевых кухонь, заказали хозяйкам сготовить что-нибудь по-женски, по-домашнему, а за ночь испечь хлеба, сколько удастся по мощности печей. Может, правда, что для солдата великий праздник, когда вместо сухарного пайка в кои-то веки удастся получить свежий, теплый хлебец. Может, один только благодатный дух домашнего печева, затопивший в тот вечер всю улицу, для этих истомленных, охрипших ребят, почти всех с окровеневшими белками глаз, показался отраднее великих благ, обещаемых им в будущем.

Денису, даже по детскому уму, было понятно, что бойцы этой армии проделали многодневный тяжелый поход, и не без боев. Он думал, что до такой степени изнуренные люди должны бы первым делом дружно завалиться спать, и тогда бы им, уличной ребятне, было бы самое удовольствие потрогать руками оружие, там и тут по дворам поставленное в углах. Пошарить бы в повозках, надеясь стянуть, хотя бы по паре на брата, винтовочные патроны.

Но тут он узнал,— и таким встрепенувшим его всего оказалось это наблюдение,— что для военного человека, и, может, для хорошего охотника тоже, существует железное правило: придя в казарму или к месту привала, сначала почисти оружие, а тогда уж подумай о себе.

И действительно, красноармейцы в их дворе и везде в улице, сколько он успел обежать, сначала занялись своим военным делом: чистили оружие, считали, укладывали ладом в повозках свою боевую снасть, поругивались по поводу назначений в дневальство. Боец, из немолодых уже, рябой, как терка, и длиннорукий, сволок с повозки станковый пулемет, перекатил его в тень большого куста черемухи, принялся разбирать и чистить. Ребятишки тесно обступили пулеметчика, сопя и поталкиваясь. Их зачаровывало, как он привычно и ловко управлялся с делом. И жалели только об одном: что пулеметный туалет закончился слишком быстро. Рябец-боец в несколько минут

снял с корпуса пулемета дорожную пыль, не забыв почистить ни колеса, ни щиток другой, особенной и пахучей тряпкой, нанес свежую смазку. И вот уже все замысловатые железки, части пулемета, разложенные на каком-то грязном полотенчике, словно сами собой встали каждая на свое место.

После этого боец встал на затекшие ноги, повернулся к ребятам и, ухмыльнувшись, неожиданно схватил Дениску за нос, небольно потаскал и аккуратно вытер ставшие влажными пальцы об его же рубаху. И Денис почувствовал, что любой из его сверстников — наблюдателей операции немного завидует, что в дело пошел не его нос.

В избе между тем мать накрывала на стол. И делала это в боренье двух разных и противоречивых чувств.

Из всех красноармейцев, поступивших к ней на пансион, мать с женской простонародной зоркостью отметила себе того рябого, что чистил под черемухой пулемет. Прикинув, что среди своих ребят он должен быть небольшой командир-начальник, остановив его в сенях, спросила: сколько их сядет за стол? Может, накрыть на воле, в садике?

— На воле дык на воле,— равнодушно согласился отделенный.— Только лучше бы в комнате. Воли этой мы уже навидались. Который месяц ребята едят все с пенька да с колена из котелков. Ну, ты сама понимаешь, мать.

Она вернулась в кухню, выглянула в окно. Для двенадцати человек за столом в садике было бы даже просторнее. Но там все еще висят взмученные прохождением войска пыль и духота. И столы придется поставить чуть ли не под самыми мордами лошадей, привязанных к низкому заборчику. И она, уже не раздумывая, приставила в горнице один к другому два стола, как для гостей, набросила на них свою праздничную длинную полотняную «девичью» скатерть.

«Сама понимаешь...» Ей ли не понять, что солдатчина, в какой армии ни доведись служить,— дело суровое. И пригреть этих ребят человеческим участием — не столько для них, сколько для себя, для души,— хорошо. Все так. Но ведь эти люди несут новую власть, которой она не доверяла, считая, что добра людям эта власть еще когда-то даст или нет, а беспорядка и разору от этой

смены властей люди уже нагляделись. К тому же безбожники они, все начисто.

С этой расщепленностью мыслей и чувствований она хлопотала на кухне, стараясь все сделать как лучше, и сама кипела вся — злилась, что старается, как для родных, как для редких и дальних гостей.

Стряпать, готовить она любила и умела. А из того, что тот же рябой отделенный выдал ей, трудно было сделать что-нибудь настоящее, аппетитное. И она добавила к бойцовскому пайку еще кое-что свое. В темном чулане ощупью, закрыв за собою дверь, чтобы кто не подглядел, отсчитала из дранчатой плетушки десяток яиц. Придумала ночью испечь хоть два противня, хоть по паре на человека пампушек на меду, которые ей всегда удавались. Смягчилась сердцем, когда вообразила, как завтра перед их уходом угостит ребят пампушками и чаем с топленым молоком.

Но вот ребята управились со всем, что должны были сделать по своему походному хозяйству, умылись возле колодца, сливая друг другу из котелков. Доспела и у ней в печи вся ее скороваренная снедь. Красноармейцы потянулись в горницу, принялись рассаживаться за стол, куда к дальним местам приходилось неловко пробираться боком.

Мать зорко следила за ними, ждала, что кто-нибудь, хоть один, поболтает рукой перед иконами, как делается перед едой в исконном русском бытье. Но никто из них не перекрестил лба. Тогда снова в ней раздражение пересилило умиление и доброту. К тому же один из этих парней влез за стол, как был, в фуражке.

За столом сидело двенадцать человек гостей, мать подавала на стол, отец, признав свою второстепенную роль во всем этом деле, только заглядывал в комнату из кухни. Денис, как ему полагалось себя вести «при людях», забился в узкий закуток между припечкой и кроватью, наблюдая оттуда, учась жить. Младший в семье, теперь уже пятилетний Веничек, был заброшен на кровать, и ему велено было прижухнуть там, не сметь слезать.

Но, наверное, даже Веничек понимал, что последовавшее за этим — дело безобразное, скандальное. Дело из тех, которые рождаются только, когда люди начинают думать, что сейчас не время для терпимости и добросердечия. Мать сердито сказала красноармейцу:

— Скинь хоть фуражечку, сокол. Не видишь: иконы?

Боец, чутко уловивший обидную интонацию в безобидном, казалось бы, слове «сокол», с веселым озлоблением зачем-то сказал:

— Иконы? А нам они — ничто. Мы сами иконописцы.

И мать, уже вовсе не владея собой, тоже «зачем-то» сказала:

— Кровопийцы вы, не иконописцы.

Может, вспомнила своего старшего Николеньку, которого такие же вот красные увели за собой, сбили с толку, и, знать бы хоть, жив ли он или тоже погиб в этой сутолоке смены властей.

Много ли нужно, чтобы все оказалось осквернено. Только и нужно: на минуту забыть, что терпимости и добросердечию всегда должен быть час и время. Боец, позеленев лицом, хрястнул кулаком по столу, полез прочь, грубо толкая своих, сдавленно говоря, что не станет есть из этих вражьих рук. «И вам не советую. Эта баба еще и потравит нас».

Отделенный еще пытался как-то поправить дело, приказав своему бойцу:

— Выйди, охладись... А ты, мать, подумай, что сказала.

И после застолья Денису было весь вечер страшно и неспокойно. На улице тот красноармеец все еще бушевал: «Разорить надо, извести всю такую семью».

Отделенный строго ему что-то выговаривал, а тот стоял на своем: он этого дела так не оставит, пойдет к комиссару.

Дома отец бранил мать: «Длинноязыкая... Наскребла на себя беду».

Тот, кого называли комиссаром, пришел, когда уже совсем стемнело.

По здешнему образу жизни это время считалось бы уже за глубокую ночь. Но какой она бывает в июле, ночь уральских широт? Только погасли на короткое время краски неба, и стало оно цвета солдатских шинелей. Да нанесло с недальних торфяных болот приятно-свежий после такого дня запах прели низинных трав. Комиссар, длинный, как очеп, и сутулый, пришел в шинели, застегнутой внакидку на один верхний крючок. Его встряхивала малярийная дрожь. Он долго разговаривал о чем-то с бойцами между повозок по ту сторону улицы. Потом

направился во двор Харитановых. Отец сидел на крыльце, не ожидая ничего доброго от встречи с ним.

Но комиссар, клацая зубами, спросил только: не отец ли хозяин дома Ивану Алексеевичу Хаританову? Рассказал, что Иван служит в их дивизии, но в другом полку, который прошел южнее, и потому он никак не мог навестить отца. А ему, комиссару, своему боевому товарищу, поручил побывать в отцовском доме...

— Военное дело...— пояснил комиссар.— Нельзя нам отрываться от противника. А то ведь уйдет.

Но этого Алексей Денисович никак не мог понять: чем плохо, если противник уйдет? Про застольную ссору в доме комиссар не упомянул. И Алексей Денисович позднее не раз пользовался этим обстоятельством, чтобы корить мать. Напоминал, что не вмешайся в ту распрю его старший сын, неизвестно бы, чем оно кончилось.

Ранним утром Денис, спавший с отцом в завозне, сквозь сон слышал говор во дворе и на улице, тот деловитый, приглушенный шум, с которым военный табор снимается снова в поход. Когда, проснувшись, он выбрался со своего лежбища на белый свет, в улице было снова тихо, мирно, пусто. Только во дворе еще держался крепкий конюшенный запах.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Детство кончилось

Этим летом Денису исполнилось четырнадцать лет, и отец сказал, что довольно уже ему гонять собак, пора браться за какое-нибудь дело.

Денис не стал спрашивать отца, к какому делу он посоветовал бы ему пристроиться. Понимал, что у родителя практических соображений на этот счет еще меньше, чем у него самого.

По старым порядкам отец знал бы, как надо поступить, когда сыну стукнуло четырнадцать. Тогда было все просто: стоило только задобрить кого-нибудь из цеховых мастеров на заводе, поставить ему несколько раз по сороковке водки. И сыну подыскалась бы какая-нибудь маль-

чишеская работа. А там уже только сам не будь плох.

Но шел уже четвертый год Советской власти. Она издала новые законы. И среди этих законов был такой, которым запрещалось принимать на работу в заводские цехи подростков в четырнадцать лет.

Разговор Дениса с отцом этим и ограничился: замечанием о гоньбе собак. Но думать об этом каждому порознь все равно приходилось. О чем думал отец — осталось никому не известным. Денис же, не придя ни к чему другому, стал думать о том, что у взрослых выражение «гонять собак» подразумевает, в общем-то, приятные дела: хождение на рыбалку, ночевки в лесу, осенью ловля птиц и кое-какие коммерческие операции с этим живым товаром на птичьем рынке. Он не прочь бы и дальше вести такой образ жизни, если бы удалось остановить время, не расти дальше и не взрослеть. Но что делать, если хочешь не хочешь, а все равно растется и взрослеется?

Как раз в это лето на заводе сократилось производство в горячих цехах. А сократить работы в плотницко-дворовом цеху, где не один десяток лет трудился Алексей Денисович, наверное, было еще легче. И несколько сотен душ заводских людей на время оказались в том положении, когда привычное дело выпало из рук и не знаешь, куда себя девать. И это не менее тяжко, чем забота о том, как прожить с семьей очередной период безработицы.

У Алексея Денисовича на такой случай имелся про запас свой способ перебиться: он уезжал в богатые зауральские села, подальше, верст за сотню от города, где всегда могла найтись работа по плотницкой части. На этот раз он взял с собой Дениса. Одно дело, что тот мог теперь отцу кое-чем помогать в работе, но было и другое: в деревнях отец брался за свою подрядную работу на хозяйских харчах...

Так и случилось, что Денис прожил часть того лета в деревне. Топора в руки отец ему пока не давал. Иногда сын все же выпрашивал позволения попробовать что-нибудь тесать. Присаживаясь в сторонку, отец зорко следил за сыном и уже после десятка ударов топором говорил: «Ну-ко брось, пока не изувечился». Топор в руках мальчишки жил как бы по своей воле,— порой глядел лезвием не туда, куда нужно.

Плату за работу отец выряживал не деньгами, а зер-

ном, мукой. Один-два раза в месяц они приезжали домой, везли в мешках то заработанное, что отец с усмешкой называл их жалованьем.

Иногда про это «жалованье», возимое в мешках, отец говорил, по-разному ставя ударение в слове:

— Не то это мука, не то му́ка наша.

Му́кой, то есть мученьем, тяжелыми мытарствами, была не сама работа в деревне, а эта езда по железной дороге в набитых битком вагонах-теплушках с двойными нарами, чьим-то попечением снаряжаемых в те годы для мешочников. Кто знает, какая часть народонаселения страны в те годы по великой людской нужде сопричислялась к презренной категории мешочников.

Читал Денис в ту пору по-прежнему много и без разбора. Даже уезжая с отцом в деревню, он тайком засовывал в свою котомку какую-нибудь книжку. И начала его томить странная душевная потуга — желание складывать слова в стихи. Вдруг как-то сами собой сложились в уме строчки:

Из окна вагона я увидел поле,
Песни зазвенели радостно в душе.
Вспомнил я о детстве, о крестьянской доле,
Жизнь среди природы, в ветхом шалаше.

Он записал стихи в тетрадку, и они от этого почему-то вдруг поблекли, перестали радовать. Стихи сложились у Дениса еще весной того года. Еще до того, как он в первый раз поехал с отцом на заработок. Поле, ниву — и в самом деле радующую и умиляющую своим смиренным раздольем — он увидел не из окна вагона, а в проеме широко откаченных дверей мешочнической теплушки. И эти слова: «Вспомнил... о крестьянской доле...» Почему так: такими лживыми оказываются приходящие на ум слова, когда пытаешься выразить что-то чистое и доброе, родившееся в душе?

А Харитановым в эти несытые и беспокойные годы жилось еще лучше, чем многим другим жителям Верх-Палицы. Мать по этому поводу говорила в утешение себе и своим семейным:

— Мы еще, благодаря бога...

Старший над Денисом — Николай, правда, нескоро после вступления в город Красной Армии — почти через год, но вернулся живым-здоровым домой.

Живым-здоровым... Рассказывали, что он намыкался в своей эвакуации, где-то на чужой стороне перенес сыпняк. И были у него, по-видимому, другие приключения, из которых он «едва выкарабкался». Нехитро, что теперь это был парень, словно разучившийся безыскусственно веселиться. Всегда серьезен, всегда практически рассудителен. Службу он нашел себе беспокойную и, как говорили, такую, на которой балбесничать нельзя. Он служил в продмаршруте — в поезде, который ходил куда-то в хлебные места и возвращался в свой город всего на несколько дней, только на сдачу и разгрузку добытого хлеба. А как там они добывали хлеб — этого Николай даже дома в подробностях не рассказывал.

За свою службу в продмаршрутах брат получал частью деньгами. «Но деньги — что? Деньги по нынешним временам — трын, бумага». Главное же, он получал также хлеб в зерне. И это сделало его в семье как бы равным в правах с отцом. Родители думали, кроме того, что у Николая в городе больше знакомств, чем у них.

Поэтому на семейном совете через несколько дней после того, как Денису исполнилось четырнадцать, где предстояло обдумать Денискину дальнейшую судьбу, первым лицом был не отец, а брат. Но и он сказал, что пока не знает, что тут можно придумать. Он сказал, что открываются теперь какие-то профтехшколы, куда берут таких свистунов, как Денис. Но тут надо еще кое-что разузнать. А пока не мешает Денису пойти завтра же на биржу труда... Не велика надежда, что там ему сразу так уж и повезет. Но все-таки надо что-то делать. Под лежачий камень...

Утром мать, снаряжая Дениса в его разведывательную экспедицию, была нетерпелива, резковата. Понимала, насколько неверно, сомнительно дело, с которым отпускала его из дому. Сердито одернула на нем курточку, выпростала воротничок его лучшей белой рубашки поверх воротника куртки. Денис пожимался, ожидая привычного материнского тычка. Но мать была немного суеверна, думала, что парню не повезет в деле, если она проводит его тычком.

Никакой свежей вины за собой Денис не знал и потому немного удивился ее раздражительности. Он еще не успел понять, что причины этого ее состояния духа в чем-то другом.

Выйдя за ворота, Денис первым делом спрятал воротничок рубашки снова под курточку. По его понятиям, носят воротничок так, как сделала мать, только благонравные мальчики. Из тех, которых матери приводят по утрам в школу за руку. А он таким никогда не был.

Венька, младший в роду Харитановых, пошел проводить Дениса. Квартала четыре шел позади и помалкивал с самым серьезным, как у взрослого, видом. Словно на войну провожал брата.

И всегда-то Вениамин, Венька, Веничек был мальчишкой серьезным, ровным не по годам, матушкин последыш. Не напрасно мать говорила, что он хоть и младше на пять лет, но у него бы Дениске поучиться.

— Не чета тебе, толстолобому.

Денис не умел и не желал рассудительно думать об увиденном. Но ребяческой наблюдательности ему было не занимать. Он видел, к примеру, что город, как человек, понемногу приходит в себя после всех военных потрясений и делает тяжкие усилия, чтобы прийти в себя поскорее.

Видимо, людям несколько лет было не до забот о благообразии и порядке на улицах, а только бы как-нибудь прожить самим. На бульваре Главного проспекта, делящем улицу на две проезжие полосы, во многих местах повалены, всохли в грязь пешеходных переходов звенья изгороди. На многих фасадах домов виднелись полосы копоти от печных дымоходов, когда-то выведенных прямо в окна, но жестяных труб из оконных фрамуг уже нигде не торчало.

Изредка неторопливой трусцой погромыхивали по мостовой извозчичьи пролетки с облупливающейся лакировкой крыльев и отвалов. И тоже было нетрудно увидеть, что долго, может быть, не одну зиму, они простояли безвыездно где-нибудь под навесом, под куриным нашестом.

Скромно посматривая направо-налево, входя в знакомство с городом, Денис прошел плотину городского пруда, по правой ее стороне, вдоль глухой кирпичной стены. Вернулся, проделал тот же путь вдоль сквера с чугунной решеткой. И город, как любопытствующему, показывал ему свои приметы. Тяжелая чугунная решетка, за которой сверкало высокое ясное чело пруда, заинтересовала его. И не узор ее, простой, геометрический,— череда катящихся, набегающих одно на другое колес,—

а способ изготовления. Решетка — литая целым звеном, в две с лишним сажени. Он постоял, потрогал руками ее нагревшиеся под солнцем сплетения, размышляя, как она отливалась. И,— недаром он был из числа дотошной заводской ребятни,— решил про себя, что, наверное, отливались решетки прямо в почву; рыли где-нибудь на заводе специальную канаву и формовали решетку прямо в ней.

Решетка доходила Денису до подбородка; для того чтобы опереться на нее, пришлось встать ногами на нижнюю ее тетиву. Насмотревшись в таком подвешенном положении на воду до того, что в глазах и при сомкнутых веках долго стояли световые пятна, он вышел из скверика через западный турникет.

Гипсовая скульптура-барельеф, окрашенная под бронзу, была установлена в нише кирпичной стены, против среднего створа плотины. И посвящение под ней: «Строителю города». Изможденный каталаз из самых отверженных, из самых горемычных был на ней изображен одетым в длинную посконную рубаху, в лаптях со сборками, намотанными высоко, до полусогнутых, свернутых в сторону колен, он нес на спине «козу» с кирпичом, повернув скорбное лицо в сторону идущих мимо горожан.

Биржу труда Денис нашел по вывеске, грубо и без лишнего усердия намалеванной на листе жести размером в чайный поднос. Он вошел в коридор, длинный и узкий, где было полутемно, как в погребе, и только серым пятном смутно виднелся пустой дверной проем в другую комнату. Пахло в коридоре удушливо, тяжко. Пахло человеческой бедой.

Вдоль обеих стен тесно стояли люди в рабочей одежде, оставив только узкий проход в ту, служебную комнату. Многие понуро сидели на корточках, подпирая спиной стену. Денис прошел к дверям, осторожно заглянул в ту комнату из-за косяка. И в эту минуту, заставив его вздрогнуть, из комнаты крикнули:

— Там, в коридоре... Бросайте же наконец курить!

Но в коридоре и не подумали бросить курить. Огоньки махорочных цигарок красновато виднелись там и тут, как в вечерних сумерках. И жужжание разговоров вполголоса не сбилось, не замедлилось от начальственного окрика.

Денис пригляделся, прислушался. Было нетрудно понять, что многие из этих людей ходят сюда давно и каждый день, надеясь, что когда-нибудь конторщики должны же выкрикнуть заявку на подходящую работу. Но заявки поступали нечасто, и обычно на два-три человека. А на такое оповещение в двери устремлялось из коридора всегда до десятка человек. Ясно, что эти люди не очень старались завязывать здесь знакомства и дружественные разговоры тут нечасто можно было услышать. Каждый тут был сам по себе.

В углу разговаривали двое безработных. Лица их были странно одинаковыми. Словно близнецы. Но это была лишь та похожесть лиц, которая порождается серостью жизни, нуждой. Только ростом один из двух был поприземистее. Он говорил:

— Был бы я один... Одна голова не бедна, а и бедна, так одна. А то ведь у меня их трое, вот таких.— И он рукой показал рост своих ребят: аршин от полу.— А работы нигде нет.

— Ну и шел бы в городское хозяйство,— зло посоветовал ему товарищ по бедствию.— Туда выкрикивают каждый день человек по десять.

— А что там, в городском хозяйстве? Землю рыть? Я же — слесарь-лекальщик. И заработаешь там три миллиона в получку, а купишь на них три шиша.

В последнее время и дома Денис слыхал, что в городе полным-полно безработных. Но там это звучало для него отвлеченно и к нему некасаемо. Здесь же он душой понял скорбь и боль этого, случайно услышанного: нет работы. Было ему только непостижимо, как же так: люди хотят не роскоши, не привилегий, а только работы, про которую часто говорят, что ей сам черт не рад. Приходилось слыхать, как взрослые говорили про свою работу не очень уважительно: «Работа дурака любит, а дурак работу хвалит».

Ну вот случилось, работы нигде нет, и оказалось, что у них нет ничего другого, что было бы нужнее, чем она. Может, за неуважение к ней какая-то таинственная сила и послала людям это бедствие — безработицу.

В комнату, разделенную барьером на два неравных куска, все входили и входили безработные. За барьером там сидело человек пять распорядителей судьбы человеческой. По эту сторону барьера толпились люди так тес-

но, что Денис все не отваживался зайти туда и пробиться к барьеру, чтобы спросить о своем деле, о регистрации. Он только заглядывал в дверь, и кто-то уже спросил его, какого черта он тут околачивается? Кто-то потянул его за куртку сзади так, что воротник подпер под горло. Он встряхнул плечами, сердито огрызнувшись: «Ну, ты...» И только тогда обернулся, увидев, что так, по-свойски, его держит за куртку Сашка Верстов, верх-палицкий парнишка, живущий через две улицы, в одном году одолевший с ним пятый параллельный класс.

Сашку Денис знал хорошо, но как бы и не знал. В школе они примелькались друг другу, дома, в улице, играли иногда в городки и в чижа. Было когда-то даже подрались по какому-то поводу. Но мало ли с кем он играл в чижа и ввязывался в драки, через самое короткое время уже забывая об этом. В четырнадцать лет все это считается не за дружбу, а лишь за деловое знакомство. Но тут он искренне обрадовался Сашке.

— Ты чего здесь? — негромко спросил тот. И Денис отозвался так, как требовал их уличный этикет: чтоб не получилось ни вежливо, ни сердечно: «А ты сам чего здесь?»

— Пойдем отсюда,— опять дернув Дениса за куртку, как опытный, как знающий весь безрадостный распорядок биржи труда, сказал Сашка.

— Да я регистрироваться пришел,— нерешительно сказал Денис, выйдя на ступеньки каменного крыльца.

Небрежно кивнув: «На черта она тебе, регистрация?» — Сашка пояснил, что сам он зарегистрировался уже две недели назад и приходит сюда почти каждый день, но пока понял только, что все это — пустые хлопоты. Безработных, взрослых, настоящих мастеровых сюда ходит, может, несколько сотен душ. И кому тут нужны еще они с Дениской?

Биржа смотрела фасадом на площадь с собором посреди нее. Окрашенный в грязно-серый колер с голубыми отводами, собор нагонял скуку. Может, снову он походил на пряничный дом, а сейчас, как все другие здания в городе, облупившись и поблекши, он казался сооруженным из глыб мраморного мыла. И почему-то подумалось, что при первом дожде он начнет оплывать, беззвучно рушиться на глазах.

Ребята, пройдя до соседнего дома, вальяжно уселись

на планчатой скамье с чугунными ножками в виде собачьих лап.

Дом, под стеной которого они сидели, был примечателен. Один из таких, что придают городу индивидуальность, отличный от других городов облик. От старших ребята слыхали рассказы, что дом когда-то принадлежал крупному золотопромышленнику, прославившемуся своим самодурством, жестокостью, беззакониями, что с террасы этого дома, огибающей полукружный угол его, с третьего этажа, бросилась однажды обиженная им женщина. Что в какие-то давние годы владелец дома просил у властей позволения покрыть чистым золотом все его орнаментальные завитушки и карнизы, но церковные власти предложили ему прежде наложить позолоту на фасад стоящего на площади собора. И тогда будто строптивый золотопромышленник не сделал ни того, ни другого, а пустил свои деньги по ветру каким-то третьим вздорным способом. Любили люди в их бедной Верх-Палице тешить свое воображение россказнями о неслыханном богатстве и преступных чудачествах здешних промышленных воротил.

Денис с любопытством, которое заставляет на все глазеть, приоткрыв рот, наблюдал город. Словно ему важно все охватить, все накрепко запомнить: и эти облупившиеся лепные финтифлюшки на фасадах зданий, и возню воробьиной стаи на унавоженной мостовой, чахлые, усыпанные тлей ветви акаций вдоль тротуара, и всплески световых бликов на поверхности пруда, омывающего покрытые зеленой слизью камни набережной. Предчувствие это, что ли, что с этим городом ему жить по-братски долгий век и не миновать увидеть его в расцвете, преображенным, в ином обличье.

Глазеть вокруг, все это запоминать и всему тихонько радоваться мешало только беспокойное соображение, что он не сделал того, за чем пришел сюда — зарегистрироваться на бирже. Дома обязательно скажут, что пошел по делу, а вместо того где-то прооколачивался.

Если бы абитуриентов еще и обуть

Легко было отцу говорить: пора пристраиваться к какому-нибудь делу. А где оно — дело, к которому их допустят? Город велик, и народищу в нем тысячи. И все они, эти люди, успели каждый по своему делу раньше, чем эти

двое верх-палицких ребят. Расхватали все занятия, так что каждый новый человек — лишний здесь и нежелательный. Никому не понять, как униженно и растерянно чувствует себя в большом городе подросток, не зная, в какую дверь толкнуться.

Два дня они шатались по городу в этом подавленном состоянии. Долго стояли возле рабочих, перестилавших булыжную мостовую. Денис даже отважился спросить — не возьмут ли их мостовщики в помощники. Но куда там. Никого лишнего мостовщикам не требовалось. Были бы они хоть взрослее и проворнее... Кое-где на центральных улицах они видели парнишек своего возраста, торгующих из ящичков, подвешенных тесемками на шею, штучными папиросами и конфетами. Но им и это занятие было недоступно, поскольку не располагали они необходимым для начала оборотным капиталом. Да и разве же это — дело?

На второй день своего блуждания по городу они, приуныв, сели на скамью возле здания Дома профсоюзов. И тут как раз из подъезда выкатился, как подстегнутый, странный человек. Это был парень в потертой, местами добела облупившейся кожанке с дикобразоватой волосней на непокрытой голове. Как ни торопился куда-то по своим делам, он приостановился, с полминуты смотрел на ребят, словно не видя их, как смотрят в воду пруда или в перспективу улицы. Вытащил из помятой пачки папиросу, причмокивая, закурил и вдруг резко, скрипуче спросил:

— Чо вы тут сидите?

И Денис с Сашкой начали дружно сползать со скамьи, полагая, что парень собирается их прогнать. Но тот прогонять их и не думал. Сам подсел рядом, искоса посматривая на ребят.

Нет, все-таки парень в кожанке был фигура странная. Даже по обличью... Лет ему можно было бы дать не больше двадцати. Но при таком молодом лице почему-то сухие скулы с двумя преждевременными морщинами. На то похоже, что живет человек торопливо, работу делает какую-то крутую, беспокойную. Кормится, наверное, скудно и не в час, недосыпает, живет не щадя себя. И сейчас, похоже на то, с кем-то поссорился либо накричался по телефону и вот выскочил на улицу, чтобы немного охлынуть.

— Чо вы тут сидите? Дело надо делать,— уже поровнее повторил парень.

— А где его взять, дело? — солидно возразил Сашка Верстов.— Безработные мы...

— Безработные?.. — иронически гмыкнул парень. — По-моему, вы еще не бывали работными.

Он спросил ребят,— и все как бы не всерьез, словно и не ожидая дельного ответа либо думая попутно о своих делах,— какого они роду-племени, то бишь кто у них родители, сколько одолели классов школы?

— Вижу, что не господского звания,— усмехнулся он, услыхав, что родители ребят — заводской народ.

Зачем-то спросил, умеют ли, любят ли ребята рисовать. И сразу после этого строго: а что такое комсомол?

Но то, с чего они начали знакомство, у него, должно быть, прочно держалось в уме. И под конец он вернулся к этому, убежденно сказав:

— А эти слова «безработные мы» надо забыть. Безработных у нас нет...— споткнувшись на слове, поправился: — Не будет у нас безработных!

Он не просидел с ребятами и пяти минут, но вдруг вскинулся, и по глазам было видать: мысленно выругался за такую, по его мнению, расточительную трату времени.

— Ну вот что, орлы боевые,— сказал после этого парень со вздыбленной шевелюрой.— Явитесь вы завтра в сорок третью комнату в этом доме, третий этаж. Спросите там Марианну Львовну. Скажете, что вас прислал Потехин...

Он, конечно, хоть и бегло, но проницательно прикинул себе, чего эти парнишки стоят и куда их можно приспособить в трудовой круговерти города. Но Денису с Сашкой еще долго оставалось непонятным — что им предстоит.

На другой день ребята посетили названную им Марианну Львовну в сорок третьей комнате. Ею оказалась женщина с истомленным лицом, в чистеньком, но очень поношенном и не по летней поре глухом платье. Только одно мешало ей походить на учительницу какой-нибудь начальной школы — папироса, дымящаяся в углу большого рта.

Таинственный Потехин не забыл предупредить ее о приходе ребят, и она торопливо написала какую-то

записку с адресом и сроком явки. Слишком занятая, озабоченная своими делами, она даже не надоумилась объяснить ребятам, что за работа их там ожидает. Либо просто думала, что Потехин им все уже сказал. А расспрашивать о подробностях ребята не осмелились. По дороге домой Денис с Сашкой немного поспорили о том, кому хранить заветную записку, хоть написанное там нетрудно было и просто запомнить. И еще две недели, до того дня, когда следовало им явиться по назначению, они томились неизвестностью. Зато конец нити, которая приведет их к какому-то постоянному делу, занятию, был теперь все же у них в руках.

Все-таки за эти две недели Сашка, который всегда был разбитнее, пронырливее своего приятеля, сумел разузнать, что эта, словно мелькнувшая в глазах у них Марианна Львовна направила их в какое-то училище, где будут обучать мастерству. Какому? А там увидим.

И в назначенный день они явились по указанному в драгоценной записке адресу. Приволоклись часа на полтора раньше времени. Боялись, что в училище успеют набрать сколько надо до штата и им, чего доброго, еще укажут от ворот поворот.

Ребята слыхали, что до «переворота» здесь было коммерческое собрание, иначе говоря — купеческий клуб. Но, и не зная этого, можно было увидеть, понять, что дом совсем недавно находился во владении людей именитых, богатых, привыкших к роскоши. Из просторной передней ребята совсем было повернули обратно — поискать какой-нибудь другой вход, попроще. Обуяла робость ступить на мрамор широкой лестницы с литой бронзовой решеткой перил и поручнями красного дерева. Переглядываясь и тем подбадривая один другого,— ну, погонят нас отсюда, уйдем,— они поднялись на второй этаж.

Потоптавшись в коридоре, позаглядывав в открытые двери, ребята увидели наконец живую душу. Старуха в фартуке и глухо повязанной косынке трудилась в одной из комнат — сметая с лепных карнизов пыль шваброй на длинной палке. Шестик швабры был таким, что годился бы завзятому голубятнику на махало, и это обстоятельство заставило ребят снова подивиться непривычной, невиданной высоте комнат. Под такие потолки им еще не приходилось вступать. Дома у них потолок — вот он, можно достать рукой.

Минуты две старуха занималась своим делом, словно не видела ребят в дверях, хотя не могла их не заметить. И только после того, приставив швабру, как казачью пику — нижним концом к ноге, ворчливо сказала:

— Ну, чего смотреть? Пришли по делу — идите в канцелярию. Там...

За поворотом они отыскали комнатку со свежей надписью на картонке: «Канцелярия». Приблизились к столу, где сидел старик с летучей, как ковыль, шевелюрой, нестройно сказали: «Здравствуйте». Старик движением каких-то лицевых мышц, похожим на гримасу, сбросил с носа старомодное пенсне, на приветствие ответил томно-ироническим «бонжур», обозвал их «золотой молодежью».

Крупное лицо его было все пропахано морщинами, только пахал на нем кто-то вкривь и вкось. Такие морщины бывают только у актеров и старых солдат. У первых, наверное, от долголетнего употребления грима, у вторых — от солнца, ветра и солдатского лиха.

Он протянул руку, принял из Сашкиной лапы бумажку. Две руки встретились на момент и разошлись — одна длиннопалая, чистая, с истончавшей от старости, как папиросная бумага, кожей, другая — молодая, крепкая, грязноватая, с заусенками на пальцах и отложениями чернозема под ногтями. Старик медленно развернул бумажку, недоуменно пожал плечами, спросил: что это? Ему надо документ. Метрики, с их позволения.

А ребятам дома не пришла на ум догадка прийти сюда с документами. И еще дали ли бы им в руки матери этот документ, где сказано, когда человек рожден и крещен. Случись потерять такую бумагу...

— Ну я вас все-таки запишу,— сказал старик, распахнув какую-то солидную конторскую книгу.

Если судить по книге, то список будущей школы должен был составлять несколько сотен таких обормотов, как Сашка и Денис. Но когда старенький делопроизводитель записывал в книгу всякие анкетные данные о них, Сашка запустил туда глазенапы и увидел, что раньше их там записано только пять имен.

По всей видимости, школа еще только составлялась, и Денис несмело спросил, что это будет за школа. Чему их будут в ней учить.

— О, это будет интересная школа, молодые люди,—

пояснил старик.— Чуть не лицей. Конечно, если все пойдет как задумано...

Но название школы: «профессионально-техническая художественно-промышленная» он произнес не вполне уверенно. Должно быть, и оно еще не было окончательным.

Ребятам можно было бы и уходить до завтра. Но времени было еще только немногим за полдень, а старику делопроизводителю еще часа четыре сидеть в пустом здании школы, которой еще нет. И он задержал ребят досужим разговором, заставив их присесть на стульях с багряной бархатной обивкой.

Но разговаривал с ними этот чудной старик так, словно говорил больше для себя, чем для них. Словно не надеялся, что два этих заводских невежи смогут его понять.

— Да, если все пойдет как задумано...— еще раз с сомнением сказал старик. И Сашка, подавшись вперед, словно хотел съерзнуть со стула, с законным любопытством круто спросил: — А как задумано?

— Тут, видите ли, молодой человек... Не знаю, сумеете ли вы понять...

— Не вовсе бестолковые,— хмуро сказал Сашка.

— Школа эта будет уже тем замечательна, что заведовать ею взялся Александр Иваныч Веленов.

Старик назвал имя Александра Ивановича Веленова в таком тоне, словно не могло такого быть, чтобы оно еще кому-то было неизвестно. А ребята слышали его все-таки впервые.

— Ведь это же такой человек...— с почтительным недоумением продолжал старик.— Один его близкий товарищ по подполью служит в Малом Совнаркоме, другой... сами знаете — кто.

Имя этого другого — видного военного — ребята слыхали, знали хорошо.

— А Александр Иваныч стар и... ну, отягощен болезнями. Не столько, впрочем, стар, сколько болен. Царская тюрьма, знаете ли, не преследовала такой цели — гарантировать людям долголетие.

Он поставил руку локтем на стол, близко глядя на врозь торчащие пальцы:

— Вам этого, конечно, еще не понять, но человеку бывает невесело, когда оставшиеся годы жизни приходится высчитывать по скрюченным пальцам одной левой

руки. Самое время думать о душе. Но, видно, для большевиков думать о душе равноподобно тому, чтобы думать о смене своей. Так я понимаю это. А вы?

Ребята переглянулись, а это значило: ну под силу ли нам ответить на такой вопрос? Сашка Верстов только набрал воздуху, раздув щеки, но громко фукнуть все же не решился, лишь потихоньку стравил пар.

Но делопроизводитель этого не заметил. Он стар и от старости явно немного не в себе. В нем, как в бражном лагуне, происходит уже не бурное, уже легонькое брожение. Откуда-то с самого дна поднимаются слова-пузырьки, лопаясь на поверхности. И ему не так уж важно — слушают ли его, понимают ли.

— Что скажешь, большевики — железные люди. У них от вековой народной религиозности только и осталось, что вера в молодость. Им до зла-горя надо верить, что после нас на свете будут жить люди лучше нас и они, дескать, не дадут воли злобе, несправедливости, короче говоря,— никакому злу. Гармонически развитый человек...— Он насмешливо хмыкнул, покосившись на ребят. И действительно, слова «гармонически развитый человек» не очень уместно прикладывались к этим двум верх-палицким оборванцам.

— Все мы под старость делаемся немного того... Вот и Александра Иваныча пленила идея поставить такой педагогический опыт. Собрать пятьдесят ребят, таких... хм, не испорченных цивилизацией, и сделать их человеками.

— Пятьдесят человек? — спросил Денис.— Почему ни больше и ни меньше?

— Да потому, юноша,— встрепенулся старик,— что ему удалось пока что добиться только пятидесяти пайков ученических и двенадцати — учительских. Кому другому и этого бы не получить. А Александру Иванычу кто же откажет? Вот и здание... не из последних в городе, тоже теперь ваше. Не совсем, правда. Здесь, наверху, будут три наши классные комнаты, учительская, канцелярия. А в остальных — клуб, общий на два профсоюза. Зато нижний этаж весь под ваши мастерские.

Напослед старик объявил, что им следует прийти назавтра в известный час и тогда с ними будет разговаривать уже сам таинственный и непостижимый Александр Иваныч, человек большой силы. Если человек сумел где-то отвоевать пятьдесят пайков, значит, он — большая

власть. Пятьдесят пайков — дело грандиозное, ребята это понимали. Если бы еще узнать, какому мастерству их будут обучать в этой школе.

На другой день Денис с Сашкой пришли в школу не первыми. У дверей топтались уже человек пять таких, как они, соискателей. Но двери парадного крыльца оказались закрытыми, и какой-то парень, похоже уже не первый раз, дергал за тяжелую бронзовую литую скобу, надеясь, что, может быть, это еще недоразумение, и дверь просто крепко прикипела к проему. Подождав еще некоторое время и затосковав, ребята начали стучать в дверь сразу в несколько кулаков.

После этого за толстым стеклом дверей появилось лицо той старухи, которая накануне орудовала в верхних комнатах длинной шваброй. Она глухо, как со дна старательской шахты-дудки, спросила: какого лешего они стучат? И все так же невнятно «бу-бу-бу» прокричала, чтобы они шли двором, с заднего крыльца.

Во дворе они не сразу нашли это, скрытое за кирпичным отлогим пилястром заднее крыльцо, оказавшись в пустых и мрачных коридорах и пролетах, где по запаху, по тусклому свету давно не мытых окон и закопченным сводчатым потолкам без труда угадывалась какая-то бывшая мастерская и небольшая фабрика. Не верилось, что в этом же здании, лишь этажом выше, сохранялась непривычная, буржуйская, по понятию этих ребят, роскошь и благоприличие.

Подростки пошатались по коридору, заглядывая в цеховые пролеты. Там стояли только какие-то верстаки и черные от характерно-фабричной маслянистой грязцы стеллажи. И никакой техники, кроме двух непонятного назначения станков, они в пролетах цехов не увидели. Хотя почти во всех пролетах виднелись бетонные фундаменты с торчащими из них крепежными болтами. А это бывает как-то тоскливо видеть: сиротливую пустоту разоренных, заброшенных цехов. И опять их тут никто не встретил, не объяснил — куда идти, за что приниматься.

Минут десять ребята стояли в коридоре, негромко переговариваясь, потом от скуки ожидания стали переплевываться. Ноги у Дениса легко вынимались из опорок, в которые он был обут, и он, стоя на одной ноге, стал елозить пыльной ступней по свежепобеленной стене, не

замечая, что оставляет на ней явственный след босой ноги. Парнишка, стоявший рядом, толкнул его плечом, второй раз, третий, с каждым разом все крепче. После третьего раза, найдя это достаточным поводом для драки, Денис выступил вперед, крючковато согнутой рукой зацепил задиру за шею, рванул его на себя, присел, ловко увертываясь от оплеухи. После того,— чисто верхпалицкая ухватка,— Денис снова рванул обидчика за шею, с тем, что тот, шатнувшись вперед, наткнулся на появившийся перед ним кулак.

И как раз, когда Денис с парнишкой вошли во вкус потасовки, а остальные обступили их кольцом в качестве наблюдателей, и вошел тот человек.

Он был в аккуратных легких сапогах, в серой суконной гимнастерке, по образцу тех лет удлиненной, почти до колен, сшитой колокольцем. Так начали одевать к тому времени старших командиров, от комбатов и выше. Этакая форма пришла на смену недавно отжившей гимнастерке с несколькими петлицами-перехватами во всю грудь шириной. Если суметь не обратить внимание на лицо вошедшего, то по осанке, по четкости движений и легкости на ходу его легко принять за молодого, энергичного военного человека, не старше лет тридцати. И ребята, из мальчишеского извечного интереса к предметам военной экипировки, первым делом заметили его фигуру, гимнастерку, сапоги, а только потом — лицо вошедшего. Лицом же он оказался страшен.

Человек этот был еще не так и стар, лет пятидесяти, но даже на ребяческий взгляд понятно, что эти пятьдесят прожиты не щадя себя. Лицо обезображено каким-то тяжелым давним ожогом: либо что-нибудь взорвалось когда-то слишком близко к нему, и только по случайности не пострадали на нем глаза — серые, живые, иронические. Одна бровь, во всяком случае, была рассечена и стала после этого расти круто вверх в виде кончика ласточкиного крыла.

Человек постоял минуту-другую, посмотрел на дерущихся ребят и, подняв руку, сказал:

— Стоп! Объявляется перерыв. Что это вы тут сочинили драку? Оставайтесь на своих местах. Разберемся: если причина стоящая, тогда, может, и продолжите.

Удивительно легко, добросердечно он умел держаться с ребятами. Войдя в их круг, обнял за плечи, безобидно

устранил с дороги одного, мимоходом поправил вихор на голове другому.

— Ах, вот так: он первый начал. А я бы просто отошел от него. Хотя, по справедливости говоря, будь мне четырнадцать лет... И все-таки драться не надо.

Одного за другим он спрашивал ребят о самых простых вещах: сколько лет, сколько классов успел закончить, кто родители, очень голодно им живется или можно стало перебиваться. Дважды горестно качнулся у него пушистый седой кок на голове («Эх, ребята, ребята»), когда ему ответили, что теперь стало лучше, поспевает картошка на огородах, недавно вовсе приходилось плохо.

Потом он сказал: «Ну, что же, пойдемте, товарищи, со мной», прошел в дверь, которою замыкалась темная перекладина коридорной крестовины. И «товарищи», странное дело, как самый порядочный народ, смирно, уступчиво в дверях, пошли за ним в комнату конторского вида и дальше, в другую, где стоял только длинный стол, покрытый кумачовым полотнищем.

Чудно: полтора десятка подростков с промышленных окраин сидели по обе стороны длинного стола почти так же, как сиживали не так давно, к примеру, члены правления Русско-Азиатского банка. И с ними кто-то собирался разговаривать, как со взрослыми, от них что-то потребовалось обществу, хотя до сих пор от них требовалось только одно: чтобы они как можно меньше вертелись на глазах у взрослых и умели обходиться как можно меньшим в жизни.

Не скажешь, чтобы они были совсем оборванцами: матери постарались одеть их возможно пригляднее, но бывает, что всякая попытка принарядить такого дикаря только подчеркивает его неуклюжесть и бедность семьи. Да и не у всех у них были матери. Особенно убога была обувь ребят, а двое-трое были и вовсе босы. Эти поспешнее других взгромоздились за стол, чтобы спрятать ноги.

— Ну-с, давайте знакомиться,— сказал их новый наставник.— Меня зовут Александр Иваныч.

Он на секунду приложил руки к щекам. Эту его привычку ребята сразу отметили себе, но только позже узнали ее причины: когда кровь приливала к лицу старика, обожженная кожа на нем начинала саднить, и он привык охлаждать ее всегда холодными ладонями.

Разговаривать сидя старик не умел. Он встал, прошелся за спинами ребят.

— Зачем мы вас здесь собрали? — размышляюще спросил он, словно был один в комнате. — Наверно, затем, что нам нужны ваши руки и ваши головы.

Он положил руку на голову ближайшего парнишки. Тот недоверчиво поежился. Голова у него была не подстрижена, ежевата, и хорошо еще, если в ней не было вшей.

Старик спросил дальше: знают ли ребята, кто у них теперь управляет в стране? Терпеливо подождал, пусть поднимет руку тот, кто сможет ответить.

Кто-то из ребят несмело сказал: Ленин управляет у нас страной. Другой ляпнул: товарищ Буденный у нас главнее всех. Кто-то назвал еще два-три популярных в те годы имени.

— Все это не точно, друзья,— терпеливо пояснил Александр Иваныч.— Во главе всего у нас партия. А что такое партия?

Память в юности бывает прямолинейна, как штык. Денис моментально вспомнил, что такой вопрос уже задавал однажды Иван в холодной, прокоптившейся избе дяди Васи и тоже сам отвечал на него.

— Партия — это люди. Люди же, к сожалению, с годами старятся, затем умирают. Этого никто еще не сумел избежать. А партия не должна стареть. Она не может себе этого позволить. Она всегда должна оставаться в полной силе. И ей приходится заботиться о смене своей...

Пусть юные друзья поймут, что никаких особых привилегий им не даст училище, в которое они поступают. Их приглашают только что пополнить собой ряды рабочего класса. А это им пришлось бы и не будь в семнадцатом году великой революции. Участи рабочего человека им и тогда бы не миновать. Но вся суть в том, что рабочий класс теперь не может оставаться таким, каков был.

— В восемнадцатом году,— помедлив и опять прикладывая ладони к щекам, продолжал старик,— во дворе завода Михельсона, когда Ленин выходил с рабочего собрания, одна эсеровская кликуша три раза выстрелила ему в спину. Когда его подняли, Ильич, теряя сознание, сказал только два слова: будьте организованны.

Интонации старик умел находить разящие. Сказанное

потрясло ребят так, словно они прочитали эти два слова, написанные огненными буквами на облаках. А это были подростки, не слишком совестливые, умевшие с насмешкой отозваться на всякую ложную патетику.

— Будьте справедливыми людьми и мужественными, потому что всякая трусость пятнит человеческую чистоту. Будьте бескорыстными, выжигайте в себе себялюбие и эгоизм. Будьте преданными человеческому труду.

Много такого еще мог бы сказать старик ребятам. Но он понимает, что это — уже притупившиеся слова. И тогда на память приходят только два бессмертных слова: «Будьте организованны». И их, оказывается, достаточно, чтобы его поняли.

— Это у вас с войны, что ли? — неожиданно спросил старика басовито, простуженно тот парнишка с упрямым ежиком волос на голове.

— Для меня война началась раньше, чем та, о которой вы говорите,— ответил Александр Иваныч.— Моя партия уже много лет назад объявила войну старому, и я в нее втянулся с молодых лет, почти с вашего возраста. У меня за плечами и тюрьмы, и ссылка...

Буднично, суховато он стал им рассказывать. В училище они будут пользоваться всеми теми правами, что и рабочие мастерских. Тот же паек; это еще не богато, но будет лучше с каждым годом. Получат обмундированьишко, экипированы они не слишком парадно. А самый большой капитал, который в них собираются вложить, это знания. Их рабочий день будет разделен пополам. Половина дня — учеба в классах; учиться они должны не щадя сил. Вторая половина дня будет проходить в мастерских. Учитесь мастерству; только тот у нас будет почитаем, кто умеет и любит трудиться. Испокон века жила мечта о том времени, когда подрастет поколение людей, в которых будет прекрасно все: их тело, душа, ум. Только теперь явилась возможность поставить первый опыт воспитания такого поколения. Гордитесь тем, что такими людьми, может быть, назначено стать хоть в малой мере вам. Знания — ваши крылья...

Он сообщил еще, что в училище будут классы художественно-декоративной росписи, гипсовой потолочной лепки, камнерезного мастерства. Поэтому ребятам придется приналечь на рисование. Не у всех одинаковые при этом окажутся способности. Пусть даже у кого-ни-

будь их совсем не окажется, но привычку исполнять любую работу тщательно, чисто, это-то может воспитать в себе каждый.

— Вот ножка стола...

Александр Иваныч забросил с одного угла стола кумачовое покрывало: будто и не хитрое дело оболванить ее на станке и не надо на это большого искусства. Потому что уже двести лет тому назад, когда носили еще ремешок на волосах, мастеровые люди обдумали и исчерпали секреты этого ремесла, и нового тут будто не выдумаешь. Но и в эту работу надо пробовать внести что-то свое. Это и называется творчеством.

Кстати, и краснодеревное ремесло им придется изучать, и токарное по дереву дело...

А теперь, для первого знакомства, они пройдут в мастерские. И когда ребята уже встали из-за стола и сгрудились у дверей, пришел тот парень, который встретился ребятам позавчера возле Дома Союзов.

— Вот кстати,— сказал Александр Иваныч.— Это наши абитуриенты, знакомься пока что. Если бы абитуриентов еще и обуть...

Скучные люди — родители

Отцы у Дениса и Сашки были совсем не схожими людьми.

Алексей Денисович — из тех, кого в поселке называли самостоятельными. Всю жизнь работал на одном месте — на своем заводе, не был ни картежником, ни пропойцей, ни при каких властях не попадал в судебные переплеты даже свидетелем. Хотя и небогатое, сумел слепить свое хозяйство, домишко семь на двенадцать аршин, и поддерживать его, оберегая от развала. А еще неизвестно, что труднее: однажды сколдобить такое хозяйство или потом, тридцать-сорок лет, поддерживать его.

Верстов-старший считался жителем с чудаковиной, с ветерком в голове. Всю жизнь работал где придется, куда приведут прихоть и нужда. Часто возвращался к двум излюбленным занятиям. Первым была добыча в карьере строительного камня-бута. В заброшенных каменоломнях отыскивал места, где камень-плитняк

оказывался поразбористее — сподручнее для дробления на не слишком крупные булыги. Выкладывал добытое в штабель, чтобы продать затем на месте тому, у кого есть надобность. Но в последние годы — нелегкие для жизни — очень поубавилось в поселке жителей, желающих строиться. Да и знали люди за этим каменоломником привычку плутовать при выкладке камня в штабель, набивать в его середку щебень, ни на что не годный каменный мусор. Однажды кому-то из своих покупателей он сумел вложить в штабель для полноты объема даже дохлую собаку, сумев получить деньги наперед. Вторым занятием, на которое он держал как бы монополию, было выкалывание весной из майн на пруду льда для погребов богатеньким мужикам. А это тоже работа не для каждого, кто вздумал бы взяться, хоть и инструмента для нее надо — только пешня да два багра на длинных шестах.

А те, кто постоянно переметывался с одной работы на другую, у старшего Хаританова почтением не пользовались. «Нигде тебе, хрипатая трында, не место — не гнездышко».

И сталкиваясь летом на завалинке для мирной, а чаще немирной беседы, они вели себя как мальчишки, которым вечно надо о чем-то спорить и друг другу что-то доказывать. Доказывали они, как понимал Денис, прислушиваясь к их разговорам, вовсе не свою правоту, а неправоту другого. Что бы ни сказал один, у другого сразу находилось на это насмешливое возражение.

Но говорили они больше всего о делах политических,— в том смысле, как они понимали политику,— а в этом вопросе им спорить было не о чем. Потому что, если свести к главному, то взгляд на это главное у них был совершенно одинаковым. Раза два-три, прислушавшись к их токованию, Денис с удивлением подумал: о чем они спорят? Оба ведь талдычат одно.

Этим главным в беседах стариков было их отношение к новой власти и вообще ко всем и всяческим властям. По их рассуждению выходило, что для блага народа лучше бы совсем никаких властей. О Советах они говорили так: власть — не сноха в доме из недальней деревни. Ее за три дня, за неделю не распознаешь. А нынешнему государственному порядку сравнялось всего каких-то три года с той поры, как Красная Армия дала под зад коленом, дай

ему бог здоровья, покойному Толчаку с его щеголями в офицерских шинельках. (Денис знал, что отец произносит это имя в таком виде вовсе не из-за серости своей. Когда надо, он говорил и «Колчак», но чаще вот так, презрительно искажая имя незадачливого урало-сибирского правителя.)

Возраст четырнадцать-пятнадцать лет всегда оказывался для ребят в поселке каким-то невыгодно переходным. Те поблажки, которыми пользуются они в детстве,— кусок послаще, работа полегче,— теперь для них кончаются, но и прав взрослости они еще не получают. Во всяком случае, права вмешиваться в разговоры старших за ними еще не признано и его приходится еще отстаивать, каждый раз рискуя услыхать: а ты молод еще кукарекать, когда старшие разговаривают. Несмотря на это, Денис однажды отважился вмешаться в такой разговор своего родителя с отцом Сашки Верстова о властях, сказав:

— Но ведь пишется, что теперь у нас рабоче-крестьянская власть.

На него не прицыкнули на этот раз, не велели идти собакам сена задать, даже снизошли до того, чтобы возразить ему. Верстов-отец сказал:

— Пишется... Мало ли что пишется. Бумага терпит. Тот хитрец, который за конторский стол забился да кожаную сумку под мышку взял, какой уж он рабочий человек? Надо бы такой порядок: если ты попал ко власти близко, поименинничай возле нее год и снова на то место, где находился допрежь, снова бери в руки клещи или кувалду, топор. Вот тогда бы...

— Но вы оба,— сказал Денис,— когда очередь дойдет во властях ходить, только и умеете — крестики ставить.

Не понять, почему ему позволили на этот раз участвовать в разговоре, не прогнали, сказав, чтобы шел себе в чижа играть. Но Денис и сам тут же после сказанного почувствовал неловкость за то, что попрекнул стариков их неграмотностью. Разве они виноваты в этом?

Они в этом не виноваты, но и я не виноват, что мне вдруг, словно с горы в широкое разлужье, стало видать всю пустоту и серость их жизни и стало понятно, что это только от своего неумения стройно думать они взяли себе привычку все отрицать, все осмеивать. Отцов себе не выбирают, и я не стану их осуждать, но сам таким быть не хочу. Не хочу быть таким путаником, не хочу про-

жить весь век так, чтобы день да ночь, и сутки прочь. Как они: нигде не побывавши, не поездивши по свету, не прочитав ни одной из огромных ворохов хороших книг.

И еще Денис думает: скучные люди — старые черти, родители наши. Прожили жизнь, из которой и вспомнить-то нечего — яркого, немелкостного. Мы проживем иначе.

И школа обещала научить, как прожить иначе.

Учебный год, как заведено испокон веку во всех добрых и недобрых школах, должен был начаться первого сентября, а до этого, с замиранием сердца ожидаемого дня оставался еще почти месяц. Но педагогический штат школы Александр Иванович уже сумел сколотить, и с будущими своими учителями ребята успели познакомиться. Хотя пока учителя приходили в школу только в две недели раз получить свою зарплату.

Околачиваясь в коридорах школы, ребята видели, как их педагоги проходили в учительскую, она же канцелярия, но оставались там недолго.

Может, это школярам только казалось,— ребяческий ум как-то ухищряется все истолковать по-своему,— но у них сложилось впечатление, что их наставники покидают канцелярию куда поспешнее, чем входят туда, то бишь вылетают, как пули. И объяснение этому находилось только одно: люди торопятся в какое-то такое место, где можно сегодня же истратить все деньги, потому что задержи их в кармане на два-три дня, и тогда на всю свою получку сумеешь купить только несколько коробков спичек. Деньги в том году стремительно падали в своей цене день ото дня.

Никто пока еще формально не знакомил ребят с их учителями, но подростки бывают на удивление проницательными. Порой приходится лишь удивляться тому, откуда они все знают. И на этот раз они вскоре уже знали о своих учителях многое.

Было известно, что учительницей словесности, как по-гимназически, по-дореволюционному, назывался русский язык и литература, будет рослая, вся какая-то плоская Елизавета Семеновна, женщина за сорок, с истомленным серым лицом. В школе кроме преподавания своего предмета она будет и завучем. Ребятам сразу она показалась строгой, брюзгливой; у такой не будет ни любимчиков,

ни отверженных, «противных мальчишек». Впрочем, с началом регулярных уроков ребята скоро поняли, что с ней надо только суметь показать себя начитанным, любящим русскую поэзию и благородный, чистый, как родниковая вода, язык классической прозы, и тогда она вся твоя, куплена, стреножена.

Учителем латинского и греческого языков в школу был приглашен педагог из гимназических учителей Шнейдер, старик с мудрыми веселыми глазами и бритым яйцевидным черепом, на котором, как на старом фарфоре, всегда играли четкие световые блики. Не понять почему,— ребятам больше всего другого о нем хотелось узнать его национальность. Вначале они сочли его немцем или евреем. Позднее стали считать французом, потому что только человек, долго проживший в той стране, мог бы так интересно, с такими подробностями рассказывать о Франции, о Париже. И лишь на третьем году школы, с ухмылкой на то, что столько времени на этот счет затемнял ребячьи умы, старик пояснил свою родословную: коренной русич, сын архангельского помора, мастера плотника-лодочника, «как любезный тезка мой, Михайло Ломоносов». Ребята спросили: откуда же такая фамилия? Учитель простецки ответил:

— А кикимора меня знает. Темень человеческих судеб...

Странным человеком оказался и учитель по изобразительным искусствам — Сан Саныч Арнольдов, жалкий и как бы ото всего отвлеченный неудачами и лишениями человек. По лицу не поймешь, за кого его принять: неряшливые усы, смешная бородка испанского идальго. Не спускает с плеч заношенную, пахнущую подвалом шинель. Но как загорался, когда начинал говорить о своем предмете или брался исправлять рисунки с гипсов. Иногда выходил с ребятами за город на натуру. Изредка, открыв свою папку, садился с кем-нибудь рядом, набрасывал с той же точки тот же сюжет. И тогда делалось сердцу тесно от восхищения точностью его грязноватой руки и остротой художнического глаза. Но, может, тесно делалось также и от простой человеческой жалости, от боли за то, что на свете существовал такой порядок, при котором гибли таланты.

Свою учительницу химии ребята впервые увидали так: они стояли рядком в коридоре, возле стены, а она прошла

в учительскую. Прошла медленно, словно проплыла, и кого-то из них мимоходом задела рукой по волосам. Это было ее привычкой: проходя среди своих учеников, тронуть кого-нибудь по волосам, либо легонько дружелюбно ухватить и потрясти за мочку уха, либо одернуть на парнишке рубашку. Казалось, она не может иначе, как не может не коснуться тебя прошелестевший мимо легкий ветер. И эти, воспитанные совсем не ласковой верх-палицкой улицей подростки, презирающие всякую сердечность, почему-то стали стараться почаще попадаться ей навстречу, оказываться поближе, когда она проходит мимо. Было ей за тридцать — пора настоящего, полного цветения женственности. Все в ее облике было пригоже, плавно и обаятельно.

Она прошла и всего только тронула одного из них по волосам, словно смахнула гусеницу или летучее семечко сорняка-татарника, но какой-то заряд беспокойной, не видимой никому энергии прошел по всему ряду ребят.

Такая это была женщина, а ребятам было лишь от четырнадцати до семнадцати лет — самый намагниченный тягой к женственности возраст.

И только в эти дни они поняли, какую глубокую и неподдельную заботу о них сумел проявить их заведующий школой Александр Иванович, подобрав такой состав учителей. Заботу с подлинно большевистским взглядом вперед на долгие годы.

Потому и обучение «мертвым языкам» — латинскому и греческому — он внес в программу, несмотря на возражения и подшучивания над ним, из того рассуждения, что знание этих языков впоследствии здорово поможет этим парням в освоении всех других наук, какую кто выберет стезю.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

По каплям, по крупинкам составляется человек

Денис Хаританов должен был бы увидеть, понять, что делается в родительских сердцах и умах обоих — отца и матери. Делалось же в них то, что обычно содержится в стареющих людях, которым скоро уже не в силу будет

тянуть семью, оберегать хозяйство от всякой разной неуправки. Они пристально смотрят на своего подростка, думая: подрастает помощник и опора.

Но сыновья не в редкость обманывают надежды своих стариков, и делается это вовсе не по злоумыслию, а по тому лишь, что каждый попадает в свой поток жизни, а вникать в душевные тонкости других юноша бывает еще не обучен. У Харитановых старший сын — Кольша — после того, как кончилась его служба в продмаршруте, пошел в вагонные проводники, дома бывал мало, больше в дальних поездках, а вскоре к тому же женился и ушел жить в тещин дом. Из сыновей за большака в семье остался Денис, но его захватила школа. Он уходил теперь из дому рано утром, не позже семи часов, потому что не меньше часа отнимала дорога из поселка в город. Приходил же поздним предвечерьем.

Отец как раз в эти дни ушибся на работе.

Что-то они, заводские плотники, ладили крупное там у себя в одном из цехов. Надо было поднять на высоту двух саженей длинную, загодя окантованную балку-бимсу. Сам же Алексей Денисович и придумал сначала завести один конец балки на нужную высоту в проем стены, а за свободный конец схватиться талью-полиспастом. Работало их на этом деле трое, и кому-то двоим требовалось особыми шестами с рогульками удерживать уже поднятый конец балки, чтобы не сосмыкнул, не вышел из своего гнезда. А отец уселся на свободный конец бруса верхом и стал выбирать талевую цепь, понемногу поднимая и балку, и собственный вес. Денис узнал это все по насмешливому над самим собой рассказу отца. Но и он сообразил, какая это была рискованная выдумка, и, приставив палец к виску, сказал:

— А ты подумал сначала этим местом, как оно выйдет? Или каким другим?

Но Алексей Денисович отмахнулся от него вялой расхожей поговоркой, что и на старуху бывает поруха и что после времени каждый недоносок оказывается умником хоть куда.

У них там получилось так, что верхний конец балки все-таки сосмыкнул: вышел из гнезда, и отец вместе с нею рухнул вниз с полувысоты. За счет везения и сноровки он сумел не переломать костей, но что-то все же повредил. Зато получил месяц полного отдыха по боль-

ничному документу. Было это ему ново и непривычно — расточительный советский порядок: получать полный заработок, находясь такой благодатный летний месяц дома. Будь бы хоть большое увечье, а то ведь находился он еще в таком состоянии, что мог свободно, хоть и враскорячку, бродить по двору, делать понемногу всякую домашнюю работу. К тому же выпал ему на эти дни такой ловкий случай — сделать кому-то в поселке частный заказ, связать шесть новых оконных рам. И он сразу пришел в состояние добродушного успокоения: худа без добра не бывает. И даже пытался остроумничать в том духе, что Советская власть платит живые деньги за повреждение того, о чем и говорить без ухмылки не принято.

После этого случая с отцом, возвращаясь поздно домой, Денис только в один из первых вечеров спросил его, как похварывается, не стало ли хуже?

И Алексей Денисович ответил легкими словами.

— А-а, ничего. Человеку надо только кости беречь. Их паять фершала еще не научились, припою такого не нашли.

— Ну тогда оздоровеешь,— равнодушно сказал Денис. Потому что юность умеет беречь душевные силы впрок, хоть никто ей этого не внушает и никто не каркает, что впереди еще много будет такого, что потребует стойкости.

А уж в последующие дни, приходя домой, он ни о чем своего старика не спрашивал. Только, переступив подкалиточную доску-застановку, шел не сразу в избу, а под навес, смотрел, что там прибавилось у отца в его работе с заказанными рамами. В один вечер заметил себе, что снятые с сушильных полатец в сарае доски уже распилены на бруски, в другой — что уже отфугованы в нужный профиль, под калевку. И он перестал беспокоиться за отца.

Но и отец только первое время тревожился тем, что Денис стал где-то пропадать целыми долгими днями. А потом пришел к резонному рассуждению: только бы не приловчился сын попусту бродяжничать в городе, толкаться среди людей и шарить по чужим карманам. Но ведь в его роду живет неглупая, здоровая кровь, и свихнуться парень не должен бы. А если оказался при каком-то деле, то и пусть.

И этим как бы, не торгуясь, не толкуя лишнего, отдал Дениса школе, хоть и подозревал, что его могут там втя-

нуть в молодую поросль большевиков, которым он доверял не так чтобы...

И они перестали беспокоиться друг о друге, молчаливо признав, что жизнь после многих тревог за последние годы понемногу входит в налаженный порядок и, может быть, дальше будет хоть не хуже этого. А на то, чтобы она стала какой-то совсем ладной, могут надеяться только те, кто сам не видал никакого лиха и все получал готовеньким. А что такие люди есть — чистая публика, умеющая взять везде каждый день сделанное чужими руками,— это Алексей Денисович знал и давно примирился с этим положением. Смолоду он жил в твердом убеждении, что таких людей надо бы искоренять, но на своем веку ни одного не искоренил, вовремя поняв, что на их стороне сила и закон. А теперь уже поздно было за это браться; пусть за бесплодное дело насаждения справедливости берутся кто помоложе.

Таково было его смутное рассуждение, и сын, тоже не очень умея и не очень стараясь облечь это рассуждение в ясную словесную форму, принял его, как принимает побег соки своего коренного ствола.

В семье Сашки Верстова к тому, что их парнем сразу так завладела школа, отнеслись иначе. Отец Сашки в первые дни сказал в том духе, что если так будет, если Сашка станет появляться дома, чтобы только ночевать, то пусть лучше там и живет, где отряхается полный божий день. А тут ему не гостиница.

Сашка возразил, что он ведь приносит в дом свой паек. Тогда отец сказал, что этого пайка всего на три дня хорошему едоку, у кого рот большой да если смотрит еще немного набок.

А Сашка был собой в самом деле подозрительно криворот, что становилось особенно заметно, когда он в школе решал задачи у доски или сидел над мудреной книгой. Как-то по дороге он поделился с Денисом своей домашней неувязкой, но что Денис мог ему на это сказать? Впрочем, свою угрозу выгнать Сашку из дому старший Верстов так и не привел в действие.

В школе жизнь у них теперь сплелась из трех элементов: работы, учения, игры. Но при этом все это стояло у них так близко одно к другому, один элемент так легко переходил в другой, что было не трудно считать все за одно. В их возрасте — на этой зыбкой границе между дет-

ством и задиристой юностью — у человека уже есть потребность трудиться вразмах, но пока еще желается делать это играючи, а в игру вносить усердие труда.

Позднее школа приобрела и силами своих учащихся водрузила на бетонные фундаменты нужные несколько станков по обработке камня, но только для двух удалось получить электромоторы, а два других, более легких, приходилось приводить в действие вручную, рукояткой. Делали это ребята поочередно, кто был покрепче, а слабосильных в вертельщики допускали лишь ненадолго.

Старый большевик, Александр Иванович, сделавшийся им в те дни ближе отцов, решил, что построить себе школу ребята должны сами, «начиная с альфы», как он выразился еще на их первой беседе. А какой школа окажется, когда достигнет своей «омеги»,— это им было еще далеко не ясно, и они не задумывались над этим, как-то сразу, безоглядно доверившись своему новому завшколой.

«Построить школу» — это тоже только так говорилось. О постройке в прямом смысле речь не шла; здание им хлопотами и заботой Александра Ивановича было предоставлено одно из лучших в городе. Но вот в мастерских надо было сделать много работы подлинно строительной. Мастерские были просто закрыты еще в пору революции и последующей за ней в стране внутренней войны, оборудование куда-то подевалось, словно разбрелось само, своей волей, когда ему наскучило ржаветь и разрушаться в бездействии.

Два станка, правда, в мастерских так и стояли на своих фундаментах, но бетон под ними одряхлел так, что его можно было отдельными обломками повыбирать из-под станины. Эти станки потребовалось снять, забетонировать фундаменты заново и снова поставить машины проушинами станин на соответственные шпили. Два других станка, разобранных и не по-людски, а вовсе без заботы о сохранности, были заброшены в сарае, и пыль разрухи и голубиный помет покрывали их так, словно все это успело порасти серым, смрадно пахнущим болотным мхом.

Работы было столько, и это была такая работа, что приступаться к ней надо было бы не руками подростков, не с их силенкой и трудовым опытом. Но Александр Иванович как-то сумел внушить ребятам, что ведь в этом и

весь интерес: приди к какому-нибудь делу, за которое и браться не знаешь как, но ты все-таки возьмись. Походи сначала вокруг, попримеривайся, пораскинь умом, а до чего не сразу додумаешься, природная рабочая сноровка подскажет...

Денису Хаританову такую программу жизни было не вновь слышать. Отец рассказывал ему еще в детстве некую притчу... Будто какой-то древоруб-старик послал одновась сына-юношу на коне, на телеге-роспуске в лес привезти два лиственничных кряжа. А сын уже знал, что это были за кряжи; сами же с отцом они повалили лиственницу в заросли шиповника. И он сказал отцу: «Батюшка, как же я сумею поднять такую страсть на роспуск, как потом выеду из такой чащобы на твердую дорогу?»

А отец будто ответил: «Ты поезжай, сын. Там к тебе Смекалко подойдет и подсобит».

Нескоро и как бы сквозь дрёму звучали Денису в детстве побасенки вроде этой сказки-притчи отца. Вот приехал парень в лес, поставил телегу-роспуск рядом с кряжем, который потолще, сел на пень. Час сидит, другой сидит — не идет и не идет таинственный Смекалко...

Пришлось парню самому придумывать, приловчаться, чтобы накатить кряж на роспуск. И Смекалко-таки пришел, только не в таком обличье, каким его поначалу ожидал тот парень.

Эту присказку Денису пришлось вспомнить не раз, когда они, восьмеро ребят из первой группы и еще души четыре из другой, больше двух недель возились в мастерских, возводя фундаменты под станки. Главный неполадок был в том, что бочат с криво намалеванной через трафарет надписью «портланд-цемент» Александр Иванович сумел нажить только три, сказав при этом:

— Понимаете, юные друзья мои, цемент сейчас у нас — самая дорожизнь. Я и это сумел взять — совестно сказать как. Председатель городского Совета лично делит его чуть ли не пригоршнями кому сколько, глядя по самой горькой нужде.

Но цемент надо было еще с умом употребить в дело. А этого ребята не умели. Тогда Федя Михеев вызвался вечером сходить к своему родственнику — мужу старшей сестры, десятнику строительных работ, выспросить у него

все секреты обращения с цементом и, буде потребуется, пригласить его в школу.

Зять оказался человеком полезным. Он рассказал ребятам, в какой пропорции, называя это все же «плепорцией», надо брать цемент, песок и гравий. Объяснил, что песок надо брать не где попадя, не илистый из самого русла реки, а поискать в откосах оврагов песок-резун. И обрисовал даже место, где такой песок берут. А гравий, если он окажется загрязненным глиной и илом, не поленись промыть в лотке.

Так что, как ни презирай скучные, заношенные присловья вроде «свет не без добрых людей» и «век живи — век учись», но без того не обойдешься, чтобы кое-когда не обратиться к ним. Когда Федин родич ушел, ребята сели и стали соображать. Может быть, мельком у всех прошла одна мысль: что нет более высокой человеческой доброты, чем та, когда люди доброхотно и бескорыстно учат молодежь, начинающую жить, трудовому опыту. Но сказать этого никто не сказал. Заговорили о том, что песок и гравий надо на чем-то привезти.

Александр Иванович позаботился и об этом. Понемногу сколачиваемое ими хозяйство школы как раз в эти дни пополнилось еще одним приобретением — двумя лошадьми. Их, только не самых лучших, а тех, что постарее, костистее и грустнее с морды, отдал школе губернский военкомат, где по случаю того, что в округе поутихли разные кулацкие мятежи и другие военные беспокойства, насмелились этим летом наполовину сократить штат своих конюшен.

Денники для лошадей, просторные, крепкие, за три года пустования не утратившие уютный запах конского навоза и дегтя, имелись при школьном дворе. Лошадей привел их конюх-попечитель, перейдя с ними с одной службы на другую. Одна лошадь была запряжена в добротную телегу на железном ходу, другая — привязана сзади за поперечную нахлестку телеги. В телеге лежала полностью вся упряжь второго необряженного коня и еще кое-что из конского снаряжения.

Кроме веселой, суматошливой работы с заливкой фундаментов под станки и сборкой самих станков по хозяйству пришлось сделать еще немало всякой другой работы. И среди этих многих работ была одна, которая с первых дней появления ребят в своих мастерских заставляла

подумать: неужели три года нам гостевать в таком каземате? Жуть и тоска.

Потолки мастерских были прокопчены и украшены разводьями плесенной ядовитости. Не будь бы они хоть такими по-крепостному полусводчатыми, не будь такой утолщенной стена между двух цехов с двумя арочными проемами...

Но ребята уже усвоили себе суровое назидание времени: никакой добрый дядя не придет сделать нам то, что худо-бедно мы в силах сделать сами. А еще раньше они от своих бедолаг-отцов слыхали разные изящные афоризмы: «Глаза боятся, руки делают» или насмешливое: «Кому цельный день копаться, а мы скорехонько все сробим, всего лишь за три дня».

И действительно, даже за три дня они едва управились с приведением в порядок своих мастерских. Взялись, беспечно рассуждая: подумаешь, простая побелка. Женская работа. Это нам нипочем.

Но и это немудреное дело обогатило их новым опытом, который всегда важнее его практического существа. Заставило накрепко запомнить одно из важных правил жизни: никакую работу не считать за безделицу, пока не испытал всю с начала до конца. Особенно несподручно оказалось белить потолки, стоя на помостях из зыбких козелков. Больше раствора с кистей стекало в рукава, чем ложилось туда, где ему следовало быть. В конце концов девчонки с державным презрением согнали ребят с подмостков, взявшись за побелку сами. Зато парням пришлось мыть снаружи высокие окна, ставшие не просто запыленными, как бы ворсистыми от копоти и паутины.

И всего-то прошел год с небольшой долей второго года. Велико ли время...

Но вот уже школа, у которой вначале всего и богатства было что пятьдесят пайков и столько же пар валенок, приготовленных впрок, на предстоящую зиму, как-то сумела сделаться каким ни на есть предприятием. И в мастерских ее питомцы мастерили теперь не разные безделушки, кому что вздумается, для практики, а изделия на заказ.

Кто может сказать, с какого дня и часа или пусть с какого события, случая в жизни юноша начинает созна-

вать себя уже не мальчишкой-угланом, а человеком, хоть относительно самостоятельным.

Никто этого не скажет, в том числе и он сам. Хотя такой час или случай несомненно был. Да и встает тут еще один, побочный вопрос: что это значит — быть самостоятельным. В какой-то досужий час ребята даже поспорили об этом.

По мнению Сашки Верстова, быть самостоятельным значило быть смелым и достаточно сильным. Не бежать под тятькину-мамкину защиту, если какой-нибудь гад на улице беспричинно ткнет тебя кулаком под микитки.

Федя Михеев сказал: быть самостоятельным — это значит не сидеть на отцовской шее, свесив ноги, а уметь во всяком случае заработать себе на хлеб и штаны-рубаху.

Коляда Железцов полагал признаком самостоятельности классовое сознание. Пока не научишься с первого взгляда видеть, свой это человек, с рабочей, большевистской закваской, или классовый захребетник и тайный враг, до той поры ты еще не самостоятельный человек.

Как-то раз Денису с кем-то из друзей довелось случайно подслушать разговор девчат-соучениц. Они болтали о том, каким, по их понятию, должен быть парень, чтобы его стоило взять в сердечные дружки. Разговаривали, каждая прибавляя к облику такого стоящего парня что-нибудь свое. По их толкованию выходило, что он должен быть пусть не красавец, но по крайней мере не урод собой. И чтобы у него никакая работа не валилась из рук. И чтобы он был не из последних в каком-нибудь виде спорта, понимал бы и любил театр, русскую поэзию. Знал чтобы порядочно какой-нибудь из иностранных языков, а лучше несколько. И чтобы в тире и на охоте был не мазилой, а быстрым и точным стрелком. И много еще таких «чтобы» девчонки поставили условием для причисления к достойным девичьего внимания.

Друзья в тот раз лишь поусмехались простодушному легкомыслию девчонок. Довеку, пока не станут старыми ведьмами, им искать и не найти парня, отвечающего всем таким требованиям.

Но ведь и сами они в своих представлениях о мужской самостоятельности были многим ли опытнее и умудреннее девчат. Где он, тот порог, за которым начинается иная, чем теперь, настоящая, наполненная неким глубо-

ким смыслом жизнь? В рабочей среде издавна считалась первым маленьким шажком в самостоятельность первая скудная рабочая получка.

А у них первой получки как бы и не было. Не считать же первой получкой то, когда они начали кое-что зарабатывать в банкнотах, которым чвык-цена.

Но вот в какое-то осеннее утро Денис с Сашкой шли в школу и еще издали увидели толпу народишка, теснившегося у подъезда банка. Они перешли улицу и, огрызаясь от ругательств и тычков, протиснулись к дверям.

Там висела застекленная витринка и в ней не виданные еще деньги. Собственно, три только одинаковых денежных знака бежево-белой окраски с надписями «Один червонец». Правда, наискось каждого из них красным с разрядкой было оттиснуто еще слово: «Образец». Был в витрине еще плакатик, где сообщалось, что новые деньги теперь имеют золотой паритет. И уже какие-то разбитные женщины в толпе заинтересованно толковали, что коли так, то теперь каждый, заработавший такой червонец, будет вправе явиться в банк и обменять такую вот опрятную бумажку на натуральный золотой.

На другой день в городе судачили, что ночью у подъезда банка какие-то парни вырезали стекло витрины, выкрав выставленные три червонца, пусть хоть и с надписью: «Образец». А потом будто их словили и теперь строго засудят.

Жулья в городе было премного. На улицах почти на каждом шагу приходилось видеть парней такого возраста, как учащиеся школы, ухарей с блудливо зыркающими глазами, непременно бросающихся туда, где виднелось хоть небольшое скопление людей.

Как раз в эти дни родители Дениса как-то проведали, что он записался в комсомол. Почти год он скрывал от старших этот поступок, на который не счел надобным испрашивать родительское благословение. И они вечером при нем, но так, словно его и не было тут налицо, сдержанно поспорили по этому поводу. Мать возмущало это своевольство Дениса. И у ней имелось практическое предложение: «взбодрить» ослушника веревкой-вожжевкой, как поступали с ним в детстве. Отец говорил: пусть будет как есть. Все-таки для парня комсомол немножечко лучше, чем если бы он втянулся в несметный легион лихой

городской шпаны. Время такое, что этаких лоботрясов все равно не удержишь на коротком недоуздке.

И самостоятельность была уже, вот она. Молодые люди стояли уже на ее пороге, может быть, сами этого еще не понимая.

С естественной для юности тоской по какому-то большому, масштабному делу в руках они считали, что жизнь у них течет словно бы по мелководью.

Масштабных дел в стране свершалось немало. На уроке обществоведения Виктор Алексеевич с каким-то новым, просветленным выражением лица повесил поверх черной классной доски впервые изданную карту. И по ней выходило, что страна теперь простирается от Литвы и панской Польши до Сахалина и Курил. На юге до какого-то таинственного Афганистана, а на севере только полярные льды положили ей естественную границу. Еще и года не прошло, как было провозглашено образование Союза Советских Республик. Кто это сделал? Что за неуемное богатырское пламя расширило до таких пределов границы страны?

Странное чувство, которому нет названия, словно вознесло ребят к самому небу, когда они смотрели на новую карту. Словно свежестью и чистотой бывает орошена душа, когда в ней зарождается чувство Родины.

Но ведь и выстрелы не вовсе заглохли где-то по стране. Есть теперь в границах Союза Средняя Азия. Что они знали о ней? Только то, известное им из старых, понемногу заменяемых учебников географии. Что живут там в песках и зарослях сухого колючего саксаула люди в чалмах и длиннорукавых халатах. И там наша армия еще добивает басмачей, вооруженных длинными ножами, английскими винтовками и пулеметами Льюиса на коротких треногах. Почему это делается без них?

И по газетам судя, еще совсем недавно кое-где нет-нет да и созревали и лопались мелкие локальные кулацкие восстания. И газеты же пишут о везде созданных отрядах ЧОНа. Был такой отряд и в городе, в котором сухолицые серьезные парни,— а многим ли они старше их, учеников школы,— учились военному строю, обращению с оружием. И, кажется, чоновцам даже позволяется уносить винтовки, держать их при себе, дома. Почему им никто до сих пор не предложил вступить в такой отряд?

Но старшие товарищи-коммунисты, кого ни спроси, на

такого рода вопросы отвечали лишь скучными и неубедительными словами. Значит, нет нужды, если их не привлекают к военному обучению. И что всему свое время, а их дело, как мудро сказано, учиться, учиться и еще раз учиться.

А Александр Иванович как-то сказал, что ему очень понятно их тяготение к какому-нибудь масштабному делу. Но ведь большие дела обязательно имеют свои детали и ответвления, которые только кажутся мелкостными. И кому-нибудь надо делать и эти дела.

И Александр Иванович, уловив смятение ребят перед вставшей, как глыба, как гора, потребностью познания, сказал, что придется подумать о каком-то ином методе обучения, кроме отведенных обществоведению по программе скупых часов. И тут же поправился: думать, собственно, нечего; есть испытанная форма — внеклассные семинарские занятия.

Так и повелось у них в дальнейшем, и надолго: собираться вечерами часа на два. А тему каждого занятия он предложил им самим назначать по своему хотению-выбору. На классных уроках по обществоведению Виктор Алексеевич настойчиво, не позволяя забираться в сторонние дебри, вел историю народничества и российских большевистских организаций. А в семинарские часы ребятам позволялось судить-рядить кто во что горазд. Но и это было действительным обществоведением, потому что и частные, казалось бы, стороны текущей политики тех лет были накалены тяжелыми противоречиями еще не пришедшего к миру и согласию общества. И даже свои комсомольские собрания в школе ребята как-то умудрялись превращать в обществоведческие споры.

В большом обычае были у молодежи в ту пору споры и дискуссии по самым разным, иной раз странным и вздорным поводам.

Ничем, казалось, не желая стеснять своих учеников на таких занятиях, предоставляя высказать самую разную ахинею, какая чью посетит бедную голову, Александр Иванович все же приходил почти на каждое их занятие, но садился в сторонке, вмешивался редко. И то только лишь когда его просили разрешить очень резкие разноречия.

На одном из таких занятий ребята принялись спорить по поводу нэпа.

А насчет нэпа в городе и без них было кому судить-рядить, ожесточаясь, все больше запутываясь в этих спорах. Было кому радоваться этой новой политике: «На попятный двор пошли большевички, не обошлись же вот без оборотистых, практичных людей».

Но было кому и ворчливо не соглашаться, сдержанно гневаться, называя это новое веяние не слишком почетным отступлением от революционной линии.

На том семинаре, где у них затеялся долгий и смутный разговор о нэпе, Денису Хаританову пришлось говорить первым. Такой у них установился распорядок: кто-нибудь должен выложиться по теме первым, а вслед затем подвергнуться растерзанию друзей, выступающих уже по мере охоты.

Не было, конечно, никакого умысла-подвоха в том, что первому поручили говорить ему; просто был его черед. Но такая путаница была у него в уме об этом предмете! Ему бы просто подняться и сказать: пока что я понимаю дело так, что ни черта еще в этом вопросе не понимаю. Дайте мне некоторый срок, чтобы разобраться и понять. А для этого мне и нужно только всего: прожить нелегких полтора-два десятка лет, побывать самому в крутых переплетах... Но ведь так не скажешь.

И он не нашел лучшего для введения, чем рассказать недавно увиденное, как бы подхваченное на лету.

В большую переменку, после которой у них должна была быть физика, Денис вышел с учебником на бульвар, притулился на скамейке. Не успел — с кем не бывает? — заблаговременно хотя бы прочитать главу о теплоте. Но желанного уединения он не нашел в тот час и на бульваре. Два, по всему видать, дорвавшихся до изящной жизни хлыща помешали ему в этом.

Стояли дни затянувшегося в том году бабьего лета, и по утрам в воздухе держались уже стыль и колкость наплывающих с северной крутости неба заморозков. Над бульваром, над городом и, хотелось думать, над всем краем на сотни верст вокруг, над всеми исхоженными сосняками и рощами, над камышами Патрушихинских разрезов и грядой западных холмов мерцали совершенная чистота и ясность такого дня, каких выпадает лишь несколько в году. А если природа окажется не в добром духе, то и одного такого дня в году не подарит людям.

Здесь, на бульваре, казалось, зажги свечу, и она будет гореть, не шелохнувшись. Прежде чем присесть на скамью, Денис медленно, глядя в книгу, прошел по аллейке туда и обратно, машинально загребая ногами гремучий мусор полуоблетевших листов акации и ее стручков, которые, насохнув, раскрылись, потеряли свои горошинки и посвертывались в спиральки.

На соседнюю скамью сели двое, равнодушно и пусто глянув на Дениса: что может значить для них лохматый парнишка с книжкой.

Нетрудно было понять, что эти люди не виделись несколько лет, потому что они долго похохатывали и обменивались дружескими тычками в плечо и под ребро.

Но нетрудно бы понять и то, к какому птичьему семейству или подотряду относятся эти два коршуна-скобаря. Денис и хотел бы не слышать, но все равно слышал их беседу. Разумеется, первыми вопросами друг к другу у них были: как ты? где ты теперь? Один был попроще; другой же в таком костюме, какого Денис еще не видывал. Он был словно не одет в этот костюм, а облит им. И на вопрос первого хвастливо ответил, что у него теперь как-никак «свое дело». Небольшое, правда, дельце — фабричонка с двумя сельфакторами. «Ну, две мюль-машины, если ты слыхал...» И «рабочего класса» у него на предприятии невеликое число: всего двенадцать босяков... Но если умеючи вести дело...

Денис чуть не взвыл, чуть не зарычал оттого, как этот субъект произнес простые и уважительные среди школьной молодежи слова «рабочий класс». Столько в тоне сказанного было презрительного самодовольства, что он-то, этот делец, к рабочему классу не принадлежит, а всегда будет стоять над ним. Но, зло задрожав всем своим нутром, Денис все же усидел на месте, даже не повернув головы в сторону этих двух ловкачей.

Первый, откровенно подлещиваясь к преуспевающему дельцу, пощупал рукав его костюма, спросил, что за материал. И тот со вкусом назвал: английский крученый коверкот. И после того, как его собеседник даже не спросил, а только вздохнул: «Где-то берут же люди такую немыслимую роскошь», он все так же развязно-наставительно заметил:

— Кроме нашей оглушенной страны есть ведь еще и Европа. И хоть говорят: границы на крепком замке, отту-

дова, однако, сочится, капает к нам всякая божья благодать.

Дениса подмывало вскочить, сказать этим двум какую-нибудь дерзость, наброситься на них с кулаками. Но что из этого может выйти: те двое крепкие мужики, а он куда против них?

Постепенно возмущение и озлобленность в нем улеглись, осталось только тяжелое чувство непонимания творящегося на белом свете. И на семинаре он начал с того, что, как мог, рассказал о сценке на бульваре. Сам понимал, что получилось бледно и невразумительно и что Коляда Железцов вполне прав, когда спросил его после всего сказанного:

— Ну и что? А вот вывода резонного мы тут и не услыхали. Твое отношение к новой политике?..

И тут, почему-то обозлившись, Денис одному Коляде резко сказал:

— А кто я такой, чтобы делать какие-то свои выводы? Да и ты, что ты за умник такой, что тебе все ясно? Отношение мое, видите ли! Об отношении к этому надо спросить у тех, кто боролся за революцию и не дожил до нее.

Потом ребята начали говорить один за другим, горячась и как бы сердито возражая один другому. Но если послушать внимательно, то постороннему человеку было нетрудно услыхать, что говорят они об одном, но только по-разному. А мысль, как бы укрытая, словно под слоем мха и опавших листьев затаившийся гриб, содержала одно: как же так? Значит, опять всякая рвань, живущая за счет чужого труда, будет наживаться и добреть? А честно и прямолинейно живущий рабочий человек будет снова трудиться на эту публику?

Прямее всех эту мысль выразил Витька Решетков, горячо сказавший:

— Я по-ученому, по науке рассуждать не умею. Одно скажу: ненавижу-у. Ненавижу чистеньких этих... в галстучках, с напомаженными волосами. Ненавижу тех, у кого вся забота — волочь всякий скарб в свое гнездышко, набивать сундуки. А классовое жулье, посмотрите вокруг, снова поднимает голову...

Кто-то осторожно сказал, что ведь не кто иной, а партия объявила новую политику. Над этим думали не такие умы, как наши с вами. И наконец, запутавшись, ребята стали все чаще поглядывать в сторону Александра

Ивановича, который пока все сидел и только слушал, еще не сказав ни слова. А когда старик заговорил, то это оказалось совсем не то, что от него ждали. Сначала он зачем-то спросил Дениса, каков собой был тот нэпач, которого он видел на бульваре. И выслушав сбивчивое описание обличья и внешних статей этого человека, медлительно сказал:

— Пожалуй, он самый. Служил у нас в управлении Чуснабарма-5 один стрикулист. Ну, по старым должностным названиям — интендант. Потом он как-то там заворовался, был осужден армейским трибуналом. По чьей-то милости его все же не расстреляли. И я мельком слыхал, что он недавно открыл в нашем городе свою фабричку, если не ошибаюсь, текстильную. Ну, это только между прочим.— И, помедлив, вдруг спросил Дениса:

— Вот скажи, ты что сегодня утром ел?

И когда Денис смущенно и не очень внятно ответил, Александр Иванович продолжал так, будто и не ждал другого ответа:

— Ну вот — лепешки. И, наверное, из грубой муки на постном масле. Теперь подумайте о том, что вам по молодости лет никогда не приходило на ум. Ваше дело — утром встать, промыть глаза, и чтобы на столе стоял уже какой ни на есть, да завтрак. А вечером, придя домой, небось еще ворчите на матерей, что на столе все одно и то же. Вам и дела нет, что их состарила и согнула все одна и та же забота: как прокормить семью. Теперь представьте, что у партии сейчас нет заботы более важной, чем забота прокормить народ. Рабочий класс довольно наголодался за прошлые годы. Лепешки из грубой муки по нынешнему времени еще совсем неплохо. А вспомните, что вы ели в двадцатом, двадцать первом...

Молодость, наверно, такова уж есть: что прошло, то миновало. Ребята, как бы похваляясь, словно забыв, что когда-то им было не до смеху, начали вспоминать, чья семья и как перебедовала те тяжкие годы. Кто-то рассказал о колючем хлебе из чистого лошадиного овса, кто-то вспомнил об оладушках, которые мать изобретательно приловчилась печь из размолотых на ручной мельнице семян лебеды. Развспоминались настолько, что Александру Ивановичу пришлось поднять руку, возвращая их к теме беседы.

— Так вот, по существу: вижу, что уже мало одной

только книжки Коваленко, что вы уже переросли ее. Предписываю каждому из вас, кроме классных учебников, не открывать ни одной книги, никакой, пока серьезно не прочитаете...

И он медленно, поджидая, пока ребята запишут себе, назвал им ленинские работы: «Очередные задачи Советской власти», «О «левом» ребячестве...», «Доклад на X съезде».

Он поднялся, выпрямившись со стариковским усилием. Сегодняшний семинар можно бы считать и законченным. Но, должно быть, почувствовав, что останется недосказанным что-то важное, он заговорил снова:

— Вот вы увидели этого бубнового короля, новоявленного фабриканта, и это взволновало вас. Так мне же теперь и умереть не жаль, коль скоро останутся после нас такие дерзкие и думающие парни вроде вас. Только что же, по-вашему, партия не понимает, что с новой политикой всплывет на поверхность много накипи и мусора? Но положительное, что эта политика дает, все же важнее издержек. Будете штудировать Ленина, прочтете, что новая политика провозглашена надолго. Но заметьте себе, что нигде не сказано: навсегда.

Ребята достаточно знали во всех подробностях биографию своего учителя. Профессиональный революционер, на многих работах он побывал уже после семнадцатого года, пока оказался директором их школы. Но, может, только сейчас они поняли, что кем бы ни был по службе, он, кроме того, всегда оставался еще агитатором по душевной потребности. Разве только теперь пореже стала его посещать сродная вдохновению агитаторская горячность, высокий пафос правдивого слова.

Этот проповеднический огонек засветился в нем и сейчас, когда он еще на добрых полчаса принялся втолковывать ученикам суть новой политики. Он говорил: надеюсь, вам понятно, что самый крупный камень, который надо перекатить и уложить на свое место в кладке,— новые отношения между двумя классами, справедливые и, если угодно, добросердечные. Крестьянство — своенравный класс, которому придется не без жестокости порой помочь прийти к духовному обновлению. Совсем не с легким сердцем мы теперь беремся за эту работу. И мы не просим: пусть минует нас чаша сия. Как раз пусть не минует. Без страха и сомнений беремся мы за эту рабо-

ту, от которой, помните старую сказку, сам Микула Селянинович по колен в землю врос. И действительно, ведь дело тут идет о покорении земли, всегда упрямо человеку не покорявшейся, да к тому же и попутно с тем — о перестройке крестьянской психологии. Вот и «без страха и сомнений» — это тоже вам не для красного словца. Слабодушным людям было бы чего устрашиться, перед лицом хотя бы той же новой экономической политики. Впрочем, у слабодушных, так оно и есть, дрожат-таки поджилки. Если кое-кто у нас начал голосить об отступлении, об измене делу революции, так это не только по слабодушию и трусости. Ни на один день, ни на час мы не упустим из-под своего контроля экономическую политику страны. Так чего же нам потрухивать?..

Он умолк на минуту, словно размышляя, не слишком ли большую кладь нагрузил на плечи своих ребят. И словно решив — ничего, сдюжат,— сказал:

— Есть в этом вопросе одна сторона действительно рискованная для нас — концессионные отношения с иностранными капиталистическими предприятиями. Этим господам ведь дай только палец, как они тут же попробуют захватить всю руку. Когда будете на следующих занятиях изучать эту тему, серьезно разберитесь в вопросе о госкапитализме. Тут мне и самому придется не без натуги подумать кое над чем. Но что делать? Мы не как-то так — без робости беремся решать и эти дела. Поете же вы «Наш паровоз, вперед лети...». А вы ведь тоже — бригада этого паровоза. А когда такая махина, как паровоз революции, разогналась во весь свой могучий дух, тут уж надо смотреть в оба да следить за машиной. Могу вам, между прочим, поведать, что от западных капиталистических предприятий в наше правительство уже поступило около трех тысяч заявок на концессионные договоры. Как видите, господа соседи с азартом бросились помогать налаживать наше хозяйство. Но мы-то понимаем, что эти друзья идут нам навстречу... с колуном за спиной. Вот поэтому пока что таких договоров с иноземными дельцами у нас заключено только около ста двадцати. И больше, насколько знаю, эту публику к нам решено не пускать. Никаким охочим поднажиться у нас людям, ни внутренним, ни пришлым, мы большой воли не дадим.

По принятому в школе обыкновению, тому, кто первым начал беседу, предоставлялось право и закончить

ее. И Денис, чувствуя себя так, словно сделался еще на вершок ниже своего роста, сказал те же слова, с каких начал. «Кто я такой? Кто мы все, собравшиеся здесь?»

Александр Иванович, никогда себе не позволявший прерывать собеседника, вдруг остановил его, сказав весело, задиристо, дружелюбно:

— Какого черта? Заладил: «кто я такой?» Если уж так надо, я скажу, кто вы такие. Вы парни, которым через десять лет будет по двадцать пять. Это возраст такой, когда общество с человека вправе спрашивать полной мерой. Не слыхали, что ли, народную поговорку: молодое растет в небо, старое — в землю. А жизнь не стоит на месте. Сейчас у народа одни заботы и труды, через десять лет встанут другие, и пограндиознее нынешних. Поэтому нужнее всяких жизненных благ вам сейчас: исподволь крепнуть в готовности к большим делам. Красивой и привольной жизни я вам не обещаю, благоденствия обывательского вам, может быть, и не видать. Не будет этого, а будет вечный бой. Но вы же ведь по роду-племени задиры. Что, не так?

Кажется, Александр Иванович одного только и не умел: бранить, отчитывать своих учеников, воздействовать на умы и сердца нудными нотациями. Разве только скажет иногда: черти вы полосатые. Вот хотя бы тот случай с Карлушкой.

Парня того звали вовсе не Карлом. Имя у него было непривычное для поселковой ребятни: Игорь. В обиходе своем кличку ему — Карлушка — ребята сочинили, произведя от фамилии — Карлуков.

В ряд со зданием клуба, отделенная от школьного двора только мрачным черноствольным бузинным садиком, стояла немецкая протестантская кирха. Верующих немцев-протестантов в городе осталось к этому времени не много, но и не столь мало, чтобы городские власти могли ее запросто припечатать. Состоял при кирхе какой-то, под стать кривоствольной бузине в саду, гнутый, извернутый, на таежного лешего похожий лицом сторож-старик. Но где ему уследить, если ребята что-то заберут себе в голову. И многие из них уже побывали в верхней части кирхи, попадая туда не через фасадную дверь, а по пожарной лестнице на боковой фронтон и дальше в кирхино нутро через фрамугу с истлевшей рамой. И на звон-

ницу по ветхим внутренним лестницам кое-кто из ребят тоже попадал, чтобы посмотреть на город с высоты.

Между классными занятиями и практикой в мастерских распорядком школы был установлен часовой перерыв на обед, на разминку, на различный развлекательный треп. Школа уже окрепла настолько, что учащимся стало перепадать молоко. А на дворе был такой затишок-закоулок, откуда звонницу кирхи, освещенную солнышком, было видать как-то особенно четко против нежно-серого неба. В ведренные дни школьники в обеды всегда приходили сюда, неся каждый свою кружку с молоком, рассаживались на узком цоколе здания.

И каким-то игрушечным, словно разыгранным над занавеской кукольного театра, и вместе с тем жутковатым показалось ребятам, наверное, то, что произошло на этот раз. Карлушка сидел в ряду других, загадочно щурился на солнце, попивал свое молоко, но вдруг круто поднялся, поставил наполовину не допитую жестяную кружку на камень цоколя, погрозил ей пальцем, что должно было значить: смотри, никому в руки не давайся, и тут же юркнул в кусты бузины. А минуты через две показался в одном из четырех арочных проемов звонницы во весь рост, и уже босой. Распершись в проеме руками, вытянув шею, он посмотрел вниз, как смотрит с ветки наземь любопытный бесшабашный дрозд. Посмотрел, словно хотел убедиться, что при падении с такой высоты, конечно, не соберешь костей, и осторожно шагнул на карниз, огибающий звонницу на уровне нижней кромки проемов, слепо, черно глядевших на все четыре страны света.

Кто из ребят как и что почувствовал при этом, Денис, конечно, знать не мог, но у него самого вдруг болезненно заныли икры ног, и сердце словно перестало трепыхаться, замерло.

Всем было известно, что карниз там неширок, всего в две ладони, к тому же покат, идти по нему можно только боком, плотно притираясь к стене, строго следя за центром тяжести тела, и смещение этого центра тяжести даже на птичий коготь поведет Карлушку в падение, и ни за что, кроме как за воздух, удержаться ему будет нельзя.

Медленно, шажок за шажком, Карлушка подвигался по карнизу.

— Что это? Зачем он? — ломким полушепотом спро-

сила одна из девушек. Бешено глянув, шикнул на нее Коляда Железцов.

Нетрудно было понять, что самое опасное место в момент Карлушкиного путешествия было там, где ему придется вдобавок еще обогнуть угол стены. Но, видно, парнишка заранее подумал и об этом. Занеся руки назад, словно сделавшись совсем бескостным, пластичным, он облепил телом угол здания, как раскатанный в лепеху кусок теста, перемещаясь теперь уже миллиметр за миллиметром.

Денис да и все другие, наверное, перевели дух, почувствовали сердце в себе, лишь когда Карлушка миновал угол.

Добравшись до западного проема, Карлушка ступил на подоконник, уже свободно теперь поводя плечами, наверное, отлепляя от спины влажную рубаху.

— Неужели пойдет еще дальше, вкруговую? — теперь уже вслух спросил Сашка Верстов, ни к кому, впрочем, в отдельности не обращаясь.— Тогда винтовку бы сюда. Тогда лучше сразу его снять оттуда выстрелом.

Но Карлушка, помедлив, спрыгнул в черноту звонницы. Через несколько минут он появился среди ребят, неся в руках свои ботинки с оскалившимися на носках шпильками. Нес по одному в каждой руке.

Коляда Железцов, шагнув навстречу, обнял его за плечи, посадил на камни цоколя, своими руками надел ему ботинки. И все при этом заметили то, что можно было видеть и раньше: Карлушка носил ботинки без носков.

Рассеянно допив свое молоко, Карлушка нагнулся грудью до колен, попросил Коляду:

— Посмотри, что там у меня. Понимаешь, саднит.

Железцов задрал ему рубаху сзади, осторожно пощупал красные пятна, ссадины, с ладонь каждая, на лопатках и в ложбинке позвоночника, успокоительно сказал: а, ничего, в цехе смажем машинным маслом.

И никто, кажется, не заметил, когда среди них появился Александр Иванович. Но когда Железцов опустил Карлушке рубаху, он оказался тут, и лишь по тому, как болезненно пылали у него щеки на побледневшем лице, можно было догадаться, что он все видел и не легче, а тревожнее молодежи пережил Карлушкину эквилибристику.

— Какой молодец, какой смельчак,— будто восхищенно и одобрительно сказал он Карлушке.— Знай только наперед: если это повторится еще раз или что-нибудь вроде этого, я буду добиваться исключения тебя из школы. Ведь случись с тобой что-нибудь... Думаешь, тебя так уж жалко? Дураков не жалеют, их лечат, если это не очень запущенный случай дурости.— И уже другим тоном, раздраженно, как от него, пожалуй, еще не слыхали, обратился ко всем остальным: — И вы, все остальные, тоже хороши. Почему никто не догадался его остановить, надавать ему подзатыльников. Только бы и стоило.

Но такие петушиные забавы вовсе не мешали ребятам прикоснуться уже к серьезным государственным делам.

На том комсомольском собрании, когда к ним пришли важные гости — Посохин из горкома и еще один пожилой товарищ, по-видимому, Александру Ивановичу другприятель по каким-то прежним делам, и где им поставили задачу и объяснили, как надо действовать,— было все просто и ясно. Не просто и не все ясно стало, когда пришлось отправиться в поквартирный обход на своем участке.

В те дни все газеты сообщали насчет требования нескольких западных государств Советскому правительству выплатить царские долги.

Логика юности прямолинейна и непосредственна. По ней в тот час на собрании выходило так: а чего проще? Ответило бы наше правительство тем западно-европейским прасолам... Ну, что-нибудь в том роде:

«Теперь хозяева в доме — мы, но из прежних ваших кредитов мы, по-честному говоря, не получили даже стертого полтинника. А получили разваленное хозяйство, разор и запустение, железные дороги с убогими паровозами серии «Крути, Гаврило», лютую голодуху да лебеду, уже успевшую прорасти на заводских дворах. Так за что же мы будем еще и платить? Кстати, прежние распорядители империи, покинувшие свой непокорный народ в грозный час, околачиваются где-то на ваших подворьях. С них и получайте».

Вот поручили бы им, комсомольцам художественно-промышленной школы, сочинить вежливо-едкую дипло-

матическую ноту — ответ на требование об уплате царских долгов...

Но сочинять дипломатическую ноту им по какому-то недоразумению никто не поручил. Поручалось другое: обойти указанный участок — пять кварталов вокруг, собрать подпись всех, кто пожелает их поставить под декларацией, уже кем-то сочиненной и отпечатанной в типографии. И в тексте ее было то самое, что ребята могли бы написать и, наверное, написали бы, случись им ее сочинять. Что не будем мы платить никаких долгов, не считаем их своими долгами. А если господа капиталисты ставят в зависимость от этой уплаты признание Советского государства, то так тому и быть, пока не признавайте, нам не к спеху, мы потерпим. Хотя у порядочных людей это ведь называется весьма определенным словом: шантаж.

Комсомольская ячейка школы подобрала под свое крыло всего только душ пятнадцать учащихся из пятидесяти. Остальные либо сами еще только присматривались да примеривались, либо комсомольское бюро присматривалось к ним. Уже позади было то время, когда в юный коммунистический союз принимали открытой записью на собраниях.

Комсомольцы решили разбиться на группы по три человека, и каждой группе знать свой квартал домов. Днем жителей своего участка, занятой рабочий люд, скорее всего не застанешь, поэтому обходить квартиры лучше вечером; все это было обговорено заранее. Денис Хаританов оказался в группе с Мишкой Гурвицем и Катеринкой Кузнецовой. И Денис был доволен, что придется заниматься этим непривычным делом с Мишкой. Тот как-то умел вступать в разговор, в общение с незнакомыми людьми легко и непринужденно.

Удачно дополняющей их в группе оказалась и Катя Кузнецова. Если придется разговаривать с женщинами — тут ей будет самая честь и место. Так же думал, по-видимому, и Мишка, мимоходом сказавший девушке, чтобы она при беседах с серьезными солидными людьми не пряталась за спины своих спутников, но и не выскакивала вперед, как чертик из бутылки.

— Не забудь, что старухи, особенно из верующих, очень не любят таких, как ты, пигалиц в красных косынках.

В природе только еще несколько дней, как установилась ранняя зима с тонким снеговым покровом, с безветрием, легким морозом и сиротливо-скромной серостью сумерек, наступающих рано — в шестом часу. Первый снежок еще плохо укрыл дорожные колеи и пыль на голых кустах бузины и акации на бульварах, на оконных отливах, на поручнях крылец и чугунных решетках скверов и садов. Он только смешался с пылью. Глядя на это, думалось: уж если снег, то пусть обильный, яркий и пушистый, как парчовое одеяло. А так только виднее, что город беден, непригляден, как очень обносившийся, истомленный долгой безработицей мастеровой человек. И с этого города, с такой, еще не оправившейся от всех невзгод страны кто-то вознамерился содрать какие-то старые долги, в которых народ нимало не повинен. Нет, много еще зла, оскаленной хищной жестокости царит в отношениях между государствами. И кто знает, сколько раз еще придется напрягать все силы, чтобы выстоять против этого зла.

А когда они обошли свой квартал,— на это потребовалось два вечера,— их стало уже немного удивлять, почему они приступали к делу даже с некоторой робостью, почему все оно представлялось им сложным, непростым. И, пожалуй, во многом им помог в самом начале человек, к которому они попали первому.

Начали с углового дома, смотревшего скрипучим парадным крыльцом с типическим для их города тяжелым скворечным навесиком, не на широкую проезжую улицу, а в переулок. Дом старый, но еще неизносимо-прочный, деревянный, узорчато опалубленный по фасаду серой от времени щелевкой. И в нем,— они поняли это сразу, войдя в полутемный сырой коридор,— четыре квартиры, две налево из коридора, две — направо. Коридор тесен, чуланно-глух, загроможден всякой рухлядью, которую повыбросать бы уже.

В первой квартире налево их встретил «в блузе темно-серой невысокий хмурый человек», как с первого взгляда определил себе его Денис, только на днях прочитавший стихи известного дореволюционного поэта, так и называвшиеся — «Рабочий». Только не в блузе, а в расстегнутой косоворотке, хотя и темно-серой, был этот человек, и он, как видно, только пришел с работы, потому что в руках держал полотенце и крепко вытирал им шею,

запуская его под воротник рубахи. Волосы на крупной его голове лежали плоско и тонко, как у человека, которому приходится работать не впрохлад, а до привычного, всю смену не просыхающего пота.

Он пригласил ребят в комнату, усадил за столом, покрытым клеенкой, на углах потертой до марлевой редины.

Несколько минут он слушал Мишкино объяснение дела, с которым ребята пожаловали к нему, потом остановил его, невысоко подняв руку над столом.

— Ну вот что,— внушительно сказал он.— Не трудись, не агитируй меня. Я сам партиец и все понимаю.

Мишка сказал:

— Тем лучше. Тогда остается только подписать. И он поставил на стол чернильницу с крышечкой и перо. Всю эту снасть они на всякий случай носили с собой. Их собеседник взял перо, повзвешивал его в руке и, замедлившись, засомневавшись, сказал, что он ведь подписывал эту декларацию на работе.

Не знали и ребята, как надо поступить. Такого случая они не предвидели. Денис сказал что-то в том роде, что одно другому не мешает. Пусть будет лишняя подпись в общей массе. Но человек, еще минуту подумав, решительно положил перо:

— Нет, не годится. Дело это с нашей стороны самое добросовестное. И кривды тут не надо никакой.

Впрочем, добавил он, у него в семье есть кому поставить подпись и помимо его. Повернувшись в сторону дверей с полотняной занавеской, он позвал: «Мать, выйди сюда», и занавеска сразу качнулась, пропустив женщину, которая конечно же все уже слышала, знала, о чем речь.

Хозяин квартиры тем не менее, блюдя порядок и вежливость, объяснил еще раз суть визита ребят. И она, так же не нарушая благочиния беседы, выслушала его, хитро посматривая на Катеринку, чем-то ее заинтересовавшую.

— Могу и подписать,— бойко сказала она.— Могу и на словах сказать, а вы там передайте, где случай тому будет: мы со стариком ничего у той любезной заграницы не занимали. Век живем одним только своим трудом, ни у кого в долгах не хаживали. За что же платить?

И сразу заговорила о другом, спросила Катерину, комсомолка она или живет пока еще у мамы за опояской.

Все у них в комсомоле такие востроглазые или есть какие посмирнее? И до каких годов у них пишут в комсомол, нельзя ли ей попытать?..

Позволив жене поразвлекаться, побалагурить минуту-другую, хозяин квартиры остановил ее коротким: «Ну, хватит». Спросил ребят, в каких домах им поручено побывать, предупреждающе заметив после этого:

— Тут у нас народ разный живет. Найдутся такие, что откажутся подписать нашу декларацию. И просто не пустят вас в квартиру. Держитесь в этом случае с достоинством. Не пожелают — не надо. Не на погорелое место просить идете.

Вечером, возвращаясь в школу, они стали припоминать, спрашивать друг у друга фамилию этого человека.

И никто из троих ее не запомнил. Остановившись под мутным уличным фонарем, они прочитали ее, написанную корявым почерком той веселой женщины. Фамилия оказалась простая, русская: Ковригины.

Как их и предупредил Ковригин, в этот вечер нашлось двое жителей их квартала, которые не захотели подписать декларацию.

В одной из квартир им открыл грузный человек в сорочке с берестяно коробящимся пластроном, но очень заношенной, нечисто пахнущей. Он впустил своих посетителей только в прихожую, резко захлопнув ногой дверь в свою гостиную.

— Молодые люди,— актерски модулируя, играя осиплым голосом, начал он, когда Денис изложил ему цель визита.— То, что вы от меня требуете, это — политика. А я политикой не занимаюсь. И подписи своей имею правилом ни на каких бумагах не ставить. Засим прошу покинуть мое жилище.

— Покинем,— спокойно пообещал Денис.— Только позвольте заметить, что ваш отказ подписать общенародную декларацию тоже политика. Несмотря на это, мы просим извинить за вторжение,— напыщенно закончил он, невольно в манере этого актерствующего человека.

— Нет, не надо. Дальше пойдем,— бодро, беспечно сказал Мишка Гурвиц, когда они вышли из этого дома.

Зато совсем в иное настроение привело их посещение квартиры, в которую они попали вслед за тем.

Здесь их встретила и пригласила в комнату женщина с поблекшим лицом, тоже, как Ковригин, должно

быть, только что пришедшая со службы. Это ребята заключили по тому, что одета она была так, как не ходят по дому — в темное платье с воротничком и рукавчиками. Пока Мишка объяснял ей, зачем они пожаловали, женщина все разглаживала складки полотняной скатерти на столе. И было заметно, что слушала она рассеянно, не вникая в смысл. Едва только Мишка умолк, она требовательно и строго сказала: «Дайте».

Когда Миша протянул руку, чтобы взять подписанный ею документ, женщина отвела ее и напряженно и звонко сказала:

— По-вашему, только и всего? Нет. Все о деньгах да о деньгах споры, а вот с этим как быть: у меня сын погиб на гражданской?

С каким-то странным выражением лица, словно с готовностью улыбнуться над собой, над своей слабостью, она начала рассказывать.

Старая, старая, не меркнущая в материнской душе горестная притча.

Был юноша, еще ничего не успевший изведать, никому не желавший зла. У своей матери был он единственным. Ясный свет в ее окне. Теперь его нет, и, так уже сложилась жизнь, больше никого близкого. Так вот: как же ей быть? Может, эти господа, лучше всего другого умеющие считать деньги, сколько-нибудь скинут с предъявленных нам долгов за ее сына, за всех погибших безо времени молодых людей? А если согласны на такую скидку, то почем с головы они ценят у себя там своих сыновей?

Она говорила это плавно, ровно, как сказывают детям сказку на ночь. Только звучало это у ней как-то по-особенному, высоко, стеклянно. Не могла она так говорить в своей обычной речи. Человеку, так постоянно говорящему, долго бы не жить.

— Ну, спасибо, что разделили со мной мое горе,— сказала женщина под конец. Но это были уже не те слова. Разделить чужое горе нельзя.

Денис попытался пробормотать ей что-то утешительное, но умолк, почувствовав, что выходит праздно и ненужно. Уязвление чужим горем надо лишь претерпеть в почтительном молчании. Катеринка, встав, молча обняла скорбящую мать, коснувшись щекой ее волос. Но женщина сказала:

— Не троньте меня, девушка. Не то разревусь, а со слез разболеюсь. Мне вот и плакать стало нельзя. Лишаюсь последнего бабьего удовольствия.

Словно постаревшими на тридцать лет,— по десять лет на каждого,— вышли двое молодых ребят и девушка из этой горе-горькой квартиры.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Даешь науку, голодранцы!

Зимою снег, даже в городе, сгруженный в отвалы вдоль панелей, кажется трогательно-чистым. Зимой не побрезгуешь в любом месте подхватить на ходу горсть снега и, уплотнив его в ладони, сунуть в рот. Но уже с первыми оттепелями, когда солнце начинает присаживать снежный покров, делается видимым, что снег вовсе не чист, что всю зиму, падая с поднебесных высот, он увлекал с собою пыль и копоть, которые невидимо глазу всегда висят в воздухе над таким городом, где по всем окраинам медлительно дымят десятки труб заводских цехов и котельных.

Весна не только пора говорливых ручьев и солнечного сияния, вспыхивающих наново, как блики света на бахроме сосулек, новых надежд на что-то лучшее. Она также — и пора, когда снег из чистого делается грязным. Кому могут нравиться грязь, слякоть под ногами. И все же весенняя грязь — совсем не то, что нагнетающая на людей скуку и раздражение осенняя распутица. Весною знаешь, что всю нечистоту унесет с собой талая вода. Весной свершается как бы умывание земли, такое же привычное, служащее потребностям всего живого, как утреннее умывание человека.

Денису Хаританову та весна осталась памятной потому, что в ту пору его положение в семье стало таким, что хоть уходи куда глаза глядят. Хоть начинай хлопоты о месте в каком-нибудь общежитии. И неестественность, нелепость этого положения была в том, что отношения с родителями во всем, кроме одного пункта, могли бы оставаться по-прежнему добрыми, семейными.

Он знал, что когда мать сказала ему те суровые слова: «если так, уходи куда хочешь», она все равно любила своего парня, и он, запальчиво ответив ей: «ну и уйду», тоже любил своих стариков прежней, никому не видной, естественной и скромной сыновней любовью. Но эти слова и той и другой стороне было необходимо сказать. При сложившихся обстоятельствах было не обойтись без того, чтобы не поссориться.

Надвигалась пасха, традиционный русский праздник, который, если честно сказать, и подросткам в поселке был всегда интересен и желанен тем, что приносил с собой дни, свободные от всех и всяких работ, тихую ведренную погоду и, наконец, целую неделю праздничной добротной и лакомой еды. Старики, придерживаясь старых обычаев, месяца полтора до праздников жили сами и держали ребят на скудной и грубой пище, чтобы зато пасхальную неделю потешить душу праздничным столом.

В семье Харитановых было принято, как и в большинстве семей в поселке, в пасхальную ночь не спать. С вечера ложились часа на два, на три, чтобы к полуночи встать. Мать оставалась дома, затевая большую стряпню, отец одевался во все свое лучшее, «на выход в люди», и отправлялся к пасхальной заутрене. В детстве, до поступления в училище, и Денис аккуратно ходил с отцом к этой пасхальной службе. Потом как-то естественно и просто отстал от этого обычая.

В том году к встрече праздника начали заблаговременно готовиться не только верующий, пожилой народ, но и комсомольские ячейки города. Только верующие собирались отпраздновать его впервые, после долгих тяжелых лет, по-стародавнему — соблюдая весь тяжеловесный пышный и многосторонний праздничный ритуал, благо наладившиеся условия жизни позволили теперь это сделать. Комсомольцы же собирались встретить и провести его как свой контрпраздник, как демонстрацию отрицания всех прежних верований и обычаев.

Дня за три до «святого дня» на комсомольское бюро художественно-промышленной школы пришел Посохин из горкома комсомола. Предстоящая «комсомольская пасха» была первой, и ребята забросали городского вожака вопросами. Что можно и что нельзя делать, демонстрируя свое отрицание православного праздника? Кроме факельной демонстрации, какой стратегии и тактики дер-

жаться дома, в семьях? Отнестись ли с должным вниманием и почтением к домашним куличам и крашеным яйцам или бойкотировать их? В пасхальные дни еще никто в городе не запретил церковникам ознаменовывать свой праздник не затихающим с утра до вечера малиновым ликующим колокольным звоном. И Сашка Верстов спросил Посохина: нельзя ли в первый пасхальный день, в виде опыта, захватить одну из колоколен и исполнить на мелких колокольцах нашенскую лихую «Ай да ребята, ай да комсомольцы...»?

Но Посохин разъяснил только то, что относилось к ночной демонстрации. Другими же, каверзными вопросами пренебрег. Он сказал:

— Факела и наши боевые песни — вот наш арсенал на эту ночь. Эксцессов, иначе говоря, необдуманных поступков, не допускать. В самую церковь не соваться: там их территория, а церковь у нас отделена от государства глухой стеной. Но по-за церкви чтобы далеко окрест было видно и слышно, что комсомол не сонное царство, а есть организованная сила.

— А точнее как? — спросил Алешка Тимкин.— Там большой старый церковный сад. В саду будет чья территория?

Из всего сказанного Посохиным у них на бюро ребята поняли только одно: что он и сам немногим лучше их представляет себе, как должно провести «комсомольскую пасху», что можно и чего не следует делать. Из немногого, резонно объявленного им, они узнали только, что часам к одиннадцати — за час до начала ночной службы в церквах — городской комсомол соберется на главной площади города и что следует при этом быть при факелах и плакатах-транспарантах. А потом отдельными колоннами демонстрация разойдется по церковным площадям. А там уже вести себя по собственному разумению.

Ночь была такой, что, только проведя ее в веселой сутолоке и бодрствовании, поймешь, как много потерял бы, если бы беспечно продрыхал с вечера до утра.

Дни пасхи почти всегда бывают солнечными, сияющими весенней чистотой, а ночь на пасхальное воскресенье — темна, глубока, непроглядна. Верующие всегда видели в этом божественное установление. Люди же, верящие в науку и человеческий ум, тоже издавна находили этому иное объяснение, утверждая, что просто в седой древно-

сти составители календаря уже были знакомы с астрономией. И смещающийся в числах апреля-мая день пасхи был на века вперед расписан на дни обычного в природе метеорологического покоя и ясности, на ночи глубокого новолуния.

Но как бы ни мудрствовали, чем бы ни объясняли люди это явление, природа с величавой и ласковой щедростью дарит им весной такие дни тепла и жемчужных воспарений. Весны не бывает без таких благодатных дней, и природе мало дела до того, в какой форме люди выражают благодарность за ее щедроты. Не были бы только неблагодарными ей, пасынками ее.

На фасаде Успенской церкви в Верх-Палице уже были зажжены плошки, когда колонна душ в полтораста комсомольцев с факелами вступила на площадь. Горящие плошки были подвешены частой цепочкой по всему контуру церкви, четко наметив огненный крест, словно особняком висящий в воздухе. Огни эти мало что освещали, только что придали зданию непривычный плоскостный вид театральной декорации, где глубина сцены была затянута непроницаемо черным бархатом.

Денис подумал: кто-то ведь сделал эту работу, днем навесил по всему фасаду церкви эти несколько сотен тускло и золотисто горящих плошек, а потом ночью карабкался на высоте, зажигая их, рискуя зашуршать по куполу и скату фронтона вниз, костями о камень.

Время начала службы в церквах, а значит, и время антирелигиозной демонстрации были известны и рассчитаны. Но тут, видно, всего рассчитать было все-таки нельзя. Колонна прибыла вовремя, дважды обошла вокруг церковной ограды. А дальше что было делать? Факелы выгорели, голоса поющих ребят осипли от влажной ночной прохлады. А в церкви, все еще внутри ее, длилось торжище — хорошо слышимый при всех открытых дверях бубнящий рокоток голосов и время от времени всплески пения клиросного хора.

Может быть, полчаса прошло, пока из всех трех церковных дверей, как паста из тюбиков, выдавилась, сливаясь в одну, толпа и пошла вокруг здания. Колонна комсомольской демонстрации к этому времени расстроилась, ребятам наскучило ожидание дела. Они, проникнув за ограду, уселись, как грачи, на ее каменном цоколе и на верхней тетиве кованой решетки. Двинуться шествием

встречь крестному ходу прихожан, как было условлено, теперь было поздно. Но не поздно было запеть свое, а песня — дело вольное, никому невозбранное. Где-то в одном звене церковной ограды кто-то находчивый рявкнул «Молодую гвардию». И словно огонь по запальному шнуру, песня побежала вдоль ограды, заглушая слабое бормотание неспевшихся, кто в лес, кто по дрова, голосов крестного хода.

Готовясь к своей антипасхальной демонстрации, ребята думали, что это можно сделать запросто — составить расписание ее, и тогда уже все пройдет по-расписанному. И только теперь поняли, что такого расписания-сценария составить было невозможно, потому что всегда при таком деле появляется много разных подробностей, которые невозможно предвидеть. А от них все дело поворачивается иначе и по-разному. Нельзя было предвидеть, что вся демонстрация сведется только к тому, что им придется сидеть на ограде и петь свои песни наперекор нестройной молитвенной тянучке толпы крестоходцев. А другого ничего и делать не нужно, все другое будет лишним.

Нельзя было предвидеть, что все у них составится словно по предварительному договору с участниками пасхального шествия. Они как бы приняли обязательство дальше ограды на церковный двор не проникать, а те ответно обязались делать вид, что не замечают ребят, облепивших цоколь и решетку ограды и поющих свои песни. Песня — вольное дело.

Нельзя было предвидеть, что трое парней появятся в саду обходом по периметру ограды. Под редкими старыми деревьями, в стороне от процессии, идущей вокруг церкви со свечками в пригоршнях, лиц этих парней совсем невозможно было разглядеть, но и по голосам нетрудно понять, что это молодые люди, лет по двадцати пяти каждому, и что настроены они не по-пасхальному, а мрачно, драчливо.

— Вы, комсомолы, озоровать сюда пришли? — очень низким, ночным поножовщицким голосом спросил, приостанавливаясь, один из них.— Отчаливайте отсюда.

Но сказал неуверенно, как бы и не надеясь устрашить этих не хуже его дерзких ребят возле ограды. Кроме того, затевая ссору, надо хоть видеть лица своих противников и чувствовать себя в своем праве. А тут этот приходский патруль, подручные церковного старосты могли видеть

только то, что противников не горстка, а целый отряд, занявший все церковное предполье. А продвигаться на ближние подступы к церкви они пока что и не собираются. А петь среди ночи кому что по нраву никому не запретишь. Одни поют «Христос воскресе», другие «Молодую гвардию» и «Сергий-поп».

— Ты, молитвенник, прогони, если силенки хватит,— откликнулся патрулю от оградной решетки чей-то мальчишеский, ломкий голос.

— В святую ночь токо мне мараться неохота,— поделился своим раздумьем все тот же патрульный.— А то бы у меня получил ножа. Ну, завтра все-таки получишь, комсомол.

Церковная процессия между тем, дважды обойдя здание, снова втянулась внутрь. И от нее остался только на весь сад слышимый запах ладана, восковой гари и одежды, надеваемой два-три раза в год, а в другое время хранящейся в сундуках. И казалось, именно этот особенный, специфично церковный запах больше всего другого заставлял думать о прочности религиозных привычек у людей, с которыми бороться придется долго и трудно. Что оно такое — «комсомольская пасха»? Много ли отвоюешь этими демонстрациями? Может быть, время надо считать самым надежным оружием в этой борьбе со старым? Но ведь на время полагайся, но и сам не будь плох.

Возможно, нечто в этом роде думали ребята, когда за оградой кто-то из вожаков демонстрации прокричал, не очень успешно стараясь, чтобы получалось забавно:

— Становись обратно в колонну, рогами на Проезжую улицу, хвостом на Полярную звезду. Никому не отрываться по дороге.

Но отрываться по дороге никто и не собирался. Ночь была одной из таких ночей, случающихся только весной да в пору зимних полнолуний, когда особенно отрадно бывает бродить по улицам, радуясь не зная чему.

А Денису особенно в эту ночь не хотелось идти домой. И он знал, с чего в нем взялось это тягостное желание оттянуть насколько можно свое возвращение домой. Когда они колонной входили на площадь, среди стариков, тянувшихся цепочкой в церковь, он заметил отца. Видел ли его отец в ряду демонстрантов? Зрение у Алексея Денисовича такое острое и приметливое, что он при любом свете зорче кошки углядит все, что ему надобно. Да и

разве в том дело: видел ли его отец. Неприятно и унизительно даже то, что ему, Денису, хотелось бы, чтобы отец его не заметил.

Из года в год в семье Харитановых велось так: к приходу отца от пасхальной церковной службы уже стоял развернутым и накрытым небольшой, по размерам избы, самим Алексеем Денисовичем по собственному чертежику сделанный раздвижной стол. Пожалуй, только раз в году, при этом раннем,— часу в шестом утра,— застолье, мать как-то устраивалась так, чтобы самой не приходилось лишний раз вставать из-за стола, заранее все выставляя. И сама успевала принарядиться к этому часу.

Денис вернулся домой почти одновременно с отцом. Он не приноравливался прийти именно к этому времени, наоборот, хотел бы появиться дома позднее. Но после демонстрации они пошли всей оравой в клуб и там развлекались кто во что горазд почти до утра. Но как ни будь хорошо и весело на таких клубных вечерах, все равно приходит такая минута, когда оживление и веселье,— как-то у всех разом,— кончаются, иссякают, словно кто-то привернул кран, остановив бьющую из него воду. Далеко за полночь, но такая минута пришла; стало ясно, что пора расходиться. Денис, хотя и шел домой не торопясь, но все равно успел к столу.

Еще в сенях он услыхал знакомый и всегда приятный запах большого праздника, запах матушкиной стряпни. Вошел в избу с тем чувством, что все же лучше бы не приходить в такой час домой. Ведь если он отрицает родительский праздник, так надо отрицать до конца и во всем.

И он чувствовал также, что эту неловкость и обоюдное недовольство испытывают и его старики. Только Венька был свободен от этой неловкости. Он спокойно спал ночь, бессознательно придерживаясь совершенного нейтралитета. Мать его только что разбудила, и он стоял возле стола с глянцевитой после умывания рожицей и припухшей верхней губой. Он даже покряхтел от удовольствия, поглядывая на все выставленное на стол.

За столом ни отец, ни мать ни словом не дали Денису понять своего раздражения. Лишь позднее, днем, когда мать спросила отца о чем-то по поводу ночной церковной службы, он сказал, указывая на Дениса:

— Ты вот его спроси, на какой службе он был ночью.

Дня три старики больше к этому не возвращались. Не хотели омрачать себе праздник. Но Денис знал, что разговор будет, так же как предвидел, что ссориться придется с матерью. Отец будет молчать либо вообще уйдет на то время из избы. В семье было так принято: отцу принадлежала как бы верховная власть, матери — исполнительная.

Даже и то, что скажет мать, он знал заранее. Потому слушал ее так, словно это говорилось ему не впервые и уже прискучило: «Нам безбожников в доме не надо» и «Набрался там, в своем комсомоле, фармазонства всякого». Ответил матери тем, что сказалось с маху:

— Был бы я седун-паралитик... Сидел бы сиднем возле тебя тридцать лет и три года... Только при этом не набрался бы ни от кого. Но мне жить среди людей.

На этой ступеньке из крутой лестнички-перебранки мать и сказала то свое ожесточенное: «Тогда уходи куда хочешь». А Денис ответил неуступчиво: «Ну и уйду». И каждый из них повторил все те же слова по нескольку раз, как бы пробуя привыкнуть к их звучанию.

Под вечер мать ушла в смежный с тесовыми сенями чулан, где на лето устраивалась запасная спаленка. Сейчас еще было рано там кому-нибудь спать. Но мать закрыла за собой дверь и, было слыхать, прилегла там. Проходя мимо, Денис слышал, как она тяжко дышит там, удерживает стон. У ней было больное сердце, и, когда случались приступы, она всегда уходила в чулан, чтобы перемочься и чтобы никто этого не видел.

Каникулы-отпуска в училище с первого года устанавливались не по школьному, а по советскому закону о труде. Длительность их Александр Иванович сам исчислил в том количестве рабочих дней, сколько полагалось по кодексу, считая прибавку на вредность производства и на неполное совершеннолетие ребят. И ни одного дня больше.

Может, и этим он хотел лишний раз показать принадлежность своих ребят к рабочему классу как со всеми его правами, на которые никто не смеет посягнуть, так и обязанностями, составляющими тоже рабочую гордость. Поэтому только на вторую половину июля и первую — августа пустели классы училища и затихала клубная суета по вечерам.

Был конец мая, и школяры начали подумывать об отпусках, когда можно будет на целый месяц проститься с,— черт бы ее побрал,— школой. Но при этом они уже были приучены к тому, что рабочий человек должен до последних предотпускных дней трудиться с той же охоткой и усердием, как весь год, и что на всякого рода комсомольских делах тоже не должны сказываться отпускные настроения.

В один из майских вечеров в распахнутую по-летнему, тяжелую резную дверь клуба вошел странный человек. Если бы в тот час в клубе появился на задних лапах, приветственно потряхивая башкой, медведь, то и тогда клубные посетители удивились бы не больше. Кое-кто подумал даже, что вошел, нарядившись в подрясник и искусно загримировавшись, кто-нибудь из своей братвы. Нет, все-таки это был натуральный поп.

Не удивился только Денис Хаританов, стоявший на верхней площадке бывшей барской лестницы. Этого гостя он поджидал, должен был встретить, провести его за кулисы клубного зала. Встретить гостя ему было поручено в том рассуждении, чтобы кто-нибудь из молодежи не смог позволить себе неуместные выходки. Кроме него о приходе в клуб попа знали еще только комсомольское бюро и клубное правление.

Пришедший между тем неторопливо прошел к вешалке, подал гардеробщице тете Даше балахон на шелковой подкладке, шляпу и трость. Оторопевшая тетя Даша приняла поповское одеяние, повесила на видное место, чтобы висело особняком от других одежек. Нет, поп не мог пожаловаться, что его встретили в рабочем клубе без должного почтения.

Без неуместных выходок все-таки не обошлось. Когда он поднялся по лестнице и шел по коридору, кто-то с комическим испугом сказал: «Гли, поп-ф», сделал губами озорное «пф» на последнем звуке слова.

Кто-то вполголоса, суматошно вскрикнул: «Ребята, держись за пуговицу!»

И тут, ведя попа за кулисы, Денис впервые подумал: а не напрасно ли я затеял эту канитель?

Он был уверен, что это же подумал Коляда Железцов, когда поп спокойно, как к себе в алтарь, вошел в служебную комнату за клубной сценой, сел к столу, вольно положив руку в широком рукаве на стол, настроившись тер-

пеливо ждать. Пришел он аккуратно, за полчаса до сказанного времени, ничем не смущающийся, тертый поп.

В те годы в комсомольских кружках и организациях все делалось с задором и выдумкой. А среди многих дел, за которые горячо бралась удалая комса, одним из важных считалась пропаганда безбожия. И диспуты на глубокомысленную и жгучую тему «Есть ли бог?» устраивались часто. Иногда это были жестокие словесные публичные схватки между церковниками и видными партийными пропагандистами. Незадолго до того был устроен такой диспут в городском театре между неким церковным сановником и известным в городе товарищем из старых большевиков. Но чаще в рабочих клубах такие диспуты были инсценированными. Кого-нибудь из своих ребят наряжали в подрясник, извлеченный из клубного реквизита, нарочито карикатурно подгримировывали его...

Денис в своей ячейке второй год ходил в организаторах агитационно-пропагандистских затей. И редкий день, идя ранним утром по своей поселковой улице в училище, он не видел этого попа сидящим на скамейке перед домом.

Начиная с первых теплых весенних дней до осенних заморозков поп имел привычку выходить на скамейку, сидеть, щурясь на радужный солнцевосход, курить и откашливаться, плюясь далеко через пешеходную тропу, когда близко не виделось прохожего.

У Дениса же давно лежала на совести нереализованная помета в плане работы: провести антирелигиозный диспут.

И ему пришла в голову каверзная мысль: если уж устраивать такой диспут у себя в училище, то почему бы не с настоящим, натуральным попом. Кто-то из ребят сказал по этому поводу: а не сядем мы в лужу? Попы — народ грамотный. Выстегает он нас так, что будем потом три дня держаться за штаны. Может, это и подтолкнуло Коляду Железцова вступиться за Денисово предложение. Может, обидным показалось Коляде, что какой-то там ошелудивевший в своей косности поп сумеет одержать верх над ними — дерзкими строителями новой жизни.

Но когда дошло до дела, Денис почему-то три утра подряд, проходя мимо сидящего на скамье попа, не мог насмелиться остановиться и изложить ему свое деликатное предложение. На первый раз он только замедлил

шаг и сдержанно поздоровался с ним. И поп подсевшим от курения баритоном звучно сказал:

— Будь здоров, юноша, храни тебя Христос.

Было уже легче на другое утро остановиться, вступить с ним в деловой разговор. Утро было благодатным, чистым, с той легкостью воздуха, в которой особенно резко улавливаются все людские, посторонние этому утру запахи. От попа же пахло табаком и чем-то специфически поповским, может, его подрясником. По утреннему холодку он был наряжен в длиннополую свою хламиду на вате, надетую на белье. Подштанники с завязками виднелись из-под хламиды, и Денис подумал: «Не очень обиходница у тебя попадья, отче. Простые бабы в поселке куда щепетильнее, чем она, к качеству стирки. Случается, в глаза засмеют такую хозяйку, которая этак вот застирывает бельишко до желтизны».

Противу Денисовых ожиданий поп не отказался от приглашения к состязанию. Сказал только, что не хотел бы отвечать сейчас, не сходя с места. Если можно, он ответит завтра.

А назавтра он ответил Денису окончательным согласием.

По своей привычке, может быть, заимствованной от отца, Алексея Денисовича, делать все, за что взялся, щепетильно и чисто, Денис все эти дни беспокоился о том, как пройдет этот вечер-диспут. Все-таки он первым предложил пригласить в клуб заправдашнего попа и сам подбирал оппонентов ему. Но сейчас часть дела, входившая в его обязанности, была сделана, сам он выступать на диспуте не собирался. Схватиться с попом было поручено четверым учащимся. И больше, чем на других, Денис с Колядой полагались на Алешу Тимкина.

Через боковую невысокую дверь Денис направился из-за кулис в зрительный зал и увидел Алешу, примостившегося за стопой декорационных боковин на подоконнике с какими-то бумажками: значит, Алеша подготавливался к диспуту не тяп-ляп и на него можно было положиться.

Алеша Тимкин был у них самый книгочей, очень развитой парень. А поглядеть на него — низкорослый,— мельче даже Сашки Верстова,— голован с шишковатым черепом и, по первому впечатлению, болезненным лицом.

Зал понемногу заполнялся, и Денис с удивлением заметил, что кроме обычных посетителей клуба, рабочих

гранильного и камнерезного предприятия, кроме «своих» в зале особняком, своим настороженным гнездом сидело десятка полтора гостей, которых он никогда ранее здесь не примечал. В большинстве это были пожилые женщины с замкнуто-напряженными лицами. Было нетрудно понять, что они явились в это нечестивое место впервые, что это люди из числа прихожан, приверженцев приглашенного служителя церкви, и сидят здесь только затем, чтобы послушать, как их наставник впрах разобьет в споре о боге своих противников.

Зато школяры и молодежь с предприятий ожидали предстоящей потехи с той же легкой душой, как обычно ждут киносеанс с заранее известными дурачествами Пата и Паташона. Какой-то забавник рассказывал о способе, с помощью которого монахи колют сахар, и ребята смеялись так, что осыпалась пыль с лепных барочных карнизов под потолком.

Возвращаясь снова за кулисы, Денис сошелся в дверях с Колядой, который запаздывал к началу и с деловитой спешкой пробирался среди людей. Задержав его, Денис рассказал, что, похоже, поп пришел на диспут не в единственном числе; в зале сидела целая группа людей, составляющих его клику.

— А ты думал,— озабоченно и как бы со значением сказал Коляда.— Для него — это трибуна. Поэтому смотри...

Это «смотри» следовало понимать только так, что он не собирается брать на себя ответственность за возможный камуфлет с этим, черт его побрал, диспутом. Да, спросится за это с него, Дениса.

По какой-то надобности Денис отлучился минут на пять в клубную канцелярию, а когда вернулся, то двери в зрительный зал были уже прикрыты. Денис осторожно вошел в первую от подмостков дверь, присел с краешка на свободный стул.

Нацелившись доказать рабочему люду наличность бога, косматый старик в подряснике, стоящий за узеньким пюпитром на подмостках, уже запустил свой волчок. И Денис отметил, что как бы там ни было дальше, а тон беседы он нашел правильный, выгодный для себя. От него ждали, что он будет говорить в проповедническом, певучем, фальшиво-задушевном тоне, привычном ему и церковной пастве. А он, оказывается, умел и иначе: от-

четливо, плавно, бесстрастно. Как школьный учитель, излагающий классу законы электромеханики. Хотите — слушайте, хотите — нет, но не ждите поблажки потом, на экзамене.

Поп начал с того, что, по его мнению, на афише клуба был неверно обозначен сам предмет этой беседы: «Есть ли бог?» Об этом спорить нельзя. Спор об этом будет противоречить самой природе человека. Один будет говорить: есть, кто-нибудь другой скажет: нет бога. И при этом не будет неправого. Бог есть для того, кто уже успел его познать; его нет для того, кто еще не успел этого. Он согласен шагнуть даже дальше, признав, что неверующий нужнее миру, чем тот, кто достиг успокоения в своей вере. Подсолнух, уже расцветший, с созревшими семечками, готов лишь к тому, чтобы поступить на маслобойку. У еще не распустившегося подсолнуха все впереди. А разве не та пора года лучшая для нас, когда мы ждем начала цветения трав?

За столиком на сцене в качестве регулировщика прений сидел Федя Михеев. И, может, с первых минут, пока Денис отлучался в канцелярию, он благословил такой порядок диспута, чтобы каждый мог выплеснуть в русло беседы свое. Было бы только к делу и к месту.

Алешке Тимкину этот нестеснительный регламент диспута был вполне по душе. Сидя в первом ряду, он после слов проповедника о подсолнухе взметнул руку и, не дожидаясь от Феди Михеева разрешительного жеста, принялся бодаться:

— Изящное, но не приложимое к сути дела сравнение,— заговорил он.— Если вы хотите сказать, что вместилище вашего божества — человеческое сознание, то ведь оно подчинено совсем не тем законам, что растительный мир. Кроме того, я не согласен, что неправильна самая постановка вопроса: есть ли бог? Все религии только на этой спице и держатся — на убеждении, что имеется где-то верховное существо, создатель и распорядитель мира. Где? Этого никто еще не сумел узнать. Говорят, он вездесущ, то есть находится везде. А по нашим понятиям, везде значит нигде. Ум человека не может принять вневременных и внепространственных понятий. Не принимает их, как унизительные для себя. Может, религиозные побасенки о боге еще не мешали человечеству, не висели на нем, как ядро на ноге, пока оно находилось в полуди-

карском состоянии. Теперь же они только мешают нашему движению вперед...

— Движение вперед...— подняв в свою очередь руку ладонью вперед, остановил своего оппонента старик в подряснике.— Задержитесь на этих словах. Запомните, что человеческий язык слаб и неверен. Всякая, впервые выраженная в словах мысль — золото. Мысль, затверженная, бездумно повторяемая с чужого голоса,— прах и ложь. А кто вам сказал, что движение вперед есть благо? Это ведь тоже еще надо доказать, что мы сейчас живем счастливее, чем жили люди триста лет назад. И что те, кто будет жить через триста лет после нас, будут счастливее. Знаю, что навлеку этим на себя ваше презрение и гнев, если скажу: ничто не принесло человечеству столько несчастия, как это движение вперед. Прогресс, цивилизация — это как раз то заклятие, которым господь бог наказал наше порочное, неугомонное племя.

— Ну, договорились,— насмешливо сказал Алеша Тимкин.

— Да, договорились,— подтвердил его оппонент.— И я говорю это вам, чтобы знали, кто перед вами встал на суд ваш и осмеяние. Ретроград и косный человек есмь. Но вы над этим все-таки подумайте. Впрочем, понять сказанное в вашем счастливом возрасте — сие человеку не дано. Для этого надо прожить долгий век. К тому же это и сказано мною лишь между прочим. И об этом довольно; не следует нам отвлекаться от предмета беседы. Предмет же беседы: есть ли бог? Помните, кто сказал: если бога нет, то надо его выдумать? Пронзительного ума человек, всю жизнь боровшийся с вероучениями, пришел-таки к этому на склоне лет. И еще сколь вам угодно много я могу назвать мудрецов земли, которые обратились к богу в старости своей.

— Погодите,— наставительно, как старший младшему, сказал Алеша.— Мы встретились с вами для того, чтобы вести честный спор, не так ли? Тогда не стоит искажать к своей выгоде мысли великих людей, ссылаясь на них. Ниоткуда мы не видим, что Вольтер на склоне лет обратился к богу. Это был великий насмешник и да — пронзительный ум. В его время господствующие классы должны были выдумать бога, чтобы именем его держать свои народы в упряжке. Только так надо понимать ловко прихлестнутый вами его афоризм. Так что потрудитесь

спорить с нами, соблюдая честные правила. Но я тоже не хочу отвлекаться от предмета беседы, поэтому позвольте спросить: надо ли вас понимать так, что и вы не настаиваете на наличности божества как распыленного в эфире начала — создателя, провидения, бестелесного, непознаваемого, имеющего, однако же, имена: Саваоф, Ягве, Будда? Потому что надо же было народам как-то именовать этого вездесущего. Можно ли вас понимать так, что на худой конец вы согласны повесить нам на шею своего бога, хотя бы как каркас морали, как свод и факел праведной жизни? Если так, то надобность в кодексе морали не отрицают и коммунисты. Только этот кодекс будет иметь основой сознание просвещенного человечества. И без всякого идеалистического плутовства.

— Понимать меня надо вот так. Представьте себе готический собор. Стоя под самой его стеной, естественно, увидишь только грубый камень и швы кладки, застывший раствор из извести и песка. Это его материя. Но отойдите вы на сотню шагов от фасада собора, и уж нам не видно станет ни камня, ни швов кладки. Зато теперь увидите трогающую за душу его красоту. Это душа красоты. Кто из вас дерзнет сказать, что красоту можно постичь умом? Мы живем в такое время, когда идеалистические взгляды на скорбный наш мир и грубый материализм встают во все более враждебные отношения...

Еще одна рука поднялась во втором ряду. Это была рука Сашки Верстова.

— Насчет «души красоты», насчет готики и архитектурных стилей нам интереснее рассказывает наш учитель Арнольдов. Мне кажется, гость наш опять хитрит, уводя спор на другую линию.

— Духовное и грубо материальное — вот два начала, между которыми издавна идет спор,— прервал его лохматый старик в подряснике.— Спор идет как в обществе, так и в каждом из нас. Отрицание бога есть отрицание всего духовного.

— Нет, подождите,— продолжал Сашка Верстов.— Даже если не откинуть напрочь пример с готическим собором, то ведь собор построен человеческим трудом. Мы не отрицаем красоту и сами хотим любоваться ею. Но мы не позволяем себе забывать, что, за исключением даровых красот природы, во всем прекрасном воплощен человеческий труд. Идеалисты же хотели бы закрепить раз-

деление общества на две неравные половинки. Пусть большая половина создает красоту, а кстати, и всякие другие нужные для жизни блага. Они же оставили бы за собой другую обязанность: пользоваться созданным чужими руками.

Не отвечая ему, поп молча повернулся к Феде Михееву. И едва ли кому в зале, до задних ребят, был непонятен их безмолвный диалог.

«Я так не могу,— как бы говорил поп.— Совсем наперекос пошла беседа».

«А кто виноват? — как бы с усмешкой вопрошал Федя.— И у вас не вовсе кстати вышло это, насчет готического собора».

Обращаясь в зал, он все же призвал не увлекаться, говорить по существу.

Денис, весь навострившись, следил за тем, как поп ведет спор. Было подозрительно, что тот ведет себя в споре что-то слишком уступчиво, легко соглашаясь с тем, с чем согласиться ему было, по-видимому, не жаль. Даже от церковнических оборотов речи воздерживается, разговаривает как заурядный оратор-профсоюзник.

И Денис подумал, мысленно обращаясь к Тимкину: «Хитрит поп, держи, Алешка, уши торчмя».

Поп между тем еще раз попытался увести беседу в иной поворот. Он сказал: может, им лучше разобраться сначала в том, что полегче. Почему, например, уже восемнадцать веков человечество помнит и чтит имя Иисуса Христа. Жил когда-то человек, ко властителям мира вовсе не принадлежавший, не добиваясь власти и презирая ее. Жил бродячий философ, который не одной только пропагандой своего учения, а примером праведной жизни повел за собой миллионы простых людей... Величие человека испытывается только временем и сохранностью его имени в памяти людской. Разве могло бы христианское вероучение так долго владеть умами, не обладай оно великой силой праведности...

— Позвольте,— опять взвился со стула Алешка Тимкин.— Вы говорите все это так, будто реальное существование вашего Христа — наукой доказанный факт. А это вовсе не так. Доказано противное: доказано, что жизнеописание Христа есть миф, вымысел. Потому что миф существует в нескольких, не во всем схожих вариантах.

— О нем упоминает крупнейший историк своего вре-

мени — Тацит, который родился предположительно через полсотни лет после рождения Христа.

— Э-э, не надо плутовать,— дружелюбно-насмешливо поправил его Алеша Тимкин.— Тацит нигде о нем не упоминает.

Сидевший рядом Решетков с коротким смешком ткнул локтем Дениса под ребро. Тацита Алеша, конечно, не читал. Неоткуда Алешке было взять Тацита, если его не было в их библиотеке. Но и поп, скорее всего, читал римского историка когда-то еще в своей туманной семинарской юности. Уж одно то, что Алеша сумел словить попа на передержке, было его успехом.

С этой точки диспут пошел еще беспорядочнее. Поп сказал что-то в том роде, что человечество погибло бы, не имей оно над собой какого-то духовного начала начал. Сама цивилизация обязана этому духовному началу...

— Понимаю вас,— подхватил Алеша.— Хотите сказать, что даже одна система нравственности служит оправданием христианского вероучения. Но систему нравственности люди все равно создали бы себе и без помощи непознаваемого божества. А оно, ваше божество, по строгой логике, не должно бы и браться за такую земную задачу — быть законодателем человеческих дел. Ваш божественный законодатель, стало быть, располагает правом предписывать людям их поступки, форму поведения. А если они не очень аккуратно исполняют его предписания, тогда что? Тут не обойдешься без того, чтобы не создать систему наказаний за всяческие человеческие промашки. Но это ведь божеству не к лицу. Наказывать людей и без вашего божества есть кому. Они обходятся в этом деле своими домашними средствами. Рубят друг другу головы, вздергивают на виселицу, сажают в тюрьмы. Установили на земле такой порядок, по которому одни живут в полном благополучии, другие — в бесправии и нищете. Что же, это делается по божескому предписанию? Тогда почему у вашего божества не хватило ума начать с другого конца: усовершенствовать сначала человечью породу? Вот коммунисты, например, намерены начать как раз с этого: понемногу облагораживать человека, изменять его сознание. Мы знаем, что будет нелегко, и первым делом потому нелегко, что вы, церковники, немало поработали, чтобы извратить человеческое сознание. Всякая религиозность есть истерия, и вы, отдать вам

должное, умело эксплуатировали душевное нездоровье людей...

...Коммунисты считают не самым главным делом — наказывать людей, важнее добиваться такого состояния, чтобы человек вообще считал неестественным для себя все, что плохо, несправедливо. Чтобы он не умел этого, как не умеет, например, ходить на руках.

— Сашка Верстов у нас отлично ходит на руках,— басисто сказал кто-то в третьем ряду.

— Почему бог вот так шаляй-валяй сделал свою работу,— продолжал Тимкин.— То есть почему он не создал человека совершенным существом?

Денис отметил себе: Алешка раскипятился по-настоящему только теперь. И, надо сказать, он добросовестно подготовился к спору с попом.

Чем дальше, тем запутаннее пошел разговор. Один за другим поднимались ребята. Но, как тетерева на весеннем току, говорили, слушая каждый себя.

Старик в подряснике пытался говорить, что христианство всегда выступало в защиту страждущих и обездоленных... Но тут, нетерпеливо вскочивший с поднятой рукой, Миша Гурвиц крикнул:

— Всегда ли? Надо бы самих угнетенных спросить, какой она была их защитницей? Давно ли церковь отслуживала свои молебны о ниспослании победы белому воинству? И говорят, у Колчака были батальоны, целиком сформированные из служителей церкви. Может, докладчик расскажет подробнее, как дьяконы и псаломщики воевали в колчаковской армии. Дело теперь прошлое, чего уж скрывать?

Кто-то из группы сторонников докладчика как бы про себя, но достаточно громко сказал:

— Еврейчиков бы хоть не пускали, когда о православной вере спор. Пусть бы выступали в своей синагоге.

— Я молебнов о ниспослании победы белой армии в своем храме не служил,— отвечал тем временем поп.— Победа не каждому воинству идет во благо. И еще скажу вам: не кровавые победы над ближними своими, а кротость и смирение охраняют человечество от погибели на земле. А одержав победу в любом виде, мы всегда тем самым убиваем частицу добра и света в себе. Сказано в писании: горе победителю...

— Но вот в нашем споре здесь сегодня вы ведь тоже добиваетесь малюсенькой своей победы,— живо возразил ему Тимкин.

— Не добиваюсь и не хочу, чтобы вы легковерно впитали в себя мою веру и крупицы бедного ума моего. Живите своим. Только выстраданная мудрость имеет стоимость и цену. Но ветер времени разрыхляет и крошит в мелкий щебень каменную твердь всех вероучений и твердынь.

Приоткрыв дверь в зал, Коляда Железцов поманил Дениса выйти. Они прошли в соседнюю комнату, сели на банкетку.

— А ведь намудрили мы с тобой,— сказал Коляда.— Ты хорошо слушал все, что говорил этот поп-пропагандист? По-моему, он от старости уже не при всем уме.— И, помедлив, прислушиваясь к гомону ребят, уже выходивших из зала, посоветовал Денису пойти все же туда, за кулисы, и поблагодарить попа.

Очень двойственно ребята из старшей группы относились к урокам Шнейдера. Иногда брюзжали: на черта нам знать эти древние, мертвые языки. Но очень уж любопытно, своеобычно латинист вел свои уроки.

На этот раз он начал с того, что твердо и четко, окрошивая мел в руке, написал на доске новое, незнакомое предложение:

— «Nosce te ipsum».

Сел, отряхнув руки, со всегда забавляющей ребят барственностью потребовал:

— Теперь я хотел бы, чтобы какой-нибудь из вас смельчак-дисципулюс прочел и перевел написанное мною.

Витька Решетков, лучше других успевавший в латыни, нерешительно поднял руку, не слишком уверенно перевел: носцэ — знать, узнавать... Узнаю тебя...

— Вот и я узнаю тебя, дерзающего перетаскивать с одного языка на другой то, что тебе еще неведомо,— с дружелюбной иронией сказал латинист.— Запомни, коллега, буквализмы всегда создают только путаницу понятий. Афоризм этот уже много веков философы без большого, впрочем, успеха внушают людям: познай самого себя.

— А смысл премудрости этой? — лишь вскинув руку

и не дожидаясь ответного разрешительного кивка, спросил Железцов.— Велика ли хитрость: знать себя. Грош цена тому, кто еще и в себе не разобрался. Да и кому нужно это интеллигентское самокопание?

— Ну что же,— с неожиданной уступчивостью согласился учитель.— Можно принять и такую вашу декларацию. Только всею историей цивилизации доказано, что с нею люди движутся не вперед, а вспять. Философия считает, что познать себя до конца крайне редко кому удается. И афоризму: «Познай самого себя» — в новом нашем политическом языке есть равнозначное понятие: самокритика. А сейчас перейдем все-таки к грамматическому разбору того, что написано у нас на доске...

Итак, прослеживаемой связи между тем, что говорил учитель Шнейдер на этом уроке, и их спором на семинаре вечером другого дня будто и не было. Но что латинист заразил их определенным настроением, заставил думать, это-то уже, наверное, было.

Тема занятия на их семинаре вечером была определена планом: «Партия, рабочий класс — руководящая сила...», и если бы на семинаре не отсутствовал по какой-то причине Александр Иванович, он прошел бы, как многие другие занятия, по-школьному, благопристойно. Но Александр Иванович на занятии не появился, и старшим на этот раз назначили Коляду Железцова. А с Колядой поспорить, завязать словесную драчку — одно удовольствие.

Коляда читал учебник политической грамоты. Прочитав два-три абзаца, он останавливался, принимаясь растолковывать текст «своими словами». И, конечно, получалось у него то же самое, только скучнее.

И Денис вовсе не собирался «оживлять» беседу, задавать ей тон, когда сказал:

— Все так. Но я где-то читал, что во всякой схватке, от уличной драки до большой войны, надо знать своего врага. Иначе дело может кончиться просто тем, что тебе раскровянят ряшку. По-моему, могущество партии как-то делается нагляднее, убедительнее, когда подумаешь, с какими враждебными силами ей приходилось схлестываться. А у нашей партии чего другого, а врагов хватало.

Только подумать — сколько у партии было врагов, хотевших в разное время ее смять, уничтожить! Но вот не вышло ни у кого.

— Так чему это учит нас? — заинтересовавшись, не запутается ли Денис, спросил Мишка Гурвиц.

— А это учит нас тому, что врагов партии и рабочего класса и сейчас не меньше. И напоминаю: противников своих надо знать, изучать оружие, которым они пользуются. Может, я сейчас запутаюсь и не сумею сказать... Есть у рабочего класса и его партии противники, известные, имеющие имя. Ну, из числа внутренних супостатов — антипартийные группировки, церковь с ее учением. Но есть противник, которому еще надо найти точное имя-звание. Не знаю, может, для ясности лучше это объяснить в индивидуальном, личном плане.

— Ну-ну, попробуй,— забавляясь тем, что Денис мучается словом, поощрил его Коляда.

— Попробую. Еще в начальной школе у нас был мальчик. Такой чистенький детеныш из хорошей семьи. Ходил в коротеньких штанишках и с белым воротничком поверх курточки. Мама приводила его в школу за ручку. На завтрак в ранце у него всегда оказывалось что-нибудь вроде булочки с маслом и сыром. А мы почти все в классе ходили в заплатанных портках и на завтрак приносили по две печеные картофелины. И вот, ничего этот парнишка не сделал дурного, но это был враг...

Другой пример. При белых в один дом на нашей улице к знакомой девушке часто приходил молоденький прапор. В аккуратной шинельке, тонкий в талии, как оса. Почему-то особенно ненавистна мне была его фуражка. Знаете, как делают такие щеголи: фуражка еще новая, но уже для фасона примята с боков. Однажды я видел, как известный у нас в поселке белый контрразведчик Манохин на наружной лестнице дома бил хлыстом арестованного большевика Кухтенко. Так вот, кажется, этого прапора я ненавидел не меньше, чем Манохина. Возможно, рассуждал приблизительно так: Манохин что? Это враг видимый, явный. Мы когда-нибудь расстреляем его, и делу конец. А прапор — враг, еще не понятый мною...

Кажется, Денис сумел-таки заинтересовать ребят. Слушали его теперь уже серьезно и в паузах терпеливо ждали.

Но вдруг на него накинулся Сашка Верстов, тот, от кого этого меньше всего можно было ожидать:

— Все как будто верно, но к чему это клонится — я пока своим умом не дошел. Кем-то написано, что кто пу-

тано излагает свои мысли, тот путано и мыслит. Курсив мой.

— Да подождите же, дайте человеку докарабкаться до конца.

— А что докарабкиваться? Если вам, умникам, все ясно, то мне — не вполне. Еще тысячу и один раз каждому из нас придется оценивать человека, стоя с ним лицом к лицу: до какого порога ты мне единомышленник и друг?

— И по каким же признакам ты собираешься определять человека? Ну, с которым лицом к лицу? — ровным, учительским тоном спросил Федя Михеев.— По словам? По делам его?

— По тому и по другому. Главное же по тому, что он умеет делать своими руками. Видали вы работу продольных пильщиков, слыхали их присказку в ритм хода пилы сверху вниз: «тибе — мине — подрядчику»? Видали грузчика, подымавшегося по трапу с «козой» на спине, а на «козе» — полсотни штук кирпича? Тогда не поймешь, что крупнее дрожит: прогибающийся под ним трап или колени козоноса. Видали вы прокатчика, который раздевается в предбаннике, а у него поперек поясницы, как кнутом ударено, — красная, местами кровоточащая полоса — разъедено потом под гашником штанов. Вот люди, которым я только и отдаю уважение...

...По-моему, надо принять такой порядок. В сорок лет человека, каждого, вызывать в какую-нибудь госкомиссию, чтобы доложить, сколько он успел выкласть кубометров каменной кладки, если это каменщик, или сколько подвесил провода, если монтер, или, на худой конец, велико ли озеро капустных щей, которые он сварил людям, если это повар в заводской столовке.

— Да ты сам много ли успел? — выкрикнул кто-то.

— Да погодите, дайте человеку досказать,— урезонивающе вступился за Сашку Федя Михеев. Но тот и сам умел огрызнуться:

— А мне еще не сорок лет. Когда доживем до этого возраста, тогда и опрашивайте. Одним словом, мне друг и брат — рабочий человек.

— А все остальные враги? Вот, скажем, Елизавета Семеновна. Ей уже за сорок, а она, пожалуй, дровишек для своей плиты расколоть никогда не умела. Она кто по твоему табелю?

— И думаете, вы меня на этом ущучили? — не сдавался Сашка.— Стою на своем: должна же быть какая-то разница в оценке человека. Извечного труженика и того, кто никогда не нюхал горячего масла в паровозной будке или запаха влажной земли из-под лемеха плуга!

— Ну, когда дело дошло до того, чтобы оценивать человека обонятельно,— обрадовавшись случаю посмешить ребят, сказал Миша Гурвиц,— тогда самым почтенным человеком придется считать нашего Фоку Зюзина, бывшего дерьмовоза. Уж он-то по своей прежней работе нанюхался всякого-разного...

Наверное, издревле людям был известен этот способ — общий хохот, чтобы остановить разошедшегося оратора, изнемогающего от бессилия выразить нечто тяжкое, еще не созревшее в нем до степени ясности. Физическое бессилие, может быть, куда легче бессилия ума. Обидно непонятый массами, Сашка Верстов сел, и Денис, участливо следя за ним, подумал: хоть бы не заплакал он здесь не к месту и не ко времени, дубонос, дятел, любитель истины.

Постепенно у Дениса стало увлечением: исподтишка, остро и жадно наблюдать людей, вникать в характеры. Но, увлекшись этим занятием, в школе, в клубе, он както не увидел, что у него под рукой, дома, растет стоящий внимания человечек — младший братик Венька, по-отцовски — Веничок.

Не то чтобы он его не замечал вовсе; трудно не замечать парнишку, который каждый день вертится на глазах, получая иногда легкий подзатыльник. Просто как-то неожиданно для себя обнаружил, что вот же — рукой коснуться можно, формируется личность со своими привычками, с характером, не похожим на другие.

Венька рос, как движется минутная стрелка часов: хода ее не увидишь, если будешь следить за нею не спуская глаз.

Очень любил Венька животных, птиц, а те тоже признавали его словно бы за своего. На него не шипели гуси, не брехали из подворотен самые неуживчивые собаки. А живущий в другом квартале улицы старый красноглазый петух, никого не пропускавший без того, чтобы не наброситься неожиданно сзади, не клюнуть в ягодицу,

ограничивался только тем, что шел несколько саженей рядом.

Летом Венька редко приходил из лесу, не неся что-нибудь живое — ежа, выпавшего из гнезда птенца с клювом, раскрывающимся, как кошелек для мелочи. Принес однажды двух тритонов, выловленных из лазурно-чистой воды родникового озерца в старых каменоломнях. Поселил их на жительство в молочной крынке, где они прожили у него до осени, мирно уснув в сентябре, в пору, когда тритоны впадают в зимнюю спячку. В другой раз принес пригревшегося за рубахой ужа. И встречные бабы испуганно шарахались от него, увидев змеиную головку, торчавшую из расстегнутого ворота рубашонки, потом начинали браниться, обзывая Веньку поганцем и колдуненком.

Мать не воспрещала Веньке его зоологические забавы.

Вот еще и мать... В семье она считалась совсем неграмотной. Правда, с первых классов начальной школы мать часто заставляла Дениса читать ей вслух почти все, что он приносил из библиотеки. Был у нее предпочитаемый жанр — исторические романы вроде «Князя Серебряного» или «Ледяного дома». Когда пошел в школу Венька, а Денис вслед за тем определился в художественно-промышленную, обязанности домашнего чтеца-просветителя перешли к младшему.

И вдруг, к своему великому изумлению, Денис однажды обнаружил, что мать не вовсе неграмотна. Как-то, явившись домой раньше обычного, он увидел ее сидящей над книгой и что-то пришептывающей.

Остановившись позади, он подождал, пока мать не подняла к нему смущенное лицо и притомившиеся помаргивающие глаза.

— Ты что же, читаешь? — спросил он.

Он перебросил страницы книги, открыв ее на титульном листе. Это был Лесков, его «Леди Макбет», книга, которую он и сам не успел еще прочитать. Снова открыв книгу где-то посредине, он поставил палец наудачу, против какой-то абзацной строки, потребовав: читай отсюда. И мать не слишком бойко, но и неплохо, вовсе не беспомощно прочитала ему несколько строк.

Сын захлопнул книгу, ужаленный желанием взять в ладошки лицо матери с его ранними морщинами, с его

печальной замкнутостью ото всех других, даже от сыновей. Но вместо этого только сказал:

— Так зачем же ты терзала меня столько лет, можно сказать, все мое детство, если сама читаешь так хорошо?

— Дай бог, чтобы тебе не пришлось испытать на веку терзаний больше, чем это,— с нетяжкой печалью, как бы даже рассеянно, ответила стареющая женщина.— А читаю я, видишь, как слепой подле огорода.

Но Денис только что убедился: читала она нескоро, но и не так уж плохо. Это им в школе приходилось прочитывать много и торопливо, чтобы успеть перемолоть, осилить, утрамбовать в уме целую прорву знаний. Читать всякого-разного, как молодые наголодавшиеся жеребята хватают свежее сено полным ртом. А мать, она что... Она не станет читать ничего такого, что не угодно душе. А уж то, что ей интересно, будет прочитывать с чувством, с толком, с расстановкой. Ей спешить некуда, возраст не тот.

И тут Денис, как будто только сейчас ему кто-то шепнул это на ухо, с торопливой болью подумал: ей же за пятьдесят. А в такие годы человеку действительно куда спешить? Все равно многое, не взятое еще от жизни, уже не взять.

Тревожно, неспокойно думалось и о Веньке. Что его ждет? Парнишке только десятый год. Родители станут немощными раньше, чем он будет способен позаботиться о себе...

«А ты на что?» — строго спросил себя Денис. Не зря в их поселковой рабочей среде люди, старея, со стесненным дыханием ждут, чтобы подрос их очередной в семье сын, их опора и надежда. Даже как бы торопят, чтобы поскорее подрастал, мужал. А как этому очередному, то есть ему — Денису, быть, если у него самого еще нет уверенности в себе.

Но пришла успокоительная мысль: ну, да там видно будет. Только вот время все же не стоит на месте, рвется вперед.

Выклеен правительственный бюллетень

Была у ребят и своя «Синяя блуза». В каком рабочем клубе обходилось без нее. Кружковцы-синеблузники и одевались для своих выступлений соответственно этому

рангу-званию — в просторные блузы-разлетайки с большими, как пропеллеры, галстуками-бантами. Имелись в комплекте этой робы также и сшитые по мерке каждому брюки для ребят и юбки для девушек. Только ботинки приходилось надевать у кого какие есть; на обувь для «Синей блузы» в клубном бюджете еще не выкроилось денег.

Тароватый на режиссерские выдумки Степша Попов придумал на концертах ставить в суфлерской будке сильный вентилятор. Было хорошо смотреть из полутьмы зрительного зала, как на клубных подмостках свои ребята в блузах то выстраивались тесной шеренгой, принимая позу стремления вперед, то развертывались в два крыла, то двигались разомкнуто из глубины сцены на свет цветных прожекторов. Словно гребенка ткацкого станка ритмически расчесывает двухцветную пряжу-основу. И Степшин вентилятор из суфлерской будки, нагнетая воздух, треплет блузы на кружковцах, создает полную иллюзию движения наперекор ветрам.

В тот вечер очередной дивертисмент клубной «Синей блузы» ребята ждали с особенным интересом. В ее программу на этот раз были вмонтированы вирши Сашки Верстова, сочиненные им о трудовых делах родственного школе камнерезного предприятия. Сашка без излишней скромности называл свое творение интермедией и ходил в этот вечер именинником.

С тугим шипением, словно паровоз коротко, наспех продул паром цилиндры, раскололся пополам тяжелый занавес, вспыхнули на шатких треногах софиты, перекрестно кинув в глубину сцены два световых луча. Кружковцы начали с обычного, знакомого вступления, составляющего их визитную карточку:

Мы синеблузники, мы профсоюзники,
Мы не баяны-соловьи.
Мы только гайки великой спайки...

Но только об этом и успела на этот раз оповестить своих благодарных зрителей клубная «Синяя блуза».

Завклубом Скородумов вышел к рампе и поднял руку. Ребята, оборвав декламацию на полуслове, недоуменно замерли. Скородумов в той растерянности, когда человек сам не знает, зачем это делает, принялся, загребая руками, сгонять ребят с подмостков. А после этого еще попы-

тался задергивать занавес руками за бахромчатую кромку, хотя лучше всякого другого знал, что сомкнуть его так нельзя, что делается это веревкой через блочное устройство.

Может быть, направляясь в зал из канцелярии, где по единственному в здании телефону узнал скорбную весть, Скородумов собирался сказать какие-то особенные душевные слова, но все они вылетели из головы. И сказались у него другие, неприготовленные:

— Сегодня в Горках, под Москвой, Владимир Ильич... Не стало его... В общем, жить мы должны по всей правде... Как он... по всей правде...

Собственно, бюллетени о болезни Ленина уже недели две печатались в газетах, а в последние дни, кроме утреннего выпуска, каждый вечер выходили еще вечерние приложения к газетам. Но бюллетени сообщали о болезни вождя то в осторожных фразах, то в обнадеживающих. Главное же было, наверное, в том, что весть о смерти такого человека бывает невозможно встретить подготовленным.

Вопреки всякой логике люди, может быть, неотчетливо и смутно, но рассуждали так: нам еще будет так трудно без него, поэтому смерть не посмеет...

Скородумов, кажется, хотел еще что-то сказать, но только задышал часто и болезненно, издавая звуки, похожие на журавлиное курлыканье, и, махнув рукой, поковылял прочь. Уже уйдя с людских глаз, он заплакал, вздергивая плечи, пряча лицо в пыльную боковину сценических «сукон».

Но через минуту сделал над собой тяжелое усилие, подозвал Коляду Железцова:

— Выйди объяви: никому не расходиться. Может, будут какие подробности.

И тот послушно вышел к рампе за уже закрытый занавес и звонким энергичным голосом человека, которого не сломить, повторил слово в слово: никому не расходиться. Может, будут известны какие подробности.

Но народ в клубе и без того не хотел уходить. Остаться на людях каждому было все-таки легче, чем оказаться с этой тяжестью на душе в одиночестве.

Денис, как и все другие, бродил по комнатам и залам клуба бесцельно и напряженно, вглядываясь в лица хорошо знакомых ему и малознакомых людей. Странное

общее выражение, которому нет названия, лежало на всех лицах. Женщинам было легче: они могли плакать не таясь.

Подумалось: где еще, при каких обстоятельствах людьми может владеть столь одинаковое состояние, а на лицах быть такое выражение горя и боли.

Только часа через два парни с гранильной фабрики, добровольно дежурившие у заглохшего телефона, записали официальное сообщение в несколько строк. Но в нем было сказано только уже известное.

В училище на три дня отменили классные занятия, заняв время учащихся только работой в мастерских. И это было разумно: народным опытом доказано, что в работе человек забывается и тем притупляется горе.

По чьему-то поручению ребятам из училища досталось обходить в предвечерние часы свой район, распространяя значки с ленинским профилем на эмали и нарукавные повязки — кумачовые с черной каймой. Откуда так скоро появились в продаже ленинские значки? Было известно, что он не позволял злоупотреблять своими изображениями. На какой-то из местных небольших фабрик, стало быть, люди не спали всю первую ночь, когда было получено скорбное извещение.

В один из траурных дней Денис возвратился домой, когда еще не вовсе погас тихий печальный отсвет в небе зимнего атласного заката. И еще издали увидел, что над воротами висит неподвижно, как мятожестяной, флаг.

Он остановился, разглядывая снизу флаг с уже осевшей в складках пыльцой изморози. Это было не купленное в городе изделие. Мать сшила его из давно хранившегося в сундуке лоскута красного сатина, обшив широкой креповой каймой.

Денис даже в ворота сразу не пошел, присел на лавочку, столкав с нее валенком снег. Увиденное требовало того, чтобы посидеть несколько минут, просто поудивляться, внутренне поохать. Всегда он считал, что старикам до политических ситуаций в стране дела нет. А после случая с комсомольской пасхой еще больше утвердился в этом. Даже сдержанно поругивать власть — и это у них бывало. Но вот затронула же и их кончина Ильича. И, конечно, от чистого сердца мать доставала из глубины сундука этот лоскут кумача и шила флаг на своей разбитой машине, часто останавливаясь и неподвижно-пристально

глядя на иголку. Что она думала при этом — женщина, прожившая долгий, не богатый радостями трудовой век?

Смахнув у порога голичком снег с валенок, Денис вошел в избу, в свое домашнее тепло и, еще не раздевшись, заглянул из кухни в горенку. Отец сидел там за непривычным для него занятием — у приемника.

В городе только в этом году начала работать радиостанция. Только прошлой осенью Денис выменял у ребят из радиотехнического кружка самодельный приемник за самую ценную в своем ребяческом хозяйстве вещь — старенький театральный бинокль. Приемник был примитивный — соленоидная катушка и детекторный кристаллик да наушники — вся премудрость. Вместо антенны ему было достаточно выходного проводка, припаянного к железной крыше дома. Но какой занятной новинкой для города были та немощная первая радиостанция и эти немудрящие приемнички в избах старого поселка. И электрический свет в домах поселковой окраины появился тоже только в этом году.

Алексей Денисович, стащив с головы наушники, сконфуженно повернулся к парню.

— Испортилась, наверно, эта твоя снасть,— пробормотал он.— Даже не покряхтывает.

Денис взял наушники, приложив к уху одной раковиной, нашел иглой настройки на кристалле детектора чувствительное место и снова подал наушники отцу.

Передавали траурную музыку. А музыку по радио Алексей Денисович не любил. Говорил, что не стоит держать в доме этот музыкальный туесок, если из него только и услышишь, что ярмарочный галдеж. Теперь же пояснил: хотел послушать, что говорят о похоронной церемонии в Москве.

Еще в тот вечер, когда Денис пришел домой с известием о смерти Ленина, отец удивил его, сказав с нежданной искренностью и укоризной:

— Ну вот... Такую голову уронили, не поберегли. Опять какая-нибудь шваль стреляла в него?

Денис пояснил, что, может, и сказались старые ранения, но умер предсовнаркома, как объявлено, по причине болезни. Но и это не убедило Алексея Денисовича. Он недоверчиво спросил: почему в таком разе к больному не привезли самых проницательных докторов. Денис сказал, что Ленина лечили лучшие московские доктора.

— Вот и долечили,— сказал отец.— Надо было поискать по другим городам какого-нибудь премудрого старика фершала...

Больше всего Алексея Денисовича убеждало в безвременности смерти Ленина то обстоятельство, что они с Ильичем были погодками, а сам он еще не чувствовал себя подверженным смертным немощам. И еще отец все допытывался: известно ли уже, кто принял после Ленина «все дела и книги»?

Денис втолковывал ему, что так теперь дела не делаются. Есть Центральный Комитет в составе больше сорока человек...

И тут ему подумалось: свести бы отца с Александром Ивановичем. Легко представить, как по-стариковски сварливо и неуступчиво они разговаривали бы. Но в конце концов пришли бы к полному согласию, потому что ту правду жизни, которую носит в себе тот, другой старик, отец понимает. Только не желает казаться слишком поспешно присоединившимся к ней.

Субботники

Субботники в те годы, шумные, многотысячные, порой не очень толково организованные, устраивались часто. И ребята из художественно-промышленной школы скоро приметили, что не они одни, а и немолодые люди из советских служащих и рабочие всяких мелких и подсобных в городском хозяйстве предприятий выходили на них тоже как на праздник. Шли по улицам нестройными группами, топоча по мостовой, с песнями и говором.

Чем привлекала народ такая работа без корысти, без личной выгоды? Сознанием, что отдаешь свой труд на общественное благо? Конечно, и этим. Но больший интерес, может быть, тут составляло другое: побыть на людях, в суете, как на веселой ярмарке, и вместе с тем не попусту, а со смыслом потратить время. И еще сознание добровольности этой работы. «Мог бы я и не приходить на эту работу, но вот пришел. Могу бросить рукавицы оземь и уйти, но не уйду, останусь, пока не объявят шабаш».

Может быть, как раз добровольность и бескорыстие придают прелесть и осветленность любому труду.

Какой из этих многих субботников был самым задорным и производительным? И сколько их было всего? Разве это упомнишь!

Одним из самых многолюдных был тот, в Северном парке обширного железнодорожного подворья, где самый каменноугольный чад, среди ясного солнечного дня сизо-видимый даже на глаз, был почему-то приятен, кажучись дельным и не зряшным, не бросовым, а имеющим свое назначение, как смазка в подшипниках.

Из города в Северный парк нахлынуло несколько сотен человек — сколько можно было принять, чтобы не создавалось излишнего опасного многолюдства на путях: все-таки маневровую работу в парке нельзя было приостановить.

Несколько крайних путей в парке так угрязли в холмах топочного шлака, накопившегося там за годы железнодорожного непорядка, что на них уже нельзя стало принимать поезда. И главной на эти дни работой в Северном парке была очистка путей да еще разгрузка нескольких составов.

Ребят поставили сначала на разгрузку платформ с кирпичом. Но слишком детской показалась им такая работа — стоять в несколько шеренг и перебрасывать с рук на руки по кирпичику. И вскоре они начали роптать. Сашка Верстов первым выкрикнул: «Братцы, на это, что ли, нас мама родила?» К тому же на площадке появилась новая группа добровольцев трудового фронта — душ полсотни старшеклассников обыкновенной «гражданской» средней школы.

Кто-то из ребят подстрекнул Коляду Железцова: вот этим желторотым бы самое место здесь... Хотя по возрасту «желторотые» почти не уступали ученикам художественно-промышленной. Но что возраст, когда, по их рассуждению, ученики обычной школы были пока еще мелкота, белоручки, а они — уже действительный рабочий класс.

И Коляда пошел к распорядителям работ просить другую работу — по их достоинству, по их богатырской силе.

Новая работа для них оказалась в тупике, которым, судя по ржави на рельсах, почти никогда не пользовались, в отдаленном углу парка. Отсюда было рукой подать до соснового редколесья; только перейти рябую от

старых пней, неширокую, в сотню саженей, полосу пустыря.

В тупике, впритык буферами к брусу упора, стояла тяжелая четырехосная платформа с каким-то непонятного назначения и невиданной формы клепаным котлом. И вес этого сооружения не пришлось прикидывать на глаз, он был нанесен крупно, белой краской на стенке котла: двенадцать тонн.

Только всего и требовалось: стащить эту громоздину с платформы на стоящие рядом мощные салазки из брусьев.

Это называется: напросились.

Никто такой фразы вслух не сказал. Но подумалось, наверное, каждому.

— Убей меня бог, если я знаю, как тут хотя бы подступиться к делу,— сказал Федя Михеев, растерянно обойдя платформу.

Не очень легко молодым парням, вообразив себя все умеющими трудягами, при первом же затруднении пойти к кому-нибудь старшему спрашивать совета.

К счастью, старший товарищ, советчик, сам уже неторопливо, вразвалку, шел к ним через пути. Их сегодняшний наставник оказался мужичонкой в стоптанных сапогах, в замасленной, почему-то прожженной сбоку фуражке. Узкоглаз, сразу видать — хитер, с крупными, часто сидящими конопатинами.

Подошел, проницательно оглядел ребят, тускло, без иронии сказав: «Ну, заскучали. Это вам не изюменный кисель хлебать большой ложкой».

Лениво уронил наземь принесенные под мышкой скобы, еще сизые от нагрева в кузнечном горне.

А что делать дальше — этого ребятам можно было не пояснять: самые скобы подсказали им уже многое.

— Шпалы таскать? — с полной готовностью действовать спросил Коляда.

— А ты думал...— лениво отозвался бригадир.— Штук тридцать шпал вон из того штабеля. А трое — со мной.

До «того штабеля» было не близко, добрая четверть версты. И шпалы были тяжелые, старые, пропесочившиеся от лежания в полотне дороги. Зато это была уже не игрушечная работа, вроде перекидывания с рук на руки кирпичей.

Уведя с собой троих помощников, бригадир, как пока-

залось ребятам, словно сгинул. Показался наконец на самый снисходительный счет через час. И совсем не с той стороны, с которой его ждали, и не пешим ходом, а с подводой, доставив на армейской телеге с высокими боковинами две лебедки, ломы, кувалды.

— Вот теперь мы при всем оружии,— слепив махорочную сигарету, пробормотал он, когда ребята сняли с телеги кладь.

Но «при всем оружии» — это оказалось сказанным еще только предварительно. Потому что надо было ехать еще за парой лебедок. Очертив сапогом на песке что-то вроде схемы-выкладки из шпал клетей-подмостков, бригадир уехал на телеге за второй парой лебедок и находился в нетях еще дольше, чем в первую поездку. Он как бы предоставил ребятам постичь еще одно чернорабочее правило: не суетиться, делать свое дело без ненужной горячки. Это для них сегодня был субботник, трудовой праздник, для него — обыкновенный рабочий день. Всей повадкой своей в течение дня он как бы хотел сказать: для вас, может, есть интерес закончить дело быстрее. У меня же на этот счет есть иная идея: приноровить конец дела к концу рабочего дня. А то ведь начальство найдет мне еще какое-нибудь занятие, которое, бог с ним, пусть лучше останется на завтра.

Пока он совершал свою вторую поездку за лебедками, ребята выклали клети-подмостки.

Бригадир, прибыв и осмотрев их сооружение, подозвал Коляду, признав в нем каким-то своим чутьем старшего.

— Вот смотри ты сюда, пожалуйста,— объяснял он, пристукивая по шпалам коротким ломиком.— Вот пойдет у нас котел по вашим покатам. Вот докарабкался он до этого места. И где тогда тут будет вся тягость у нас?

Спросил бы лучше техническим языком: куда у нас тогда сместится центр тяжести? Отойди шагов десяток назад, возьми простейший отвес, ну, хоть какую-нибудь гайку на нитке...

Но слов таких у бригадира не отыскалось. Он сказал, как сумел. И лишь позднее обнаружилось, что его предостережение было не напрасным.

Среднюю клеть, о которой говорил бригадир, они немного сместили в верхних венцах, вбили несколько дополнительных скоб. Сочли, что этого достаточно. Но когда

тросами с четырех лебедок поволокли груз, лишь тогда всех их припекло, заставив оценить бригадирский глазомер. Котел как раз в том месте принял опасный крен, угрожая рухнуть с подмостков.

Два правых троса ослабли, потому что их нельзя было больше держать внатяг, зато два левых — заныли от перегруза. Вдобавок на одной из этих лебедок завис стопорный крючок, и этот трос теперь действовал только силою четырех ребят-вертельщиков, остервенело повисших на своих воротках. Но и последний трос в одном месте начал лохматиться от понемногу лопающихся стальных нитей. Хорошо еще, что Витька Решетков успел ударом ломика осадить в косые зубья шестерни стопорный крючок заерундившей лебедки.

Как всегда бывает, когда все позади, люди беспечно и успокоительно говорят: ничего же не случилось, о чем речь?

Ничего не случилось и у них. На двух тросах, помогая в три лома ходу груза с подмостков сзади,— хоть и невелика помощь, а все не лишнее,— они вывели котел из опасного зависания. А дальше уже их самозваной бригаде грузчиков-такелажников было все трын-трава.

Оставалось только посидеть, любовно поглядывая на котел, и потешить душу рабочей поговоркой: глаза боятся, руки делают.

Но в мире труда, кроме обучения самой работе, надо еще учиться некоему внутреннему порядку и приличию. И первое из этих приличий: кончил дело — прибери все за собой.

— А шпалы таскать на место мне одному велите или как? — язвительно спросил их конопатый бригадир, когда ребята совсем было засобирались восвояси.

Сделали и это. Огляделись: какой еще непорядок можно поставить им на вид? Бригадир между тем покидал в телегу мелкий инструмент. О лебедках сказал: пусть остаются.

Только покидая Северный парк, ребята заметили, что уходят в числе последних. Мало кто из работающих на субботнике еще остался на путях, торопливо доделывая мелкие последки. День словно мелькнул, и нет его. Крыши зданий, вершины деревьев будто присыпало вечерним пеплом.

Таких субботников было предостаточно...

И естественно, что делать на них приходилось самую простую, грубую работу. Чаще другого учащиеся школы как-то попадали на земляные работы, где приходилось орудовать только киркой и лопатой. Но ведь это только так говорится, что на такой работе «ума не надо». И что вся трудовая премудрость землекопа: бери на лопату больше да бросай подальше. На самом же деле нет среди посильных человеку работ таких, которые не требовали бы большой сноровки, то есть практической подвижности ума. Поэтому никто не удивился, а только поусмехались, когда по дороге домой с одного такого субботника Сашка Верстов вдруг сказал:

— Интересно, напишут ли когда-нибудь научный трактат «Роль земляной работы в процессе очеловечения молодых обезьян из художественно-промышленной школы»?

Дело тут было в том, что незадолго до этого на своем комсомольском семинаре они дерзновенно взялись было читать известную книгу с похожим на это названием. Постигли в ней, конечно, из пятого — десятое, но ведь даже десятая доля, взятая от великого, составляет немалую величину.

Был один субботник, на котором им поручили рушить старый одряхлевший деревянный дом на одной из центральных улиц города. А ведь ломать, разрушать человеку всегда было не менее любопытно, чем потом строить заново. Тем более когда знаешь, что старый дом с просевшими потолками и изъеденными древоточцем полами сносится затем, чтобы освободить площадку под новый дом.

Крышу они разобрали скоро, расчленить и посбрасывать вниз стропильные связи тоже не заняло долгого времени. Но дальше надо было спустить вниз, сгребая лопатами, земляную засыпку потолков. Сгребать землю, за долгие годы лежания под кровлей изветрелую в тончайшую пыль,— это работа, на которую, раз ее изведав, в другой раз не польстишься. Над домом, лишенным крыши и потому словно опозоренным, через пять-десять минут работы поднималось густое облако. Приходилось удирать по сходням вниз и, отбежав на другую сторону улицы, ждать, пока пылища рассеется. Дом со стороны казался объятым пожаром в его начальной грозной стадии, пока пламя еще не вырвалось наружу.

И лишь когда кончали они уже эту работу, пришел кто-то из пожилых. Он похмыкал, сокрушенно и насмешливо потряс головой на их несмекалистость. Потом сказал: да разве же это делается так? Какому межеумку это пришло в голову? Надо было сначала выбрать в доме полы, а потом сверху, лишь раздвигая ломиком потолочины, спускать землю в опустошенные подполья.

И ребята, малодушно слукавив, сказали: приходил тут какой-то десятник, что ли... Он и предложил им такую методу́.

Не признаваться же незнакомому пожилому товарищу, что из них, из десятка с лишком парней, не нашлось ни одного, кто сообразил бы, как сделать эту работу посноровистее, чтобы не наглотаться пыли самим же и не напылить на все прилегающие кварталы.

Город к этому времени уже миновал пору разора, недоедания, хождения в обносках. Теперь он находился в больших хлопотах, торопясь обрести такой облик, чтобы не совестно стало показаться в люди.

В этом году городу запонадобилось строить новую электростанцию.

Электростанция еще и существовала-то только в чертежах проекта, а это все равно что в воображении, в не знающем угомона человеческом мозгу. Еще на Конном полуострове Верх-Палицкого пруда все оставалось таким же, каким оно было, когда они, поселковые ребятишки, стайкой ходили туда с парой удилишек на брата удить красноглазых окунишек.

Там, на полуострове, еще и котлован под здание станции не начали рыть, лишь взрывчаткой подробили крупные валуны; серию глухих взрывов Денис слышал както ночью сквозь сон, так и не проснувшись, не поняв, что за раскаты грома при ясном небе пророкотали над поселком. Но местные газеты уже писали об электростанции в таком тоне, словно она была налицо, оповещали о ее мощности и других достоинствах, сдержанно гордясь, что такой энергетической махины нет пока нигде в стране, считая к востоку от Москвы.

Но, видно, Денису лишь по его незнанию думалось, что на стройке еще не делается ничем-ничего. На самом же деле она уже булькала, как похлебка, закипающая в задымленном котелке на охотничьем привале. В середине недели на дощатом щите школьных объявлений появил-

ся плакатик. И в нем говорилось, что очередной субботник «имеет быть» на строительстве новой электростанции.

Сашка Верстов, когда пришли на место работы, вспомнив плакат на щите, сказал:

— Хм, имеем быть на нашем собственном кочкарнике!

Это и действительно был их кочкарник, ржавая низина, поросшая карликовой березкой, мохом и багульником, дальняя околица Верх-Палицы.

Тем из ребят, кто вырос в самом городе, этого было, может быть, не понять, но Дениса с Сашкой Верстовым тут посетило рождающее холодок в груди чувство подчиненности природы человеку. Гиблая мочажина эта начиналась сразу же за окраинными избенками Верх-Палицы и простиралась километров на десять. Многим из жителей, век прожившим здесь, так и не приходилось пересекать эту заболоть по прямой. Потому что попользоваться в болоте все равно нечем; не росло в нем ни клюквы, ни трилистника, который собирают как лечебное средство против всяких лихоманок. Трилистник, старухи сказывали, боится колокольного звона и потому растет только на отдаленных болотах.

Но вот теперь через эту заболоть люди наметили проложить по прямой с севера на юг,— словно простреленную сквозь ее мелкокустье,— рельсовую узкоколейку. И по ней питать топливом будущую электростанцию — торфянку.

Субботник на этот раз был особенный. Из города на него прибыло столько работников-добровольцев, что такой людской массы, пожалуй, даже и не требовалось. Но ведь это была работа на насущно необходимую городу обновку. Как откажешь людям, пожелавшим непременно бросить в общий костер свою пригоршню трудового пафоса.

До Сухой реки — до того места, где будущая узкоколейка пересекала тракт, народ из города все утро возили четыре «Фомага» — тяжелых сундукообразных автобуса. А их и всего-то по городу ходило шесть. Но еще больше трудового люда пришло к месту работ пешим ходом, хотя от центра сюда был неближний путь.

Места эти для ребят, живущих в поселке, знакомы и родственны им как запущенный и заросший сорняками закоулок огорода где-нибудь за отцовской баней. Но, дойдя до ольховника за Сухой речкой, они будто даже не

признали знакомых мест. Уже прорублена там оказалась широкая просека и отсыпана гравийная насыпь будущей узкоколейки от Конного полуострова километров на десять к торфяным полям. Когда, кто успел сделать эту нешуточную работу?

Правда, километрах на двух, и как раз в самом топком месте, со стороны будущей электростанции, для насыпи еще только был навожен материал и ей требовалось придать пристойную для рельсового пути форму. Но там уже гремели лопатами женщины, работницы с текстильной фабрики.

Художественно-промышленная школа явилась почти в полном составе. Приехали все учителя, и, к общему удивлению, даже Фока Зюзин — школьный конюх, дворник и завхоз, редко куда отлучающийся со двора.

Но не на него, едучи в автобусе, все посматривали ребята,— он-то рабочий человек,— а на свою словесницу Елизавету Семеновну и мастера Алексея Алексеевича. Эти-то куда тянутся и зачем? У мастера Афромеева — увечная спина, а Елизавета Семеновна едва ли когда держала в руках какой-нибудь инструмент весом тяжелее сбивалки для яичных белков или патентованной мухобойки.

На месте, однако, всем нашлось дело по силам, даже сухоногой, хилой Елизавете Семеновне. Выйдя из автобуса, оказавшись под сенью черноствольных ольшин, она слепо прошлась по малахитовой мураве низины и, прижав ладони к груди, молитвенно сказала: «Господи, как хорошо». И никто из ребят не поморщился, не скривился на это обращение к господу.

К ним, впрочем, тут же подкатился невесть откуда взявшийся, словно из какого-то дупла выпавший, лохматый парень. Ни о чем не спрашивая, он распорядился.

— Ну-те, человек пятнадцать, кто поосанистее, со мной!

И ребята старшей группы, а с ними несколько младших, кто не захотел отстать, трусцой побежали за парнем. Торопились, словно их вели, по меньшей мере, на забивку плотины, прорванной полой водой. Но оказалось, что их усердие понадобилось на разноску и раскладку шпал по уже подготовленному участку насыпи.

Сколько времени по часам продолжалась работа на трассе узкоколейки? Кто его наблюдал, быстротекущее

время, в таком азарте и веселии? Разве это припомнилось бы только, что солнце, когда приехали сюда, стояло по ходу трассы слева; теперь оно перекантовалось далеко на правую от нее сторону.

Конец работы, как было сказано заранее, объявили сигналом какой-то мятой медной трубы, похожей на пастуший рожок. И ребята опять начали сходиться в свой круг, чтобы явиться в город в полном составе, без потерь. Появилась и Елизавета Семеновна, еще с подхода восклицая:

— Боже ты мой, что у вас всех за вид!

И ребята покатились со смеху, потому что «вид», самый разудалый был как раз у нее самой: растрепанная, потная, с тяжелым от болотной грязи подолом, по прежней моде, длинного платья. Она казалась захмелевшей от азартной трудовой колготы.

— Вот заставлю вас на очередном уроке написать сочинение об этом субботнике,— угрожающе сказала учительница. И Денис всю обратную дорогу думал: а ведь, действительно, как нашим неподатливым языком описать краски этого дня, фиолетовую марь над заболотью и гомон человеческих голосов, распугавший всех куликов в округе.

И что выделить главное в этом описании? Конечно, самую работу, трудовой процесс. Но тут как раз много и не скажешь.

Шпалы лежали грудами по откосам насыпи. Только и требовалось — подхватывать на плечо пахнущую смольем шпалу, трусцой пробегать с ней некоторое расстояние, сбрасывать ее поперек насыпи. Можно написать, что, когда несешь первые шпалы, тяжесть их кажется самой сподручной. Но уже через полчаса такой работы получается как-то так, что каждая следующая делается намного тяжелее предыдущей. И вдруг обнаруживаешь, что все они зачем-то сделаны не округлыми, а острореберными и ребра их все больнее режут плечи. Вдобавок ко всему расстояние, которое надо пробегать с каждой последующей шпалой, удлиняется шагов на двадцать пять.

И не забыть еще, что в их артель шпалоносов затесался Алексей Алексеевич. И сразу пристроился было вместе со всеми таскать шпалы, лихо поднимая их на плечо. Но кто-то из ребят тут же оттеснил его, строго сказав: «С вашей-то спиной...»

И ему в паре с Витькой Решетковым нашли работу полегче: на двух веревках по слегам вытаскивать отдельные шпалины из-под откоса на насыпь, ближе к рукам носильщиков.

Бескорыстный и доброхотный труд всегда делает человека добрее и благороднее. И, наверное, самым ярким впечатлением того дня у всех осталось ощущение раскованного радостного праздника.

Прощай, школа

Только ведь и всего: вошел и вышел.

И самому не понять, отчего так отрадно и больно пройти по пустым и гулким клубным комнатам, зная, что вошел сюда в последний раз.

В клубе еще никто не начинал приборку после их разудалого выпускного вечера. В коридорах все еще пахло вчерашним: холодным папиросным дымом, терпким запахом немудрой девичьей парфюмерии.

Три года мелькнули так, словно только крыло стремительно летящего времени прошелестело над головой.

Проведя в этом здании три года, Денис Хаританов только теперь, прощально обойдя пустые и гулкие из-за безлюдья комнаты, задумался над тем, что был, может быть, какой-то смысл в долгом сожительстве здесь клуба трех профсоюзов и школы, в которую он пришел в последний раз. Как-то они мирно и родственно уживались в одном доме — клуб и школа. Они, школяры, комсомольская бражка, естественно и просто вносили в работу клуба по вечерам бесшабашное веселье и бодрость, свой, как они иногда говорили, «неунывизм». Вспомнилось опять вчерашнее.

Праздник начался в большом зале клуба. И все было как у добрых людей. Сначала сказали свои краткие речи завуч школы, Посохин от комитета комсомола, старый рабочий с камнерезной фабрики. От старшей группы выпускников ответить на все эти приветственные речи было поручено Сашке Верстову.

Сашка на этот раз был даже при галстуке. Денис, впрочем, видел, что галстук на него надели перед самым выходом девчонки из второй группы, бесцеремонно стянув это снаряжение с кого-то из своих знакомых ребят.

Сашка замешкался начинать речь, и Денис замер, со страхом ожидая, что друг его осрамится, начнет мямлить и мекать.

Но Сашка со своей задачей справился. Он сказал, что их благодарность школе и старшим товарищам может понять только тот, кто сумеет представить себе, какими они, сегодняшние выпускники, пришли в нее и какими стали теперь.

Сашка еще заметил, что ему хотелось бы особенно сказать об одном из находящихся здесь старших товарищей. Торопливо спустившись с клубных подмостков, он прошел ко второму ряду, где с краю сидел Александр Иванович в своей краскомовской гимнастерке. Старик поднялся и оказался на полголовы ниже Сашки, который за три года школы вытянулся в росте на добрую четверть аршина.

Что-то Сашка там пробормотал старику, но этого никто не слыхал, кроме самых близко сидящих. Зато все видели, как Сашка, дернувшись, всхлипнул, начал целовать старика в его рубцеватые щеки.

А теперь все казалось как бы приснившимся.

Денис мало спал в ту ночь. Из клуба они вышли, когда уже брезжила заря-утреница. Но после того они еще долго бродили по сонным улицам города, артельно провожая девиц одну за другой.

Вернувшись домой, Денис уснул всего часа на два, а потом щекотное ощущение нового, неведомо что обещающего дня кольнуло его, заставив вскочить и опрометью броситься к умывальнику. Хотя спешить было вовсе некуда. Ему только и предстояло в этот день сходить в школу, взять с выставки свою выпускную работу.

Для выставки Денис изготовил два планшета эскизов художественной лепки и несколько образцов этого же орнамента в гипсе. Все ребята дали на выставку кто в чем был силен. Федя Михеев выставил образцы резьбы по дереву, Коляда Железцов — камнерезную плитку. И им было разрешено, после того как выпускная церемония будет позади, взять свои работы на память.

В поисках, чем бы связать планшеты, Денис зашел в ту комнату, где вечером они утешались за праздничным столом. Классные столы там вчера были составлены в один длинный и накрыты сукнами со сцены. Теперь все

это было убрано, но крепкий шпагат, натянутый над столами, был еще на месте вместе с поводками, свисавшими от него. Это была выдумка девчат, сервировавших стол: подвесить над столами перед каждым из участников застолья по крупной воблине. В виде напоминания о первом годе обучения, когда вобла занимала первое место в их пайке, если не считать грубо смолотую муку, наипростейшие крупы и по бутылке-сороковушке льняного масла на месяц. И вот на вчерашнем ужине, где уже было чего поесть настоящего, лакомого, вобла болталась на шнурках над столом. Хотя под конец и ее ребята начали обрывать одну за другой.

Спускаясь с планшетами под мышкой по знакомой мраморной лестнице с бронзовыми канделябрами, Денис испытывал то, что доводится испытать хоть раз, наверное, каждому: странное впечатление уплотненности времени до опасного, чуть ли не взрывчатого состояния. Словно только вчера он поднимался по этой лестнице в первый раз мальчишкой в жалких башмачонках на плетенной из веревки подошве.

Словно только и было: вошел да вышел.

Денис проснулся в своей пропахшей летошным сеном и мучной пылью завозне поздно. И первое, что подумалось, было: не надо и календаря, чтобы сказать: сегодня воскресенье. Соседский парень-переросток Андрюшка Щекалеев каждое воскресенье поздним утром выходил из своего двора за ворота, на завалинку, с гармошкой-однорядкой и часа по три, по четыре пилил все одну и ту же «улошную».

Семья Щекалеевых была коренной в поселке и неувядаемой, тароватой на подраставших один на смену другому ребят. Поэтому и скрипучая, унылая «улошная» по воскресным утрам не иссякала уже много лет. Подрастал один из щекалеевских сыновей, бросал свои музыкальные утехи, но вслед за ним входил в балбесовый возраст другой. Семейная гармошка-однорядка переходила от одного к другому вместе все с той же однообразной и как бы пропыленной мелодией, состоящей всего из нескольких музыкальных скучных фраз. Музыка эта стала словно обязательной принадлежностью этих нескольких кварталов поселка, осточертела всем до зубовного скрежета. Но ее терпели, потому что нельзя же запретить никому

развлекаться кто как умеет. Поселок был как бы осужден каким-то неправедным судом на многолетнее слушание щекалеевской гармошки.

Воскресное утро в поселке отличалось от буден только разве некоей особенной тишиной да шанежным запахом в улицах, поскольку жизнь установилась уже такой, что было теперь из чего выпекать традиционные шанежки, пусть из грубой серой муки.

Денис вышел на вольный воздух в рабочих брючонках и майке, поеживаясь от прохлады затененного двора. День ясный, тихий, и в мире все было бы хорошо, смиренно, не будь этого гармошечного скрипа, наводящего, как ни противься, странную скуку и необъяснимую печаль.

А вскоре после завтрака явились гости, которых он вовсе не ждал. Пришли сразу четверо: Федя Михеев, Коляда Железцов, Витька Решетков и Миша Гурвиц. За все школьные годы это был второй случай, когда ребята надумали проделать такой широкий обход: посетить каждого из своей разудалой компании на дому. В первый раз они были в доме Харитановых еще на первом году обучения в школе, как-то зимой и уже не в раннем вечерье. Но тогда они только сплачивались в свой будущий дружный комсомольский колобок. И кому-то в комитете комсомола в ту пору пришло в голову, что в своей ячейке им следует знать друг о друге все: кто как живет в семейном бытье, насколько довлеет над каждым родительская власть, и крепко ли в ней сидят повадки старого быта. Тогда было так. А сейчас-то что им открылась за надобность?

Но Денис тут же подумал другое, опровергающее. Хоть они на выпускном вечере и расстались, полагая, надолго, но, видно, не утерпелось парням. Да и поговорить есть о чем. Из полусотни выпускников известно было, куда они пойдут, только пятерым, получившим направления. Остальным придется искать работу — где кому пофартит.

В избу ребята не пошли.

Во дворе отец с Денисом в недавние дни разделывали зимний запас дров. Дрова в этом году Алексей Денисович добыл и привез в виде долготья. На чурбаки швырковой длины они вдвоем пилили дрова уже дома. Весь этот припас был у них уже поколот и прибран в поленницы

под навес. Только несколько чурбаков, самых трудных для раскалывания, торчком стояли вдоль забора, оставались для разминки когда-нибудь на досуге.

Витька Решетков первым заинтересовался попробовать силу на одном таком сучковатом чурбаке. Отыскав в недокладенной доверху поленнице топор-колун, он принялся, хекая и делая свирепые глаза, надсекать обрубок по торцу. Изрядно потрудившись и уже за пять минут отсырев, он сумел только растюкать чурбан на две плахи. Другого топора-колуна где-то не отыскалось, и ребята стояли вблизи незадачливого дроворуба, посмеиваясь, поддразнивая его.

— Дай-кось мне,— сказал Федя Михеев, пытаясь завладеть топором.

Решетков топора не отдал, лишь свирепо замахнувшись на Федю кулаком наотмашь, посоветовав идти к черту и не стоять под рукой. Но, помаявшись еще пять минут, сам бросил топор.

Поплевав на ладони, попричитав: «Раззудись, плечо, размахнись, рука», Федя взялся за новый чурбан, но вскоре только увязил топор, который теперь без клина было и не высвободить.

После этого ребята прикатили каждый себе по чурбаку в тень под навесом, расставили в кружок, сели думать и бормотать.

И тогда из своего полутемного угла, загребая длинной цепью опилки и мелкую щепку, к ним вышел Барон.

Без собаки во дворе Харитановы, пожалуй, не жили никогда. Денис смутно помнил еще Мухортого, лукавого пса, который прожил у них самые тяжелые годы. По отцовской сказке, Мухортый был добрый пес и люто ненавидел два подвида человечьей породы — нищих и полицейских. После него во дворе недолго прожил какой-то густопсовый меделян, погибший в юношеском возрасте от собачьей чумы. Барона Денис где-то подобрал совсем щеночком, принес за пазухой домой и нарек его теперешней кличкой потому, что за день-два до того видел в Пролетарском театре пьесу «На дне», где Барона играла заезжая знаменитость.

Сейчас Барон потянулся, глубоко прогнув спину, и деловито сел в их компанию, как раз на то место, где кружок оставался незамкнутым. И это получилось так забавно, что все дружно рассмеялись, а Федя сказал:

— Ну вот, теперь кворум, кажется.

Андрюшка Щекалеев в переулке все еще кромсал тишину своей гармошкой, и Решетков спросил:

— Часто тут у вас бывает такая изящная жизнь? И надолго его хватает?

Денис пояснил, что Андрюшка музицирует по известному расписанию: по воскресеньям, всю первую половину дня. В будние дни он занят другим, ходит с кровельщиками подручным.

— Но ты-то как? Неужели привык и безропотно терпишь? — допытывался Решетков.

Они вяло поостроумничали еще насчет того, что привыкнуть к этому немыслимо, но и жить с такой музыкой, хоть и раз в неделю, тоже нельзя. Может, им следует помочь Денису в беде: выйти сейчас в переулок, пока там безлюдно, и предать Андрюшку каким-нибудь милосердным способом безболезненной смерти.

— Нет, кого мне жаль, так это Барона,— продолжил в том же духе Федя Михеев.— Денис что? Если станет невтерпеж, он встрепенется, наденет свои пижонские брюки флотского образца с клапаном и уйдет куда глаза глядят. А Барону никуда не уйти. Подумайте, как эта музыка медленно, но верно разрушает собачью психику.

— А я бы сказал: подумайте, над кем смеетесь,— вдруг обернул всерьез их пустословие Коляда Железков.— Кто он таков, Андрюшка Щекалеев? Ходит у кровельщиков в подручных. Значит, не нэпман, не попович, свой брат — рабочий парень. А сами кто вы такие? Просто вам повезло, что Женька Вяткин кое-чему научил вас, приоткрыл вам двери в мир музыки. А Женьку Вяткина приставила к вам Советская, рабочая власть. Две зимы подряд вас Алексей Алексеевич протаскивал в театр через служебный ход, а вот Андрюшке Щекалееву этого не досталось. Считайте, что это был ваш музпаек вроде продовольственного и литпайка, полагавшегося штатным партийным работникам. И наш музпаек был таким щедрым, как не каждому удавалось получать в те две зимы. Не забывайте, все мы, не будь Советской власти, остались бы такими же тупаками, как этот Андрюшка. А Советская власть ставит задачу: никого не оставить в тумане невежества, каждого молодого парня сделать человеком со смыслом. Только этого, наверное, невозможно сделать сразу для всех...

— Ну хорошо. Все правильно,— возразил ему Сашка Верстов.— Только что за манера все сводить к политике. Что мы такое сказали?

— А кто здесь сказал, что такого Андрюшку надо убить за его музыку? Такое высокомерие к рабочему парню — это что, по-твоему? Перерождение всегда начинается с безобидных пустячков. С таких вот шуточек.

— Да он очумел, братцы,— обращаясь уже не к Коляде, а ко всем сразу, сказал Сашка.— Право, его полечить бы надо. Сумасшествие всегда начинается с того, что человек перестает понимать добрую шутку.

— Это была не добрая шутка.

Кому-нибудь со стороны могло показаться странным, что Сашкино замечание, после которого Коляде следовало вскипеть, заставило его, наоборот, присмиреть. Но ребята знали причину этого: Железцова чуть ли не полгода назад вызывали в городской комитет комсомола. Там на него заполнили какие следовало документы, намекнули, что, возможно, ему, Коляде, придется работать в одном из строгих учреждений. Но с того времени к этому разговору с ним опять никто ни разу не возвращался.

Можно было считать, что больше других повезло Денису, который уже имел назначение на строительство Центральной гостиницы. В городе это была лишь вторая стройка крупного здания,— целых пять этажей. Денису было сказано, что там приспела пора начинать внутренние декоративно-лепные работы — как раз то, чему он учился в школе.

Друзьям его повезло не столь. Сашку Верстова его дядя — паровозный механик — сулил прихлопотать к железнодорожным мастерским, где парень не мог рассчитывать на большее, чем опять года два повращаться в слесарьках, пока станет заправским слесарем. Витька Решетков нашел себе дело в новом карьере, где из гранита тешут плиты для разных некрупных строек да из привозного мрамора — намогильные памятники. А Миша Гурвиц и совсем не знал, где попытать удачи. Либо знал, да держал это до времени при себе. В школе на последнем году он стал неплохим печатником-офортистом. Но кому сейчас нужны печатники-офортисты.

Так что спор ребят относительно того, надо ли «убить» Андрюшку Щекалеева за его изуверскую музыку или пощадить до поры, послужил лишь тому, чтобы приглу-

шить беспокойство. Но и этой темы хватило ненадолго, потому что много толковать было не о чем: жизнь покажет.

В общем, картина насчет их устройства к делу была не очень веселая, и Федя Михеев, правда, вовсе не прискорбно, а скорее юмористически сказал:

— Бедные мы бедные.

Ему тотчас же возразил Миша Гурвиц.

— Нет, какие же мы бедные. И он прочитал строки стихов, напечатанных недавно в газете: «Устроится все, когда в прошлое канет проклятое слово «капитализм».

Тут заговорили уже вразнобой:

— Да ведь капитализм, считай, уже канул.

— А нэпманы? Они вон все наглее...

— Ну, это не страшно. Мы их в любое время — лопатой под корень, и вся недолга.

— Ага, значит, все-таки еще понадобится: лопатой под корень?

— А в деревне что делается? Ты не живал в деревне...

— Да ведь и ты не живал.

Насчет того, что всякую нэпманскую нечисть еще придется лопатой под корень, сказал Коляда, сторонник крутых и жестоких действий. И всегда у них было, что Федя Михеев, рассудительный и ровный парень, как-то умел охладить, урезонить Коляду. Сейчас он сказал, как бы подведя итоговую черточку:

— Вот кто-нибудь послушал бы со стороны нашу, исполненную премудрости беседу. И только бы головой потряс. Конечно, школа нам много дала. Главное, мы научились думать и мало-мальски понимать что к чему. Но ведь только мало-мальски. Путаницы в головах, надо признать, у нас еще немало. Мы ведь шли сюда совсем не для эдакого разговора. Хотели махнуть на пруд, переплыть на острова... А собрались вместе, и не утерпелось, чтобы не начать цокать языками, как щеглы на рябине.

— Ну ничего,— успокоительно сказал Решетков.— Теперь придется ли еще когда-нибудь собраться вместе.

Махнуть на острова всем как-то уже расхотелось. И трое дальних гостей, городских, ушли. Наверное, чтобы тоже по дороге разойтись кто куда. Все равно теперь уже жить им порознь, кому как пофартит. Остался только, задержавшись еще минут на пятнадцать, Сашка Верстов.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Строго на север

Сначала,— ненадолго, на минуту, на две,— было ощущение желанной, необходимейшей им сейчас чистоты воздуха. Хотелось захватить его в легкие как можно больше, потому что, кто его знает, выдают ли эту роскошь — чистый воздух — здесь по потребности или по скупой норме.

Это странное ощущение явилось, наверное, потому, что почти сутки они тащились в доисторической постройки вагоне, где между двух полок можно еще опустить и третью, и тогда в купе получаются как бы двойные сплошные нары. В вагоне стояла тяжелая густая духота. Люди изнемогали от нее, но верхние вентиляционные колпаки были заглушены на зиму либо забиты снегом. Оконные рамы, скользящие в пазах вверх и вниз, тоже были закреплены крупными шурупами, которые не вырвешь без хорошей отвертки. «Без инструмента и вошь не убьешь»,— сказал сосед Дениса Хаританова по купе после нескольких безуспешных попыток вывернуть шурупы с помощью медной копейки.

Но теперь они вырвались из вагона. Каждый просто выпал из духоты и полумрака на дощатый и щелястый, как палуба в хлебном амбаре, перрон. Вагонов было пять, и они доставили сюда, на новостройку, около двухсот душ. Все эти души имели при себе сундучки, крепкие, окованные по углам, с секретными запорами. Чемоданы были только у немногих приезжих, и по этим чемоданам было легко угадать, что их владельцы — народ наивный, в рабочих казармах и общих бараках никогда не живавший. Сундучок, еще привезенный братом Николаем из армии, был и у Дениса.

В вагоне люди ехали каждый сам по себе. Более или менее познакомился Денис только с пожилым попутчиком, который назвался Ефимом Назаровым. Это был человек с так широко растущей щетиной на смуглом лице, что нос у него торчал из этой заросли как красноватый валун из густого вересовника. Для него поездка была не в новинку; в высоком звании сезонника он побывал уже на нескольких стройках. Последняя из них была Турксиб.

Денис дорогой пытался спрашивать, каковы были обстоятельства жизни там, на Турксибе, но Назаров ответил только, что в тех местах жить бы можно, но спасения нет от блох.

— Ну, вклинились,— восторженно ужаснулся Назаров, осмотревшись на перроне.— Воткнулись, как кайло в мерзлый навоз,— подыскивая твердые, энергичные слова, повторил он.— Даже собак не слыхать.

Может, именно то, что тут не было слыхать даже собак, когда в этот поздневечерний час по всей Руси собаки еще бдительно несут свою брех-службу, говорило за то, что они заехали в далекое северное захолустье.

— Попа-али в вагон некурящих,— насмешливо добавил еще к этому Назаров.

Жестокая северная тишина висела над приземистым зданием станции, чем-то похожим на грязно-промасленную деревянную шкатулку, в каких рачительные слесаря хранят свои метчики и плашки для нарезания болтов. Только одно окно в здании станции было освещено — окно дежурного. Но что делается там, в дежурке, было невозможно разглядеть из-за узорчатого обмерзшего стекла. Где-то на путях сипел маневровый паровоз.

И географическое положение этих барсучьих угодий было нетрудно себе представить. Конечно, это последняя тупиковая станция ветки, проложенной строго на север сквозь таежную глухомань. Поездам дальше ходу нет, поворачивай головными фонарями — на юг. Но и «поворачивай» — только сказать легко. Поворотного круга здесь, похоже, нет. Не из тех станциюшка, которые имеют такую роскошь, как поворотный круг. Самое большое: где-нибудь тут есть путевой треугольник для разворота машин.

Похоже было на то, что слева за станцией лежит поселок, бедный, приземленный и нелюдимый. Лишь редкие огни просверкивали сквозь неполнолунную муть ночи. Но и огонькам не верилось: может, это только обман зрения, жадно ищущего признаки жизни в пустыне ночи.

Справа и немного сзади по ходу прибывшего поезда низкое северное небо забилось мутно-жемчужными переливами. Там скорее всего и была новостройка, на которую они прибыли. Но игру северного сияния, никогда раньше его не видав, Денис представлял себе как раз в виде таких переливов света в ночном небе. Едучи сюда,

он слыхал, что новостройка располагается километрах в трех от станции и работы там уже идут полным ходом. Значит, должно над ней стоять зарево огней.

«И на черта меня занесло сюда? Как-нибудь мне нашлась бы работа и дома. А все Сашка Верстов...»

Сашка Верстов где-то здесь, на Севхимзе, работает уже с лета. Осенью он прислал Денису письмо. По одному конверту, самодельному, заклеенному жеваным хлебом, следовало бы понять, что жизнь у него здесь — не парижский шик.

Сашка писал: «Не понимаю, на фига ты там торчишь, если тебе «кирка не по чести, перо не по нраву». Затем язвительно спрашивал, слыхал ли Денис про такую премудрость, как пятилетний план? «Так вот, настоящие большие дела сейчас развертываются на стройках пятилетки, и Севхимз — одно из таких строительств. Здесь, брат, масштабы такие, что глянешь вверх — картуз свалится с непутевой твоей головы...»

И Дениса соблазнили Сашкины соловьиные трели.

Всего несколько минут здешняя природа отпустила людям, чтобы понаслаждаться чистотой воздуха. Сразу затем пришла зябкость. Начал показывать свой норов мороз, непривычный, легко проникающий сквозь одежду. Говорят, мороз не велит стоять неподвижно. Здешний мороз как раз велел стоять, съеживаться, скупердяйски беречь каждую крупицу тепла. И люди стояли вразброд на промерзлом, скрипучем перроне, удивляясь, что никто не торопится их встретить, заботясь только о том, чтобы ногой чувствовать свой сундучок.

Но тот, кто должен был их встретить, оказалось, находился уже тут. Паренек в кургузом ватнике, подпоясанном армейским ремнем, неизвестно откуда взявшийся, медленно прошел туда и обратно, оглядывая прибывших, и мороз ему, казалось, нипочем.

— Ну что, женихи,— по-петушиному бодро и хрипловато пропел парень.— Поднимайте на загорбок свое приданое.

Плывя в нестройной, спотыкающейся колонне, притопывая, чтобы согреть охолодевшие в тонких валенках ноги, Денис услыхал, как кто-то из идущих впереди спросил провожатого: куда он их ведет?

— А на Глухариное, куда же больше,— беспечно от-

ветил парень, будто новоселы могли знать, что это за Глухариное.

Но Денису и этого было достаточно, чтобы подумать: наверно, это действительно могучее строительство, если оно захватило такую территорию, куда вошло даже какое-то урочище Глухариное. И, пожалуй, на этом Глухарином до начала стройки только случайный охотник притаптывал froднями мох да забредали бабы — сборщицы клюквы, уже не верившие по нынешним временам в болотного лешего.

Участок стройки, носивший такое название, оказался поселком домов в пятнадцать, городского типа и устройства, новеньких, четырехэтажных, построенных из красного кирпича, с межоконьями, для благообразия — из белого, силикатного. Короткая улица была не расчищена от снега, лишь посередине промята углубленная в суметы дорога да проделаны неширокие подходы к подъездам. Улочка была освещена электрическими фонарями, но провода к ним шли не везде по столбам, кое-где крючья изоляторов были ввернуты прямо в стволы сосен.

Прибывшим строителям, как объявил их провожатый, был отведен целый дом с тремя подъездами, по три квартиры на каждую лестничную площадку.

Все-таки о встрече трудового пополнения кто-то здесь позаботился в меру сил. В комнатах были расставлены кровати с соломенными матрацами. И приезжие люди, толпясь в отведенных комнатах, не торопясь располагаться в этих покоях, порассуждали о том, что в таких местах и солома не бросовый, не подножный материал. Сюда, небось, и солому с осени завозили издалека.

Не было в комнатах только самого нужного сейчас людям — тепла. Радиаторы отопления излучали только первозданный, уличный холод.

— Ну вот,— сказал Денис своему знакомцу Назарову, не упустив случая попрекнуть его за то, что о Турксибе он сохранил лишь воспоминание об изобилии там песчаных блох.— Здесь по крайней мере блохи нас не потревожат.

А в это время на лестничной площадке люди, наполнившие дом гомоном и суетой, зажали в угол парня, который их сюда привел, сварливо спрашивая, о чем думало начальство, расселяя людей в этом ледяном доме. Самого бы начальника сюда хоть на одну ночь.

И парень отругивался от них, заученно повторяя чьи-то чужие слова, что надо преодолевать трудности, встающие на нашем жизненном пути. Что осенью строители не успели опрессовать и проверить систему отопления.

Кровать Дениса пришлась возле стены. С дороги он уснул сразу, как в омут погрузился, едва успев завернуться кроме казенного тонкого одеяла в ватное — материно благословение на труды и подвиги на чужой стороне.

Утром ему пришлось ножом скалывать со стены лед во всех тех местах, где к ней накрепко примерзло суконное одеяло. Этот памятный нож — златоустовской работы с гравировкой по всему лезвию — он купил как охотничье снаряжение давным-давно, вскоре после окончания училища. Давным-давно... Бывает же так, что каких-то четыре-пять лет могут показаться за «давным-давно».

Не получилось у него за все эти годы потешить душу охотой, как не составилось много другого, о чем мечталось-думалось. И нож с гравировкой так и хранился у него даже не заточенным, в таком виде, как был заправлен на заводе — под зубильце.

Весь первый день у Дениса пошел на то, чтобы понемногу, шаг за шагом, начать понимать, насколько неверно он представлял себе условия труда и бытья на новостройке. Думалось, что их нетерпеливо ждут здесь, на предприятии, где на счету каждая пара рабочих рук. Но впечатление первого дня было таким, что никто их тут не ждал. И если кто-нибудь и знает об их прибытии, сейчас ломает голову: куда к черту их всех рассовать, пристроить к делу.

Выйдя на улицу, осмотревшись, он увидел, что эта группа домов, называемая теперь — соцгородок Глухариное, лежит вовсе не впритык к площадке стройки. Через лог, за редкой гривкой сосняка, виднелись какие-то скелетно-черные нагромождения, рваная горизонталь только начавших подниматься с нуля корпусов. А больше всего там виднелись какие-то уродливые, дощатые постройки, издали похожие на разбросанные там и тут грубосколоченные ящики из-под бакалейного товара. Он уже слыхал, что строительство здесь зимой идет главным образом в тепляках, но еще не знал, как это выглядит. Подумал: со временем узнается. Если придется жить здесь, а работать там, то предстоит, значит, веселенькое

дельце: утром-вечером совершать по здешнему морозцу километра три туда и столько же обратно.

Хоть было и без того понятно, что в неотапливаемом доме водопровод работать не станет, утром, проснувшись, новоселы один за другим почти все переходили в умывальную комнату — повертеть краны, послушать при этом шипение и клекот воздуха в пустых трубах. Вскоре, однако, кто-то из ребят, порасторопнее, разведал, что в соседних домах, заселенных несколькими днями раньше, работает и отопление и водопровод. По одному — по два новоселы принялись шнырять в соседний дом, возвращаясь оттуда с хитрой ухмылкой.

Толкнулся туда по проторенной тропе и Денис.

Глухо обвязанная платком пожилая сторожиха сидела на лестничной площадке первого этажа, блюдя порядок и сохранность казенного имущества. Поднимаясь на площадку, Денис загадал: если она скажет обычные для таких старух сторожих слова — «черти носят», тогда все будет хорошо, все с его работой и бытьем здесь решится наилучшим образом. Если скажет что-нибудь другое...

Старуха, как по заказу, сказала, что их черти носят одного за другим. Спросила, много ли их еще там, бродяг? И предупредила, чтобы по крайней мере не плескались они дуром в умывальной комнате, не разводили бы там лягушачье болото.

Умывшись, Денис мимоходом заглянул в открытые двери комнат этого обжитого уже общежития. Те же, как у них, деревянные топчаны, соломенные матрацы, сундучки и чемоданы под лежаками. И он вернулся к себе домой — подумать только: уже и «домой» это называется — с совсем иным чувством беспечной бодрости. Ведь так немного надо человеку, чтобы посветлело на душе. Только умыться да услыхать что-нибудь смешное вроде этих «бродяг».

А о них, двухстах приезжих душах, в этот день все же словно никто и знать не хотел. Лишь в середине дня в общежитие пришел какой-то тип в кубанке. Он ходил по комнатам, где люди изнывали от неизвестности, и все спрашивал, нет ли среди них сварщиков. Но этой редкой по тем временам специальностью здесь никто не обладал. Нашлось, правда, несколько таких, вроде Дениса, ребят, которые знали об электричестве, что в нем существует плюс и минус. И они, в том числе и Денис, сделали было

слабую попытку навязаться этому вербовщику, надеясь, что там на деле смогут разобраться, что к чему, и, может быть, ускоренно, с одной лишь вороватой поглядки, научиться сварному делу. Но нарядчику нужны были только пять человек.

Уже почти в сумерках на второй площадке лестницы в их подъезде девчушка-посыльная налепила на стену объявление.

Странный это был документ. Словно его торопливо отщебетал телеграфный ключ — никаких лишних слов. Читай и понимай: чикаться с вами некогда и некому здесь. В заголовке стояло только одно, крупно выведенное слово: являться. А дальше следовал столбец рабочих специальностей с обозначением куда являться, к какому часу.

На лестничной площадке около этой прокламации сразу стало не пройти. Подходили все новые люди, но и те, кто мог бы успеть наизусть заучить всю афишу, не торопились расходиться. Людям тут предстояло выбирать себе род оружия, чтобы потом не сожалеть и не порхать с одной работы на другую.

Вскоре на полях афишки появились карандашные приписки наезжих остроумцев: «Даешь кубометры». Это написал для собственного ободрения какой-нибудь завзятый землекоп. Другая надпись призывала: «Ударной работой бей буржуев прямо в переносье». И словно Денису прямо адресованная была еще одна надпись: «Не робей, браток, с нами не соскучишься».

— Ничего, проживем помаленьку. Как-нибудь приработаемся и здесь,— утешительно сказал Ефим Назаров Денису, постояв возле этой афиши.— Не робей...

Легко было Ефиму говорить: не робей. У него сызмала определенное мастерство в руках — мастерство плотника широкого профиля. В этом качестве он успел потрудиться и в области сельского избяного зодчества, и на заводских стройках, и на речных судовых верфях. Отзываясь на вопросы о специальности, он обычно отвечал: «созлый плотник». Это, по-видимому, следовало понимать: не только потомственный, а еще и как умеющий работать с азартной веселой злостью.

Может, Денис и подружился с ним потому, что в этом человеке было что-то плотницкое, отцовское — умение работать споро и смекалисто, хотя по виду нерьяно и

всегда как-то с презрительной развалкой. Только отец при молодых парнях не позволял себе непристойностей, а Ефим частенько изъяснялся с матерщинным юморком. Кроме того, отец всегда соблюдал приличие во внешности. Ефим же был кудлат, неряшлив, бороду не запускал, но и брил ее в две недели раз. И лицо у него было не по возрасту морщинистым, словно иссеченное ветром времени — тех долгих лет, что он прожил на строительных лесах и верхом без седла на венцах деревенских срубов. Иногда Ефим удивлял друзей всякими фокусными штучками с топором. Бросал, например, топор вверх метра на три, и инструмент безошибочно втыкался там у него в какую-нибудь балку острым углом лезвия. А эта штука, кроме всего другого, была еще и опасной забавой.

Еще в училище Денис знал, что ничего другого желать не будет, как только стать мастеровым человеком. Но мастеровым он хотел стать таким, где ему была бы полная воля мудрить, выдумывать, оригинальничать. Думал, что его профессией станет украшать построенное на радость людям. Теперь же он понял, что прежде надо еще построить много элементарного, грубого, но без которого не проживешь.

А раз так, то пойти с Ефимом плотничать было ему на сегодня самое сподручное. В этом ремесле он, хоть и с поглядки, кое-чему научился у отца. Что тесать бревно по шнурку надо пятясь, это он, во всяком случае, знал с детства.

Знал также, что о том, каков ты есть плотник, люди судят по твоему топору. Топор у хорошего плотника должен быть наведен,— то бишь отточен,— так, чтобы при нужде можно было и побриться. А топоры на другое утро им выдали такие, что Ефим только сердито сплюнул. Собственно, им не выдавали инструмент, а просто показали на большой ларь в инструменталке, где лежало десятка два новых топоров. «Такими только дробить говяжьи кости на собачий суп»,— подумал Денис. А что в этих условиях с ними делать, как привести инструмент в порядок, этого он не знал.

Для Ефима же это был, по-видимому, не вопрос. Он выбрал два топора, сбегал в какую-то мастерскую, где можно было сделать грубую заточку на наждаке. Причем и мастерскую среди других построек-времянок нашел на слух. Прислушался, откуда идет звук каких-то работаю-

щих станков, сообразив, что там-то уж, наверное, имеется наждак для заправки инструмента. А для окончательной наводки лезвия у него нашелся в кармане брусок печерского песчаника. Такие бруски хороший плотник всегда возит в своем сундучке и бережет как паспорт, как икону Николая-чудотворца, если он богобоязненный человек.

— Вот получай,— добродушно сказал Ефим, подавая ему топор.— С этим ты уже без малого корабельный плотник.

И Денис с волнением принял из рук Ефима теперь уже справный инструмент.

И добавил еще, что топорище в ближайший же перекур надо пошлифовать осколком стекла. Не то Денис с непривычки в первый же день спустит себе кожу на ладонях до кровавых мозолей.

Общежитие вдруг начало отапливаться. Люди пришли как-то вечером с работы и, почуяв, что в комнатах пахнет жилым теплом, начали, один другому не веря, щупать батареи. Оценить такую благодать способен только тот, кому доводилось пожить хоть неделю в ледяном доме.

В один из таких вечеров, когда они, придя с работы, все еще не веря своему благоденствию, ощупывали радиаторы отопления, в общежитие пришел техник-нарядчик, парень в добротном пахучем полушубке. На стройке многие из начальственных лиц всех рангов ходили в эту зиму в таких полушубках. И Денис подумал: уже по этому можно заключить, что страна ничего не жалеет для своих новостроек. Может, таких полушубков завезли сюда несколько тысяч, а их где-то надо взять.

Нарядчик, как оказалось, искал его, Дениса Хаританова, чтобы предложить ему идти на курсы взрывников.

Денис изрядно устал и промерз в этот день и хотел только одного: вволю крепкого горячего чая. Когда позднее он рассказал Назарову, что отказался от этого предложения, тот оценил его поступок кратко и резонно:

— Ну и дурак. Там и работа полегче и получают они не с наше горе.

Кроме них с Назаровым в комнате общежития жило еще четверо трудяг, возрастом моложе Ефима, но все постарше Дениса. Все они нашли себе работу, кому что по душе. Один устроился на камнедробилку и вечерами

приходил с работы весь, как мельник, в каменной пыли. Он тоже принялся спрашивать Дениса, почему тот отказался пойти во взрывники.

— А вот потому и отказался,— уже усвоив себе их общую привычку отвечать не серьезно, а всегда с добродушным лукавством, сказал Денис.— Слыхал, что Назарова у нас хотят сделать бригадиром плотников. А тогда мне будет у начальства рука-опора. Упустишь свой шанс, потом не поймаешь.

И камнедробильщик, кажется, принял всерьез этот довод, покачав головой с уважением к Денисовой дальновидности и умению жить.

Пытаясь до конца понять что-то еще не понятное ему в этих людях, по доброй воле заехавших в северную глухомань, на такую чертоломную работу, он как-то спросил Назарова: что за бешеный петух его клюнул, что он приехал на Севхимзавод?

— Про таких, как мы с тобой, люди говорят: погнались-де за длинным рублем...

— А это межеумок какой-нибудь сказал,— рассудительно отозвался Ефим.— Рубль, как старинный железный аршин, не бывает ни длиннее, ни короче себя. Есть только трудовым потом пахнут которые... А есть целковики, пахнущие одеколонным дермецом.

В этот вечер на Ефима нашел разговорчивый стих, и он рассказал Денису про свое житье-бытье. Родом он был из глухой деревни в Прикамье. Еще до революции его родитель — коренной крестьянин — отошел от всех дел из-за старческой немощи, а потом и вовсе покинул постылый ему белый свет. Земли Ефиму достался скудный надел, да и почвы в их краю были — одна неродимая серая кислоть. Но пока ему приходилось бедовать из-за малости земельного надела, он держался за него, худо-бедно крестьянствовал. Когда же Советская власть дала крестьянству земли по справедливости, Ефима испугало, что теперь ее стало много. Придется на ее обработку тратить втрое больше силы. Сила же у человека, по его разумению, всегда одна, и больше ее взять неоткуда. И он понемногу втянулся в отходнический промысел.

Вся его философия заключалась в нехитрой формуле, что жить как-нибудь надо. И у него было убедительно рассчитано, что до шестидесяти лет ему хватит силы как-нибудь прожить, а там, может быть, милосердная смерть

придет как раз вовремя. Не станет же она мешкать, заставляя Ефима Назарова томиться, мучиться старческим одряхлением.

«Бедная философия,— подумал Денис.— Но у тебя-то самого разве богаче, Денис Хаританов,— песчинка в подвижных барханах человечества?»

Да и работа на первое время им досталась из таких, о которых строители саркастически говорят: всю жизнь мечтал. Бригаде, в которой Назаров все-таки оказался бригадиром, довелось строить... конюшню.

Работа на строительстве конюшни была такой, на которой не поднакопишь мастерства. Тут никто не требовал с них чистоты и аккуратности; только бы скорее. И чтобы только по конюшне не ходили сквозняки. Одну стенку, откуда всю зиму дули ветры, редко меняющие направление, сделали тесовую, двойную, засыпав пазухи между обшивкой опилками. Три другие стены собрали даже одинарными, кладя тесины внахлест. Лошадей на конной базе немало стояло пока просто под навесом, лишь с трех сторон имеющим защитные от ветра стенки. Тоже и лошадям приходилось круто и не вольготно жить в эту пору развертывания титанических работ в стране.

Шла, пожалуй, уже третья неделя их работы на стройке.

Уже в сумерках они ставили стропила. Спустились с перекрытия вниз, когда плохо стало видать обух топора. Работали бы еще, но впотьмах плотницкую работу не делают, и только тот, кому приходилось самому плотничать бригадой, знает почему.

Известное дело: азарт к работе — подряду — пробуждается у людей почему-то к концу рабочего дня. А тут, кроме того, подступал еще и конец месяца, и сдать наряд у всех у них был свой интерес.

Спустившись, еще потоптались внизу, в заветрии, наводя на строительное начальство ленивую критику, приправленную кое-какими незлобными выраженьицами не для протокола. Посетовали на то, что кто-то из прорабства не догадался вовремя подвести на конюшню свет. Все равно, когда в конюшню поселят лошадей, электричество придется подводить, не с фонарями же «летучая мышь» конюхи будут ухаживать за поголовьем. Ведь белого дня в середине зимы в этих краях, как ни хитри, получается всего часа четыре.

Заодно посудачили и о том, что, похоже, кто-то не с очень трезвой головой выбирал здесь место для строительства такого предприятия. Можно же было выбрать место повозвышеннее, чтобы не пришлось перемещать такую громаду грунта для подсыпки территории. Но тут мнения разделились. Кто-то сказал: «Легко вам выщелкивать языком, не зная всех обстоятельств. Одно дело, что такое предприятие не должно отрываться от железной дороги. Кроме того, тут где-то найдены большие месторождения того сырья, на котором будет работать Севхимзавод...»

Закончив работу, сложив инструмент в большой тесовый ларь,— ключ от ларя Назаров не доверял никому,— плотники, как гуси, шли в столовку. Таких столовых с заиндевелыми потолками по всей территории строительства было больше десятка. Вечером в них делалось как в школьном коридоре в большую перемену, если к гулу голосов и суете прибавить еще сизый туман под низкими потолками и густой запах кухни.

Назавтра им оставалось на своей конюшне только уложить кровлю.

Световой день здесь словно бы усох, уменьшился в размерах от морозов. Около десяти часов еще только начинался медлительный рассвет, а в четыре часа пополудни уже не прочесть письма, которое принесет запоздалый почтальон.

Поэтому утром плотники часто работали впотьмах. А это требовало кроме плотницкого мастерства еще и кошачьей ловкости и угадливости.

За работой они не замечали медленную и сложную подготовку природы к восходу солнца. И уж чуть ли не к обеденной поре оно всплывало из каких-то непроглядных глубин, качаясь на зыби таежных лесов. И они уже знали: солнце и не поднимется намного больше этого стояния. Покачается над горизонтом короткое время и снова, словно отяжелев, начнет утопать.

В одно такое утро Денис, косолапо стоя на коньке крыши, огляделся и замер от радостного удивления: такая открылась своеобычная, зыбкая, как мираж, красота земли. Марь и изморозь, нависающие здесь с осени на всю зиму, не рассеялись, лишь поредели и, пронизанные солнечным светом, словно сами стали испускать животворный свет. В этом мерцающем сиянии, казалось, мож-

но было разглядеть даже ворсистость отдаленного мертво-неподвижного пихтарника.

Только теперь, проживя на стройке уже больше трех недель, Денис разглядел ее пейзаж.

Припомнил, что когда-то в училище они пытались в меру своей фантазии изобразить на праздничных щитах-плакатах панораму городов будущего. А город будущего — вот он!

Но насколько же он был не похож на то, что они рисовали себе в юношеском воображении. Этот пейзаж был, пожалуй, безобразен, но и величав в своем безобразии. Какая уж красота, когда земля вокруг на нескольких квадратных километрах взрыта, всхолмлена человеческими руками так, словно ее встряхнуло и пораскололо землетрясением. Какая красота в котлованах такой глубины, что, кажется, до подземного адова царства осталась только лишь тонкая земляная перемычка. Но если не красота, то могущество человеческое тут было видно самому недоверчивому и предвзятому наблюдателю.

Во многих местах над котлованами и фундаментами будущих цехов громоздились черные каркасы металлоконструкций. Но впечатляли не столько они,— хотя это была главенствующая деталь пейзажа,— а тесовые короба громадных тепляков.

Тепляки таких габаритов, что в каждом могла быть упрятана небольшая сельская церквушка вместе с колоколенкой. И в них шла работа по зимней бетонировке.

Кое-что в строительном деле Денис уже понимал...

По каким-то признакам, приметам парня, получившего детдомовское воспитание, Денис узнавал безошибочно. Может, по неуловимому оттенку цвета кожи. Все-таки детдомовские не имели того, чем заводская ребятня пользовалась вдосталь: рыскать целыми днями по окрестным лесам, подкармливаться разными съедобными кореньями, весной — сосновыми почками, называемыми крупянками, съедать полусырыми пескарей, изловленных в горных ручьях рубахой вместо бредня. Детдомовские под надзором воспитателей всех этих изысканных удовольствий, конечно, были лишены.

Ондря Олейников, секретарь комсомольского комитета на стройке, был как раз из детдомовских. Так при первой встрече Денис определил его, и так оно позднее и оказалось.

Впервые явившись в комитет комсомола, Денис подумал: кого он мне напоминает? Но вскоре понял, что Андрей Олейников,— всеми прозываемый Ондря,— своей неугомонностью, привычкой решать дела как бы всегда на ходу, всегда куда-то спеша, походил на Посохина, того парня, который так же мимоходом толкнул их с Сашкой Верстовым в училище.

Весной управление стройкой перебралось в новое двухэтажное кирпичное здание. Еще вчера оно было на своем месте — в том длинном деревянном бараке, а наутро строители, проходя по делам, находили там полный разгром: побелочный ремонт, порушенные перегородки в одном месте, возводимые — в другом. Деловито и нешумно на стройках свершаются всегда такие перетряски: ломка старого, заселение нового. И нет людей, более легких на новосельный подъем, чем сами строители.

В новом здании одну комнату отвели под комсомольский штаб стройки. Появился к этому времени такой руководящий орган. Только не всем было понятно, в чем разница между штабом и комитетом. Кстати, и начальником штаба был назначен все тот же Ондря Олейников. Разве только в том, что в штабе круглые сутки кто-нибудь дежурил, бодрствовал, а у комитета все-таки существовал лишь дневной рабочий день. Случись среди ночи какая-нибудь аварийная неуправка...

Раза два или три довелось и Денису нести дежурства по штабу. Ему понравилось сидеть с вечера до полуночи или с полуночи до утра, принимая телефонные звонки диспетчеров, которым требовалось кое-что по мелочам подсобить. Комната штаба имела скошенным один потолочный угол: там проходила как раз лестница на второй этаж, и только частый грохот шагов кого-нибудь сбегающего по лестнице в сапожищах напоминал, что находишься при деле. А так бы дежурства такие были, пожалуй, одним из редкостных мест и возможностей побыть в одиночестве.

Но в тот вечер штаб собрался по немаловажному поводу. Старенький колесный пароход «Снегирь», отданный строительству в числе трех других, должен был вот-вот привести две баржи с кирпичом. А с этим товаром строительство-таки подбилось — обеднело в последнее время, и начальники участков успели малость поссориться на оперативке у директора из-за того, кому сколько при-

дется взять из этих двух большегрузных барж, которые еще карабкались где-то на дальних перекатах реки.

Штабу тут было над чем подумать. Капитан «Снегиря» с какой-то из нижних пристаней предупредил, что, если его хоть на лишний час задержат под разгрузкой, он не ручается, что сумеет сделать еще один рейс. Вода в реке после бурного и размашистого половодья пошла на убыль. И ему вовсе не улыбается в следующем рейсе повиснуть с баржами на одном из нижних перекатов. Ночные авралы были на строительстве не в редкость. А кого еще на них поднимать, если не комсомольцев и молодежь?

Обрисовывая членам штаба обстановку, Ондря Олейников сказал:

— Тут надо, чтобы все получилось организованно, как по нотам. Мы не знаем точно часа, когда прибудет пароход. Это вам не пассажирский поезд Москва — Ленинград. Этому облезлому «Снегирю» вскарабкаться против течения не легче, чем любому из нас подняться по канату на пять метров высоты. На разгрузку мы можем вывести человек двести, чтобы они, как только пароход подвалит к мосткам, ринулись в работу. Но привести этих ребят на пристань заранее, чтобы они томились тут впустую час или два — это тоже не дело. Как же быть?

Может, послать сигнальщика километра на три по реке, за первую излучину? — размышляя вслух, сказал Андрей.— И чтобы он предупредил нас о подходе парохода сигнальной ракетой. Только найдем ли мы ракетницу...

Хрупкая девушка с глазами зоркими и неподвижными, как у лесной птицы, сидела возле Олейникова, записывала, кто за что отвечает в подготовке к авральной ночной работе.

— И надо ведь еще запастись «козами»,— сказал Олейников, подходя к концу рассуждений.— Ответственным за «козы» давайте назначим... ну хотя бы тебя.

Денис с досадой сказал: «Не было печали! Да где я возьму две сотни «коз»?

«Коза» — нехитрый грузчицкий инструмент. Всего-то доска в длину человеческой спины, с четырьмя короткими ножками. Совсем была бы скамейка, только ножки обращены попарно в разные стороны. Одной парой «коза» ложится грузчику на плечи, на вторую подсобники-накладчики кладут кирпич: по доброму желанию — сколько стерпит его молодецкий хребет.

Никогда заранее не знаешь, какими заботами вдруг одарит тебя жизнь. Побегать, похлопотать Денису-таки пришлось. Конечно, «козы» имелись на всех участках и объектах. Но в одном месте ему дали их с первого слова, только попросили вернуть завтра по-честному. В другом месте пообещали накласть по шее. На компрессорный участок Денис просто приехал с телегой-платформой, начал складывать «козы», никого не спрашивая. И тут же — откуда только взялся? — появился бригадир, строго спрашивая: зачем он это делает?

— А ты спрашивай начальство. Мое дело маленькое,— прикинувшись Акимом-простотой, сказал Денис.

И это странным образом подействовало на бригадира.

«Снегирь» подвалил к мосткам как раз в этот час, когда его и ждали. Выгрузка началась, но это было словно не работа, а сон в майскую ночь. Днем это была бы просто работа, спорая, дерзкая, артельно-веселая. Сейчас все выглядело нереальным и зыбким в молочно-матовом полусвете северной ночи. По сходням один за другим непрерывно движутся силуэтно-черные фигуры — вниз с грузом за спиной и обратно, по другим сходням — с порожними «козами». И кажется их движение замедленным, словно все это делается не в нашем неугомонном мире, а во владениях морского царя. На самом же деле грузчики движутся по трапам вовсе не медленно, а полубегом, подчиняясь стройному ритму и общему азарту труда. На самом же деле это только сказочная ночь и преломленный сон,— сейчас бы самое время спать, спать,— придают всему вокруг мягкую и смутную окраску и впечатление замедленности.

И каждый повод чему-нибудь посмеяться служил все тому же доброму делу — помочь ребятам преодолеть сон. Водолив оказался крупным бородачом в рубахе распояской. Словно театральный костюмер потрудился над ним, приодев его под завзятого волгаря. Он сразу, как началась выгрузка, ушел в пристанскую контору и появился только часа через полтора. В трюм баржи сразу после причаливания электрики протянули провод на шестах с единственной лампочкой. Водолив спустился в трюм и сразу вылетел оттуда, будто его кто подбодрил сзади шилом.

— Вредители! — завопил он на весь речной простор.— Вы что, хотите мне переломить баржу?!

На «вредителей» следовало бы обидеться. Но слово это в такую ночь не возмутило, а только позабавило грузчиков-добровольцев. Они, конечно, сразу поняли свою ошибку: баржу полагается разгружать, выбирая груз постепенно из всех ее отсеков. Тяжесть ее в носу и корме суденышка, когда средний отсек уже освобожден, действительно,— кто бы мог подумать,— способна порвать обшиву где-нибудь между средних шпангоутов. Но пока этого не случилось, можно и посмеяться. Тем более что вид у водолива был такой переполошенный, блажной. Ему вежливо объяснили: они ведь не заправские речники, им простительно не знать правила разгрузки. А вот ему не следовало отлучаться, когда в его владениях, «ломая скалы», кипит ударный труд. Поэтому с «вредителями» надо бы полегче, а то ведь ночь вокруг и сонная река.

Как бы то ни было, инцидент внес в работу оживление, как уместная добрая шутка освежает внимание слушателей среди доклада, начинающего прискучивать.

Но все это занимало ребят только в первый час работы. Пока еще не начали постанывать хребты грузчиков и дрожать поджилки. Потому что не шутка — имея за спиной на «козе» несколько десятков кирпичей, подняться из трюма баржи по крутому трапу, потом рысцой пробежать по сходням сотню метров до того места, где помощники снимут груз со спины. Пока они перекладывают груз с «козы» в штабель, можно перевести дух. И оказывается, это — самая блаженная минута. Жаль только, что она возмутительно коротка.

К тому же нехитрое дело переноски груза требует сноровки. Когда бежишь по сходням на пристань, они колышутся, прогибаются под ногами, и шаг надо умело согласовать с их колыханием. Иначе можно попасть в ритм раскачиванию сходен. И тогда нехитро сверзиться с мостков в воду вместе со своей «козой».

Но эта сноровка хождения с грузом приходит скоро. Кое-кто из ребят уже с первых пробежек приспособился к ней. И вот уже обучают других, кому это дается медленно, советуя «мелкой собачьей рысцой» пробегать эти критические метры посередине сходен.

Норму — сколько кирпича в один подъем — никто не устанавливал. Ребята послабосильнее выносили вначале, на пробу, по двадцать штук. Но когда кто-то, идущий в шеренге впереди, несет сорок,— твои двадцать, естествен-

но, кажутся стыдобищем, чуть ли не изменой общему делу. И вскоре даже те из ребят, кому этого делать и не следовало, стали выносить по сорок. А где сорок, там и пятьдесят. К тому же всем было известно, что на пристани есть пожилые грузчики, которые носят по семьдесят.

Денис тоже только первые пробежки сделал с сорока кирпичами. После этого отважился взять полсотни, так и рассудив: «Где сорок, там и пятьдесят». Велика ли разница. Но разница оказалась такой, что прогулявшись с полсотней два или три раза, он почувствовал: нет, на всю ночь меня этак не хватит. Выпаду из шеренги, отдам себя на позор и осмеяние. И все-таки еще несколько раз он успел сходить с полусотней.

Ондря Олейников пришел на пристань с запозданием на полчаса в сопровождении своей помощницы, той глазастой девушки. Завладев свободной «козой», она пробежала в трюм, торопясь включиться в работу. Но была сразу же изгнана оттуда. Накладчики объяснили, что для такой пигалицы найдется работа подручнее: наверху, на пристани.

Зато Олейникову никто не помешал встать на выноску. И уже прослышав, что некоторые из ребят носят по полусотне кирпичей, он тоже сходил с таким грузом по три раза. После чего, поднявшись на палубу, прокричал свою директиву: данною ему богом и ВЦСПС властью он запрещает кому бы то ни было брать больше сорока кирпичей. От тридцати до сорока и не больше. Не надо забывать, что тут есть ребята по восемнадцать-девятнадцать лет, с еще не окрепшими костяком.

И Денис, когда после полусотни понес сорок, иронически подумал: «А все-таки жизнь хороша».

Ночь коротка, если считать по часам и минутам, и куда как долга, если считать по количеству пробежек по шатким мосткам с «козой» за спиной. И все-таки она пришла к концу. И люди на пристани с восхищенным изумлением смотрели, как разыгрывается для них феерия северного рассвета. Кажется, только что в мире были мягкие сумерки, а вот уже и солнце встало в своих шелках и парче.

Худо-бедно сделанная за ночь работа теперь была налицо в виде темной линии, шириной около метра, вдоль бортов обеих барж. Настолько они теперь сидели выше в воде. А ребята между тем на берегу, постаскивав с себя

одежонки, принялись вытряхивать их, подняв целое облако красной пыли. Закатав штаны выше колен, заходили в ледяную воду омыться до пояса. И кого-то робевшего уже тащили волоком по песку к воде вчетвером за руки и ноги. И он со страдальческим юмором смотрел в бирюзовое небо, покоряясь судьбе.

Северную зиму можно упрямо и стоически претерпевать, можно для себя и людей делать вид, что она тебе нипочем,— такой ты выносливый и несгибаемый парень. Невозможно только не порадоваться первым весенним оттепелям.

За зиму Денису довелось побывать на многих работах.

Срок его плотницкой работы под началом Назарова был недолог. После конюшен плотников отправили на тепляки — сегодня мастерить, завтра разламывать опалубку под монолитный бетон. И это тоже была далеко не долговекая работа. Плотник, может быть, и силен только думой, что сделанное его руками простоит на пользу людям, пусть хоть не несколько десятков лет, пусть хоть две зимы, как те конюшни. А тут строишь, зная, что завтра же, как только схватится бетон, тебе же придется ломать эту городьбу. И ты только и сумеешь оставить после себя, что выдавишь на еще не отвердевшем бетоне щепкой свои инициалы. А какой-нибудь свой следок-памятку оставить зачем-то хочется.

Легче ли она была — работа в тепляках, чем под небом? Там — лютая стужа, лишней минуты не позволяющая помедлить, передохнуть. В тепляках — банная сырость и круглые сутки полутемно. И чего только не нанюхаешься в тепляке, пройдя от одной до другой стенки этого огромного ящика. То пахнет свежим тесом, только что привезенным на вагонетке с морозу, то фартуком печника. То обдаст запахом гретого битума.

Как-то на исходе зимы Денис без горечи и досады подумал о себе: случись заполнять какую-нибудь анкету, он теперь мог бы написать в графе о специальности: плотник, бетонщик, арматурщик. Но ведь до подлинного мастерства он так и не поднялся ни в одном из этих дел. Долго ли так может быть? Надо, надо прибиваться к чему-нибудь одному.

Но пока волею случая он очутился на камнедробилке.

Камнедробилка — дощатый трехъярусный лабаз-сарай, продуваемый ветрами. В нем несчетно много проемов для ворот, в которых, однако, нигде не навешены створки-полотна. Они и не нужны, потому что проемы в сторону верхней террасы служат только для сталкивания по наклону к дробилкам каменных глыб, подвозимых паровозами.

Стены этого лабаза вернее было бы назвать забором, если бы не добротная крыша над всем этим сооружением. Так, сознательно не заботясь о плотности, строят стены зерновых складов в колхозных селах. Там тоже совсем не мешает, если внутри гуляют ветры. Здесь же это нужно затем, что иначе бы тут можно было задохнуться от каменной пыли. Тут завальщикам приходится всю смену поднимать и опускать в непрерывно жующую пасть машины глыбы гранита и базальта. Тут не задремлешь, и рубаха под телогрейкой то отсыревает, то норовит залубенеть от в самую душу колющего морозца.

Поэтому, впервые встав к дробилке, Денис иронически произнес расхожую фразу стенных газет: «Охрана труда, где ты?» Сказал никому, просто в пропыленный воздух, потому что никто его бы и не услыхал в грохоте машин. Но тут он увидел нечто, заставившее его забыть иронию: на машине стояла заводская марка «УЗТМ».

Вот и воспитывай волю в себе. Вот и кичись тем, что ты не сентиментален, не какой-нибудь хлюпик, а сильный духом человек. Но придет такая минута, когда тебя чуть ли не слеза пробьет от какой-то уловленной взглядом случайности. Стало быть, завод на окраине твоего города уже живет, погромыхивает себе на доброе здоровье. Каких-то два года назад в воскресный день бывал он на той окраине, что называли Калиновскими разрезами. Там тогда еще только начинали копаться в земле, стояло всего несколько деревянных бараков. Позднее, правда, Денис читал в какой-то газете, что Уралмашзавод начал выпускать первые машины — пушки Брозиуса и щековые дробилки. Прочитал и тут же забыл об этом, не сумев понять всего значения этого газетного сообщения. А тут словно родненького, будто братика встретил на далекой чужбине.

На стройке, пожалуй, никакая работа не была игрой-утехой. На камнедробилке она только на самую малость вреднее и рискованнее других работ.

Тут не задремлешь: шипит и всхлипывает приводной — шириной в полуторaспальную кровать — ремень от мощного мотора к машине. Лязгают драконьи челюсти машины, раздавливая глыбы камня. Сыплется вниз, в вагонетки на третьей террасе щебенка, которую всегда нетерпеливо ждут бетонщики на объектах. Вечно на них не напасешься этого товара, словно они его едят...

И кого винить, что на третьей неделе работы здесь Денис заболел, обжег себе легкие каменной пылью.

Такая зима... Когда она закончилась, вроде бы стало даже жаль, что повториться снова это уже не может. И вот льстишь себе соображением, что такой тяжелой и боевой зимы уже не выпадет на долю.

Откуда человеку знать, что в свое время ему достанется пережить и еще более тяжелую зиму.

Дни стали заметно дольше. Теперь с работы после дневных смен возвращались совсем засветло. И как-то, возвращаясь один к себе, в соцгородок, Денис остановился на том увале с реденькой гривкой сосняка, который зимой всегда казался сизым, всегда в него, как козий пух в зубья гребенки, начесывался туман. Теперь лесок потемнел и гудел уже по-весеннему — упруго и раскрепощенно.

Денис остановился на увале и уйти отсюда долго не мог.

Он сел на пень, думая сразу сдвоенную думу. Первое было о том, что вот — зиме конец, вокруг уже настоящая, неистовая весна. Будто этого нельзя было заметить и вчера и позавчера. Второе, о чем подумалось, было горделивое: наворочали мы тут за зиму.

Корпуса... Одни уже выведенные под кровлю, другие — еще не одетые в бетон — сквозят только костяки колонн и фермовых конструкций. Длинный ряд газгольдеров со своими дугами трапов, похожих на школьные глобусы. Ближе других виднелось здание компрессорной.

После болезни врачи написали Денису справку использовать на легких работах. А где тут легкие работы? И он оказался на компрессорной, где ему пришлось на высоте вязать арматуру. Компрессорная возводилась по не слыханному еще в России способу. Сначала поставили только колонны, связав их траверсами. Потом подняли на тросах на высоту второго и третьего этажей все будущее обору-

дование цеха — какие-то котлы и аппараты. И вся эта махина висела вверху, словно чудом держась в воздухе, так как тросы снизу кажутся нитяно-тонкими. Позднее уже под них подведут опоры и перекрытия. Автором этого строительного новшества был англичанин-инженер, нанятый Советской властью за большие деньги. Ходил этот румяный буржуазный жизнелюб в ладной канадской шубе на фасонистых никелированных крючках-застежках и высоких ботинках со шнуровкой. Денис часто видел его сидящим где-нибудь на клепаной балке, болтающим ногами над бездной. Девушка — его переводчица — всегда находилась поблизости, только внизу: на верхотуру влезать она боялась. И он кричал ей что-нибудь вниз на английском, она же ответно, снизу вверх выкрикивала его указания по-русски бригадирам и монтажникам. Инженер все чему-то смеялся, ерзая и раскачиваясь, рискуя свалиться вниз. И Денис думал: вот человек, живущий в самой поре своего счастья. Счастлив тем, что ему нашлось где применить свою инженерную выдумку; у себя дома этот смелый проект ему едва ли бы удалось применить. Но он-то счастлив больше всего тем, что увезет в свою туманную Англию немалые деньги, а потом ему останется лишь хвастать виденной здесь северной экзотикой. Наше счастье прочнее. Свою долю труда здесь мы не продавали за деньги. Все наше останется при нас.

Вечером Денис,— в который уже раз,— подумал: ну, зима прошла.

Поскольку самолюбие не позволит ему до последующей зимы покинуть этот благодатный край и уехать обратно в Гранитоград, надо привыкать к тому, что каждую наступающую здесь зиму ты будешь встречать с робостью и дрожью, а когда она минует, тихо радоваться: вот и перезимовали.

Во всяком случае, до следующей зимы надо наладить свою жизнь на стройке разумнее и ловчее. Так больше не годится: сегодня на одной работе, завтра — на другой. Время от времени на стройке организуются разные курсы, где таких, как он — неудельных парней, специалистов «куда пошлют», обучают постоянному и стоящему делу.

И тут он вспомнил Сашку Верстова. За всю зиму ему так и не удалось встретить своего дружка-приятеля. Он пытался разузнать о нем в распредотделе стройки, но там

среди нескольких тысяч занятых на стройке людей отыскать даже имя в списках оказалось почти невозможным делом.

Узнать бы хоть, в каком качестве Сашка трудится на стройке. Может, он, приехав на Севхимзавод на полгода раньше Дениса, успел достичь здесь кое-какой служебной высоты.

Между тем Сашка в эту зиму, если и достигал высоты, то только географической.

Северная новостройка была огромной и богатой, потому что народ, сам бедствуя, отдал ей многое, чтобы позднее многое с нее спросить. Стройке были отданы территории размером с какое-нибудь европейское государство. Ей как бы было сказано: чего тебе еще? Могучая, величественной красоты река, берущая начало в холмах в распадках Полярного Урала, тебе дана. Владей. Недра вокруг будущего предприятия и на полторы сотни километров вверх по реке предоставляются в полное твое распоряжение. А от тебя мы всего только и ждем — азотные туки и калийные соли, чтобы народ имел в достатке элементарный хлеб. И пусть еще будет в нашем производстве целлюлоза, потому что кроме хлеба, наравне с ним, людям нужны знания. И, между прочим, артиллерийского пороху тоже не мешает иметь в достаточном запасе.

В полутора сотнях километров вверх по реке уже жили, тяжко перезимовывали и делали свое дело люди на рудниках, лесопильных заводах и других вспомогательных участках. Не все из того, что там делали и добывали, было нужно Севхимзаводу уже сегодня, сейчас, потому что предприятие надо было сначала построить. Но нелегкий опыт прежних лет научил народ жить, смотря вперед. И, может быть, как раз оно — умение жить предвидя — составляло могучую силу страны.

Человеку нужно что? Что должно стоять первым в длинном списке его потребностей? Когда-то было сказано: хлеба и зрелищ. Вздор! Хлеб и зрелища приходят сами собой, это — вторичное. Человеку первее всего нужна работа. Причем в зрелые годы — привычная, спокойная, умиротворенная; в молодости же — удалая работа.

Весной Дениса Хаританова опять вызвали в распредотдел и предложили то, чего он меньше всего ожидал — стать паровозником.

Он в недоумении сказал, что в паровозном деле он ведь совершенный олух царя небесного, никогда с этой техникой не имел дела. Там даже кочегаром делаются, пройдя какие ни на есть курсы. На это последовало: все это верно. Но правила эти обязательны лишь для дорог Наркомата путей сообщения. У них же в депо даже помощники машинистов зачастую работают без прав. К тому же ему придется сначала потрудиться только кочегаром хоть и на горячем паровозе, но стоящем на приколе. Словом, в депо нужны грамотные ребята и чтобы не чурались труда. И больше некогда нам тут с тобой...

Уже через неделю после этого Денис оказался наедине с горячим паровозом, с грозной машиной, которую до того если и видал близко, то только стремительно проносящейся мимо по стонущему рельсовому пути. Ревущее пламя в топке, тонкое сипенье пара где-то в ослабшем фланце,— надо будет найти эту слабину,— непривычный еще чад горячей смазки.

Всего три смены ему дали поработать с другим парнем, настоящим паровозником. И научился он пока только одному — бросать в топку уголь узкой совковой лопатой да пользоваться инжектором, закачивая воду в котел.

Все было просто, все в духе времени. Если не считать нескольких тысяч лошадей, то главной транспортной силой стройки были два или три десятка паровозов, старeньких, доживающих свой машинный век. На дороги Наркомата путей сообщения начали поступать во все большем числе машины новых образцов. Этим же, компаундам «ОВ» и «ОД», поскольку им еще не пришла пора успокоиться на машинном кладбище, было уготовано напоследок потрудиться на хозяйственных путях новостроек. На короткий срок, лишь только чтобы дотянулись до своей естественной смерти, эти ветераны были определены на Севхимзавод. Хоть вольготной жизни, легкого труда им и здесь не было обещано. Даже депо для них, огромное, как ангар, на восемь канав, было построено из теса наподобие тепляков.

Несколько машин, из самых немощных, были поставлены в тупиках, на службу копрового хозяйства. На стройке в нескольких местах требовалось углубить в землю свайные шпунты. А забить в землю «шпильку» длиною в несколько метров — это не делается с помощью только разудалой дубинушки. На то есть паровые

копры со многопудовой чугунной бабой. Пар для них обычно поступает с тепловых централей, где они есть. А когда ТЭЦ, как это было на Севхимзаводе, сама стоит еще в строительных лесах...

По этому всему — ночь, горячий паровоз в тупике, сипенье пара в ослабевшем фланце. «Надо будет днем найти эту утечку, подтянуть ослабевшие крепления. Или хоть записать об этом в журнал». И свежеиспеченный паровозник Денис Хаританов — наедине с машиной, которую еще боится, как зимнего медведя-шатуна.

Мастеру, впервые появившись в депо, Денис честно сказал почти то же, что в распредотделе: паровозник он ведь никакой.

— Научим,— решительно отсек все страхи и сомнения мастер Вася Клещев.— Вся страна сейчас учится. Учатся азбуке последние из неграмотных старух в самой глухой деревеньке. Только нытики и маловеры могут думать, что мы не осилим всех наук...

Свое присловье насчет нытиков и маловеров Клещев употреблял походя, кстати и некстати. И уж молодежь в депо наловчилась кое-когда уязвлять мастера его же поговоркой. Ночью, осаживая в тумане резервный паровоз с несколькими платформами, Клещев сбил упор тупика, расколошматив у последней платформы все буферное устройство.

И уже утром кто-то из помощников не замедлил подколоть мастера, мимоходом сказав:

— Только нытики и маловеры могут трусливо оглядываться на тупики и всякие там стрелочные сигналы.

Три смены Денис работал на паровозе, стоящем под копром, постигая совсем, оказывается, не простую науку топить котел. Надо забрасывать уголь так, чтобы жаровой слой не ложился «могилкой» твоего, мир его праху, дедушки. Но в этом слое не должно быть и ложбины, и прогаров. Просто, казалось бы, чтобы стрелка манометра стояла близко к красной черте — только не жалей уголек. Но при излишках угля в топке, не успевающего прогорать, к концу смены накопишь в ней «рябчиков» — глыбы спекшегося шлака, которые самое удовольствие потом таскать из топки клещами. Нет, умение просто топить котел вовсе не простое, примитивное дело, и оно не подчинится долго, если в тебе нет уважения к нему. Кочегар... Даже в самых непритязательных семьях в Верх-

Палице матери, прикидывая будущую профессию сына-подростка, думают о чем-нибудь поблагороднее.

Но Дениса высокое кочегарное искусство сразу привлекло, можно сказать, полюбилось ему. Чем? Может, тем, что ежечасно и всегда тут имеешь дело с проворным, живым огнем. Еще в детстве он любил дома открывать дверцу топящейся печки и подолгу завороженно сидеть перед огнем. Либо просто он натерпелся за зиму от морозов и теперь безотчетно хотел любого тепла, насытиться и за старое и впредь, прокалиться насквозь.

Первую неделю он если не практиковался с кем-нибудь из опытных кочегаров на подкоперных паровозах, то с ремонтниками исполнял не слишком почтенную, но необходимую работу: подай, сбегай, почисти дымовую коробку, берись буксовым ломом перекатывать холодный паровоз. В трудовой сумятице депо никогда сегодня не знаешь, где окажешься завтра.

В один какой-то день ему было велено заняться поврежденным поршневым диском с машины, стоящей на канаве. У машины оборвало шток, и в депо не было такой механизации, чтобы удалить обломок из диска диаметром больше полуметра. Ни тяжелых прессов, ни подходящего станка для высверловки. Оставалось выбить мертво запрессованный обломок с помощью матушки-кормилицы, как молотобойцы зовут кувалду. Конечно, от Дениса никто не ждал, что он справится с этим сам. С него требовалось только разложить на дворе хороший костер и нагреть диск до вишневого свечения. Когда же он это сделал, к месту действия началось паломничество всех, у кого есть желание поразмяться с кувалдой, блеснуть молотобойским молодечеством.

Раза четыре Денис нагревал диск. Может, десятка полтора охотников побывали возле кострища. И уже вопросом уязвленного общего самолюбия стало удаление этого отломка. Последним, вполголоса матерясь по адресу всех слабаков и белоручек, пришел рыжий и коренастый мастер Вася Клещев. Диск снова нагрели, положили его плашмя на два рельсовых отломка. И тут кто-то из ребят подзудил мастера, сказав: только нытики и маловеры могут говорить, что Вася Клещев не сумеет с пяти ударов выбить отломок.

Вася сделал не пять ударов, а много, пока не выдохся. Денис сидел низко на какой-то расщепленной шпале, и

все в нем дрожало от радостного возбуждения. На работу Клещева и правда нельзя было смотреть без восторга. Мастер действовал кувалдой не только умело, но отчаянно и могуче. Вслед за кувалдой он и сам низко кренился вперед, словно расстилаясь над землей, прибавляя к удару еще и вес собственного тела.

Денис подумал: истинная красота... Разве мы знаем, в чем она состоит? Пожалуй, нет более совершенной красоты, чем формы человеческого тела, особенно в самозабвенной работе.

Мастер между тем иссяк. Он сердито отбросил кувалду, пробормотав, что все-таки придется, видно, везти диск в узловые мастерские. Но Денис снизу успел заметить то, что не было видно никому из стоящих вокруг людей. Отломок стронулся, на нем появился узенький поясок свежего металла. И тогда, загоревшись вспыхнувшим в нем озорством, Денис вдруг вскочил, схватил кувалду, успев сказать:

— Эх вы! Тут же надо кроме силы приложить еще и немного ума.

Конечно, стронутый уже отломок пошел с первых ударов.

Кажется, никто так и не понял Денисову хитрость. Люди обступили его, чтобы хоть постоять минуту рядом с новоявленным чудо-богатырем. Кто-то щупал бицепсы, кто-то примеривался его качать. Но качание все же не состоялось. Только Вася Клещев сказал не то угрожающе, не то восхищенно:

— Ну, парень. Этого я тебе до веку не прощу.

С поступлением в депо Денису пришлось переселиться из соцгородка в общежитие паровозников. Паровозники были на стройке уважаемой категорией, но общежитие у них было не из лучших. В городке строители жили все-таки в многоэтажных домах с некоторыми удобствами. Паровозникам под общежитие был отдан барак, бывший соляной амбар с черными стенами, еще местами искрящимися от внедрившихся кристаллов соли. И оборудован он был двухъярусными койками. Известно же, что на новостройках, начиная со времени всемирного потопа, приходится жить по-казарменному и никто на это не жалуется.

Зато при общежитии паровозников имелся настоящий красный уголок, а по всему бараку — широкий боковой

проход, где на грубых скамьях без спинок могло разместиться около сотни человек, когда сюда притаскивали кинопередвижку. Где еще найдешь такой комфорт, чтобы кино — прямо в жилище?

Но еще чаще вечерами в этом проходе устраивали учебный класс, повесив на боковую стену лист черной жести вместо классной доски. И как-то само собой общежитие превратилось и в школу, курсы для помощников.

Это было даже занятным — почувствовать себя снова школяром. Школа, правда, была своеособенной, но он уже знал, что «школа» вообще емкое слово. Эта отличалась тем, что не имела постоянного состава учителей. Занятия проводили машинисты — кто на тот вечер свободен от смены и если вдобавок в нем затеплилось желание покрасоваться за столиком учителя. Без программы и учебников старшие учили младших механике и теплотехнике, теории вождения машины. Но больше всего ее устройству. Иногда учителей на уроке оказывалось двое-трое, и тогда занятие превращалось в технический спор. Вдруг двое машинистов начнут спорить о качествах угля разных сортов. Один категорически утверждает, что работа паровоза на длиннопламенных сибирских углях — техническое невежество и тот, кто их снабжает этим углем,— головотяп. Другой лишь из одного упрямства скажет, что ездить можно хорошо и на этих углях, если сам машинист хорошо знает свое дело. И вот уже заварилось что-то вроде ссоры, хоть и эту перепалку небесполезно слушать, когда в тебя въелся к делу действительный интерес.

Старшими из машинистов были двое: Молочков и Ержаковский. Дядя Костя Молочков, работавший до этого наставником в крупном узловом депо, когда спрашивали, что понудило его приехать на стройку,— отвечал всегда одинаково: а бес попутал. Узловое начальство сказало: надо бы поехать помочь...

Что-то ребяческое виделось во всей его внешности и в повадках. Круглый череп, кажущийся голым из-за по-детски реденьких волосиков, впалый от беззубости рот. Но был дядя Костя проницателен, смешливо хитер. И очень подвижен во всех сочленениях костлявого тела, как складной метр. С ним вместе, из одного депо, приехал усатый и смуглый, словно прокопченный, поляк Ержаковский. С дядей Костей они словно всегда на ножах. На каждом слове старики норовят зацепить, царапнуть

друг друга когтем-словцом. И, только приглядевшись, поймешь: это же дружба, их особенная, порожденная одинаковостью трудового опыта и, значит, немыслимая без соперничества.

Попасть в помощники к дяде Косте Денис не мог бы и подумать. Лучший в депо машинист... Тем приятнее ему было однажды вечером прочесть в наряде назначение на паровоз дяди Кости. В этот день он узнал, что значит учиться делу так, чтобы оно не приостанавливалось ни на час, а шло своим чередом.

Паровоз дяди Кости в этот день был назначен на вывозку грунта из карьера на ТЭЦ и компрессорную станцию. Туда и обратно с двумя десятками платформ: весь локоть километра четыре. В езде, значит, меньше, чем десятая часть времени, остальное — стоянка под погрузками и выгрузками. И это для Дениса была большая милость судьбы, потому что при длинных перегонах ему бы не управиться с топкой. Того умения, которое он приобрел на подкопровом паровозе, оказалось куда как мало. Тут надо улавливать минуту, когда бывает пора загрузить топку, не дожидаясь, пока стрелка манометра начнет сползать. В первое время дядя Костя все подсказывал ему, когда пора браться за лопату. Но подсказывал по-своему.

Вдруг склонял голову набок, предупреждающе поднимал руку, как бы к чему-то прислушиваясь, потом говорил: «Чу, по-моему, у нас в топке мыши скребутся».

И Денис, не успев усмехнуться, бросался с лопатой к угольному лотку. А машинист тем временем, перегнувшись с сиденья, распахивал дверцу топки. Когда это повторилось раз за разом, Денис спросил:

— Что, я не могу открыть дверцу сам? Тут всего какие-то секунды.

— Но эти секунды — килограммы угля, сожженного на ветер,— спокойно пояснил дядя Костя. И тут же добавил, что вот тоже: для улавливания минуты, когда пора бросать уголь, вовсе не надо открывать топку и заглядывать в нее. Надо лишь смотреть на трубу, все увидишь по цвету дыма.

Оказывается, даже простое дело — поддерживать необходимый уровень воды в котле в движении гораздо сложнее, чем на подкопровом паровозе. Тут надо зорко смотреть, чтобы вода ни на минуту не опустилась ниже

верхней линии свода топки. Иначе сразу же выгорят контрольные пробки из легкоплавкого металла, пар начнет свистать в топку, гася пламя. Жуть берет, если даже только вообразить себе такой случай.

К тому же у них в первые часы работы, словно для испытания крепости нервов помощника, лопнуло водомерное стекло. Стекло лопается со звуком, похожим на винтовочный выстрел над самым ухом. Сразу заполняется паром вся будка. Для опытного работника — в этом ничего опасного нет — надо только быстро перекрыть краники, а потом поставить запасное стекло.

Денис не был трусливым парнем. Но он стоял спиной к котлу, когда лопнуло стекло. А смелому человеку всегда легче услыхать выстрел впереди себя, чем за спиной. Он подумал: «Ну, всему конец. А как было хорошо все началось».

— Ну, трухнул? — спросил дядя Костя.

Денис ответил:

— Не в том дело. Просто хочу понять, почему это случилось и в чем тут мой недосмотр, поскольку за котел со времен Стефенсона отвечает кочегар.

— Нипочему,— пояснил машинист.— Я уже с лишним тридцать лет пью воду из тендера, но до сих пор не знаю, почему лопается стекло.

В тот же день произошел еще один конфуз. Денис, пока стояли под выгрузкой, смазывал ходовую часть машины. Там так: не все масленки можно залить при любом положении дышел. Смазав одни головки дышел, надо подать машину на один оборот колеса. И Денис, оставив масленку на дышле, махнул машинисту. Конечно, масленку смяло в бесформенную лепешку.

— Чистая работа,— иронически сказал дядя Костя, не поленившись по такому случаю спуститься из будки наземь.— После смены выпиши пол-листа белой жести, сделай своими руками новую масленку... Может, тогда научишься уважать свой инструмент.

Стариковская доброта... Наверное, лучшая ее разновидность — щедро бросать на тропу молодых зерна своего опыта. В надежде, что тот, кому не лень склониться, их обязательно подберет. И Денис думает: «Мне, должно быть, всегда везло в том, что встречал таких своенравных стариков, как Александр Иванович в школе, как лохматый плотник Ефим Назаров и дядя Костя Молочков те-

перь вот. А как иначе сделаешься человеком, если не хватать их опыт полным ртом?»

А своенравности у этих стариков хватало.

Ержаковский всегда приходил к машине за полчаса до своей смены. Процедуру передачи смены, принятую у этих двух друзей, Денис уже усвоил. Знал: на чистку машины не жалей, Денис, труда, если не хочешь быть осмеянным.

Знал, что прежде чем подняться в будку, Ержаковский поставит ногу на первую ступеньку подножки, возьмется за поручни. Но после этого сделает шаг обратно, осматривая ладони. И если на руках останутся следы масляной грязи, брезгливо примется вытирать их платком.

Как-то на первых днях работы Дениса с дядей Костей Ержаковский явился на смену, но не стал подниматься на паровоз. Уселся поблизости на рельсу, рассеянно ковыряя прутиком шлак под ногами. Это значило: что-то заметил, но не скажет сразу; догадайтесь сами. Денис видел, что и дядя Костя забеспокоился, не понимая, какую недоделку, не замеченную ими, засек его сменщик. Даже нос у него обострился от ущемленного самолюбия. Свое недоделанное заметил Денис сам. Обтирая котел, он оставил в спешке неширокое кольцо копоти вокруг сухопарного колпака. Торопливо бросившись на площадку, он с демонстративным старанием вытер кожух и, уже усвоив кое-какие повадки своих стариков, презрительно бросил через окно тряпку к ногам Ержаковского. И тот сразу удовлетворенно осклабился: вот это по-нашему.

По дороге домой Денис сказал по этому поводу дяде Косте:

— Ну, знаете ли, я понимаю аккуратность. Но это — уже ваш стариковский каприз. И похоже на издевательство.

— По-вашему, это издевательство,— сердито ответил машинист.— А по-нашему, соревнование за образцовый уход за машиной.

Сказал вроде бы сердито, но тут же и усмехнулся. Это значило — придумал что-то свое, чтобы в следующий раз при приемке сыграть в отместку Ержаковскому.

Затем пришел такой день, когда Денису захотелось прикинуть, сколько времени уже прошло с того вечера, когда он выпал из удушливого вагона на промерзлый пер-

рон стройки, еще только начинавшей дышать. Сколько же этому? Только в паровозном депо он работает уже около полутора лет... Несмотря на то, что за это время ему не раз приходило в голову: цыганская жизнь. Ни жилища постоянного своего, ни приличной рубашки, выстиранной старательной женской рукой.

Таков был быт на стройке. Поэтому Денис мог и не хитрить с самим собой, не стыдиться того, что ему порой приходило на ум: не выдержу. Кажется, брошу все, уеду в любезный сердцу город Гранитоград. Там у меня родители, и они с каждым годом делаются старее и немощнее. А помощник и опора им остается только младший брат Венька-Веничек, еще только начинающий свой трудовой путь. Брошу все и уеду.

Но вот не бросил и не уехал.

И насчет своей ценности как специалиста-паровозника он часто испытывал сомнения. Порой думал, что теперь-то постиг таинства своей профессии настолько, что сможет работать помощником в любом депо на магистральных путях сообщения. Но в минуты, когда ум работает трезво и критично, понимал, что там его квалификацию сочтут далеко не солидной. Там придется начинать все сначала. Уж лучше сидеть здесь, где он прирос к месту, где он нужнее и замечен добрыми людьми.

А его «заметили» в депо и стали посылать иногда машинистом на танк-паровоз узкой колеи.

По всем дорогам страны эти паровозы за сварливый, альтовый сигнал-гудок называют «кукушками». А танками-паровозами зовут на техническом языке потому, что этой машине по штату даже не полагалось иметь тендера. Запас воды такой паровоз возит при себе в особых боковых карманах-цистернах, а уголь в заднем бункере, сужающемся книзу. И работает на таких машинах зачастую один человек. Сам себе и машинист, и кочегар, и игрец на губной гармошке.

И все-таки парню в его летах приятно думать: вот я уже и машинист. И разве теперь так легко бросить эту стройку, где столько видишь везде своего кровного?

Тем более что она прихорошилась, начала походить на действующее предприятие.

Выходит, не зря живем на свете. Не даром съедаем в своей столовке добротный борщ, хоть и осмеянную, но привычную пшенную кашу и всем надоевший компот.

У танка-паровоза, «кукушки», работа одна — волочь с доступной ему резвостью составы вагончиков-гондол с разными сыпучими грузами. Денис порой даже и не смотрит, что за груз везет в вагончиках-гондолах. Вокруг и без того много интересного.

Хоть и на узкой колее, но смотреть надо зорко вперед, выпростав в боковое окно локоть и голову. Его дорога лежит сначала по широкой дуге вдоль забора в несколько километров, ограждающего территорию строительства, дальше ныряет в недлинный тоннель под несколькими идущими рядом виадуками. Гул движения под виадуками усиливается во много раз, делается чуть ли не грозным, наверное, как рокот на широкой колее новых паровозов «ФД», про которые Денис только слыхал, но воочию еще не видел. Говорят, у этих машин площадь топки такая, что в ней можно устроить себе жилье, поставив узенькую койку и столик. И еще останется место для табуретки на случай приема гостей.

Доведется ли ему когда-нибудь работать на «ФД»? Люди сказывают, что работать на них даже легче, чем на старых паровозах, если только не отказывает стоккер — приспособление для механической загрузки угля в топку.

Сразу за виадуками начинается улочка новых домов-коттеджей.

Всегда есть что-то славное и доброе в облике таких улочек и домов, прилепившихся рядом или даже на самой территории большого завода. Эта свежепокрашенная штакетная изгородь, опрятно содержащиеся дворики, молодые деревца и кустарники, лишь недавно посаженные и робко радующиеся первому своему северному лету. Трогает даже увиденная мельком, развешанная на веревке, стираная детская одежонка.

Стало быть, все идет хорошо, если люди поселились в этих краях вместе с малыми ребятишками.

Кстати, вот они и сами тут, вездесущая, неугомонная публика. Четверо мальцов сложили вместе три пустые цементные бочки с выбитыми днищами. Образовался тоннель, вполне похожий на тот, из которого только что вырвался танк-паровоз Дениса. И один из мальчишек, на четвереньках, громко гудя, врывается в свой тоннель. Слышно, что он и там не перестает издавать гудки предостережения. Только что-то не скоро показывается из другого конца «тоннеля» его головенка.

Во всяком случае можно понять, что это — игра в паровоз, в железную дорогу, со всем доступным ребятишкам сценическим реквизитом. Дети ведь всегда играют в то, что видят вокруг себя.

«Подождите,— думает Денис.— Чем шире будет круг видимости вокруг вас, тем богаче выбор путей жизни. По себе знаю: чем дальше, тем шире круг».

С какой душой ты приходишь к нам?

В ночь перед своим знаменательным днем Денис спал неспокойно, неглубоко, словно боясь проспать назначенный час.

Между тем с утра ему предстоял обыкновенный рабочий день, а такого случая, чтобы он проспал и опоздал на работу, кажется, сроду не бывало. Еще подростком он привык просыпаться утром без маминого окрика. Тем более здесь он не позволял себе расслабляться в строгом деле утреннего подъема, поскольку при нем теперь не было ни мамы, ни будильника и не на кого было надеяться.

Утром, едва Денис проснулся и сбросил с себя мягкое, тигровой расцветки одеяло, то первым делом вспомнил: сегодня у меня день вроде именинного. И даже больше. Именины бывают у каждого из нас раз в год, а такой день — только раз в жизни.

В два часа пополудни ему было сказано явиться в партком по поводу приема кандидатом в члены партии. А Денис себя достаточно знал: это чувство робости и праздничного подъема не покинет его, пока все не будет уже позади. Хотя для робости как раз причины будто и не было: секретарь деповского партийного бюро сам предложил подумать о подаче заявления и подсказал попутно, у кого из старых коммунистов попросить рекомендации.

Но это легко лишь загодя говорить себе, что причины для боязни как будто нет. А когда дойдет до дела — все почему-то волнуешься.

Протираясь в умывальной комнате по своей давней привычке ледяной водой, и позднее, по дороге в депо, он все думал: как же он успеет явиться в партбюро в назначенное время.

Накануне по наряду он нашел себя в бригаде ремонтников. Словно нарочно, в эти дни с линии на ремонт сошло две машины, и нарядчики пихнули Дениса в дышловую бригаду. Работа на дышлах требовала аккуратности, точности, да к тому же и крепкого костяка. Но Дениса беспокоило не это... В два часа он должен быть в парткоме, а с ремонта машины, которая стоит под рабочим паром и которую нетерпеливо ждут где-то на участках стройки, как уйдешь?

Дышловая бригада в депо никогда не имела полного комплекта, всегда в ней насчитывалось всего каких-нибудь четыре-пять бедолаг, не считающих бригаду за родную. Так же и в этот день, знаменательный для Дениса, а для всех других — день как день, бригадир дышловой бригады Шихов с тремя слесарями копошился у самой дряхлой из всего депо машины. Машина была приметная — со смятым поручнем левой площадки. И она, пожалуй, чаще всех других машин попадала на канаву: то у ней что-нибудь одно, то—другое. Приметен был и бригадир Шихов — с широким, густо крапленным оспинками-знаками лицом. И в каждой конопушке на лице у него словно уже навечно осела паровозная копоть — Шихов был деповским мастеровым сызмала.

Дениса он при себе не оставил, а увел его к другой канаве, где этой ночью встал на ремонт еще один локомотив. Здесь надо было подготавливать к съему дышла левой стороны.

Возиться с дышлами в одиночку никому не сподручно; тут троим-четверым и то попыхтеть достанется. Но и пререкаться с бригадиром тоже не приходилось: ремонтников в депо сколько свет стоит не хватало. И Денис, снявши клинья и ползуны, мог бы со спокойной совестью ждать, пока придут на помощь те, другие слесаря-дышловики. За такое ожидание никто не похвалит, но никто и не попрекнет. Но серьезный рабочий человек никогда не чувствует себя правым, если попусту тратятся минуты рабочего времени. И Денис, поозиравшись вокруг, стал придумывать, что можно сделать одной своей наличной силой.

На дворе он видал какие-то подходящего роста козелки. Если притащить их и примостить на самый край канавы, то, пожалуй, нетрудно будет понемногу, пядь за пядью, сдвинуть на них с колесных цапф одно дышло.

А после того по двум слегам и совсем нехитро будет столкнуть его наземь.

Время с утра до обеда в работе мелькнуло, истаяло, как проблеск света в ночной темноте. У Дениса даже сердце дрогнуло, когда кто-то в депо прозвенел в буферную тарелку, подвешенную при входе в конторку; этим сигналом деповский народ оповещался об обеденном перерыве. Снова вернулись к нему то утреннее волнение, возвышенная тревога. Если бы хоть знать заранее, на какие вопросы там придется отвечать. А он в последнее время и читать путем перестал; только и успевал, что из пятого в десятое прочитывать газеты да технические учебники, без чего нынче не обойтись ему.

Не миновать того, что зададут вопросы, на которые не суметь ответить. А что тогда? И чуть ли не с отчаянием Денис решил: «А тогда я скажу: вы сами попробуйте работать по двенадцать через двенадцать. Да когда еще на носу экзамен на помощника машиниста». Но тут же поправился, что и этого там, на бюро, сказать будет нельзя. Один он, что ли, на строительстве такой беззаветный труженик?

Если бы Денису пришлось предстать перед партийным бюро в первой половине дня, он отвечал бы на вопросы смирнее и осторожнее. Но за день нетерпеливой крутой работы кто не делается смелее и раздражительнее, чем с утра? К тому ж после обеда ему пришлось тащить дышловые подшипники в медницкую на заливку. Он рассчитывал, что там ему зальют подшипники тут же, при нем, и он еще успеет до своей отлучки сделать шабровку. Но у плавильщиков в медницкой уже остыли разогретые с утра тигли, и они вовсе не собирались начинать разогрев для каких-то четырех подшипников.

Случилось так, что Денис пришел на бюро, еще не охлынув от перебранки с плавильщиками.

На бюро сидело шестеро деповских. Денис знал всех, встречался с каждым не раз на работе. И никто из них не был возрастом старше лет сорока пяти. Но сейчас при тусклом электрическом свете с их серьезным и пытливым выражением лиц они показались Денису пожилыми. Посредине большого стола, похоже за секретаря, сидел Вася Клещев.

— Итак, Денис Хаританов,— сказал Клещев, открыв папку с его документами. Словно не видал Дениса каждый день в депо, на работе, а знакомился с ним только здесь впервые. Денису это не показалось ни странным, ни смешным. Когда речь идет о таком серьезном деле, как прием в партию, не лишнее как бы заново узнать, оценить человека.

— Здесь рекомендации, — докладывал Клещев. — И даже больше, чем нужно, целых четыре.

Про «целых четыре» Денис, немало этому удивившись, услыхал только сейчас. Он представил со своим заявлением только три добрые рекомендательные грамоты — от своего первого наставника-машиниста дяди Кости Молочкова и еще двоих деповских коммунистов. Удивлялся, впрочем, недолго: вспомнил, что чуть не полгода назад написал Феде Михееву, работающему теперь дома в горкоме комсомола. Но он не просил Федю о рекомендации, просто поделился своим затаенным намерением. И вот, выходит, не забыл Федя их старую школьную дружбу.

Сначала все шло благопристойно. Его попросили рассказать свою биографию. А велика ли у него биография в неполных двадцать три года? И тут в спрос вступил ревизор-движенец, ходивший в тужурке с петлицами. Во всем железнодорожном цехе стройки только он из всех приехавших с магистральной дороги донашивал форменную одежду. Ревизор спросил: как же оно получается? Окончил человек художественное училище, готовился скоротать век на чистой и нетяжкой работе, а оказался на дальней стройке, можно сказать, кочегаром. Даже помощник он еще неполноценный. На чем он там, Денис, споткнулся в своем городе и какая его обуяла нужда к перемене мест?

— Непременно споткнулся? — помаленьку злясь, возразил Денис.— А без спотыкания, по доброй воле сюда, что же, никому дороги нет? Тогда расскажите и вы: на чем споткнулись, оказавшись на Севхимзаводе?

Может, Денис и еще что-нибудь сказал бы лишнее, но Клещев остановил его:

— Сто-оп. Ты не забывай, где находишься. Мы здесь вправе задавать вопросы, какие понадобятся.

Но тут же поправил и ревизора, заметив ему, что так ставить вопрос и верно нельзя.

После этого Дениса спросили о какой-то исторической дате, которую он не помнил.

— А надо помнить,— заметили ему.

— А я при своем теперешнем образе жизни даже дни недели и числа не помню,— все еще зачем-то задираясь, сказал Денис. Но это «старики» приняли уже благодушно, только с усмешкой переглянулись. Спросили еще: помнит ли он хоть, когда состоялся последний шестнадцатый съезд и о чем главном на съезде шла речь.

— Это помню,— сказал Денис.

— Это он, смотрите-ка, помнит,— усмехнулся Клещев.

Денис добавил, что другое, а дату каждого съезда — год и месяц — он назовет даже спросонок. Пояснил, что тут и памяти какой-то особенной не надо иметь. Есть механический прием счисления: к последним двум цифрам года прибавить единицу. А начиная с девятого съезда, чтобы получить год, потребуется уже прибавлять тоже замеченное число — одиннадцать.

Это была их ученическая засечка для памяти. И члены бюро, на минуту отвлекшись,— «Ну-те, как это?» — принялись исчислять съезды по незнакомой им системе. А ревизор-движенец в своем блокноте начал составлять синодик съездовской хронологии.

Бюро приняло решение, которое в тот час Денис не понял и немного удивился ему. Денису сказали: «Ну что же, в добрый час. Считай себя принятым». Но принятым пока условно, это он понимал. Конечно, принимать его будет еще собрание коммунистов депо. Но, кроме того, в решении бюро еще было записано: поручить Клещеву дополнительно побеседовать с кандидатом...

И еще недели две прошло, словно на то и данных, чтобы Денису, и спать ложась, и пробуждаясь по утрам, думать о том, как иначе, ответственнее, чем раньше, теперь ему надо жить.

И была еще одна ночь.

Денису пришла очередь нести суточное дежурство по депо. Всем помощникам доставалось, кому реже, кому чаще, исполнять эту службу — быть дежурными кочегарами. Самое дело было не обременительным: следить за резервными паровозами на канавах,— сколько их окажется свободных от ночной работы на путях. Только и дела —

через известные промежутки времени заправлять топку каждой из машин, посматривать, чтобы парок не садился ниже шести атмосфер. Но после этого дежурства через шесть, через восемь часов нарядчики могли турнуть на линейный паровоз: у них считалось, что дежурному кочегару ничто не мешает улучать время, чтобы где-нибудь подремать часок.

В полночь Денис удумал выгнать один из трех резервных паровозов в шлаковый тупик и там подрезать жаровой слой — спустить излишнюю золу; машина стала уже плохо готовить пар, и сдать ее утром в таком виде бригаде он не хотел.

Шлаковый тупик — место, где полагалось очищать зольники машин,— находился в полукилометре от депо. Еще вылезая из-под машины после чистки зольника, Денис заметил в небе какую-то перемену света, багряное колыхание низковисящей складчатой облачности. В самом зареве не было бы ничего непривычного и тревожного: зарево всегда по ночам висело над строительством. Но то был неподвижный световой шатер. А тут — живое, дымное зарево, бьющееся, как зверь, в тенетах проводов и фермовых каркасов стройки.

Горело где-то возле депо, но Денис знал, что если возле депо — значит, оно самое и горит, больше там гореть нечему.

Он вскочил в будку паровоза, тронул его. Возле стрелок оставил машину, сообразив, что незачем при таком случае занимать подъездные пути. Оставшиеся до пожарища сотню метров пробежал бегом, и шлак, которым засыпаны междупутья, визгливо хрупал у него под сапогами.

Никакой большой беды не случилось, хотя она могла бы быть. Загорелось в тесовом пристрое снаружи депо, где была устроена кладовушка для хранения смазочного материала и разного малоценного шурум-бурум. Началось все, как позднее люди поняли, от самовозгорания обтирочных концов, сваленных грудой в углу кладовушки.

Дежурный наставник Вася Клещев, первым заметивший недоброе, выгнал ближайшую к воротам машину, раскатал пожарный шланг-рукав. Несколькими минутами позднее со стороны карьера, на глазах набухая в ночи, увеличиваясь, появились, с каждой минутой все более слепя, фонари еще одной машины. Это дядя Костя Мо-

лочков, работавший где-то поблизости, заметил подбадриваемый свежим ветерком неладный языкастый огонь. А уж ему, старому зубру паровозной пущи, не требовалось подсказки со стороны насчет того, что он должен делать. В два рукава они погасили пожар за каких-нибудь пять минут.

Не потребовалось и Денису долго размышлять, чтобы найти свое место в авральном деле. Вскочив на паровоз Васи Клещева, словно бы, радуясь своему проворству и находчивости, он распахнул топку, сделал тоненькую заброску углем, просифонил топку, снова начал подкармливать ее с лопаты углем, золотисто вспыхивающим прямо на лету. Без этой спешности машина с пожарным рукавом, накинутым на патрубок инжектора, в короткие минуты начала бы терять и так небогатое давление.

Когда тебя одолевает сон, то кажется, что и все вокруг томится, борется со сном. Дремлют на строительных площадках возведенные под крышу корпуса будущего завода. Дремотно, как в медленно текущей воде, раскачиваются провода линий-времянок, везде подвешенные небрежно, с большим провисом. В депо в трех фонарях вентиляции, высоко в его кровле, сонно вьется дымок. Паровозы на канавах сипят с покойным присвистом.

Но у Дениса, блуждающего по депо, томящегося дремой, все же хватает ясности сознания, чтобы понять: эти звуки говорят только о том, что у большинства машин ослабли люки котлов,— лючата, как зовут их кочегары и помощники. Машины, все до одной, перехаживают свои сроки промывок, а когда попадают в ремонт, то промывщики не слишком усердно следят за люками и сальниками. Так надо понимать, если ты человек технический и зоркий.

Он зашел в конторку. Вася Клещев за колченогим столом, поругиваясь, налаживал настольную лампу на планчатом кронштейне, сделанном как бы из нескольких подряд поставленных знаков умножения.

Денис, едва войдя, плюхнулся в угол, на скамью, с удовольствием вытянув ноги.

Клещев, направив свет лампочки ему в лицо, с ленивой усмешкой сказал:

— Значит, что? Проявили мы с тобой находчивость и геройство?

— За такую находчивость и геройство надо бы кому-нибудь по мордасам,— в его же тоне ответил Денис.— Хорошо: все обошлось одним испугом...

— Тоже верно,— согласился Клещев.— Если бы располыхалось...

— А тебе бы и отвечать. Я нашел бы себе оправдание. Я в это время уводил машину на чистку топки.

— Вот, значит, как,— добродушно заметил мастер, правильно уловив, что Денис его просто поддразнивает.— Неглупый ты парень, на лету схватываешь, далеко пойдешь.

К какому-то серьезному разговору с мастером Денис мысленно подготавливался все эти дни. А сейчас бы для такого разговора — самое время. И он напомнил Клещеву, что бюро назначило его прошлый раз вроде бы наставником к нему, Денису. И если есть какие-то вопросы...

— Ну какие вопросы,— сказал Клещев.— Тут ведь так: ты сам первым делом должен себя спросить, с какой душой вступаешь в партию?

— В данную минуту — с полусонной душой. Перед утром как-то особенно смаривает сон.

— Ты не балагань. Каких выгод ты себе ждешь от партии?

— Личную выгоду ищут не здесь,— нетерпеливо сказал Денис.— Не в этих медвежьих краях и не на нашей работе. Меня злит, когда задают такие вопросы. Кто в партию приходит из-за личной выгоды, того сразу с порога надо поворачивать прочь.

— И хорошо, что злит,— задорно сказал Вася.— Злись и дальше. Но привыкай в то же время отвечать на любые вопросы, если даже они тебе не по нраву. Бывает, что в двери партии стучатся и сомнительные люди.

— Всякие там нытики и маловеры,— не удержался Денис.

Но Клещев добродушно усмехнулся:

— Да, знаю, что вы, молодежь, засекли меня с этой поговоркой. Но поговорка, между прочим, не напрасная. Такую огромную работу расшуровали мы в своей стране, что кое у кого уже сейчас дыхание сперло. И не все верят в наш будущий успех. Потому, что ведь и верно нелегко быть совершенно убежденным, что мы на все сто справимся со своими планами. Надо быть для этого зорким и смелым человеком.

— Вот тебе и ответ на все вопросы,— сказал Денис.— Не хочу объявлять себя загодя зорким и смелым. Но хочу быть заедино с такими. Может, в партию затем и иду, чтобы в любом пожарном случае, вроде сегодняшнего, быть не за чужой спиной, а на горячем деле.

— Тогда надо просто в пожарники.

Может, необычное время суток, может, накипевшая в теле усталость были виной, что беседа получалась не слишком связной и не очень сердечной. Денис сказал:

— Каждого можно в тупик поставить, спрашивая: с какой душой он пришел в свое время в партию. Я вот тебя об этом не спрашиваю.

— Спрашивай, отвечу,— круто отозвался Клещев.— Я в партию пришел в Ленинский призыв. Смерть Ильича меня в те дни по сердцу ударила.

— Помню и я эти дни. Но мне тогда было всего шестнадцать лет.

Он действительно очень отчетливо, с восторженной болью вспомнил сейчас те дни. Тот вечер, когда Скородумов в их школьном клубе, прогнав со сцены синеблузников, с клохчущим подавленным рыданием объявил о смерти Ленина. Те дни, когда на улицах города, в морозном тумане, редко кого можно было увидать без траурной повязки на рукаве. И на целых пятнадцать минут повисший над городом скорбный гуд заводских сирен в тот час, когда в Москве последняя смена караула встала у надгробия.

Резко поднявшись со скамьи, чтобы приободриться, Денис сделал несколько полуприседаний, приняв боксерскую стойку, обменялся ударами со своей тенью на стене. Была пора идти проведывать свои паровозы на канавах. И уже гремя лопатой в угольном лотке, он все еще позвякивал в уме золотистой цепочкой тех воспоминаний.

...Друзья встретились неожиданно, когда Денис уже перестал разыскивать Сашку Верстова. Слыхал, что тот работает где-то на подсобных участках предприятия, в верховьях реки. А в верховья не слетаешь за один свободный выходной день. Север велик.

Наверно, слишком долго все это ему представлялось так: встретимся, обнимемся, размякнув от нахлынувших воспоминаний. И разговоры, разговоры на всю ночь. А вышло все иначе, иначе.

Шел вечером по улице и заметил Сашку тем рассеянным взглядом, при котором нужно бывает даже чуть помедлить, чтобы до сознания дошло: постой, это же он. Стоит и смотрит с какой-то чужой усмешкой, словно спрашивает себя: остановится или нет этот мой давний друг? А не остановится, так и окликать не стану.

И это по какой-то отдаленной и петлистой ассоциации заставило Дениса подумать: вот и превратился наш Севхимзавод в заправский большой город. Потому что только образ жизни в большом городе приобретает свою особенность — при всем ее коллективизме — некоторую замкнутость личности в себе. Конечно, встрече с другом детства Денис был неподдельно рад. Но и примешивались к этому озабоченность, недовольство: теперь весь долгий вечер пойдет на процедуру гостевания, на разговоры. А две прошлые смены у него пришлось по восемь через восемь часов, и он собирался сегодня хоть всласть выспаться.

Кроме того, куда было ему увести своего гостя? Не в общежитие же, где и не посидеть толком. Разве что в одно из тех двух мест, которые общепит вечерами превращает в безалаберные и чадные рестораны.

В ресторане они нашли столик в отдаленном углу, сели, уставившись друг на друга, как два петуха, уже решивших, что подраться им сейчас нету повода, но не мешает быть настороже. Денис усмехнулся этому сравнению, и вдруг все стало хорошо, вернулось что-то прежнее.

Очень тягучими и вымученными, оказывается, бывают первые вопросы друзей, не видавшихся около двух лет. Как ты теперь и что? Как молодая жизнь? Скулы сводит от этих вопросов. Приходи ко мне в депо, поработай хоть три смены, тогда только поймешь, как у меня и что,— мог бы сказать Денис.— И, может, полюбишь мое дело, поскольку мы оба легко приживаемся к любой стоящей работе.

Приезжай к нам на сплавные участки весной, и мы сделаем из тебя человека,— ответно мог бы сказать Сашка Верстов.

Вместо этого Денис суховато, и самому неприятно, как бесцветно и кратко, сказал:

— Обо мне что говорить? Работаю в депо, помощником, на том стою и не хочу иного.

— Жалею и сочувствую,— рассеяно сказал Сашка.

— С чего бы, с какого помрачения ума, Сашка, вздумал ты меня жалеть? — спросил Денис.

— Не тебя,— все так же, словно во что-то вглядываясь поверх голов в зале, сказал тот.— Сочувствую твоей будущей жене, которой придется отмывать тебя, мазурика, приходящего с работы.

— Почему «будущей»? Может, я уже и теперь женат?

— Не похоже,— не согласился Сашка.— Как не похож и я на женатого хлюста.

Сашка говорил вяло, словно разучившись радоваться собственному острословию. Что заставило Дениса подумать: «Ох, повзрослели мы. И уж не вернуться нам даже на минуту к прежнему щенячьему состоянию».

И, отвечая собственному раздумью, Денис сказал:

— Зато мы теперь стали жилистые. Нас теперь не испугаешь никакой работой.

— Да уж испугать не испугаешь,— согласился Сашка. И, отвечая на то, что Денис спросил много раньше, стал рассказывать, где ему пришлось потрудиться в эти годы. Раньше бы он рассказывал о своих боях и победах хвастливо и заносчиво. Теперь словно сам немного дивился, что через все это прошел, не сдрейфив и ни в чем не сплутовав. Первую зиму водил обозы в верховья. «Ямщик лихой, он встал с полночи» — вот кто был Сашка Верстов.

— Только если кто-нибудь будет предлагать мне такую работу еще раз, убегу в тайгу, зароюсь в снег, чтобы меня не нашли. Там и перезимую,— с невеселой усмешкой заключил он эту главу своего жизнеописания.

В верховьях и застала его весна. Она в том году была, если Денис помнит, такой, что дороги по реке сломались в одну ночь. Обратный рейс сделать не было никакой человеческой возможности. А в верховьях работа весной одна для всех — лесосплав.

— Уж я не спрашиваю: работал ли ты на заторах? Ты со стороны, с берега хоть видал когда-нибудь эту лихую забаву? Там длинный багор — весь инструмент сплавщика, он же твое идейное руководство и единственный спаситель, когда затор тронется и бревна в нем придут в движение... как макароны в кипящей кастрюле. Заметь, что я вовсе не хвастаюсь. Я ведь работал на сплаве только один сезон, а сплавщики из здешних жителей всю жизнь занимаются этим рисковым делом.

Помолчав и как-то очень светло глянув на друга, Сашка сказал: «Ну, что тебе еще? Побывал в бригаде ухватчиков...»

Работу ухватчиков Денис видел и уважительное изумление ею долго носил в себе.

На сплаве в верховьях зимней заготовки часто лес не успевают спускать в низы караванами. А высокая вода стоит недолгое время. Тогда отдельные звенья плотов приходится отпускать на вольную волю. И где-нибудь, сотней километров ниже, возле ухватов — двух стояков, врытых глубоко в землю,— дежурят ловчие люди. Едва покажется плывущий сверху плот, двое из них стремительно гребут на легкой лодке вверх по течению, заводя на него конец пенькового каната-шеймы. Другие двое-трое на берегу набрасывают канат двумя восьмерками на ухват. Зачаливать плот сразу наглухо нельзя: никакой канат не выдерживает силы, с которой его несет горная река. Канат сначала лишь понемногу стравливают на ухватах, гася могучую инерцию, приневоливая плот прибиться к берегу. Сама древесина стояков при этом начинает дымиться, бурея от трения.

И Денис думает: «Сашка прав. Гордость своим трудом надо хранить в себе. Все, что было,— это мое, и изо всех других ценностей только это пусть останется неделимым. Мало ли есть на свете работ, за которые общество остается в неоплатном долгу перед человеком. У них в депо есть такой трудяга, промывальщик Секерин. Кто не видал, тому не понять, что это такое — делать горячую промывку котла зимой в дощатом, насквозь продуваемом всеми ветрами депо. В пару, сразу превращающемся во въедливую изморозь. А после смены рысцой бежать домой в одежде, сырой до последней нити. Так что это — самоистязание или подвиг? Нет, просто работа, которую кому-то надо же делать».

— Вот какое наше счастье,— не подбирая слова заметил Денис.

И Сашка тут же подхватил:

— Счастье? Пусть, кому надо, ищут какое-то другое, удобненькое счастье. Мое только в том, что природа дала мне глаза. В том, что я видел эту реку во все времена года. Видел, как она в ледоход, в излучинах, вытесняет на берег, громоздит на отмелях горы изумрудного льда. Весной я жил в казенке — в большой избе, срубленной на

головном плоту каравана. Вот там я понял, что такое счастье. Спать на коечке из двух досок и даже в глубоком сне слышать запах свежей смолы, этих бревенчатых стен, нагретых печкой-времянкой. По большой воде караван ушел в свой дальний путь, а я — поверишь? — чуть не прослезился, что казенка моя уходит и вот ее уже не видать за поворотом реки.

— Но какие мы с тобой одинаковые, два дурака,— растроганно сказал Денис.

— Да ведь я уезжаю на днях,— минуту помолчав, сказал Сашка. И объяснил: он-таки не бросил кропать стихи. Зимой послал несколько своих стихотворений в Гранитоград.

— А чего рука дрожит? — спросил Денис, когда Сашка положил перед ним какую-то бумагу.

Это был издательский ответ. В нем было сказано, что если у автора найдется тридцать-сорок таких стихов, как «Остролист» и «Письмена на воде», то можно вести речь об издании книжки.

— Стройка идет к концу. Теперь народ с нее отпускают без упреков,— сказал, словно извиняясь, Сашка Верстов.

— Но не паровозников,— возразил Денис.

— Да что вы за особенный народ — паровозники? — с веселым удивлением спросил Сашка.— Захочешь и ты сорваться, никому тебя не удержать. «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел...» Сказочка со смыслом.

Северный городок, называемый по обычаю тех лет соцгородом, существовал теперь уже не в строчках народнохозяйственных планов и не в мечтах дерзкого молодого поколения, своих современников. И хоть его строителям порой самим не верилось, что это они в такой глухомани за такой короткий срок отгрохали все эти корпуса комбината, подпирающие колоннадой дыма низкое северное небо, эти кварталы жилых зданий, разрозненно проглядывающие сквозь оставленные гривки и колки соснового редколесья; хоть все это и казалось людям порой удивительным и непостижимым, но город существовал. И теперь тем, кто приехал на стройку в ее начало, надо было решать: оставаться ли, чтобы жить и стариться в этих краях, или искать молодецкий фарт в иных местах.

В тот вечер, в последнюю их встречу в северном городке, Денис сказал Сашке:

— Счастливый ты человек. До старости в тебе останется нечто мальчишеское. Таким легче прожить и легче менять одно за другим места проживания. Так и будет тебя носить как опушенное травяное семечко над осенним полем. А у меня иначе...

Понимая, что Сашка на Севхимзаводе уже не житель, и даже немного презирая его за эту легкость, с которой тот покинет их новостройку, Денис подспудно чувствовал, что он и сам удержится здесь немногим дольше. Да, паровозников отпускают с большой неохотой. Но если быть настойчивее... «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел...» Да и что он за такой крупный специалист?.. Кроме того, ему в последнее время даже в снах стал часто сниться родной Гранитоград.

Но ведь наивно обращаться к начальству с просьбой отпустить восвояси, выставив в качестве аргумента свои неспокойные сны.

Добрый и умный его друг и учитель паровозных наук дядя Костя как-то сказал, что человек должен жить как натянутая струна и что каждый должен сам знать свою степень натяжения. Слишком перетягивать струну тоже не надо, но спущенная — она и вовсе не служит никакой музыке, издавая только противное слуху дребезжание.

Сколько раз во все последующие годы Денис вспоминал эти слова.

Забылось многое, более глубокое и необходимое для укладки в уме впрок, а это запомнилось.

С Севхимзавода Сашка уехал вскоре после того разговора, когда сказал: «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел...» Денис проводил его до вагона, волоча напеременки с отъезжающим его сундучок и рюкзак. Шли, иронизируя над собой, что не слишком-то обременительным был Сашкин багаж, немного добришка накопил он за два с лишним года работы на строительстве. Зато накопленный трудовой и житейский опыт хоть и не весит ничего, не обременяет плечи, но несет тебя самого, как лиса петуха.

А полугодом позже уехал со стройки и Денис, а еще позднее, оказавшись в тех местах, где и не думал быть,

уже вспоминал иногда Север и две своих зимовки там без твердой уверенности, что все это было в яви, а не приснилось ему, не прочитано в какой-то полузабытой книге. А если было, то как давно? Тридцать, сорок лет тому назад? Казалось, не меньше, чем тридцать, сорок, хотя столько еще не было от роду ему самому.

Так причудливо ведет себя человеческая память, когда живешь как натянутая струна.

— Ишь ты, какой умный стал. Где ты спишь и как тебя не украдут? — с веселым удивлением и с любовной насмешкой сказал Денис брату.

Они бодро, всему радуясь: раннему чистому утру, звуку своих шагов в неглубокой расселине улицы, шли по самой середине булыжной мостовой. Почему-то в такой час, когда уж совсем рассвело, но город еще спит и только дворники ширкают метлами по мокрому асфальту тротуаров, идти бывает приятно не там, где обычно ходят люди, а посреди улицы.

Поезд, с которым Денис вернулся в Гранитоград после почти трех лет пребывания на Севере, приходил самым ранним утром. Несмотря на это, где-то на подъездных станциях, взбулгачив всех спящих дальних пассажиров, его заполонила не очень стеснительная публика — какие-то разнорабочего вида, похоже, испытанные в отходнических промыслах мужики и остроглазые молодицы, явно озабоченные лишь тем, чтобы доспеть к самому раннему базару со своими корзинами и бидонами.

Впрочем, Денис и сам проснулся в вагоне много раньше, чем там поднялась эта предвокзальная сумятица. Проснулся и все ходил, стараясь помягче, бесшумнее ступать по узкому проходу вдоль спальных полок, все заглядывая в окна. Благо, утро за окном загоралось бестуманное, с четкой видимостью в бесконечную даль лощин и распадков.

Вскоре над длинношерстой шубой сосняка, покрывающей холмы, показались скалы Каменного городища. При косо ложившемся на землю утреннем миражевом свете они издали казались тупыми сосульками серого льда, которые кто-то играючи поставил торчмя, основанием вниз. Денис впомнил, как в такую же пору лета они своей ребяческой ватагой ночевали однажды у подножия этих скал.

Утром он пошел в распадок к ручью умыться, а трое ребят покарабкались на среднюю скалу посмотреть на солнышко, еще не видное внизу, но уже забронзовевшее на вершинах городища. Возвращаясь с ручья к костру, Денис увидел, что эти трое скалолазов уже спят там на верхней площадке, свесив ноги в пустоту. И у него сердце зашлось от испуга: если бы кто-то из них с такой высоты сверзился на камни подножия?..

Сердце у Дениса зашлось и сейчас, после того как осколком зеркала вдали мелькнуло озеро и затем — вершины скал. Но защемилось оно сладкой болью уже по другой причине. Родные места... Милый, родной город...

Вениамин ждал брата в том месте, которого не минуешь, чтобы выйти на площадь — у центральных дверей гулкого вокзала. Пройдя довольно близко, Денис сначала только безучастно скользнул взглядом по фигуре парня, стоящего в тени колонны. Что-то, однако, заставило его сразу же вслед за тем остановиться и приглядеться. Конечно, Венька, и не настолько он изменился с лица, чтобы не узнать его с первого взгляда. Вырос, правда, на голову сравнительно с тем, каким был, когда Денис уезжал из своего города.

В облик Вениамина время вложило много нежданного и радующего. Был когда-то слабенький и некрупный подросток, ломкая ветка их рода. Теперь возле колонны стоял крепыш, накопивший силенку, по всему видать, не на вольном выпасе, а в заводском труде.

Денис спросил:

— Ну что же? Как по такой поре будем попадать домой? Пешочком?

— Можно пешедралом, мы привышные,— согласился Вениамин.— А можно подождать час, пока пойдут трамваи.

Денис спросил, исправно ли теперь у них ходят трамваи. Но мог бы этого и не спрашивать; по накатанности серебряно сияющих рельсов было видать, что трамваи в городе теперь идут как надо. А когда Денис покидал Гранитоград, трамвай в городе был еще обновкой. Только первый десяток вагонов тогда еще прогромыхивал по первому лучу путей. И Дениса посетило то чувство странного удивления, что город обновился, разросся вширь, обогатился многими новыми зданиями. Да и откуда же взялось ожидание найти его в прежнем виде? Разве толь-

ко потому, что при встрече со своим городом как-то словно бы померкли все впечатления почти трехлетнего скитальчества. Словно и не было этих лет и всего того, что ему довелось взять на свои плечи там, на северной новостройке.

На ходу Вениамин, сам взбудораженный приездом старшего брата, сбиваясь с одного на другое, все рассказывал Денису то о домашнем бытье и о их стариках, то окорачивал себя («Да ладно, все увидишь сам») и начинал похваляться тем, как раздался город в своих границах, какими обзавелся новыми предприятиями.

И Денис подумал, что многим переменам ему еще придется удивляться, вернувшись в родные места. Но что там перемены в облике города. Люди меняются еще круче, чем города. Вот и Венька-Веничек идет и рассуждает как большой. Здесь-то в эти минуты и было сказано то самое: «А ты, смотри-ка, умный стал. Где ты спишь и как тебя не украдут?»

Наверное, никому не шагнуть без сердечной боли через каменную плиту у крыльца, через щербатый порог под сень отцовского дома.

Денису не надо было даже спрашивать того, что обычно спрашивается: как вы тут перебиваетесь? Как дела со здоровьишком? И без того видать, что жизнь у них похожа на гаснущий костер, в который уже нечего подбрасывать, чтобы он снова взбодрился и заиграл разноцветьем живого пламени.

Не только коровы не было, без которой они не жили, пока подрастали ребята, во дворе не копошились теперь даже куры. Денис заглянул в пустую конюшенку; уж и навозом не пахнет, только затхлостью. На огороде лишь половина площади была засажена картофелем и кое-какой огородной мелочишкой. Да и много ли надо старикам. А Венька, похоже, вполовину живет на общепитовском довольствии, бывая по-настоящему дома лишь по воскресным дням. Так было с Денисом когда-то. Ему тоже думалось тогда, что так оно и должно быть: нам без остатка увязать в своих делах, старикам — тоскливо ждать по вечерам да с затаенной радостью наблюдать, как сын делается с каждым днем взрослее, самостоятельнее.

На другой день по приезде Денис сидел в садике позади избы. Вот и два больших дерева — тополь и береза — выглядят теперь подсыхающими, больными. Пять кустов ягодников вдоль забора одичали. На березе в пазухе нижнего скелетного сука так и осталась заросшая рана глубокой потертости, которую Денис же и нанес дереву, удумав когда-то натянуть между деревом и столбом забора веревку, чтобы поучиться хождению по канату. Но пройти от столба до дерева по веревке на высоте своего роста ему так ни разу и не удалось.

Он слышал, как стукнула калитка, пришел Вениамин по случаю гостя раньше обычного. Денис слышал, как он еще с порога бодро и звучно спросил:

— А где народ?

Значит, спешил домой, чтобы лишний час побыть с братом. А то ведь когда его теперь увидишь снова.

Денис вошел в избу, увидел брата, успевшего скинуть куртку, раздавшегося в плечах, принесшего домой заводской запах, и словно открытие сделал для себя, подумал: ему же нынче в армию. Его год объявлен к призыву.

Вениамин — последний в роду Харитановых — закончил школу, тоже профессионально-техническую, но при заводе электромашин,— как раз в том году, когда беспокойный ветер странствий унес Дениса в Севхимзавод.

Он еще не кончил расти, тянуться вверх, но все равно видать, что он, как и полагается последышу в семье, будет на полголовы пониже своих старших братьев. Видно также и то, что это будет плотный парень. И руки у него отцовские, некрупные, но сильные в запястьях и кистях. Не зря отец когда-то щеголял тем, что извертывал в руках кованые гвозди и, не пропадать же добру, передал эту силу рук своему младшему.

Парнишка ходит всегда опрятным, даже щеголеватым, насколько позволяет достаток. Это, правда, было заслугой матери, которая никогда не отпустит его из дому в плохо отутюженных брючонках или не слишком чистой рубахе. А о ком ей еще осталось заботиться?

Денис, оторвавшись от семьи, часто думал: парнишка растет и формируется без моего присмотра. По себе знаю, как необходимо в эту пору держаться за руку кого-нибудь старшего. Но беспокоился он, пожалуй, напрасно. Вениамин рос в добром рабочем окружении.

Наверное, в жизни каждого рабочего подростка бывает случай, с которого его заметят и начнут кое-что доверять. Так было и с Вениамином.

Работал он еще только первый год на сборке определенного назначения электромашин и делал сравнительно простую работу. Но и простую работу можно делать по-всякому,— это Вениамин понял с первых шагов. Как-то он возился себе, затягивая в тесном месте машины болтик, ссадив при этом руку и наскоро заклеив ранку кусочком липкой ленты. Он и не заметил, что позади стоит и смотрит на него сменный инженер.

— А зачем тут крепление на болту? — спросил инженер.— Трудно тебе раз ткнуть газовой горелкой? Ведь насколько это проще.

И Вениамин сказал:

— Ткнуть нетрудно. Но металл, как известно, от нагрева всегда ослабляется. А шина здесь испытывает частый изгиб. Вот кто-нибудь, кому доведется работать на этой машине, и будет вспоминать нас, сборщиков, а заодно и все наше предприятие недобрым словом.

И инженер то ли удивленно, то ли одобрительно покачал головой и молча отошел. Но в дальнейшем в технологической карте уже всегда в этом месте стали указывать крепление не на сварке, а на болтах. Конечно, это мелочь, о которой вроде бы забыли и сборщик, и инженеры. Но из таких мелочей складывается мнение о рабочем человеке.

Но не одной работой, как она ни важна, жив человек. И Вениамин скоро пристрастился к заводскому спортивному залу. Стал забегать туда в свободные минуты. Иногда один, иногда с ребятами, кувыркался на снарядах, лазил по шесту, без перчаток, голыми руками тузил боксерскую тренировочную грушу.

На городском пруду к тому времени построили вышку для прыжков в воду. Случалось, топая с друзьями на работу, они завертывали туда. Испытывая себя, когда вода делалась терпимой для купания, они начали прыгать в воду сначала с нижней площадки, потом, осмелев,— со второй. Вениамин первым из ребят как-то сделал бесшабашный прыжок с верхней площадки. Чувствительно ушибся при этом, неправильно войдя в воду. Но через несколько дней из упрямого самолюбия принудил себя ко второй попытке. Может, и тут сказалась черта

отцовского характера, который всегда говорил, что у стоящего человека никакое дело не смеет отбиться от рук. Вениамин в то лето поставил себе задачу навостриться так, чтобы делать прыжки со сложным переворотом в воздухе. Но как раз в те дни какой-то парень, из таких же, как он, самовольщиков, прыгая без инструкторского надзора, сильно разбился, попал в больницу. И на вышку с того дня поставили неприступного дядьку-сторожа.

Кому не случалось подумать: вот придут лучшие времена, уравновесится жизнь в стране, займусь тогда для души делом, которое бережно оставляю на позднее время. Думал и Денис: когда будут для этого лучшие условия, вернусь к тому, чему нас учили в художественно-промышленной — к офортированию. Многого для этого не надо, в самой скромной квартире можно поставить себе рабочий стол, обзавестись набором штихелей-резцов да смастерить небольшой навесной травильный шкафчик.

А пока Денис, едучи в свой город, твердо решил: пойду в депо, пусть хоть дежурным кочегаром, хоть промывальщиком. А там на какие-нибудь курсы...

Все сложилось иначе. Когда он пришел в партийный комитет, чтобы встать на учет, у него просто забрали документы, объявив, что с ним намерен поговорить секретарь. Но прошло еще три дня, пока секретарь принял его в своем кабинете, пустом и прохладном даже среди лета, в кабинете с большим камином, в котором, чтобы не свистело непрерывно в прямой трубе, был выложен глухой свод из нового кирпича.

Секретарь, задав ему несколько вопросов о прежней работе, вдруг начал говорить, что сейчас им надо послать несколько десятков коммунистов в деревню, в политотделы МТС. И все стало понятным.

— Сурьезный разговор,— сказал Денис, зачем-то коверкая слово.— Но едва ли вы меня позвали затем, чтобы посоветоваться о кандидатурах.

— Именно за этим,— сказал секретарь.— Посоветоваться о твоей кандидатуре.

— А я при чем? У меня и стаж партийный — без году неделя.

Все это была только игра слов. Упомянув о стаже, Денис уже знал, что секретарь ответит ближе всего лежа-

щими словами: стаж — дело наживное, сам не заметишь, как накопится и пять, и десять лет стажа. Важно другое: в деревню надо послать молодой горячий народ. И легкий на подъем, чтобы встал — встряхнулся, пошел — ворохнулся...

Денис терпеливо выслушал все это, уже соображая другое: позволят ли ему выбирать район или пошлют куда найдут надобным. На всякий случай он еще сказал, что на Севхимзаводе приобрел профессию паровозника и собирался закрепиться на ней до старости.

Мимолетно усмехнувшись, секретарь ответил:

— Ну паровозник ты еще не заправский. На магистральных дорогах если тебя возьмут кочегаром, так и то придется спасибо сказать. А тут живое горячее дело. И тоже связанное с освоением техники... А теперь я хочу слышать твое последнее слово,— сказал секретарь райкома, заключая их беседу.

— А что: последнее слово. Знаете ведь сами, что шарашиться я не стану. Еще когда решили вызвать меня, наверное, подумали: парень не из тех, кто станет отбиваться от живого дела. Считайте, что забросили мне уздечку на спину.

— Что еще за уздечку? — спросил секретарь.

И Денис рассказал известное ему еще с детства. Есть такие кони, которых называют неималью. Отпущенный в поле на выпас, такой конь потом вечером ну никак не ловится, не имается. Подпустит к себе так близко, что его можно ухватить за гриву, но тут же подкинет задом и снова отбежит на приличное расстояние. Но стоит только такому коню забросить уздечку на спину, и он стоит как вкопанный. Считает, видите ли, себя уже пойманным.

— Забавная присказка,— сказал секретарь, но без улыбки, а скорее озабоченно.— Только если все твои познания в сельском хозяйстве ею и ограничены, нелегко тебе будет...

— Легко не легко,— уже с задором сказал Денис.— Не боги горшки обжигают.

КНИГА ТРЕТЬЯ

КАЛЕНДАРЬ ВОЙНЫ

День первый

Алексей Денисович Хаританов о смене времен года теперь говорил:

— Летом что... Летом само собой живется. А ты переживи зиму. Зимой приходится жить со старанием.

Зимы он боялся и был уверен, что умрет в крутые морозы.

Летом он подолгу просиживал на врытой в землю скамье возле своих ворот. Старался подольше задержать собеседника, если кто-нибудь из прохожих, знакомых заводских, останавливался, чтобы присесть на минуту, поговорить со стариком. Если же собеседника не находилось, он удовольствовался тем, что бормотал что-нибудь самому себе. Сам говорун, сам слушатель.

Однажды так самому себе сказал:

— Все толкуют: в жизни крутые перемены. А что переменилось так уж особенно? Верх-Палица наша как стояла, так и стоит. Только вот жизнь прошла.

Порой старик, у которого все теперь в уме стало путаться и смещаться, не то чтобы вспоминал, а как бы внове узнавал, что вот уже и внук у него работает в прокатке — на взрослой, удалой работе. И тогда с робким уважением к быстротечному времени он с неожиданной остротой чувствовал свой действительный возраст. И с сокрушенной усталостью говорил кому-нибудь, что черти — уборщики человеческой рухляди — никак его не подберут, все как-то не натыкаются на него.

Но, бывало, он еще и бодрился перед людьми, рассуждая: поживу, сколько поживется. И тот запас дней, который у него имелся, казался старику совсем не малым. Как все старики, прожившие жизнь безвыездно в одном селении и не побывавшие ни в каких чужих краях, он давно уверовал в незыблемость сложившегося бытья. Жизнь не слишком одаривала его новыми впечатлениями, и на закате дней ему стало казаться, что никакой другой жизни нет, а его разлюбезный заводской поселок Верх-Палица — столица мира.

В этой поселковой улице-одинарке, выходящей окна-

ми на пруд, он прожил не весь свой век. Лет пять назад Алексей Денисович овдовел и зачем-то продал свой прежний дом на Горноключевской улице, купив этот на берегу пруда. Зачем? Просто неодолимо захотелось переменить место; раз уж даже зрение стало подводить, хоть обонять ежедневно тонкий и сухой заводской чад, мешающийся с запахом пруда. Старческие прихоти приобретают большую власть над душой человека, яростно протестующей против краткости человеческого века.

Жил старик теперь вдвоем со своим последним сыном. Холостяцки неуютно было у них в доме и как-то даже среди лета будто зябко и сумрачно. А может, и верно это испускали какой-то скучный холодок глыбы двух печей, за все лето ни разу не протапливавшихся.

Дворик дома, ограниченный позади глухим навесом, весь зарос мелколистой цепкой травой. Под стрехой навеса этот однообразно зеленый коврик был четко обрезан канавкой, которую выбила стекающая с крыши дождевая вода.

В ночь на воскресенье его младший — Вениамин — дома не ночевал: еще в субботу утром, уходя на службу, объявил, что до полудня следующего дня пусть отец его не ждет и не беспокоится. А по каким делам он уходит, почитай, на полтора суток, этого Алексей Денисович не спрашивал из уважения к служебным секретам сына. Он давно поставил себе за правило, что по поводу служебных дел Вениамина ни с кем разговаривать не должен и ни о чем лишнем спрашивать его тоже.

Зато вечером в субботу запоздно, уже в сумерках, к старику пришел Шурка-внук. А если он приходил в такую пору, на ночь глядя, то оставался у деда и ночевать.

Когда пришла тому пора, то есть когда начало смеркаться, Алексей Денисович лег спать, хотя, как ему казалось, во сне теперь уже не нуждался и ложился в условленное время лишь потому, что таков порядок.

Он лег и сразу заснул, но спал недолго, всего минут двадцать. Проснулся потому, что знакомый голос сказал над ним заботливо и как бы в отдалении: «Алеша, встань, выйди на улку...» Это сказала, и совершенно отчетливо, его жена и мать его сыновей, которой не было в живых уже почти пять лет.

Повинуясь голосу, Алексей Денисович медленно поднялся и вышел. Сколько он помнил, на их окраине посел-

ка и взрослые и дети называли всегда улицу «улкой».

Сегодня на эту тихую улочку вечер пришел таким смиренным и неярким. Здесь, на берегу, сумерки подступали особенно замедленно и незаметно для глаза, еще более неуловимо, чем движение стрелки часов. Небо было чистым и открытым до самого дальнего уреза пруда с тонкой нитью горизонта, дрожащей как слабо натянутая струна. И шелково-серая марь надвигающейся ночи рождалась не в небе, а в глубинах пруда. Только по цветовой игре воды и можно было проследить созревание сумерек, если иметь терпение и пристально глядеть в жемчужную даль.

Погаснет вдали последний багряный уголек заката, но пруд, как выпуклый щит Святогора, еще долго испускает серебристое сияние. Позднее он приобретет оттенок слабо вороненого плужного лемеха и лишь потом,— но тоже еще не скоро, чуть ли не час потребуется на это,— накопится в пруду тяжелая свинцовая непроглядь. Это по июньской поре уже считается ночью, хотя порой в хмурый осенний день, при низкой облачности, бывает чуть ли не такая же полумгла.

Алексей Денисович долго сидел на крылечке, положив оплетенные синими венами руки на колени по-стариковски прямо поставленных ног. Колени подрагивали, если не удерживать их руками. У рабочего человека руки до́льше ног сохраняют надежность в службе.

Понемногу он начал задремывать сидя. В последнее время это с ним стало случаться часто: если ляжет — сон не приходит, ну, ни в одном глазу. А стоит походить по избе без цели или по двору, потом присесть на минуту — и вот уже повело в дремоту. И еще одно он стал замечать за собой в последнее время: к вечеру он теперь, кажется, совсем не устает. Только земля под ногами делается неверной, как зыбун. Может быть, эта зыбкость и мешала ему чувствовать, наблюдать переход из дня в ночь и от бодрствования ко сну.

И в этот вечер так же: он, то примащиваясь на жестковатую постель в сенцах, то снова подымаясь, долго не мог ладом заснуть. Как в дыму лесного пожарища, он бродил по дому и по двору, стараясь вспомнить что-то еще не доделанное, не исполненное. Несколько раз он подходил к постели Вениамина, на которую в этот вечер лег Шурка, поправлял на спящем одеяло. При этом он не

помнил уже и того, что на кровати посапывает, скатив голову с подушки, не сын, а внук.

Но миновала для него еще и эта короткая, с воробьиный скок, ночь. Утро пришло тихим, младенчески розовым.

На другой окраине города из широких ворот, из-под паутины проводов, которой оплетен двор парка, на линию выкатился первый дежурный трамвай. Неся на дужке токосъемника трескучие голубые искры, разбрызгивая на стены домов солнечные блики, отраженные только что вымытыми стеклами, он прошел на первую остановку.

Солнце еще не поднялось из-за крыш. Трамвай катил по улице, еще прохладно-влажной. Только на перекрестках и в просветах зданий в окна вагона кидался и погасал летучий свет солнцевосхода.

В такой час в воскресенье трамвай через весь город катил полупустым. Он шел в Верх-Палицу, до заводской проходной, и где-то неблизко, остановок за десять до конца маршрута, в него вошли трое молодых людей — две девушки и рыжекудрый парень. Вчетвером со внуком Алексея Денисовича — Шуркой — они составляли экипаж яхты, приписанной к заводскому водному клубу. Парня звали Никифором, но когда-то при первом знакомстве он отрекомендовался девчатам Вадимом, и теперь они не без ехидства называли его порой вымышленным именем, а в добром настроении — запросто Никехой. Работал Никеха, как и Шурка, тоже на заводе, только в термичке.

Трамвай вошел в тенистую прохладу старого бульвара, соединяющего город с верх-палицким поселком. Листва старых лип залопотала, то ли обеспокоенная движением трамвайного поезда, то ли начинал тянуть ветерок.

Все трое стали смотреть в окно на дым заводских труб. Больше всего другого им сейчас хотелось хорошего ветра на пруду.

В воскресенье на пользование суденышком приходилось записываться за несколько дней. И судно им в это утро было дано всего часа на два, с условием дойти до дальних западных ериков на пруду и сразу возвращаться к причалу. Недобрую шутку могла сыграть с ними погода, если бы встретила их на пруду полным безветрием.

Линия трамвая заканчивалась петлей против проход-

24 Заказ 382

ной завода. Пока вагоны со скрежетом проходили крутую кривую, девушки все тянулись в окно, пытаясь увидеть в просвете крыш ветроуказательный конус над водной станцией.

Вадим, он же Никеха, прокаливаясь всю дневную смену в иссушающем жестком жару заводских печей, вечерами учился в металлургическом техникуме. Шурка Хаританов, считавшийся в их яхтовом экипаже капитаном, в техникуме, действовавшем на заводе, корпел над дипломной работой. Посмеиваясь, говорил друзьям, что еще неизвестно, кто из них кого прикончит. Чему-то своему учились и их подруги — работницы-текстильщицы.

Воскресная яхтовая прогулка для всех была желанной, праздничной утехой.

Столько природной и человеческой красы, столько полнокровия жизни было в этом утре, что несколькими часами позднее, когда люди услыхали известие о войне, оно показалось им неправдой. Не может того быть. Кто станет это делать, кто допустит, чтобы в этот прекрасный и мирно-деятельный свет хлынула волна мрака?

Уже рассеялась свежесть, которой ранним утром тянет в улицы с пруда. Укоротились тени; на восходе тень одной из труб завода, как рухнувшая колонна, изломанно лежала за кирпичной оградой с широкими арочными нишами в ней. Теперь тень трубы втянулась за ограду.

Немного раз на веку каждому из нас выпадает испытывать то счастливое состояние души, когда каждое внешнее впечатление проходит сквозь нас, как ветер сквозь струны, рождая негромкий мягкий отзвук. На все хорошо и весело было смотреть ребятам: на зевающую в дверях проходной вахтершу в черной шинели и старомодных ботинках, на игрушечный паровозик узкой колеи, вышедший из огромных глухих ворот цеха, открывшихся с крепостной медлительностью. Когда паровоз поравнялся с ними, чумазый машинист, оторвавшись от окна, вдруг открыл котельный сифон. Вместе с выбросом пара при этом в воздух полетели, как дождик, хлопья мокрой копоти. Паровозники часто озоруют так, когда близко окажутся женщины в праздничной одежде. И девчата, с удовольствием взвизгнув, бросились от рельсов.

Ветер все-таки был. Не сильный, но достаточный, чтобы можно было выйти на воду. Приятнее было бы, чтобы

полотняный конус трещал и рвался на мачте, а он только слабо колыхался, как рыба, нежащаяся в протоке, головой против течения. Но ветер не закажешь.

Окна домишка, где, как ребятам было известно, ночует у деда их капитан, оказались закрытыми на ставни с болтами. В одном ставне был прорезан глазок в виде червонного туза. Поднявшись на завалину, Вадим — Никеха позаглядывал в червонное сердечко, бормоча бессмысленные, откуда-то пришедшие на ум слова: «Ништяк, ништяк... наждак, наждак». Ничего в червонный глазок не рассмотрев, он перешел к воротцам, побренчал кованым кольцом щеколды.

Старик в лыжной каскетке, в очень поношенном пиджаке, застегнутом на одну верхнюю пуговицу, вышел на стук из сенец дома. Он сошел с крыльца, как спускаются дети, еще не окрепшие на ногах, утверждаясь на каждой ступеньке обеими ногами, прежде чем встать на следующую.

— Здравствуй, дедушко,— ласково пропела девушка, первой вошедшая в воротца. А Никеха сказал:

— Буди своего лежебока, дед. Время теряем понапрасну.

Но Шурка уже показался на крыльце, протирая глаза тыльной стороной ладони. Он поплескал себе в лицо из рукомойника, висящего возле крыльца, небрежно вытерся и, вдруг свирепо зарычав, сделал на траве двойной курбет и, тем совсем освободившись от заспанности, нырнул в сени одеваться.

Вскоре на одной из яхт у причала водной станции заскрипели блоки, поднялся острый полотняный парус. Он сразу принял легкий упругий ветер, зарозовел под лучами солнца. Когда по широкой дуге, огибая пруд, проходили мимо зеленых мохнатых свай перед створами плотины, Никеха сказал:

— Хороший у тебя дед. Мне бы такого.— Сам он был из детдомовских.

— Дряхл уже и непригляден...

А старик, о котором шла речь, все еще стоял посреди двора.

Справа через забор ему видны трубы завода; можно различить даже скрепы растяжек на ближней из них... Если ветром тянет с той стороны, на крышу дома, на траву во дворе осаживаются копоти. Если ветер с запада,

где выше забора и крыш видна гряда холмов, оттуда наносит запахом леса.

В ясный день глубина перспективы на западе кончается в седловине двух отлогих вершин; там еще можно различить живую темно-зеленую окраску бора, а дальше все, кажется, стоит на равном расстоянии, все плывет, не удаляясь. В пасмурь и в предчувствии дождя горы кажутся ближе, они стоят в железной неподвижности.

Так же и в памяти старика теперь, бывает, все плывет, колышется, все события и образы стоят как бы во времени на неправдоподобно равном расстоянии. То, что происходило полвека назад, часто вспоминается яснее, чем события недавних лет. И потому часто представляется, что давнее было только вчера, а близкому, вчерашнему,— сто лет.

Придумывая, чем заняться, старик идет под навес, берется колоть дровишки. Колет легко и безошибочно, ставя поленья на колодку, придерживая их левой рукой. Топор врубается в торец совсем рядом с пальцами. При его зрении — самое нехитрое дело отсечь пальцы, и когда дома сын или внук, они еще из сеней предостерегающе кричат «э-эй!» Потом выходят и отбирают у него топор.

Сейчас, расколов два чурбака, он вспоминает, что сегодня, по летнему времени, дрова, собственно, и не нужны.

Быть дома в одиночестве — тягостно.

— Батько в пир, мамка в пир, а я какой домовник,— сердито бормочет он, выходя за ворота.

Он долго стоит, всматриваясь в сверкающую гладь пруда, пытаясь вспомнить, куда должен сходить с утра и что обязательно исполнить.

Но идти ему некуда, и ничего он не должен.

На пруду небольшая ритмическая, «колыбельная» волна, и яхта типа «кеч», плавно галсируя, идет по ней, как по ступеням, удаляясь все дальше от своего причала. Одна из девушек сидит на руле, прикусывая от усердия губу. Другая стоит на носу, глядя вперед, с волосами, спутанно рвущимися на сторону. Облепленная одеждой, на ветру она выглядит изваянной, как статуэтка, водруженная строителями яхты на моряцкое счастье. Шурка Хаританов управляется с парусами, предостерегающе по-

крикивая, когда рея перекладывается с одного борта на другой. Яхта при этом вальяжно меняет крен с правого на левый, либо с левого на правый; тонкий грифель мачты делает в небе короткий росчерк. Если некоторое время смотреть не отрываясь в небо, в его самоцветную синь, возникает обманчивое впечатление, что конец мачты с пылающим на нем, как язычок пламени, вымпелом оставляет в небе видимый след.

Яхта будто сама собой правится к дальнему западному берегу пруда, полускрытому за выпуклостью водного зеркала.

На яхте девушка, которую зовут Катей, присмиревшая перед прелестью утра, исполненного величавой ясности, вдруг спросила Шурку: чего бы он сейчас еще хотел? Чего лучшего можно хотеть в такой час, когда все вокруг словно плавится в лучах солнца, лишь полчаса назад оторвавшегося от влажно дымящихся крыш поселка?

И Шурка, ни секунды не промедлив, словно ждал этого вопроса и обдуманно подготовился к нему, сказал:

— Одного бы хотел... Пройти бы нам сейчас какими-нибудь еще не разведанными протоками реки... в Варгасово море.

— Может, в Саргасово? — насмешливо спросила другая девушка. Она все утро наблюдала зарождение между Шуркой и Катей чего-то серьезного и прекрасного и немного завидовала подруге. Поскольку это случилось не с нею, ей составляло небольшое удовольствие отыскивать в Катином избраннике какие-то недостатки, изъяны грамотности.

— Верно, Саргасово море, — покладисто согласился Шурка.

На берегу между тем Алексей Денисович, придумывая, чем занять досуг, проковылял наискось через улицу, толкнул вертушку турникета, по мосткам, недавно окаченным из шланга, прошел на площадку под вышкой. Там дежурный матрос для практики в морском деле сращивал концы варовинного каната. Его же возраста удалец в грубой спецовке прошел на площадку вскоре за стариком. Он дважды сделал приседание для разминки и на втором приеме ловко вылупился из своей брезентовой скорлупы. Поднявшись на первую площадку вышки, он постоял там минуту, поеживаясь, поводя плечами, коротко хохотнул и упал вниз, войдя в воду бесшумно, как

нож. Только под мостками шумно шевельнулась вода, будто всхлопнула крыльями большая птица.

В эту пору купаются еще немногие, но парень был, как видно, закаленным. Поблескивая мокрой головой, он заплыл уже метров на двести.

— Ты посматривай,— обеспокоенно сказал старик дежурному матросу.— Не утонул бы.

— Порфишка-то? — беспечно откликнулся тот.— Он плавает как гусенок. Топить будешь — не утопишь.

Еще чьи-то ноги, шлепая сандалешками, пробежали по мосткам, и под вышкой появился мальчик, веснушчатый, как сорочье яйцо.

— Порфиша! — крикнул он, приставив ладони рупором, нетерпеливо топая ногой.— Плыви сюда бегом.

— Что за переполох? — спросил дежурный. — Куда тебе его так спешно?

— Да ты что, радио не слыхал? — сердито, как взрослый, спросил мальчик.— Война ведь... А на улицах что делается...

Дежурный бросился в свою конторку, к репродуктору. Порфирий споро плыл к причалу, переваливая голову со стороны на сторону при каждом взмахе полусогнутых рук. Словно катилось, вихляясь по воде, какое-то странное колесо.

А до старика еще не дошло. Накануне на пустыре ребята играли в войну, весь вечер доносился оттуда их галчиный крик.

«Все у них война на уме,— сердито подумал он.— Еще накаркают, напророчат...»

Младший уходит первым

Никто из близких Дениса Хаританова уже не называл свой город когда-то придуманным прозванием. Лишь сам Денис дома иногда, собираясь в очередную командировку, говорил жене:

— Завтра еду дня на два в Гранитоград.

В один из таких своих наездов он зашел, как всегда на короткое время, к старшему брату. Зашел как раз тогда, когда племянник Шурка собирался в смену, на работу. И его непривычно растрогало, когда он смотрел, как Шурка влезает в свою рабочую робу. Спецодежда у прокат-

чика известно какова: шьется намеренно просторной, мешковатой и из какого-то специального грубого брезента. Поставь эти брюки и куртку раздельно на пол и погрози пальцем: «Стоять, не падать», и доспехи эти так и останутся стоять. Тяжелые рукавицы со стальными наладонниками...

А Шурка вытянулся, перерос отца. Но еще тонок, как тростинка, и Денис подумал, что рано бы ему работать в прокатке застановщиком.

Из всего их рода только он, Николаев первенец, оказался рабочим огненной профессии. Года за два до войны он ушел в ФЗО — заведение, как нарочно созданное для тех подростков, которые, презрев премудрость старших классов средней школы, спешили повзрослеть. И после полугодичного курса заводской школы ФЗО оказался застановщиком на клети.

Наблюдать Шуркино подрастание систематически, из месяца в месяц, Денис не мог. Только потихоньку дивился тому, что парнишка растет как бы скачками из одного возраста в другой. Давно ли это было, когда Шурка — совсем еще карикатурный криволапец в штанишках на одной лямке — приходил к деду, как-то сумев свершить непостижимый для своего возраста марш-бросок через целые три улицы поселка. Дотянуться до калиточного кольца он бы еще сумел, но чтобы повернуть его — не обладал достаточным опытом жизни. Поэтому он просто ложился на живот и, проворно суча ногами, проползал в просвет подворотни. Иногда, не заходя в сени, он шел во дворе на свое излюбленное место — под дедов верстак. Под верстаком всегда имелась груда стружек. Случалось, его там и находили, когда, наигравшись один себе, он засыпал в стружках.

И вдруг,— для нас всегда бывает «вдруг», давно разучившихся фиксировать в сознании быстротекущее время,— Денис увидел Шурку совсем в ином облике. Словно всего несколько недель тому назад он видал его лазающим в подворотню, а тут заехал как-то к брату на час и застал Шурку собирающимся на работу.

Это было, когда никто еще и не думал о войне, хотя она стояла уже у порога. В следующий за этим раз Денис приехал в Гранитоград уже нароком, услыхав, что Шурка призван.

В доме у брата, когда вошел Денис, было непривычно

тихо и чинно, хотя вся его беспокойная семья была в сборе. Все сидели, кто где примостился, но это было еще не то сидение, когда все опускаются присесть на минуту, чтобы легкой была дорога отъезжающего. Просто бывают такие минуты, когда все уже сделано: вещевой мешок призывника с двумя лямками из белой ламповой фитильной тесьмы собран и лежит на краю кухонного стола. Просто старшие сидят потому, что от горя уже не держат ноги, а младшие — двое младших Шуркиных братьев и сестренка — сидят смирно потому, что общее семейное смятение и боль подействовали и на них.

Но времени на прощание уже оставалось мало. И Шурку Денис вполне мог бы вообще не застать дома. Парень до него уже раза два порывался встать и ехать на вокзал; его и отпустили-то из команды со строгим наказом быть к определенному часу с минутами на воинской площадке вокзала.

Но чего не случается, когда повезет, так же как и в случаях невезения. На вокзале им удалось узнать, что три вагона с призывниками будут прицеплены к тому пригородному поезду, на котором Денис возвращался в К. А за этим последовала еще лучшая маленькая удача. Он разыскал начальника той команды, в которой Шурка теперь числился солдатом, и упросил его отпустить племянника в свой вагон. Начальник команды сказал: вообще-то, это не полагается. Но такое вступление в военном быту всегда означало уже половину согласия.

Дениса с той минуты, когда он услыхал о Шуркиной отправке, томило недоумение: как случилось, что племянника отпустили с завода, где все рабочие ведущих профессий находились на самой прочной во всей промышленности броне. И в вагоне ему удалось выведать у Шурки, как это случилось.

— А что за хитрость,— рассказывал Шурка, блестя глазами.— Кто хочет, тот добьется. Пошел к секретарю парткома... Не с фронта в тыл проситься пришел, а из тыла на фронт.

— Кто у вас сейчас секретарь? — спросил Денис.

Парень назвал фамилию своего секретаря — теперь уже бывшего своего секретаря, взглянув на Дениса недоверчиво и обеспокоенно. Вообразил, наверное, что Денис, чего доброго еще, примется хлопотать об отзыве племян-

ника обратно. А Денису подумалось вовсе не это. На последней перед войной партконференции Денису хлопотная доля коммуниста-районщика повелела переброситься из политотдела в райком партии. И теперь у него самого дня не проходило без того, чтобы кто-нибудь не пришел в райком просить, требовать все того же: направить в действующую. В большинстве это была молодежь, но, случалось, являлись с этим и пожилые люди, участники прошлых войн. Сначала их принимал Петр Петрович, первый секретарь, но люди эти отнимали немало времени, необходимого для других дел. И он начал отсылать этих искателей ко второму секретарю. Но и у второго на это хватило терпения ненадолго. И секретарша в приемной принялась направлять всех являющихся в райком с таким делом к Денису, объясняя, что сейчас этим занимается он. А Денису ни с какой стороны не подлежало решать эти дела. И он с большим смущением сейчас вспомнил, как формально и недушевно иногда отвечал людям на такого рода просьбы, выработав себе стандартную форму: призывными делами занимается военкомат, у него все делается по своему плану, и райком не может без веской причины вмешиваться, вносить беспорядок в их нелегкую работу.

А ведь с этим приходят, каждый неся свою боль и свое высокое чувство. Ловкачи и ищущие своей корысти люди в такое время военкомат и райком обходят стороной. И, конечно, не с легкой душой секретарь парткома на заводе у Шурки решал отпустить или не отпустить его в распоряжение военкомата. С легкой душой в такой просьбе можно только отказать.

И он спросил Шурку: что же тот думает, попасть на фронт — это развлекательное путешествие по живописным местам своей родины?

— Да я хоть белый свет увижу. Все говорят: молодость — лучшие годы человеческой жизни. А что хорошего видел я пока что. Родители у меня живут недружно: от одних их нескончаемых ссор убежишь куда глаза глядят.

— Смотри ты,— смущенно сказал Денис.— А я ничего такого у вас и не замечал.

— Ну, бываючи у нас краткими наездами, где уж тебе. Да и не в этом, может, дело. Может, все люди в моем возрасте маются этим: хочу того — не знаю чего; хочу

уехать туда — не знаю куда. Мне и без войны было как-то смутно, беспокойно жить, а тут еще такое богатырское, грозное дело.

Приблизив к Денису лицо через столик вагонного купе, Шурка говорил вполголоса, но горячо, страстно, как исповедуются близкому человеку в чем-то, еще никому не высказанном.

— Ты не думай, что я жалуюсь тебе на жизнь. Жаловаться мне не на что. Были и у меня свои маленькие радости, а одну главную, но самую большую, наверное, надо еще заслужить. Просто хочется испытать что-то грандиозное.

— Либо грудь в крестах, либо голова в кустах,— сказал Денис, тут же почувствовав, что слова не те и тон не тот.

— Ах, да не то и не так,— досадливо поморщился племянник.

— Ладно, понимаю твое состояние,— сказал Денис.— Только вот одно. Ты сказал: хоть белый свет увижу. Смерть, летящую в лоб, ты можешь увидать там первым делом.

Дорога шла строго на запад, только если смотреть по карте. А в натуре солнце, стоящее в этот час действительно на западе, смотрело то прямо в окна, то скрывалось, чтобы через несколько минут показаться косострельно в других окнах, с правой стороны. И Шуркино лицо то уходило в тень, делаясь после яркого света нерезким и смутным, то виделось вдруг снова освещенным, со всеми своими юношескими веснушками, со своей печалью и мудрым превосходством уходящего перед остающимися.

Как всегда, когда люди пытаются найти какие-то особенные, душевные слова, разговор получался сбивчивым и неубедительным. Денис знал, что, когда расстанутся, ему, старшему, доведется только терзаться недовольством собою за это. А приближалась уже станция, где Шурке придется уходить в свой вагон.

— Как надо понимать насчет смерти, летящей в лоб. Видал ты, как на берегу реки стрижи поднимают свою суматоху перед дождем? Стремительно носятся низко над землей; так и ждешь, что какой-нибудь с лета ударит

тебя в лоб. Бывает даже отшатнешься. Но стрижи умеют в самый последний момент вильнуть в сторону. Так вот, я желаю тебе от всего сердца, чтобы все пули там, как стрижи, преломляли для тебя свой полет. Когда-то на Руси матери, отцы, провожая своих сыновей на ратные подвиги, благословляли их по-христиански, вешали им на шею образок. И я сейчас душой понимаю, с каким чувством это делалось. Мы же теперь в наше время не умеем и этого. Носить обноски прежних способов изъявления чувств мы не желаем, а как-то иначе, по-новому, выражать их еще не научились. Поэтому понимай без лишних слов.

— Ладно, понимаю без лишних слов, — нетерпеливо сказал Шурка.

— Одно знаю: время другое, люди русские стали другими. Значит, и война все равно будет другой, чем прежние войны. Помнишь стихи: «...Врачи, постучав по впалой груди, годен, кричали нам». А у вас в команде подобрались эвон какие молодцы. Кстати, что это за спецкоманда? Вы не дознались?

— Военное дело, кто тебе скажет. Известно только, что у всех до единого есть какой-нибудь разряд по лыжам.

Шуркина победа

Со служебными командировками так: если хочется куда-нибудь вырваться — год не представится случая, когда же с удовольствием никуда бы не поехал — одна командировка следует за другой.

И у Дениса тоже в июле, августе и сентябре этого года командировки в область стали случаться чаще, чем он бы этого хотел. Они изнуряли тем, что ни разу за все шесть часов езды в вагоне он не мог заставить себя прилечь и подремать, приходилось ли ехать днем или с ночными поездами. Так и простаивал всю дорогу у окна, наблюдая рекой плывущую на запад технику — под брезентами и ничем не укрытую.

Народ на станциях и разъездах был на девять десятых в возрасте до тридцати, сорока; люди постарше, Денис это знал, жили еще по домам, каждый при своем горячем деле. В эти дни, кажется, не было в стране дела,

которое не стало бы горячим, не накалилось под дыханием войны.

Новобранцы в военных поездах, стриженые, в новых, не обмятых еще гимнастерках, а порой и выгоревших, латаных, были все словно на одно лицо. Впрочем, впечатление схожести лиц слагалось, наверно, из того, что одинаковым было их выражение. Это выражение бодрости и беспечности, от которого холодно делалось спине.

Солдаты пели песни, кричали молодицам на станциях: «Ждите нас с победой».

В каждый свой приезд, как бы ни был занят, Денис старался хоть на минуту забегать в два места: к отцу и старшему брату. От Шурки было только два письма: одно еще с дороги, другое — из части. Шурка писал, что живет в тех краях, «где Волгу курица вброд перебредет», и учится новому для себя военному делу.

Николай думал, что Шурка где-нибудь уже воюет, но только не пишет об этом. Денис сказал лишь,что в команде, с которой уехал Шурка, насколько ему известно, подобраны ребята, как один, лыжники-разрядники. Скорее всего, значит, Шурка попадет в специальный лыжный батальон. Таких на предстоящую зимнюю кампанию готовят, может, несколько сотен для центральных и северных фронтов. И Шурка, пока что где-нибудь учится в запасном полку. А до зимы еще далеко и может многое измениться...

Они ошибались оба.

Шурка в эти дни еще не был на фронте, но и не готовился для лыжных батальонов. И то, что до зимы было еще далеко, для него ничего не отсрочивало.

Некоторое время он учился в тыловом запасном полку, жизнь в котором была не такова, чтобы таким нетерпеливым ребятам, как Шурка, хотелось в нем подольше задерживаться. И вскоре из запасного он ехал уже на пополнение частей, изнемогающих в смоленско-ржевских боях. Снова эшелон, снова мелькание прикамско-волжского ландшафта в широко откаченных дверях вагона-теплушки, снова нервически-веселая суета на больших станциях.

Солдат в маршевом эшелоне живет ожиданием. Ждет

узловых станций, на которых бывают устроены столовые для солдат-маршевиков. И в каждом эшелоне всегда найдется солдат-бывалец или несколько таких, что, поджив в тыловом госпитале свои рубцы и шрамы, едут на фронт не в первый раз. От них уже во всем эшелоне люди знают, на каких станциях в этих пунктах питания кормят похуже, а на каких — хорошо.

Когда люди едут не первые сутки, а перед глазами все те же лица, все то же мелькание, они бывают рады каждому случаю посмеяться.

Старший Шуркиного вагона, сержант, ехал на фронт из госпиталя. Он был ранен в первый месяц войны миной, разорвавшейся позади, и собрал себе в спину, в ягодицы, в ляжки восемнадцать мелких осколков. Кто-то сказал по этому поводу, что в госпитале у сержанта извлекли все осколки за исключением двух, оставшихся в очень забавном месте. Их врачи не стали добывать, щадя мужское естество сержанта. Ребята говорили, что, если прислушаться, можно услыхать, как эти два осколка позвякивают в сержанте на ходу.

На какой-то станции они стояли почти всю ночь до утра и утром еще часов до одиннадцати. Кажется, дальше вперед ходу им не было. Через станцию за все это время в сторону фронта не ушло ни одного состава, кроме бронепоезда. Это был обыкновенный укороченный состав из товарных вагонов и гондол, обвешанных броневыми плитами. И паровоз «Эхо», тоже нацепивший на себя броню, утратил свой привычный глазу вид; по бокам передней дымовой коробки у него, как шоры у коня, торчали тоже две плиты. Этот стальной сарай на колесах с ходу прошел через станцию туда, куда ребятам предстояло двигать уже пешим порядком.

В детстве у Шурки было что-то не в порядке с гландами. Подросши, он долго и старательно отучался от привычки держать рот полуоткрытым, но так и не мог до конца освободиться от нее. Если он напряженно к чему-нибудь прислушивался, или читал книгу, которая его увлекла, или на работе брался за то, что требовало его полного внимания, рот у него чуть приоткрывался, верхняя губа принимала четкий, характерный рисунок, как изображают карандашом двумя косыми штрихами летя-

щую чайку. Это совсем не безобразило парня, разве что лицо у него при этом становилось еще более мальчишеским.

В запасном полку ему труднее других оказалось приобрести строевую выправку. Походка у него отцовская, а у того она была грузчицкой, а не солдатской — с привычкой ходить, широко шагая, переваливая тяжесть тела с каблука на носок, заложив руки назад, держа голову резко повернутой вправо либо влево, так что подбородок почти касался приподнятого плеча.

Зато с пушкой Шурка освоился сразу: все-таки на заводе ему приходилось иметь дело еще не с таким по сложности механизмом. На второй же неделе обучения в полку его стали испытывать у пушки за наводчика.

На последних полковых стрельбах им было задано сложное упражнение: стрелять по вырезанному из фанеры силуэту танка диаметром не больше бачка, в котором в столовой им приносили суп. Прислоненный к стволу молодой сосенки за шестьсот метров, на дальнем краю полигона, этот «танк» был почти неразличим простым глазом, казался чуть ли не с пшеничное зерно.

Не без робости Шурка присел на колени за щитом пушки, приник к резиновому наглазнику прицела. До него по мишени отстрелялись три расчета, по три снаряда каждый, не сумев поразить ее.

— Ну, не подкачай, Сашок,— горячо шептал ему его лейтенант, волновавшийся не меньше, чем сам наводчик.— Под нижний срез, под нижний срез...

«А зачем под нижний срез,— упрямо подумал Шурка.— На шестистах метрах никакого превышения не будет...» И, тронув за маховичок, все же принял прицел на волос ниже. Все с тем же детским выражением рта он отклонился от прицела, легко повел рычажок спуска.

Приметная сосенка на дальней опушке леса тряхнула головушкой, легко, спокойно упала в траву. Одобрительно всхлопнули ладонями наблюдавшие стрельбу командиры. Только майор, с биноклем, начальник артиллерии, принимавший испытания, заметил:

— Подождите аплодировать. Он еще, кажется, с успехом промазал. Как и предыдущие ваши расчеты...

Но принесли мишень. В нижней кромке ее, чистый, как выпиленный лобзиком, был выбит полумесяц попадания.

С этого дня Шурка окончательно утвердился в наводчиках и очень радовался этому. В первое время даже по ночам, во сне его не покидало это чувство некоей жизненной обновки. Приятно было жить, двигаться, делать свои обыденные дела и все время помнить, что он теперь умеет еще одно, чего раньше не умел. Блажен, кто умеет беззаветно радоваться самому малому.

Командир орудия, с которым Шурка служил в запасном полку, был парень из тех, что никогда не упустят в жизни своего. В городке, где они стояли, он вскоре же завел себе подружку. Когда они своим расчетом, таща орудие на лямках, выезжали на полевые занятия, их командир тут же заявлял: «Ну, я сгину на часок. Управляйся тут». И уходил не меньше чем до обеда, предоставляя Шурке заниматься невеселым делом тренировки в приведении орудия из походного положения в боевое и обратно. Раз за разом, час за часом нудных полдня подряд. В других расчетах такие занятия считались за отдых: прокопошась около орудия полчаса, люди садились на траву, курили и пустословили. Только кто-нибудь один зорко посматривал по сторонам, чтобы не набежал кто-нибудь внезапно из старших командиров. Шурка же не давал поблажки ни себе, ни людям, заставляя до сотни раз за полдня исполнять все одну команду: «К бою!» Радовался, когда удавалось проделать это упражнение на полминуты, на четверть минуты быстрее, чем делалось обычно.

— Кому нужны эти полминуты,— желчно спросил его как-то раз Сабуров, сварливый, длиннорукий солдат.

— Кому нужны? — переспросил Шурка.— Сколько, по-твоему, во-он до того выступа леса. Согласимся, метров семьсот. Вообрази, что оттуда вырвался и идет на нас танк с крестом. Скорость у него — километров тридцать в час. А может быть, и больше. За те полминуты, которые никому не нужны, он будет вота где.

Он поднял с земли и бросил метра на два впереди орудия сосновую шишку. У ребят, которые молча слушали его, стали напряженными лица. Этот простой расчет раньше не приходил им в голову.

В запасном полку для полевых тренировок они выбирали место чаще всего на опушке леса, который вблизи их площадки был раздвинут надвое линией электропередачи, как бывает развалена сильным катером зеленая

речная волна. Они выезжали со своим орудием на лямках из ворот военного городка, перетаскивали его через полотно широкого, очень оживленного шоссе; по-бурлацки тянулись в небольшой подъем по хорошо накатанной дороге вдоль высоковольтной линии с высокими, разлатыми опорами. Дорога змеилась, переходя то на левую, то на правую сторону широкой просеки под струнами проводов, под тяжелыми гирляндами коричневых, тарельчатых изоляторов. Можно было бы выбрать другое место, другую дорогу, без подъема. Но им нравилось, что обратно, когда время подходило к обеду, пушка катилась по этой дороге почти сама собой до самых ворот городка.

С облюбованного места поверх мелколесья вдали был виден город, его многоэтажные дома восточных окраин. А ближе, в километре расстояния, виднелся перекресток двух больших дорог, по которым непрерывно шли грузовики. По одной дороге их движение было фланговым по отношению к орудию, по другой — фронтальным. Шурка вставал на свое место, часами упражнялся в наводке, взводил механизм затвора без снаряда в патроннике, ловил проходящую машину на острячок в прицеле, принимал упреждение, делал щелчок. Так десятки раз подряд. Он скоро научился, не обманываясь, различать, когда наводка получилась вполне точной, и, если бы был не щелчок, а действительный выстрел — машина на дороге была бы, наверное, подбита, а когда — не наверное.

Солдаты в вагоне маршевого эшелона, как подростки на сельской улице, запросто наделяют друг друга прозвищами. Может, это происходит потому, что знают: товарищество наше тут ненадолго; по приезде на место всех кого куда разбросает сортировочная судьба. Стоит ли запоминать имена.

В вагоне Шурку стали называть Малый. Он действительно был, наверное, младшим из всего вагона. Красноватый пригар на коже лица, который он носил, пока работал в прокатке, сошел за несколько дней. Теперь оно было юношески свежим, чуть ли не девическим. Неудивительно, что один шалопутный сержант из их команды раза два насмешливо назвал его Дуней. И Шурка не оборвал его, не обиделся, каждый раз поворачивался и отходил от насмешника. Прибудем на место, его пошлют в один батальон ПТА, сержанта — в другой. Уйдет вместе с ним неизвестно куда и обидная кличка.

И верно, после выгрузки он сразу потерял с глаз и сержанта и множество других, к которым уже присмотрелся в вагоне. Группу человек пятнадцать, в которой оказался Шурка, принял какой-то крепыш старшина, одетый, несмотря на летнюю пору, в туго перепоясанный ватник. Выгрузка и сортировка, впрочем, были приноровлены к ночной поре, а ночи стояли росистые.

После выгрузки, сначала впотьмах по каким-то лесным проселкам полубегом, с риском выколоть глаза о низко простертые сучья деревьев, потом при слабо мерцающем свете наступающего дня, они проделали километров двадцать в ту сторону, где слышался львиный рык и глухие звуки, похожие на удары тяжелого копра, загоняющего сваи в жесткий грунт.

Пока ничего похожего на войну не было, скорее — на гул строительных работ. Потом жизнь пошла по широкому карусельному кругу.

На окраине сожженного села в яблоневом саду старшина сдал их двум лейтенантам. Лейтенанты спали под палаткой, а три солдата на выходе из яблоневых междурядий охраняли три кучи бурого лиственного хвороста. Ребята из прибывшего пополнения уже дня два как подбились с табаком, а охранявшие хворост дружно курили махорку, и дымом ее, таким приятным в утренней прохладе, несло по всему саду. Лейтенанты нехотя поднялись, когда старшина доложил им о прибытии пополнения.

Что-то бывает неуловимое в лицах людей, по чему сразу узнаешь вышедших из боя. Тут к тому же было видно, что лейтенантам вовсе не нравилась поспешность, с которой ребята из пополнения появились в этом колхозном саду. Для них было бы куда лучше, если бы эта группа лишних полсуток проплутала в прифронтовых лесах. А теперь приходилось вставать, разбираться со вновь прибывшими, каждому определить его обязанности.

А три кучи бурого хвороста оказались пушками-сорокапятимиллиметровками. Были они так замаскированы, что Шурка прошел бы в десяти шагах, не разглядев, что за техника таится на опушке сада.

И одна из этих пушек оказалась врученной ему.

Было немного странно, что орудие вручается ему так же запросто, без всякой формалистики, как вручили бы винтовку или наган. Впрочем, наган в обмятой желтой

кобуре он тоже получил. Только наган был побывавшим в чьем-то употреблении, с основательно стертой вороненностью, а пушка — новенькая, недавно сошедшая с заводской сборочной дорожки, с вязкой, как сера-живица, смазкой во всех зазорах.

Часа два Шурка возился с орудием, снимая заводскую смазку, нанося по-уставному свежий ровнехонький слой пушсала. Он обихаживал орудие старательно, любовно, норовя продлить удовольствие давно не испытываемой тщательной работы. Но лейтенант, искоса наблюдавший за ним, сказал, что он слишком возится, как жук в дерьме. Он добавил еще, что надо проверить заводскую пристрелку прицеливанием через ствол. Все-таки пушка доставлена за несколько тысяч километров, не раз грузилась кранами на платформы и скатывалась с них.

— Я скажу тебе позднее, как это делается,— сказал лейтенант.

Но Шурка и сам знал, как проверяется через ствол линия прицеливания. Он послал солдата из расчета через поле прибить крестовину на отдельно стоящее дерево, насколько позволит видимость, подальше.

Но прежде чем он успел сделать все, что надо, пришли упряжечные лошади, а вслед за тем приказ взяться на передки.

Теперь из них составилась уже штатная батарея. Надо было еще только получить снаряды, но это было сказано сделать на попутном пункте боепитания.

Эта карусель, езда по кругу, продолжалась дня четыре. Они делали бросок, трясясь на зарядном ящике и на станинах орудия, вдыхая запах лошадиного пота и отплевываясь от конской шерсти, которую несло в рот; ездовые не имели двух часов свободного времени, чтобы почистить лошадей. Вставали на огневую позицию, едва успевали врыть орудие в землю,— а иногда и не успевали вырыть окоп,— как снова получали команду взять пушку на передок. И снова бросок, иногда не ближний — километров на двадцать-тридцать. Ездили, конечно, не по кругу, а по какому-то очень запутанному маршруту, но Шурка никак не мог освободиться от ложного впечатления, что они делают все один и тот же замкнутый круг, и некоторые места он словно бы узнавал: был уверен,

что они тут уже проезжали в эти дни. Но, может быть, это только повторялся в деталях дымчатый среднерусский пейзаж?

Он знал также, что их ставят каждый раз на так называемых танкоопасных направлениях, но чем каждое направление опаснее других вокруг, этого не понимал. И думал, что не понимает оттого, что настоящего боя пока еще не испытал.

Из-за этой «карусели» он, можно сказать, проморгал, плохо запомнил свой первый бой. Пока не дошло до дела, он с содроганием, с бегучим холодком в позвоночнике ждал этого первого боя, а когда он прошел, как бы с разочарованием подумал: только и всего?

Встали они в тот раз хорошо, хоть позицию лейтенанты выбирали ночью, она оказалась такой, что лучше бы не выбрать и днем. Видимость из орудийных окопов через лощину открывалась до дальних двух очень пологих холмов, которые как бы заходили один за другой, образуя нечто похожее на то, как рисуют двумя косыми штрихами контур летящей птицы. Лейтенанты, оба — и командир батареи, и огневик, засели вместе в одном ровчике; командиру батареи не было надобности выносить свой пункт вперед. Там, в низине, куда ни встань, видно было бы даже хуже. И телефонный кабель из их ровика протянули только куда-то вперед и влево — в пехотный батальон, а команды на батарею без труда доносило бы голосом.

Утром, когда солнце поднялось уже довольно высоко, пехота впереди завязала бой с немцами. Сначала там, на обратном склоне, затарахтели пулеметы, и под их говорок в лощину, как редкий щебень с осыпчатого откоса, начала скатываться вражеская пехота. Лейтенант-огневик из командирского ровика ползком перекантовался к первому орудию.

— Ну, стригунок, дождался первого боя? — спросил лейтенант Шурку.— Видишь пулеметные точки на том берегу?

Но никаких пулеметных точек Шурка пока не видел. И его сбило с толку, что лейтенант сказал «на том берегу». Ничего похожего даже на русло пересохшей реки в лощине не виднелось.

— Смотри левее на два пальца и чуть ниже глинистого пятна,— говорил лейтенант.

Глинистое пятно Шурка видел отчетливо, но никаких признаков пулеметной точки в указанном месте не находил. Знал, что разыскать пулеметную точку на широком, во весь горизонт, склоне холмов непросто; от напряжения даже в глазах начало искрить. Подумал при этом, что и со стороны противника их окоп будет так же трудно разглядеть, на то существует маскировка.

Пулеметную точку — первую, а потом вторую,— он наконец нашел в лейтенантов бинокль. Но даже в бинокль, а потом в свой, более сильный, оптический прицел видел цель только как слабое мерцание тонкой свечечки.

И вообще при таком высоком небе и такой распахнутости лощины все подробности боя показались мелкими и не страшными. Все невзаправдашное, все как на макете. Чувствуя себя осрамившимся на том, что долго не мог найти цели, Шурка, получив команду, принялся наводить по первой точке.

Три снаряда у него легли правильным и узким треугольничком.

«Спасибо, хоть свои разрывы вижу...» — подумал он все еще без уверенности, что все делается как надо. И очень удивился, что лейтенант одобрительно сказал:

— Хорошо. Ведь вот умеешь, когда захочешь.

А чем хорошо — наводчику было невдомек. Сказали бы «плохо», он также принял бы это как заслуженное.

Потом он стрелял еще по второй точке, израсходовав всего десятка полтора снарядов. И тоже видел, что разрывы набухают глинисто-красным блеском где-то близко от пульсирующего огонька на том склоне. Как всякий еще не слишком опытный артиллерист, он думал, что с каждым удачным выстрелом вверх должны взлетать какие-то обломки и клочья растерзанных тел...

Пехотный бой в лощине утих так же неэффектно, как начался. Но раньше этого, пока еще длилась сорочья перебранка пулеметов внизу, расчетам сорокапятимиллиметровок скомандовали на лямках откатиться в сторону — в балочку, где ездовые с трудом удерживали на месте лошадей, связанных поводьями в короткую связку.

Волочь орудия на лямках без накатанной дороги — и не близко, а метров пятьсот — в иное время, где-нибудь на учениях, людям показалось бы невозможным, выше человеческих сил. Но, видно, многое им, всего несколько

дней назад прибывшим с пополнением, предстояло испытать такого «невозможного».

Семь человек расчета, облепивших орудие как муравьи, не могут остаться не замеченными противником. По всему полю вразброс, ближе-дальше, начали рваться мелкие мины. И что тут чему мешало? Или обстрел заставлял торопиться, рваться в лямках, понуждая не жалеть усилий, или работа подавляла страх... Как бы ни обстояло дело, артиллеристы выкатили орудия, и в Шуркином расчете никто даже не был ранен. В двух других расчетах, выкатывавшихся позднее, были только легкораненые.

Лишь позднее, ночью, когда с души сошло все напряжение этого дня, Шурка вспомнил, что лейтенант назвал его стригунком. И это парня задело. Лейтенанты в батарее были оба немногим старше Шурки.

За четыре-пять дней, прожитых на фронте, он многого навидался. Видел и дотла расковыренные немцами с воздуха железнодорожные станции, и сожженные деревни, и много трупов, которые никто не подбирал. Но запоминались опять только детали этого скорбного пейзажа: какой-нибудь дорожный плакат на двух столбах, на ржавой изнанке которого было столько заусенок от пробоин, что он, вогнутый взрывом, напоминал терку для редьки. Настоящая огромная терка. Где-то снаряд настиг полевую кухню, проезжавшую по опушке крупного ельника: разбитая кухня валялась тут же, а ближняя ель, как убранная под Новый год, была вся закидана варившейся на ходу лапшой. И много такого, но все бессвязно и нереально, как сквозь дымку горячечных сновидений.

Дня через два после первого боя их поставили на восточном склоне какой-то балки, по дну которой вилась серая полоса галешника — русло пересыхающей к этой поре года речонки. Не слишком высокие, но отвесные берега делали балку совсем непроезжей, кроме добротного бетонного моста через нее в два пролета. Батарея на этот раз встала по обе стороны дороги, поднимающейся в издол. Грунт тут был податливый, супесчаный, закопались скоро, не слишком вымотавшись на этой работе. А потом пришел вечер, лазоревый, душевный. И местность была до сладкой боли в сердце похожей на те бес-

численные среднеуральские лога, которые все так похожи один на другой, но всегда там носят свои отличные названия. Шурка долго про себя припоминал все названия таких логов, в которых бывал или только слыхал о них дома в юности: Ольховый лог, Раздольный лог, Студеный лог, Ветряный лог. Был где-то у них даже, припоминается, Сметанный лог.

Лейтенант, командир батареи, вечером писал боевое донесение в дивизионный штаб. Обозначив в заголовке условными литерами свою должность, дату и время, он на минуту задумался. Потом написал с новой строчки:

«Заняли боевой порядок на восточном склоне Бузинового лога...»

Над ровиком, в котором он стоял по грудь, рос кудрявый куст бузины с плотными кистями созревших плодов.

Было приказано самым тщательным образом замаскироваться, отослать подальше в сторону, в лес, все лишнее: лошадей, имущество. И при свете дня не шнырять через дорогу от орудия к орудию. Вообще как можно меньше движения, сидеть по местам, прижухнув.

Но Мишка Немоляка, командир второго орудия, в сумерках не утерпел, чтобы не уйти в деревню, которую они проезжали днем, километрах в двух позади. Из своей экспедиции он принес два десятка яиц в небольшой дранчатой корзинке.

— А совесть у тебя есть? — укоризненно спросил Шурка по поводу его добычи.

— Вообще-то есть,— быстро и беззаботно ответил Мишка.— Только я ею не пользуюсь. Деревня все равно брошена. Ни души в ней. Все равно яйца выпил бы хорек.

— Ты и есть хорек,— безобидно определил Шурка.

Ни сварить, ни испечь яйца оказалось невозможно, разводить костер было запрещено. Яйца они съели сырыми. Протыкали с одного конца гвоздиком дырку и, предварительно бросив в рот щепоть соли, высасывали содержимое. Кто-то сказал, что яйца очищают голос и завтра им будет в самый раз петь хором. Немоляка сказал, что яйца закрепляют кишечник, что завтра может быть для них немаловажным делом. Все они знали, что их позиция на военном языке называется засадой.

Стемнело, и стало видать то, чего не было видно днем: свет пожарищ. Нельзя было понять, близко горит или

далеко; зарево полукольцом захватывало всю западную половину видимого мира.

На пост в свой черед Шурка встал с десяти часов до полуночи. Но и когда пришло время смениться, он не сразу разбудил своего сменщика, а еще долго сидел на бруствере, обняв винтовку. Вскоре после полуночи, часу во втором, в природе что-то происходит, какая-то подвижка, смена погоды. Если были ветра, после полуночи они начнут стихать, если не было ветров, в этот час в ветвях рождается осторожный, смиренный шелест. Это листва издали учуяла, что где-то в ее сторону катится гребешок ветров.

Шурка был еще слишком молод, чтобы накопить достаточно наблюдений над природой, но это-то он знал, потому что не раз, случалось, ночевывал в лесу в такую пору года.

Ветерок наконец докатился до этих мест оттуда, где багровела полоска дальних пожарищ. Но и запах дыма, принесенный этим ветром, был не тот, что приходилось слыхать раньше при больших лесных пожарах, когда так же только повеет ветерком и сразу защекочет в носу от гари. Здесь чувствовалось, что где-то там не просто горят леса, а сгорает опробковевшая древесина стен крестьянского жилья, сгорает какое-то тряпье и пропыленные ссохшиеся веники на чердаках. Горький запах народной беды.

Утром, когда еще не совсем рассвело, на батарею доставили продукты за три дня.

Во фронтовом быту и такое обыкновенное дело, как получение продуктов, бывает, сходит за развлечение. Сначала людей занимает ожидание: что-то там сегодня принесут, потом брюзжание, что доставили не то, чего ждали.

Махорку им на этот раз доставили не в пачках, а россыпью, и ее делили по испытанному способу, разложив на кучки и разыгрывая: кому? кому?

Шурка сам не курил и махорку всегда отдавал подносчику Никулину, которому своей махорки никогда не хватало. Но сегодня спросонок странный, незнакомый металлический привкус держался у него во рту. Захотелось закурить, как все.

Шурка свернул толстую папироску, закурил, неумело продул ноздри едким синим дымком и закашлялся, за-

перхал, смешливо завалился на спину, отмахиваясь от дыма, как от мошкары. Никулин теперь уж как законно подлежащее ему собрал с палатки, на которой происходил дележ, Шуркину кучку махорки.

Но в ту же минуту стало не до дележа, не до смеху, вообще ни до чего прежнего. Жизнь как бы с ходу перевалила через какой-то порог, и все, что осталось за ним, теперь уж не имело ни интереса, ни значения.

На дороге, спускающейся по небольшой выемке с противоположного склона к мосту, показалось до десятка мотоциклистов, а в логу пронеслось среди лета вьюжное завывание. Шурка шелеста и воя снарядов еще не слыхал, и на первый раз их летучий зык, который еще усиливало эхо в логу, показался ему вовсе не страшным.

Первые звуки боя. Какими чуждыми природе и этому скромному утру с бледным солнцем и скупыми блестками росы на траве кажутся они человеческому слуху, который никогда не станет приветствовать войну, как приветствовал бы утро мира.

В логу левее и правее Шуркиной батареи начали работать пулеметы, еще короткими очередями по три, по четыре, по пять выстрелов, еще оберегая стволы от излишнего нагрева.

Мотоциклы артиллеристам было приказано пропустить беспрепятственно. И пулеметы стреляли, кажется, не по ним. Только где-то позади через несколько минут началась частая ружейно-пулеметная трескотня, раздались хлопки гранат. Звук их доходил сюда совсем глухо и почвенно. Словно лопались пузыри земли. Мотоциклы там, позади, должно быть, все-таки переняли. И это совсем успокоило Шурку: если каждый в бою делает свое дело и все идет, как было рассчитано, значит, и дальше все пойдет как надо.

За мотоциклами в песчаном желобе съезда к мосту взмутили пыль уже бронетранспортеры, стальные гробы на колесах, если бы крышки гробов представить без верхней доски. В каком-то одном месте крутого противоположного съезда к мосту транспортеры оказывались по отношению к позиции батареи в таком наклонном положении, что можно бы увидать все, что лежит в их кузовах. Такой удобный был момент, чтобы стрелять, но команды не было. Шурка понимал, что выгоднее дать машинам спуститься к мосту, может быть, пустить их

въехать на мост, но все же он нетерпеливо потер кулак о кулак от досады, что приходится зачем-то медлить.

Еще машины противника на дороге не достигли моста, а в звуковой фон боя вошло что-то иное. Не понять, откуда докатилось жуткой высокой жалобой, словно крик тяжко раненного коня, далекое «Ура!»

Когда приходит пора действовать, то в горячке боя все кажется проще простого. Куда труднее было ждать этого. А тут они дали машинам спуститься до белых столбушков, ограничивающих неширокую дамбу, и расстреляли все три машины. Шурка наводил по третьей, как ему было приказано. Он не знал, что там с ней произошло после его выстрела, но она, во всяком случае, встала. По первой машине стреляло их второе орудие, стоявшее по ту сторону дороги, и тоже остановило ее. Со всех трех машин начали зло, ругливо стрелять пулеметы. Шурка еще ни разу не слыхал звука крупнокалиберных, да и резонанс стрельбы внизу, в логу, был иным, чем на открытом месте; он было приподнялся над бруствером окопа, чтобы лучше услыхать или рассмотреть, что за странное гуканье, как в бочку, исходит от подбитых машин. Его кто-то резко рванул сзади за гимнастерку. Он опять сел на свое место возле прицела, подвернув под себя одну ногу, с опаской и с интересом посматривая вверх. А над головами слышался характерный плотный свист. Такой очень низкий свист, как бы слитый с явственно сказанным человеческим языком звуком «жю-жю», Шурка не раз слыхал в своих краях осенью на рябине. Так перекликаются птицы с местным названием «жуланы». Шурке всегда слышалось в этом посвисте что-то грустное, осеннее.

Пулеметы с машин обстреляли их в два приема: словно две стайки птиц пронеслись следом одна за другой над головами. Свист прекратился; это либо немцы пулеметчики взяли ниже, и пули стали чиркать по выпуклости склона,— все-таки место для орудия было выбрано с толком,— либо наши, сидевшие с «дегтярем» где-то пониже и поодаль, заставили их прекратить это бесплодное занятие.

За взлобком по ту сторону лога все нарастало урчание машин. Немцы внизу, теперь залегшие за насыпью дамбы, повыскакивали к своему транспортеру, подбитому первым, стали плечами подталкивать его, а один, вскочив

на подножку, стал круто вывертывать рулевое колесо.

«Так, понятно,— подумал Шурка.— Хотят освободить дорогу, чтобы следующие за ними машины могли проскочить мост с ходу, на большой скорости». Но никаких машин не появилось. Вместо них пришло три самолета. Они сбросили, кажется, только по бомбе, зато долго секли землю из пулеметов. После их посещения второе орудие батареи больше не стреляло, и лейтенант, обитавший где-то в ровике по левую сторону дороги, пришел и оставался до конца в окопе Шуркиного орудия.

Тут Шурку захватило то, что в тяжелых боях случается почти с каждым. Это можно было бы назвать потерей чувства меры времени. Это то самое, когда в бою или после боя бывает невозможно сказать, прошло ли полчаса или полдня. Шурка оглянулся на пустые коробки из-под снарядов, чтобы по их количеству прикинуть, какой теперь мог быть час, но понял только то, что стрелять ему пришлось много.

И по ним гвоздили долго и часто, больше всего минометы противника.

Вдруг Шурка заметил, что снаряды ему подает уже не подносчик, а сам лейтенант. Подносчика убило разорвавшейся поблизости миной сразу, наповал, когда он стоял в снарядном погребке. Погребком называли они неглубокий, по грудь, котлован, метра полтора на полтора, который успели вырыть на позиции еще с вечера. Собственно, подносчик погиб еще полчаса или час назад, и Шурка это видел. Но тогда это прошло как-то мимо сознания, не поразило, не тронуло его. По-настоящему это дошло до него только в ту минуту, когда, обернувшись, он заметил, что в погребке стоит лейтенант и по образовавшемуся земляному лотку юзом толкает ему коробки.

Значит, подносчика Никулина уже нет. И у Шурки заныло сердце от жалости, от любви к людям, и в особенности к тем, среди которых он жил последнее время. Вот Никулин, самый трудолюбивый и выносливый у них в расчете, когда приходилось работать на копке земли. И есть он мог бы за двоих, если бы было что есть. Все-то ему не хватало пайка: полагающегося хлеба, махорки. Любил рассказывать про своих ребят, похвастать тем, что у них в колхозе было хорошего, выдающегося. Но любил и побрюзжать задним числом по поводу всяких непорядков в колхозе. По возрасту Никулин был в тех же

годах, что Шуркин отец. На минуту в сознании парня его отец и Никулин слились в одно лицо.

В окопе с Шуркой теперь оставался один Немоляка. Вот и Немоляка: никогда он не подчеркивал своего старшинства в расчете, был всегда прост и дружелюбен со всеми. Шурка немного презрительно относился к нему за напускную придурковатость, за его привычку тащить что плохо лежит. Но Шурка знал про своего сержанта еще одно: в июне тот дотягивал срочную службу где-то на востоке и, уж почти демобилизовался, имел на руках все документы, но не успел выехать из части, как поступил приказ об отмене демобилизации и отпусков.

Все эти подробности в характерах и судьбах людей раньше Шурка видел словно издали; они представлялись ему такими некрупными, не стоящими того, чтобы об этом задумываться. В этот час своей жизни, словно повзрослев и подобрев душой на десяток лет, он почувствовал, что с этой минуты сумел бы жить правильно. Все в людях: неумеренное курение у Никулина, бесшабашная простота Немоляки — все в каждом из людей, которых он знал, стало ему ближе, понятнее, милее. Сейчас из семи человек его теперешней семьи они остались вдвоем. Лежал поодаль с обескровленным, серым лицом, с усами, ощетинившимися на нем, Никулин. Четверых с тяжкими ранениями убрали санитары.

Но вслед затем не стало и Немоляки. С ним случилось то, что он сам раз назвал «выиграть по займу». Должно быть, он хотел этим сказать, что всякое ранение, гибель человека на войне все-таки случайны. Зачем-то ему понадобилось встать в окопе в полный рост, и он перехватил не один, а несколько осколков мины, разорвавшейся на бруствере. Подхватив живот, как бы переломившись, он сел наземь, поднял на Шурку удивленное лицо. Выражение глаз у него было при этом такое, точно он приглашал посмотреть, какая с ним произошла глупая оказия. Но рот у него был размозжен, чернел выбитыми зубами, медленно наполнялся кровью.

— Что с тобой? — с ужасом спросил Шурка.

Шурка пытался помочь, когда сержант, волоча неподвижную правую ногу, ни разу не застонав, стал выбираться из окопа. Но тот сердито замахал на него, отсылая обратно к пушке.

Теперь Шурка остался один в окопе, в неглубокой яме,

контур которой сверху, в плане, походил бы на полураскрытый веер. Позади, в погребке, правда, стоял еще его лейтенант. Он совал наводчику коробки со снарядами и старательно по всей форме выкрикивал последнему солдату своей последней пушки команду, как написано в Уставе, ничего не упуская в ее формуле:

— Правее дороги ноль пятнадцать. Под поваленной березой пулемет. Прицел... уровень... осколочным...

Шурка понимал, что лейтенанту тоже жутко, оттого он так и поет свои целеуказания. Может быть, самому лейтенанту такая аккуратность в этой сумятице и придавала бодрости. Шурке — нет.

Немцы между тем решили кончать с пушкой-малюткой, которая не позволяла ни одной их машине показаться на дороге к мосту. Километрах в двух, за перелеском, на большом тракте были остановлены, приведены в положение «к бою» два стопятимиллиметровых орудия. Это были две новенькие игрушки на высоких колесах, на гусматических шинах, щеголеватые, окрашенные в тона ордена «Железного креста» — в черный лак и серебристую эмаль. И офицер-наблюдатель той батареи выбрался с биноклем на пригорок, где ему в просвете через гривку леса, всего метрах в трехстах, через лог было видать небольшую пушчонку с одним бойцом за всю прислугу.

Один снаряд первого из двух черно-серебристых орудий вскоре лег справа и сзади окопа, где трудились себе лейтенант с наводчиком, другой вслед за ним — слева и впереди.

— Вот оно,— подумал лейтенант.— Это называется: узкая вилка. Сейчас вытряхнет на наши головы как из мешка.

Лейтенант всего полгода как вышел из училища. Он только понаслышке знал, как выглядит в натуре узкая вилка. И уж вовсе он не хотел бы видеть, как оно получается, когда в артиллерийской вилке окажешься сам.

А Шурка, ничего этого не поняв, только почувствовал развязку тем особенным чутьем, которым каждый человек со здоровой психикой, если он не подвержен безотчетной, позорной трусости, умеет различать действительную грозную опасность от еще выносимой. На минуту ему стало тоскливо, тяжко. За все время боя только единожды в этот его момент пришла мысль, которая тоже может прийти каждому здоровому человеку, не желающему по-

гибать: мысль, что можно еще остаться жить, если покинуть свое место, куда-нибудь податься, направо, или налево, или назад, но только не оставаться больше тут. Трус с этой мыслью бросается наутек, стойкий человек с презрением гасит ее. Правда, позади у Шурки, в погребке, копошился его командир, лейтенант, которого Шурка даже не знал по имени. Лицо у лейтенанта юное, тонкое, лицо парнишки из интеллигентной семьи. Ему подошло бы носить имя: Юра, или Вовочка, или что-нибудь в этом роде. Но что Шурке было до лейтенанта, когда он в эту минуту почувствовал на себе глаза тысяч людей, глаза всех, кто его знал. Странное сравнение пришло ему на ум: вот, если кто-нибудь вбил посреди тропы колышек, чтобы тут не прошел незваный пришелец. Может этот колышек по своему желанию покинуть свое место, взять и за здорово-живешь уйти? Вот и он теперь такой колышек на этой тропе войны. А если уж он сам не властен оставить свою лунку, то тем более немцам его не расшатать, не выдернуть.

Возможно, и лейтананту, которому пристало бы имя Юра или Вовочка, тоже пришла мысль, что еще не поздно оставить свою позицию. Взять бы сунуть в зарядную камору орудия ручную гранату и закрыть замок. И тогда оставаться в окопе уж не имело бы смысла. Но и для лейтенанта это было невозможно сделать, пока с ним оставался этот хмурый, упрямый парнишка-наводчик, которого, лейтенант слыхал, бойцы за девическую свежесть лица иногда называли «наша Дуся». Для надежности и чтобы быть плечом к плечу с еще живым своим человеком, лейтенант переполз в орудийный окоп. С обычным тоже в минуту опасности желанием предпринять что-нибудь крутое, решительное он задергал Шурку за рукав, с болезненным азартом требуя:

— Видишь на краю песчаного откоса что-то черное. Вроде бензиновой бочки.

— Понял и вижу,— по всем правилам ответил Шурка.

Лейтенант выкинул руку вперед, прикидывая угол:

— Левее два пальца и чуть выше. Тут в кустах поблескивают стекла. Наблюдатели-минометчики... Ну-ка, задай им.

И Шурка «задал» по блеску стекол два снаряда. На втором выстреле орудие не выбросило гильзу. Осколком, ударившим откуда-нибудь справа, повредило механизм

полуавтоматики. Шурка рванул за рычажок. Замок открывался свободно. Гильза, музыкально звякнув, упала в кучу других, уже остывших. Этот тонкий, как бы волнистый звон гильз, падающих в кучу других, Шурка различал все время сквозь грохот стрельбы своей и чужой. Как-то успокоительно действовал этот слабый и светлый звоночек. Пушка еще действовала, только теперь вручную пришлось бы открывать замок, выбрасывать гильзу.

Но стрелять Шурке больше не пришлось. Взвыл в воздухе первый снаряд тех немецких пушек, которые пристрелялись к Шуркиному орудию и теперь начинали злую, долгую стрельбу на поражение.

Короткий, змеиный шип, переходящий в низкий и резкий свист, приближающегося снаряда оборвался ударом, от которого словно раскололся весь пятачок земли на склоне безымянного, эховитого лога. Если бы в логу разорвался только один снаряд, то и тогда эхо долго раскатывало бы, перебрасывало бы его, как шар, в берегах низины, повторило бы его в десятках понемногу слабеющих отзвуков. Но две пушки на немецкой стороне работали со скоростью четырех-пяти выстрелов в минуту. И в логу началась чертова пляска громов, неистово слепящих вспышек пламени в серых тучах подбрасываемой высоко вверх пыли и земляной крошки.

Одним наиболее близким разрывом Шурку сбило с ног. Его не ранило, он не почувствовал никакой боли в каком-нибудь одном месте тела. Его как бы хлестнуло широкой плетью, свитой из горячих песчаных струй, причем удар пришелся по всему телу; от колен до макушки. Его будто оторвало от земли и закружило, понесло, как пропыленную, легкую ветошку. Чтобы удержаться, он ухватился коленями и руками за что-то знакомое, холодное, маслянистое. Мгновенно вынырнув из оглушения, он заметил, что лежит, распластавшись вдоль трубчатой станины орудия, обняв ее руками и ногами. Как рябчик, который в опасности, вытянув шейку, распластывается на суку.

Артиллерийская долбежка непосредственно вокруг окопа продолжалась минут пять. Но контуженный, глухой, почти ослепший парнишка еще раз встал в окопе во весь рост. Физической силы у него хватало уж только на то, чтобы удерживаться на ногах; он стоял, расставив ноги, и его шатало от воздушных завихрений, поднятых обстрелом. Но запас душевной силы у него, ставшего

вдруг много старше и суровее, был полнее. Как будто он еще не был ни сломлен, ни обессилен. Как о ком-то третьем, он сказал о себе упрямо, с запальчивой похвальбой:

— Вот он каков. Стойкий парень. Хотели вы так, запросто смахнуть его с дороги, а он вам во-он сколько машин на мосту наломал.

Прежде чем его убило, Шурка еще успел с восторженным отчаянием вспомнить про отца. Обращаясь к нему по имени-отчеству, чего никогда не случалось при жизни, Шурка мысленно сказал:

— Николай Алексеич, ты посмотри на меня теперь.

Ни удара, ни боли он не почувствовал. Только хлынула в рот, в легкие широкая, теплая волна. Напрягшись изо всех сил, он попытался вытолкнуть ее из себя, но волна накрыла его снова и понесла, понесла. Он уплывал все дальше и дальше и сам видел себя все уменьшающимся, пока все вокруг не погасло.

Дома у его отца, Николая Алексеевича, в этот день были полевые занятия отряда всеобуча. Военкоматы в их городе всех, кого можно, в эту осень подметали в отряды военного обучения. Район занятий был выбран неблизко за городом. Все задание состояло в том, что они должны были дойти до места и занять там оборону, что значило вырыть окопы в полагающихся количестве и форме. Работали с расчетом, чтобы успеть в отведенное время не только вырыть окопы, но и сразу же опять их зарыть и привести полянку в прежний вид, даже заровнять и постелить куски срезанного дерна. Считалось, что это нужно затем, чтобы какой-нибудь любитель разгадывать воинские секреты не мог прикинуть и засечь, какой отряд и чему тут обучался.

Когда шли с учения, повторилось обычное их недоразумение: лейтенант требовал, чтобы взвод хоть часть пути прошел с песней, а люди, все пожилые, положительные, умевшие петь только в пьяненьком состоянии, либо только сопели в ответ на ходу, либо запевали, но сразу же это начинало выходить у них так нестройно, противно, что лейтенант тут же приказывал лучше умолкнуть.

Вся причина этой незадачи была в том, что во взводе не было запевалы, способного расшевелить людей, создать надлежащее, певчее настроение.

Николаю никогда не приходило в голову стать запевалой. Он-то уж совсем давно не певал по-настоящему беззаботно, весело.

А тут запел. И так неожиданно для себя, что даже оглянулся: кто бы это так свободно и голосисто сказал, что «с неба полуденного жара не подступи...»

Небо было не полуденное, а вечернее, прохладное. И линия леса, против нежно-салатного неба на западе, такая чеканная... Почему его настроение так легко передалось всем другим? Разве это можно понять? Но люди разошлись, всю дорогу пели очень дружно, и получилось, самим на удивление, стройно и сильно. Сначала перепели все песни гражданской войны, потом стали отчудачивать все веселые, шуточные, кто какие знал. Кто-то вспомнил даже старинную солдатскую, слов которой никто, кроме запевалы, не знал. Но и она как-то получилась, разудалая, озорная, с присвистом и каким-то гулким хоровым возгласом «в-вух, в-вух».

Когда уж затемно вернулись в город, когда, покинув строй, расходились со двора ремесленного училища, освещенного четырьмя фонарями по углам, что придавало двору какой-то очень старо-казарменный вид, отец Шурки услыхал, как кто-то из ребят спросил, с чего бы это у них сегодня боец Хаританов так распелся. Вообще какой-то он был чудной и... напряженный, что ли.

— Может, это не он пел, а какое-нибудь горе. Горе, оно бывает на песню голосистое.

Сто первый день войны

Вениамин Хаританов в армии очутился лишь на сто первый день войны.

Накануне сделал все, как должно, чтобы никто ни в чем его потом заочно не мог попрекнуть, исполнил все формальности по сдаче должности и, пожалуй, впервые за много дней вдосталь отоспался. Утром проснулся с чудным, давно не испытанным сознанием, что сегодня можно встать, не торопясь умыться и побриться. А можно и вовсе не вставать, часок еще покантоваться в постели. В штаб округа никто ему не предписывал являться в определенный час; явиться надо было когда-нибудь в течение дня. Такой вольной волюшки он не имел уже давно.

До поздней осени он спал с открытой створкой окна. Ночи стояли еще без крепких заморозков, хотя сим днем заканчивался уже сентябрь. С досужего ума Вениамин прикинул: война сегодня пошла на вторую сотню дней и ночей. Только подумать: сто первый день войны... Сколько жизней она уже унесла, а в числе других и их Шурку. От мысли, что из рода Харитановых она подобрала первым самого младшего и самого еще не оперившегося, Вениамина подкинуло в постели, заставило рывком вскочить.

Вчера, почти в последний час, когда Вениамину оставалось только сдать служебный пропуск, его вызвал к себе Железцов. Как раз за последние года два, за то время, как Вениамин пришел в их управление, Железцов широко шагнул по службе, сделавшись человеком с большой и жесткой властью. Пожалуй, не было дня, чтобы они не встречались, не сталкивались в управленческих коридорах и кабинетах при самых разных обстоятельствах. И ведь не могло того быть, чтобы Вениамин не напоминал Железцову годы его смутной юности и какую ни есть прежнюю дружбишку со старшим братом Вениамина — Денисом. Но ни разу Железцов не спросил его о брате. И, входя к Железцову, Вениамин уже не в первый раз подумал: как, наверное, нелегко, непросто носить на себе жесткую подпругу такого самоограничения. Ни на минуту не забывать о самим себе предписанной роли человека без человеческих слабостей, без личных симпатий и пристрастий.

Разговаривать в своем кабинете Железцов не стал. Поднявшись, едва Вениамин показался в дверях, он взял молодого человека за локоть. Они спустились по лестнице, ведущей во двор, прошли через узкий отлогий коридорчик с хлюпающей под ногами плиткой пола вниз под землю, в стрелковый тир.

В сооруженном для спортивных надобностей больше года назад тире все еще не были побелены стены и низкий потолок, не затерты следы опалубки на бетоне. Раза два в год в управлении появлялся приказ об обязательном участии всех, кому надлежало, в стрелковых тренировках. Но, кроме нескольких беззаветных любителей, мало кто спускался в тир чаще чем два-три раза в год. И не так уж часто, проходя по двору, случалось слышать тупой кастаньетный перестук пистолетной стрельбы, до-

носившийся из-под земли. Зато было замечено, что туда нередко спускаются по двое, по трое те, кому приходила нужда поговорить о делах без помех.

И, спускаясь за Железцовым в тир, Вениамин все пожимал плечами, спрашивал себя: что начальству понадобилось спросить-сказать ему под таким секретом? Но все еще удивленно пожиматься Вениамину пришлось и тогда, когда они подымались из тира на двор. Ничего такого, для чего стоило спускаться под землю, Железцов не сказал. И на то не походило, что ему пришла прихоть поупражняться в стрельбе. Для этого понадобилось бы вызывать сержанта из комендантской группы с ключом от ниши в стене, прикрытой дверцей из броневого листа. Там хранилось спортивное оружие. А личное оружие... Свой пистолет Вениамин сдал накануне, у Железцова же он оказался с пустой обоймой в рукояти.

Вениамин взял пистолет Железцова, понянчил его на ладони. Сразу было видать, что его оружие не избаловано частой чисткой и смазкой.

— Не напрасно все-таки я спускался сюда, подметки снашивал,— сказал он Железцову, который рассеянно то выщелкивал пустую обойму, то толчком ладони снова досылал ее на место.— Нам, мелкой служивой сошке, всегда бывает приятно видеть начальственный конфуз.

Но Железцов вовсе не оказался сконфуженным и Вениаминов выпад не принял либо даже не услышал его. После нескольких незначительных вопросов и замечаний он сказал:

— Значит, что? Служи, воюй... Коль уперлось дело в такую жестокую схватку. Не роняй марку верх-палицких парней.

— И выше бдительность,— не утерпел Вениамин, чтобы напоследок не созоровать. Это было обычной присказкой Железцова. Ею он заканчивал все свои назидательные речи с тем, кто ниже его по служебному положению.

— Да, и выше бдительность,— серьезно сказал Железцов, опять не приняв его задиристую шутку.

Из погребной духоты тира так хорошо было подняться в нагретый легким сентябрьским солнцем квадрат двора. С проспекта через глубокую, как туннель, арку ворот во двор заносило плотный, словно клубами завихряющийся запах гари. На городских бульварах жгли опавший лист. От этого запаха сладкой грустью щемило

сердце. И Вениамин подумал: даже мое прощание с липами на проспекте будет, наверное, более сердечным, чем с Железцовым.

День в их смиренной улице-одинарке простоял безветренный, припомаженный чем-то розовым. На песке какие-то бурые водоросли, выброшенные ленивой зыбью на пруду, иссушенные солнышком, потрескивали под сапогами. И безгрешная акварельная ясность мерцала на западе над прудом, над аспидно-черной гривкой сосняка на полуострове в полукилометре от отцовской избы.

А к вечеру собрался дождь, предвестие, томление которого ощущалось в воздухе, хранившем, как кошачья шкурка, электрическую искру весь этот долгий день. Сначала гладь пруда заполыхала мятежным багрецом; нельзя было даже различить очертаний солнечного диска, одно грозное, ликующее зарево. Но прогорел, померк закат быстро, на глазах припадая к земле, как пламя пастушьего костра, когда в него перестанут подбрасывать свежий сушняк. И вот уж пеплом подернулось то место, где еще пять минут назад бесилось полымя. И вдруг на поверхности пруда начали вскакивать и снова прятаться совершенно живые точеные цацки в форме шахматных пешек.

Вениамин стоял на пруду, слушая шорох дождя. Плащ у него был сначала наброшен на плечи, потом он поднял его на руках, сделав над головой что-то вроде маленького шатра, ежился от воды, все равно просекающей одежду, но упрямился, домой не уходил. И верно, дождя хватило ненадолго. Он перестал сразу, как и начался, и Вениамин заметил это только потому, что стало тихо, прекратилось это «шух-шурух» по песку, такое звучное, словно из лесосеки волокли, не обив сучья, большое дерево.

И завеса облачности на западе над прудом вдруг посеклась, как плотная шелковая ткань, начала разлезаться, обнаружив сразу несколько удлиненных горизонтальных прорех. И в них виднелось все еще розовеющее исподнее чистое небо.

Вениамин побрел домой с грустным чувством, что вот и попрощался.

С людьми же прощание было еще более легким и кратким. На службе в последний день ребята, все, кто успел, побывали у него в отделе. Забегали на минуту, чтобы пожать руку или поерошить волосы пятерней; на большее

мало кто отважился, хотя у многих Вениамин успевал заметить что-то непривычное в глазах, какой-то скорый проблеск тревоги и участия. И говорились при этом какие-то не те слова.

В своем отделе, когда они собрались как-то вместе, Вениамин попросил ребят присматривать за его стариком. Может, когда помочь с вывозом дровишек или что другое в маломощном его хозяйстве. И он знал, что друзья, кто из них останется на своем месте, будут помнить его просьбу и не покинут старика в его бобыльем житье.

Все так, но кто из ребят удержится в отделе надолго? Не случится ли, что вскоре в управлении мало кто останется из нынешнего состава? В действующей развертываются все новые армии, корпуса, дивизии. Война оказалась такой, какой себе и не представляли ее.

Отец бодрился, просил о нем не беспокоиться, несколько раз повторив свою поговорку, которую Вениамин помнил так давно, сколько себя помнил: одна голова не бедна, а если и бедна, так ведь одна.

Дивизии в составе трех полков, располагающей несколькими тысячами строевых коней, не считая почти такого же количества упряжечных, нужна земля. Нужны немалые площади земли для вольного постоя, для ночной пастьбы, для занятий по тактике и верховой езде.

Может быть, местом формировки дивизии потому и был избран малопромышленный, луговыми туманами повитый предуральский городок, что на колхозных землях вокруг него было достаточно пустошей, пойменной неудобицы, неудельных груботравных разлужий, которые не жаль вытаптывать, когда полкам потребуется разыгрывать на них развертывание эскадронов, лавовые сабельные атаки, учебную рубку лозы и все прочее, чем привлекательна и чем докучна бывает кавалерийская служба. Все в дивизии, впрочем, понимали, что много времени на обучение им никто не даст...

Но прежде чем дошло до боевой учебы, Вениамину довелось увидеть всю суету и неразбериху первых дней формировки. К месту своего назначения он приехал чуть ли не первым из полкового комсостава, не раз пожалев, что поторопился, не задержался дома еще хоть на два-

три дня. Никто бы даже не заметил его опоздания против назначенного дня, потому что некому было и докладываться.

«И все твоя аккуратистская привычка и ваш служебный педантизм, господа хорошие»,— корил он себя и еще кого-то, хотя знал, что и впредь будет поступать так же, блюдя свою внутреннюю дисциплину не для кого-нибудь — для себя.

Из командиров одновременно с Вениамином приехали капитан Щекатуров, два лейтенанта, только за полгода до войны окончившие училище, и третий лейтенант из запасных, Кореньков, дядька уже за сорок, успевший порастерять свои строевые навыки и, как позднее стало видать, не очень горевший желанием их приобрести вновь.

В первый день по приезде Щекатуров с Вениамином на попутном колхозном грузовике съездили в город, где в отведенном для него хмуром двухэтажном, старокупеческой постройки доме начал размещаться штаб дивизии. Но и там царило то же настроение неприкаянности и тягостного безделья. Несколько штабных командиров скучливо коротали время в полупустых комнатах. Учреждение, работавшее в этом доме, пока его не освободили для штаба, оставило в комнатах только самую бросовую мебель, и почему-то тоскливее всего было смотреть на эти канцелярские столы в чернильных пятнах и надрезах с ободранной клеенкой.

Когда возвращались, Вениамин сказал Щекотурову:

— Еще несколько дней назад мне казалось непонятным, что это значит еще не отмобилизованная армия. Наивно думалось: много ли надо времени, чтобы развернуть полки, дивизии. Только ударить в вечевой колокол...

— Вечевой колокол мы слышали еще третьего июля,— хмуро сказал Щекатуров. Ему поездка в штаб ничего не прояснила, а только прибавила заботы. В штабе его предупредили, что уже к вечеру или ночью на разъезд могут прийти вагоны с имуществом — конской сбруей и обмундировкой для солдат. И задерживать их под разгрузкой нельзя.

— Нас пятеро,— легковесно сказал Вениамин.— Не справиться самим, пойдем в правление колхоза, попробуем перед колхозниками рукой землю достать. Неужели люди не помогут своей армии...

Но доставать рукой землю не понадобилось. Вагоны

с имуществом не пришли ни вечером, ни в течение ночи. Зато с вечерними поездами прибыли люди сразу из трех военкоматов, минуя запасные части. И уж из этого было нетрудно понять, что где-то в высших сферах военной власти тоже болезненно чувствуют неспорый процесс развертывания новых дивизий. Кому не хочется, чтобы все свершалось стремительно, быстро, но ведь скоро сказка сказывается...

Прибывших Щекатуров предполагал разместить в трех пустующих домах. Он еще днем побывал в них, прикинул, как приспособить их под казарменные нужды. Но пока в этих домах, где пахло известью холодных печей, чуланной пылью и мышами, ночевать людям с вольной воли было бы не лучше, чем в ближайшем перелеске у костров. И прибывших увели километра за полтора за околицу села, где с ними должны были ночевать лейтенанты и попутно, насколько позволит сумеречный вечерний свет, начать составлять списки и разбивку по ротам и взводам.

А Вениамин весь вечер ходил, томясь каким-то необъяснимым и смутным чувством тревоги, нетерпения и странной щекотной обновленности. Нечто похожее на это бывает, когда стоишь с разгоряченной потной кожей под прохладным душем.

Вечер был такой, когда волнует и щемит душу все: и смиренно-розовые краски запада, и тонкое сипенье мошкариного столба, кисейно-просвечивающего против света, и, кажется, сама резная, как черное кружево, линия дальнего леса.

Вениамин ходил между костров, между групп, свободно расположившихся по всему перелеску. Дотлевала, подергивалась серой пленкой последняя горстка угольев в кострище зари. Тонко-оливковый, словно где-то преломившийся в чистой озерной воде свет стоял над лесом.

В сумерках не видно было лиц, и Вениамин слышал лишь обрывки фраз у костров.

— Накануне мне почему-то все твердый знак снился. А на работу мне с двух часов. Сижу, обуваюсь, а мне повестку несут...

— ...В животноводстве зимой горячая вода — самое главное. Дайте мне, говорю, горячей воды вдоволь, и у меня колхоз озолотеет в два-три года. А он — городской

человек — спрашивает: «Да зачем она вам — горячая вода?»

В группе, где ребята лежали тесно, положив один на другого головы, сонный, и потому особенно душевный голос рассказывал сказку:

— А назывался этот город Городом доброго огня. И вот приходит парень к его воротам...

От одного костра Вениамина окликнули. Тут размещалось человек пять, видимо, знакомых между собой. С ними был лейтенант Кореньков.

Вениамину радушно освободили место у костра, с того краю, куда легкой потяжкой ветра не наносило дым, подгребли охапку папоротниковой листвы, чтобы мягче сидеть.

Новобранцы и Кореньков были одного возраста — всем около сорока. Один сидел, покачиваясь, обхватив руками согнутое колено, другой лежал, положив голову на локоть, глядя в огонь. Третий, с пышными усами, полулежа, привалился спиной к стволу дерева, держа в зубах потухшую трубку с прямым мундштуком. Приблудившийся котенок припал к его груди. Усач перебрасывал трубку из одного угла рта в другой. Котенок был худ и беспризорен, но игрив, как всякий другой, вольно живущий звереныш. Коротко, проворно поворачивая голову, он острыми, веселыми глазами следил за движениями трубки, примериваясь броситься, вцепиться в нее.

Разговаривали и здесь о вещах, к войне не имеющих никакого отношения.

Нет, не зря Вениамин пришел сюда ночевать, у костра, под росой и звездами. Тут ему было хорошо. Ну не забавно ли? Он пришел, чтобы побыть среди людей, ответить на вопросы, у кого какие наболели, ободрить приунывших. А вышло обратное: не ему пришлось ободрять кого-то, а одно присутствие среди них заразило его совсем новым, добрым настроением. И разговаривают они так, будто нет в мире никакой войны. А ведь все понимают, что каждого из них ждет не масленица. Что-то кому достанется в ближайшие месяцы?

Колесо службы закрутилось резвее, когда к вечеру второго дня прибыл командир полка Малюков, человек резкий, нетерпеливый, умеющий мало спать и не давать это делать другим. Молодые командиры, пришедшие на должности взводных, говорили о Малюкове, что он на всю

воину завелся на тот режим жизни, в котором спать не полагается вовсе. Во всяком случае, в первые дни в полку никто, кажется, ни разу не видел, чтобы командир удалился в свою избу час-другой поспать.

Вениамина, по-своему переиначивая его должность, Малюков сразу стал называть «особняком». На первом же командирском сборе, где он растасовывал своих подчиненных по должностям, выяснилось, что еще не прибыл кто-то, назначенный в полк командиром разведроты. Ни на секунду не замешкавшись, Малюков сказал:

— Пока суд да дело, полковым разведчиком назначается наш особняк, старший лейтенант Хаританов. Все равно ему по прямой службе делать пока нечего. Какие могут быть особые дела, пока мы здесь, в уральском тылу? — И обращаясь прямо к Вениамину: — Знаете армейское правило: разведку ведут все...

Вениамин мог бы сказать, что и разведывать здесь, в глубоком уральском тылу, тоже нечего. Но к чему? Он знал, что когда тебя подхватила инерция службы, ей не противятся.

И опять пришел вечер в исходе долгого суетного летнего дня. Но на этот раз он выдался особенным; ни один из вечеров до него, ни один после так не выделялись своей необъяснимой, почти угрожающей отличкой. Может быть, надвигающаяся гроза придала ему свою суровую окраску. Но и грозы после этого не последовало, она рассеялась, не уронив ни капли дождя.

Днем начали поступать лошади. Они поступали из трех районов, и на широкой пустоши над поселком полеводческой станции, их принимала комиссия — два ветврача, дивизионный и гражданский из райземотдела. Были в комиссии еще два командира эскадронов, опытные лошадники, кадровые кавалеристы.

Колхозы всех этих окрестных предуральских районов славились лошадническим любительством, коней водили резвых, ухоженных полукровок, приписанных к фонду РККА, колхозной работой загружали бережно. Сдавать привели любовно вычищенными, с гривами волосок к волоску. И уже сдав, колхозные конюхи долго не уходили, стояли обиженной группкой в сторонке, словно на что-то еще надеясь.

Для всей приемочной канители была выбрана обширная луговина с крутым откосом в лог, где просвечивали

сквозь листву деревьев строения полеводческой станции. И как на японских миниатюрах, сосны по краю откоса росли ширококронистыми, тонковетвистыми, словно под постоянным напором шквалистых ветров.

Странный пронзительный день.

Лошадей поздним вечером предстояло вести по старому Кержацкому тракту до окраины города и снова по другому, Башкирскому тракту, идущему в дымчатую лесостепь, километров за пятнадцать до тех трех селений, где дивизии было назначено дозревать до полной боевой готовности.

Вечером, когда закатный свет начал мутно лиловеть, Вениамин, ездивший в штаб дивизии, вышел к перекрестку улиц на окраине города.

Но тут же подсесть на попутную машину не вышло. Перспективу улицы, как горлышко бутылки, заткнуло пробкой пыли. Клуб пыли все нарастал, приближался, лениво растекался вверх и в стороны над крышами зданий. И в этом клубе пыли что-то творилось: слышалось глухое щелканье копыт о твердь мостовой, всхрапывание.

Весь ближний окружающий мир стал призрачно-серым. И лошади, плотно плечом к плечу, в нем будто не шли своей волей, а их нес этот поток, как река несет стволы деревьев на молевом сплаве.

Вениамин знал, что утром на приемку лошадей из полка был послан всего неполный взвод. А приняли за день больше тысячи коней. Он еще утром подумал: как это будет? Перегонять такой косяк за пятнадцать километров, причем по улицам города и попутных селений... Не будет ничего удивительного, если кони разбредутся по дороге к новому месту службы. Поди их тогда собери. Да еще надо истомленных долгим стоянием на жаре животных где-то по дороге завернуть на водопой.

Но ничего такого не случилось. Пропустив мимо почти всю колонну, он видел только, что впереди ехали трое командиров, в сером сумраке позднего вечера он не разглядел, кто это был, и несколько человек проследовали замыкающими. Да видел он еще двоих солдат, охлупью, без седел, протрусивших обочь косяка.

Лошади шли в густом сером тумане, как призраки, и ни одна не сделала попытки выйти из колонны, свернуть в сторону. Животные приняли свои армейские обязанности. Инерция войны уже овладела и ими.

С капитаном Щекатуровым Вениамин жил в одной избе, но бывало, что они по нескольку дней почти не виделись. Только утром умывались в начале шестого часа на дворе из подвешенного там рукомойника с носиком, который Щекатуров называл татарским сосудом. Подъем в полку был для всех в один час, и утром было мудрено не встретиться, но лишь минуты можно было выбрать на то, чтобы переброситься словечком. Вечером же и вовсе каждый из них, пришедший позже, обычно заставал товарища уже спящим. У каждого были свои круговоротные дела на полный божий день.

Все же Вениамину скоро стало известно, что они приходятся один другому земляками и сверстниками. Щекатуров родился и возрос в том же городе, что Вениамин, только в другом районе — на Кузнечной улице. И скоро Вениамину начало казаться, что когда-то в детстве он хорошо знал Щекатурова, где-то видал его несколько раз. Он понимал, что это — игра предвзятой памяти; не мог он нигде видеть Щекатурова, город не мал, и негде им было видаться. Но Кузнечную улицу, тот ее конец, где жил, по его рассказу, Щекатуров, он хорошо себе представлял.

Разница в возрасте у них была невелика, капитан всего года на три старше, но думать как о сверстнике о нем было трудно. Сверстником капитан скорее пришелся бы Денису, старшему брату. К тому же Щекатуров, особенно в вечернюю пору, в час большой усталости, выглядел на все сорок с лишним лет. Был ли он военным человеком по призванию? Вне строя, сам того не желая, он вполне сошел бы за гражданского рассеянного долговязого чудака. Когда снимал фуражку, черные прямые волосы его, делясь надвое, свисали на виски, как крылья разморенной в летнюю жару желны — черного дятла. И походка у капитана была не крутая, не пружинная, как следует быть тренированному строевику, а зыбкая, словно он шел на отерпших ногах.

Но все это только до той поры, когда он приближался к своему заседланному коню. Что-то в нем менялось сразу, едва капитан касался рукой седельного открылка. Словно пробуждались в нем все привычки, рефлексы, приобретенные человеком за те столетия, когда он сживался с конем, делил с ним грубую полевую работу и ратную службу.

Хорошего кавалериста узнают уже по тому, как он подымется в седло.

Глядя при этом на Щекатурова, Вениамину и самому делалось лестно, что он служит в доблестной исконной русской кавалерии. Хотя сам он так, как это делал Щекатуров, садиться на конь далеко еще не умел.

Вот всадник, да и не всадник еще, а так, пеший увалень,— встал левым плечом к левому плечу коня, лицом в тыл конного строя, положил руку на переднюю луку. Почти незаметным, но исполненным пружинной силы движением он отталкивается от земли. А когда левая нога оказалась в стремени, этого никто и не видел. И конь, даже еще мало обученный, чувствуя властную силу седока, делает такое же короткое упругое движение — толчок корпусом вперед, заставляя всадника в невесть откуда родившейся инерции сделать полуоборот и мягко вознестись в седло.

После той ночи, когда полк получил коней, Вениамин потерял счет дням.

Он приходил домой поздним вечером только на ночлег, весь пропахший конюшней, и сразу засыпал, сам не зная того, что спит со счастливым лицом до упаду потрудившегося человека.

Может быть, он делал много и такой работы, которая не входила в его прямые обязанности. Но всем им на первых днях приходилось делать много не своих дел.

Начинать пришлось с того, что скатать те гранулы, называемые взводами, из которых составлялись роты, эскадроны, батареи, а из них уже полк. Как из трех таких полков в дальнейшем будет сформировываться дивизия, этого Вениамин и не пытался себе представить; на это его воображения уже не хватило бы. Слишком новым для него было дело сколачивания таких боевых частей. Первая неделя в полку прошла в сплошных хлопотах, суете, ссорах, нагоняях, идущих по лесенке от старших к младшим. Зато первый день второй недели оказался тем, которого ждали. На эту среду был назначен выбор коней средними командирами.

Командир полка появился в эскадроне Щекатурова в полдень. Встав перед строем лейтенантов, он постоял молча, раскачиваясь с ноги на ногу, глядя поверх голов.

Только он это умел — постоять довольно долго, потомить людей в строю ожиданием, что скажет что-то важное.

— Я бы хотел,— сказал он наконец,— чтобы сегодняшний день вы посчитали немного праздничным.

С первых дней лейтенанты засекли у него эту привычку: каждое обращение начинать словами «я бы хотел». Если это не был прямой приказ, то все остальное — «он бы хотел».

— Называйте этот праздник днем выбора коня. Рядовым красноармейцам мы не можем позволить выбирать коня. Это ваша маленькая привилегия, если не считать еще только одной: впереди других марш-маршем вымахнуть на пулеметы.

На формировках все обо всех узнается молниеносно быстро, и это неудивительно, потому что каждому с каждым предстоит воевать. О своем командире полка лейтенанты уже знали, что для своего стажа службы у него невелико звание и что в свое время он не сумел попасть в академию. Но посудачив втихомолку на этот счет, лейтенанты решили, что у их командира еще не все потеряно. На войне у него будет достаточно шансов, чтобы наколоть в петлицы недополученные ранее прямоугольники и ромбы. Для них, для лейтенантской братвы, важнее знать другое: как послужится в дальнейшем с нашим атаманом.

Вениамин облюбовал себе коня заранее. Это был лукавоглазый плут-конишко, судя по всем его повадкам, умеющий взять от жизни все из ее возможных благ. В колхозе, где он жил до мобилизации, конюхи не поленились очень тщательно почистить каурого перед сдачей в армию. Но когда Вениамин вывел коня из конюшенной полутьмы, намереваясь встать с ним в командирский строй, Щекатуров махнул на каурого ладонью, как отмахиваются от нечистой силы.

— Веди его обратно,— коротко сказал он.

В конюшне Щекатуров, подойдя к стоялке буланого, посоветовал Вениамину:

— Этого меланхолика, пожалуй, возьми.

На свой глазомер «меланхолика» Вениамин как раз не выбрал бы. Перед тем, первым каурым, у него только и было преимущество, что крупнее костяк. Уступал же он тому, каурому оптимисту, по мнению Вениамина, тем, что был костлявее, вихлястее на ходу.

— А ты не смотри коня, когда он идет шагом, смотри

его на рыси,— наставительно сказал Щекатуров.— Тот каурый вообще не строевой конь. В свадебном поезде с двумя толстозадыми свахами в кошеве он будет хорош... А тебе на нем воевать.

Часом позднее в командирской столовке, под навесом школьного двора, Щекатуров снова принялся поучать Вениамина, по каким статьям надо оценивать строевого коня. Первым делом при этом надо хотя бы на глаз прикинуть жизненную емкость легких животного.

Но Вениамин из его отрывистых поучений усвоил пока что только одно: сколь много ему надо узнать, чтобы стать настоящим кавалеристом.

Вся жизнь стоит на том, что их поколению приходится ускоренно учиться самому неожиданному. А где оно, время на обучение тому, о чем вчера еще и не думалось, не гадалось. Сколько им еще придется отряхаться здесь на формировке. Противник пока что ломит нашу силу превосходящей силой. В утренней сводке глухо-невнятно говорится о Смоленске уже.

Ночью в горячем беспокойном сне привиделось...

На учебном плацу для верховой езды его друг и брат буланый Костик уносил его по все расширяющимся кругам, по взбитому в пену копытами коней песку. И на каждом повороте его ожидал все тот же, но чем-то каждый раз все новый капитан Письменный, его недруг по прежней службе, формалист и зануда из отдела кадров. С закрытыми глазами на пергаментно-желтом лице он раз за разом командовал обычное упражнение на учебной езде: «Вольт влево, вольт вправо. Крру-у...» И от того, что команда «кругом!» так и оставалась незавершенной, теснило сердце.

Вениамин проснулся. Не было ни учебного плаца, ни капитана Письменного. Был только снова рассвет, а впереди беспокойный день, в начале которого три часа командирской учебы. И все, что привиделось во сне, будет и наяву, исключая капитана Письменного.

Две недели таких рассветов, которыми начинается день, а в течение дня, если считать занятия по тактике, в среднем по пять-шесть часов в седле.

Что-то у него не ладилось с верховой ездой. На командирской учебе комполка бывал почти каждый день. Вста-

вал со своим адъютантом и с кем-нибудь из старших командиров в стороне, на островке не истолченной еще дернины, и молча наблюдал, не вмешиваясь, не высказывая своих оценок. Оценивать успехи командиров, учить советом и показом, на то были специальные инструкторы. Командир полка, только когда кто-нибудь ехал особенно плохо, поворачивался спиной к плацу. Это значило: даже смотреть не хочу на такую езду.

Когда ехал, показывая свое мастерство, Вениамин, командир полка поворачивался спиной еще загодя, еще когда тот показывался на повороте. И это было унизительно не менее чем в банный день сдавать старшине окровавленные подштанники, что тоже бывало после дальних тренировочных походов в конном строю. В некоторых случаях Вениамин мог бы и схитрить, уклониться от таких походов. Но он не схитрил ни разу.

В конце концов ему стало казаться, что даже его буланый Костик посматривает презрительно на своего седока. В том, что во всем эскадроне они — самая незадачливая боевая единица, вина, что ни говори, не коня, а всадника. За что же насмешливые взгляды распространяются и на него, Костика?

В то утро, когда Вениамину приснился капитан Письменный, он проснулся раным-рано потому, что Щекатуров был уже на ногах и дважды прошел по избе с полотенцем на плече. А до общего подъема было еще часа полтора.

Вернувшись после умывания, Щекатуров присвистом и энергичным жестом приказал подыматься и Вениамину. За этот неполный месяц совместной службы они научились понимать один другого без слов. И Вениамин послушно взметнулся со своего топчана: значит, он зачем-то понадобился в такой ранний час. Зря Щекатуров не поднимет даже своего коновода.

В конюшне он коротко и брюзгливо сказал:

— Выводи своего.

Даже не сказал, выводить ли заседланного. К седловке Вениамин уже приноровился, каждый раз обряжая коня самолично, не доверяя дневальным. На душе спокойнее, когда сам обметешь спину коня травяным жгутом, огладишь рукой, прощупаешь ладонью потник седла.

Щекатурову его вороного Вяхиря вывел дневальный. Напоив коней у тесового желоба, где, не прерываясь, тек

ручеек воды, подведенный из речной протоки, они тронули на учебный плац. Вениамин все еще не знал, за какой надобностью.

С этого дня они начали выезжать вдвоем на утренние тренировки, пока некому их наблюдать и критиковать, ежедневно.

— В верховой езде нету никакой категорической теории,— поучал его Щекатуров.— Надо чувствовать ритм аллюра, надо, чтобы ты знал, какую ногу конь ставит на землю в каждую текущую секунду. Знать так же точно и бессознательно, как ты ставишь свою ногу на ходьбе. Надо, чтобы каждый мускул у тебя соответствовал мускульной работе коня. В общем, это объяснить на словах не так-то просто.

— Сам себя не узнаю,— пожаловался Вениамин.— Никогда не был рохлей, не знающим, с какой ноги ступить. Когда-то умел сделать тройной каскад без разбегу, мог трижды подняться и спуститься по шесту, крутить солнышко на турнике. Еще и сейчас...

— А кто его знает,— вдруг оживляясь, сказал Щекатуров.— Может, как раз это тебе и мешает: привык владеть только своим телом и чувствовать его и тешиться этим. А тут надо владеть еще и телом коня.

В одно такое утро по пути в конюшни Вениамин сказал:

— И что тебе за охота со мной возиться? Каждое утро вставать раньше времени... Чего-то у меня не хватает необходимого завзятому коннику.

— Что за охота? Просто не могу равнодушно видеть, что мой земляк, верх-палицкий парень, сидит в седле, как геморроидальный банковский счетовод. Душа не мирится с таким позорищем.

В другое утро Щекатуров предложил:

— Может быть, так: спешивайся, встань в сторонку. Я проеду фронтально, полевой рысью, а ты смотри остро, улавливай, как это делается — согласованные движения всадника с конем.

Эта ли наука с поглядки, или что другое сделали свое дело, но пришел такой день, когда Вениамин на размашистой полевой рыси почувствовал себя так легко и свободно, как, бывало, когда-то на своем заводском пруду, когда в теплый летний вечер плыл вразмашку на острова.

Почувствовал эту, освоенную наконец всадником, легкость и сноровку езды и Костик. Когда Вениамин сошел с седла, он шумно вздохнул ему в затылок, потом захватил рукав гимнастерки выше локтя и потряс головой. Вот и от такой фамильярности предстояло отучить коня. Вениамин взмахнул рукой, угрожая влепить коню затрещину. Но тот, никогда пока еще затрещин не получавший, только встряхнулся всей кожей, как собака, вышедшая из воды.

Рассветы в тылу врага

Кавалерийский корпус ушел в рейд по вражеским тылам еще в январе, а теперь на Смоленщине помалу входила в силу весна. И корпус словно просыпался после тяжелого и долгого болезненного сна, пытаясь понять, где он находится и что с ним было в течение прошлых дней и ночей.

Зимой в корпусе все, от старшего командования до солдат-коноводов в сабельных эскадронах, нетерпеливо ждали весны. Надеялись: в мае будет легче. Хотя бы тем, что омоет дождями отаву в лугах; все-таки лучше, чем третьегодняшняя солома с крыш, которою, почитай, всю зиму фуражировались кони. Да и для людей... Не говоря о том, что отступят зимние морозы, такие здоровые, бодрящие по доброму довоенному времени и такие изнурительные в боевых походах. А дальше, в мае, везде и всегда проклевывается молодой щавель — испытанное средство от солдатской худобы, от цинготного припухания десен, от куриной слепоты.

Весна пришла, но принесла с собой кроме всего ожидаемого и то, чего солдату век бы не видать и не испытывать.

Весной начала чаще, чем раньше, нарушаться связь. Зимой корпус петлял по селам и лесам Смоленщины как живое и действующее соединение. Теперь полки стали все чаще терять связь с дивизией, а дивизии — со штабными органами корпуса. Еще утром парные посыльные из полков в добром здравии добирались до дивизии и возвращались обратно, а вечером нередко уходили и не попадали, куда были посланы, и лишь делалось двумя конниками меньше в полку. Все говорило за то, что немец

всерьез собирается разделаться с корпусом, всю зиму не дававшим ни сна, ни отдыха его войсковым тылам.

Связь то нарушалась, то восстанавливалась. И любой солдат, обычно понимающий тактическую обстановку лучше, чем о нем думают, мог бы сказать, что для корпуса это, пожалуй, начало конца. Но никто этого не говорил, не желая тратить лишние слова. К тому же в солдатской массе распространился слух, что по радио поступил приказ корпусу о выходе из рейда восвояси, на Большую землю, к коренной армии. Как ни назови, все равно от одних этих слов душа пела.

А приказ действительно поступил.

Обстоятельный приказ в три страницы машинописного текста, изданный штабом корпуса дивизиям и полкам, до взводов и отделений, до отдельного бойца дошел всего в трех словах: пробиваться к своим. За всю войну конники, кажется, не слыхали более отрадного приказа, чем этот. Мысленно солдаты переиначивали его и еще по-другому: домой, домой и еще раз домой. Понимали, что не домой к семьям, не в родные селения, а лишь туда, где армия имеет позади законный тыл в виде свободных, любезных сердцу русских городов и сел, где уж тем одним утешнее, что там исправно действует полевая почта.

До поры не стоило задумываться над тем, легко ли, тяжко ли будет пробиваться, может, потому, что прошли же тогда, в январе, после подмосковных боев, через фронт в свой рейд, как в распахнутые ворота деревенской поскотины. Немногим в корпусе было известно, что сравнительно легко тогда они прошли через фронт лишь потому, что те «ворота» для них были предварительно распахнуты войсками Лелюшенко.

Лишь позднее, поостыв, в полках начали понимать, что пролом в линии фронта оттуда, со стороны своих, им теперь, может, никто не подготовит. Хотя бы потому, что там не могут точно знать место, где войсковые части корпуса будут выходить из своего полугодового рейда. Не знают же там потому, что и в корпусе, пока он еще существовал, этого не знали сами. Выходить все равно пришлось бы где удастся, где нащупается наиболее слабое место в позиционной крепости противника.

Спроси кого-нибудь позднее: чем провиантствовались люди за время рейда? — и многие только развели бы ру-

ками, искренне не умея ответить на этот вопрос. Как-то прожили — и весь ответ. Больнее, чем свое,— чем бог пошлет — продовольственное снабжение, люди в корпусе переживали трудности фуражировки. Большинство командиров и бойцов были подобраны из числа служивших в кавалерии раньше. И все они немного тешились принадлежностью к ней. Считали себя не какой-то там пехотой, а бери повыше и знатнее. Многие были из числа колхозного крестьянства, где конь тоже всегда был мужику друг и брат. Потому у многих зачастую увлажнялись глаза, когда конь, привязанный на случайном лесном ночлеге к молодой березке, за ночь до половины перегрызал деревце. Но с грубым кормом было все-таки легче: в несожженных деревнях всегда находились крыши гумен и сараев, с которых можно до обрешетки, до последнего клочка снять многолетнюю, слежавшуюся серую солому. Драматичнее было положение с овсом.

Солдаты говорили: всем хорош конь — животное святой простоты и доброты к человеку. Одним негоден: не может долго жить без овса. И было трогательно видеть, как кавалеристы кружкой, строже, чем делят на войне хлеб и махорку, делили овес, когда его удавалось нажить. Кто-нибудь, взявшийся за это священнодействие, черпал овес кружкой дополна, «с горкой». Потом сталкивал ножом обратно в мешок все лишнее, оставляя только вровень с краями. Ибо горка в кружке может оказаться и большей и меньшей... Получив свой паек овса, солдат-конник бережно нес его коню, скармливая его с развернутой плащ-палатки. И кони, тоже понимая, какую драгоценность сейчас едят, редко съедали овес торопливо, полным ртом, ели осторожно, разжевывая каждое зерно. Если на морде коня, на светлой прямой щетинке подбородка оставались прилипшие мокрые зерна, солдат снимал их в ладонь и скармливал с руки.

Если бы люди в корпусе не умели ни на час отрешиться, отвлечься от мысли, что находятся в тылах противника, жизнь им скорее представилась бы невозможной, непереносимой. Стоит только подумать, что враг везде, кругом, что в какую из четырех сторон света ни подайся, везде будешь натыкаться на крупные танковые и пехотные части немцев, стоит только дать волю этой мысли,

и душу начнет леденить отчаяние, безысходность. Но человек подсознательно не позволяет этой мысли овладевать собою надолго. От безысходности и отчаяния он защищается иным рассуждением. Война как война, а безысходных положений, к счастью, для нас не бывает вовсе. На войне всегда рядом с неминучестью ходят счастливые случайности и, значит, кому что достанется, кому насколько повезет, чего нельзя знать заранее, а умирать прежде смерти русский человек никогда не умел. И только тому, кто сам не испытал такой доли, может показаться наивной и нелогичной солдатская мудрость: живы будем — не умрем, а умрем — значит, просто не будем живы. И не каждая пуля находит свою цель, и сквозь самый немыслимый огонь солдат, бывает, проходит без всякого телесного вреда.

Все эти рассуждения не наивны, а глубоко рациональны, потому что они составляют защитную силу психики.

Кроме того, на миру, среди своих, самая смерть,— ну, не красна, это уже загнул тот, кто сложил эту поговорку,— скажем, вполовину облегчается. Они же в здешних лесах воюют целым корпусом, а это ведь какая сила.

Силу корпуса и территорию, которую он сумел занять, отбить у противника в его тылу, солдат представляет довольно неотчетливо и лишь по разным случайным поводам и признакам. Слыхал от своего кореша, что тому довелось съездить посыльным в штаб корпуса, покрыв за ночь больше двух десятков километров туда и обратно. И вот у солдата уже взыграла душа. В радиусе километров двадцать, значит, лежит наша земля, родина, с которой выжечь нас немцу так и не удалось. Были случаи, находились бойцы, у которых сдавали нервы, и человек начинал истерически бормотать: послали нас сюда на истребление, и никому из рейда не выйти живым. Но такого бойца товарищи вразумляли, приводили в сознание сами; не приходилось даже вмешиваться в это политрукам.

В кавдивизии, считая формировку, Вениамин Хаританов служил почти уже год. Но в рейде его обязанности полкового уполномоченного особотдела в чем-то изменились, в чем-то другом стали не столь определенными, как было в подмосковных боях. Теперь ему особенно часто приходилось присутствовать на допросах пленных, запи-

сывать их лукаво-наглые либо торопливо-откровенные показания и составлять по этим показаниям обобщающие заметы. А это дело было, собственно, не его службы, а дивизионных и корпусных разведотделов.

И где ему больше находиться — это тоже в рейде предоставлялось его выбору. Когда люди находятся в настоящем боевом деле, никто не ищет себе нарочных опасностей и никто не старается бывать там, где опаснее. Он мог бы большую часть своего времени находиться при штабе дивизии и среди тех офицеров, которые по обязанности держатся поближе к командиру полка. Но Вениамин уже давно усвоил себе, что на войне,— особенно в такой, какую вели теперь они,— невозможно знать, где больше риска, где меньше. Поэтому, не мудрствуя и не выбирая место, где было бы меньше риска,— риск теперь был у них везде одинаковым,— Вениамин как-то ненарочито, необдуманно прижился в эскадроне Щекатурова.

Маршрут корпуса по тылам противника за эти полгода очень походил на прихотливое качение шарика ртути по столу: за два-три дня вперед не знаешь поворотов — изменений маршрута.

Их боевая задача в рейде была простой и понятной. Солдаты говорили по этому поводу:

— Задача у нас проще простого: сделать немцу изящную жизнь. Чтобы не забывал ни на минуту, чью он землю топчет своими сапогами с припеченными у костров голенищами. Мы теперь поставщики ночных кошмаров немцу.

И корпус почти полгода держался — как кость в горле вражеской армии. Боев было много, бои были непрестанными. И далеко не большая часть их проходила с превосходством своих сил. Были такие бои, когда кавалеристы схлестывались с противником на равных — дивизия на дивизию. Хотя и это равенство силы всегда оказывалось лишь условным. Противник всегда был сытее, вальяжнее, лучше вооружен. Зато кавалеристы всегда заранее знали, где и когда они собираются «дать ему жизни». Немец же этого знать не мог, а жить в постоянном ожидании удара, лихого налета не может ни отдельный человек, ни крупная войсковая часть. Когда-нибудь надо же и расслабиться, отдохновенно поприщуриться на белый свет. Но у корпуса в том и состояла задача, чтобы не давать этой немецкой пришледи ни отдыха, ни сроку.

Войсковая жизнь их в течение всего рейда была странной и необычной для уставного армейского порядка. Может быть, точнее всего было бы назвать ее полупартизанской. Командование старалось поддерживать насколько можно этот уставной порядок. Из корпуса в дивизии, из дивизий в полки аккуратно рассылались пакеты с приказами. Некоторые из этих приказов в полках читались перед строем. И это поддерживало солдатский дух: поступают приказы — значит, начальство не спит ночей, водит пальцем по картам. Наверное, у этого начальства первейшая забота — искать, какими дорогами полкам и эскадронам скрытно шастать по здешним лесам и долам. Где можно обкладывать гарнизоны врага в селах и небольших городках, громить их, а потом снова погружаться в леса.

Люди знали, что где-то недалеко,— всего три-четыре хороших перехода в конном строю,— лежит Смоленск. И на привалах иногда рассуждали: хорошо бы исхитриться, подобраться к Смоленску и взять его лихим налетом. Пусть бы там, за линией фронта, советские люди порадовались, что противник даже в своем глубоком тылу теряет большие города. А то ведь их истомили, наверное, ежедневные и все невеселые сводки по радио.

Как-то притерпелись люди и к своему новому способу снабжения. Невеселое, горькое это было дело — продовольствоваться и фуражироваться за счет местного населения, но было оно и единственным, чтобы дивизии могли жить и воевать.

Вениамину Хаританову самому пришлось однажды прибегнуть к такого рода заготовкам.

Дня три их полк стоял в какой-то деревне, одной из немногих, сохранившихся на Калининщине. Там Вениамин с десятком кавалеристов жил в избе одинокой женщины, у которой всех ее четырех сыновей разметала война. Вечером они посокрушались насчет того, что кони их опять уже три дня не получали овса даже из пригоршен. И тогда женщина, отозвав Вениамина в сенцы, сказала, что у Митрия Степановича, ее недальнего соседа, хранится в ямке овес еще довоенного умолота. Не похоже было, что она сказала это «понасердке» на соседа, то есть из-за какой-то давней ссоры. Скорее по женской жалостливости, по сочувствию к их солдатской нужде.

Вениамину было бы легче узнать, что Митрий Степанович до войны был единоличником, прижимистым му-

жиком-стяжателем. Но тот — хозяйка же и рассказала это — был в доброе советское время как раз добросовестным колхозником из тружеников-передовиков и зерно накопил самым честным порядком, из получаемого на трудодни. У такого брать труднее, чем у куркулеватого скряги. Утром он пошел к Митрию Степановичу с несколькими бойцами.

Тот сидел во дворе на каком-то обрубке босой, хотя пора была еще совсем не летняя — апрель. Одет он был поверх ситцевой заношенной рубахи в ватную телогрейку, превращенную в жилет, поскольку у ней рукава были небрежно обрезаны и обращены на какую-то иную хозяйственную надобность. И занимался мужик серьезным делом — выкраивал ножом из автомобильной покрышки подошвы под какие-нибудь донельзя сбитые сапоги. Вениамину совсем скучно стало от того, как предстояло поступить. Он подсел к мужику, спросил: каким же это нехитрым способом тот собирается крепить такие подошвы к сапогам? А после того, не дослушав, в упор спросил: не отыщется ли у Митрия Степановича какое-то количество зерна для бедствующей и доблестно сражающейся Красной Армии.

— Да, боже мой, откудова же? — круто отозвался Митрий Степанович, словно никакого другого вопроса и не ждал. — До вас в деревне всю масленицу немец стоял...

Вениамин сказал, что немец немцем, но русский крестьянин, как известно, всегда сумеет в своем хозяйстве спрятать некоторый неприкосновенный запас так, что никакому хитрецу профессору не отыскать.

И он сказал еще: может, Митрий Степáнович так запрятал свое зерно, что и сам забыл. Тогда, может, поищем вместе...

Они походили вместе по усадьбе, Вениамин повтыкал в еще плохо оттаявшую землю саперный щуп. Но делал он это только для виду: со слов своей хозяйки он приблизительно знал, где находится Митрия Степановича тайник.

За ветхой сараюшкой, в пожухлом бурьяне, на солнечном сугреве стояли бросовые конные грабли об одном колесе. Вениамин остановился возле них и, как бы размышляя вслух, сказал, что, похоже, грабли кто-то накатил на это место совсем недавно, не раньше прошлого лета. Он велел своим бойцам откатить грабли, потыкал

и тут своим щупом. Заостренный стальной стержень не пошел глубоко в землю и здесь. Но, ширяя в землю щупом, он посматривал и на Митрия Степановича. И сразу уловил, что копать надо тут.

Яма у мужика была сделана толково, хозяйственно, выстлана по дну и стенкам соломой, а сверху зерно было покрыто в несколько слоев проолифенной черной бумагой, употребляемой для затемнения окон. Яма разделена на два отсека, и в одном — большем — хранилось жито, что тоже было для дивизии не лишним, а в другом — добротный овес на радость боевым коням. Всего же в яме оказалось тонн около трех добра. И сколько в том числе зерна, честно заработанного Митрием Степановичем на трудодни, а сколько взято из колхозных амбаров, когда перед вражеским нашествием колхозники растаскивали общественный запас по дворам, кому теперь до этого было дело?

И ничего странного не было в том, что, когда зерно стали выгребать, Митрий Степанович откровенно повеселел, сам принялся помогать. И замысловато обругал за неловкость одного бойца, который не удержал, рассыпал на тропу меру-четуху жита.

Легко было понять его терзания, пока яма еще не была найдена: и помочь Красной Армии от души хотелось, но и расстаться со своим добром невтерпеж как жаль. А теперь с души свалился тяжелый камень. Теперь он впредь будет смело говорить односельчанам: от семьи оторвал, а Красной Армии отдал добровольно все до зерна.

Вениамин спросил: у кого еще в деревне есть попрятанное зерно?

И Митрий Степанович, сдержанно гордясь, по чистой совести сказал:

— Найдем еще у двоих-троих нашенских стариков снохачей по малой толике немолотого. Но сколько взяли у меня, не найдете больше, хоть всю деревню поставь на попа.

И сам пошел с Вениамином к тем, кого назвал снохачами,— хотя у тех, кажется, в семьях не было и снох,— уговаривать, чтобы по-доброму дали сколько можно хлебушка красным конникам.

Всего на несколько дней полку хватило запасов, заготовленных в этой деревне, оставшейся в памяти безымянной. Но на войне и несколько дней — неближний путь.

В апреле разведка — ни войсковая, ни агентурная, которая в рейде была с первых дней возложена на полковых особистов,— не докладывала ничего тревожного. Да и сколько можно жить в тревогах и в ожидании неминучести. Даже слабодушные люди приходят в конце концов к тому, к чему бойцы и командиры покрепче духом пришли много раньше. К рассуждению, что беда на войне ходит по пятам, как волчья стая за путниками в степи кружит где-то вокруг, но либо нападет, либо этого не случится, кто может знать наперед.

В селениях, освобождаемых от немца, немедленно же — кажется, еще прежде, чем переставали шипеть пустые пулеметные гильзы в грязноватом весеннем снегу,— появлялись жители. Было тяжело смотреть, как приходили на свои пепелища, словно по глубокому песку бредущие, женщины. Изголодавшиеся, набедовавшие по лесам. Одни огромные беспощадные глаза на темных древнеписьменных ликах... Шли, тяжело волоча санки со скарбом, ведя ребятишек, которые теперь уже не умели ни хныкать, ни смеяться.

И бойцы цепенели от горя и гнева, глядя на этих людей, чья доля казалась еще горше ихней, солдатской. Иногда спрашивали: какая нелегкая несет их на эти пепелища? По их рассуждению, пожить бы этим людям до теплых дней там, где они жили до сей поры — в обжитых лесных землянках. Здесь все равно их ждали только черные ямы подполий да обрушенные печи. Но, видно, человек любит обустраиваться на своем привычном месте, на своей отцовщине, пусть хоть и дотла, в пепел разоренной и поруганной врагом, но зато теперь освобожденной, и, надо думать, навсегда.

А ведь легко сказать, обустраиваться заново, когда от прежней деревни не осталось ни бревнышка, ни тесины. Только кирпич, сколько его осталось целого от дико и странно стоящей на погорелом месте русской печи, немец не сумел ни вывезти, ни подробить во зло русскому человеку. И стоит какой-нибудь старик-возвращенец либо женщина-оборвыш, которую шатает ветром и горем, над холодными и мокрыми головешками. И выражение безысходной скорби в их лицах помалу и робко сменяется выражением надежды и уже хозяйственными соображениями: придется начинать с того, что собрать и очистить от старой глины все до последней половинки кирпича,

выкласть пока хоть насухо, без раствора, коротенькую печную трубу... А там сойдут остатки уже истончавшего серого весеннего снега...

Незадолго до приказа о выходе из рейда полковых уполномоченных контрразведки собрали в своем отделе в дивизии и серьезно попрекнули за то, что они плохо занимаются агентурной работой. Сказали, что наблюдение за своими людьми в полках,— это теперь дело по важности далеко не самое первое. Слабодушные люди, больше общей боевой задачи озабоченные своей целостью-сохранностью, давно отсеялись, дивизией порастрачены. Остались такие, кто положил себе не бросать дивизии до какого ни есть конца. Но если не будем знать, что противник собирается делать и чем он богат против рейдирующего корпуса, то легко создастся такое положение, когда в пору будет захватывать голову и спасайся кто как может. А этого допустить нельзя.

Упрек, что Вениамин, как и другие ребята — его соратники в полках плохо занимались агентурной разведкой, был не совсем справедлив. Находили они, подбирали из местных жителей смельчаков, посылали по ближним селениям и местечкам окрест. Но находить таких людей чаще всего удавалось среди безребятных женщин, что посмелее, да стариков, не вовсе ослабших на ноги. Одни из них не возвращались в срок, другие приходили, но приносили слишком скудные сведения, уже известные разведотделам дивизии и корпуса.

В том селении, где полк простоял целые две недели... Случается же, что и солдату крупно повезет. За две недели можно сделать неисчислимо много такого, что невозможно, недоступно ему в беспрерывных походах. Можно знатно отмыться в банях, которые каждый эскадрон немедленно принялся устраивать себе в подходящих для этого хибарках и заброшенных коровьих стоялках, соорудив в углу камелек из крупных булыжников. Нужды нет, что бани такие топятся по-черному; главное, что их можно накалить до жестких и чадных адовых температур. Никто, кроме солдата зимушника-фронтовика, не умеет так ценить тепло, каждую каплю печного жара. И у каж-

дого из солдат были на эти две недели свои планы. Один надеялся заживить коню рассеченное осколком плечо, чего никак не удавалось сделать на походах, в непрерывном движении. Другой рассчитывал, что за это время у самого подсохнут и острупеют потертости на ляжках — его интимная незадача, которую он скрывал ото всех во взводе. Третий лелеял хитрый замысел: съездить в дивизию обменять трофейный спортивный пистолет с серебряной плашкой и с выточками на рукояти для каждого пальца — изящная, привлекательная штучка — на какие-нибудь сапожонки. И у всех была общая нужда — постирать бельишко, поучинивать свою одежонку и конское снаряжение.

Были свои планы насчет того, как с толком воспользоваться этой стоянкой в селе и у капитана дивизионной контрразведки Вениамина Хаританова. Среди полусотни местных жителей, перебедовавших оккупацию, Вениамин надеялся найти такого рискового парня, чтобы хорошо знал свой район, чтобы не был обременен семьей... И такой человек из местных, сразу показавшийся подходящим для его службы, действительно нашелся в селе.

Вениамин без труда разузнал у жителей о своем кандидате все, что на первый случай его интересовало. Парень был коренным местным и до войны кем только не перебывал. Работал учетчиком в тракторной бригаде, года два был заготовителем сырых кож, много ездил по району на самом ленивом из всего колхоза соловом меринке. Представлял собой, значит, что-то вроде Офени-коробейника образца тридцатых годов.

Левая рука у парня была сухой и скрюченной, за что его и звали в селе не по имени-фамилии, а чаще прозвищем Однокрылый. В своем первом донесении в дивизию по принятому у них порядку Вениамин присвоил ему кличку-псевдоним — Офеня. Из-за своего увечья Офеня не был мобилизован в Красную Армию; пренебрегли им и немцы, когда под метлу брали молодежь в свои рабочие лагеря и для отправки в неметчину.

Полк вступил в это село без боя; бои здесь проходили раньше — еще когда наша армия впервые оставляла эти области, а позднее здесь пошуровал крупный партизанский отряд, тоже теперь переместившийся юго-западнее, на Витебщину. Жители частью уходили от лихой поры в леса, другие же в дни боев отсиделись в ямах и укрытиях,

которые нужда научила их выкапывать и оборудовать не хуже, чем это делали опытные солдаты.

Жил Офеня в погребище близ сгоревшей своей избы, куда еще до пожара предусмотрительно стаскал кое-что из нехитрого своего имущества. Родства в селе у него была одна мать-старуха, умершая еще до нашествия. Люди в селе говорили: считай, счастье поимел тот, кто взял да умер в самые последние дни перед войной.

Вениамин в первый раз посетил своего Офеню в вечерние сумерки. Для освещения своей норы парень кроме творила-люка, через который спускался сюда по лесенке, проковырял еще отдушину в углу. На ночь он закрывал и лаз в погреб и этот иллюминатор полуистлевшим соломенным матом.

Капитан сам за войну немало переночевывал в таких земляных норах — в блиндажах и землянках, но здесь и ему стало жутковато. Словно в первый раз в глаза глянуло все великое людское горе войны. И чем только не пахло в этой берлоге — сопревшим тряпьем, грибной поганью заброшенных подземелий, в углах, и правда, наросли бледные ядовитые грибы на тонких ножках с коническими шляпками. И пахло еще смрадом горелой резины; должно быть, вечерами Офеня жег для освещения армейский телефонный кабель. Так делали иногда и солдаты: если подвесить под накатом землянки из угла в угол кусок кабеля и поджечь с одного конца, он будет медленно гореть как раз столько времени, сколько нужно, чтобы успеть поужинать. Тусклый язычок огня будет медленно ползти по кабелю с одного конца до другого... Не огонек даже, а мутная человеческая слеза.

На первый раз Вениамин ничем, даже намеком, не дал понять парню, по какому поводу его посетил. Так, сразу, это не делается. Зато из этой пристрелочной беседы он узнал нечто интересное для себя. Когда-то Офеня побывал и в неближнем отсюда городе В., служил там кладовщиком. А послать своего человека в В. было привлекательно. Вениамин знал, что это уже пытались делать их люди из корпусной разведки. Агент тогда ушел и не вернулся, а это бывает хуже, чем совсем бы не посылать.

Но с этим парнем надо было еще поработать. Под этим словом «поработать» понималось, что с ним надо долго и много о чем разговаривать, помытарить его расспросами

о самых разных вещах, чтобы хоть для себя иметь какую-то уверенность в нем. Но слишком мало времени оставалось на эту предварительную работу. И уже при третьем разговоре он спросил своего Офеню: не согласится ли он сходить километров за сорок в селение, где еще немец сидел крепко. А в натуре вовсе не в этом направлении он собирался его посылать.

— А чего я там забыл? — насторожившись, спросил Офеня. Но после того, как поговорили еще о том о сем, почесываясь, сказал: — Можно и сходить. Только ведь опасное дело... Даже вши мои забеспокоились.

— Пройдешь ли,— многозначительно сказал Вениамин.

Но парень уж, кажется, решился, что немного снова насторожило капитана. На такие дела никогда никто легко не решается. Офеня сказал солдатской поговоркой:

— Да ништяк. Где олень пройдет, там и мы пройдем.

Вениамин осторожно, предупреждающе заметил: олень как раз может и не пройти. Оленя немцы скорее всего и подстрелят. Кто же на войне откажется от свежей оленины. Но ты не олень...

— Вот я и говорю,— согласился парень.— Пройти сквозь немца — не шутка в деле.

Сидя на Офенином лежбище, застланном каким-то тряпьем, Вениамин впотьмах осторожно ощупывал сырую бугроватую постель хозяина этой берлоги. И почему-то даже не удивился, нащупав в изножье постели под тряпьем немецкий автомат-шмайссер.

— Зачем хранишь? — строго спросил он.

— Инструмент все же,— уклончиво ответил собеседник.

С каждым, кому приходилось отправлять своего человека в стан врага, бывает так: места себе не находишь, пока так или иначе все не придет к концу. Но ничего не остается делать, как только считать часы и дни. И Вениамин все это время раз за разом промеривал курвиметром на карте расстояние от места расположения полка до города В. И каждый раз у него получалось по-разному; то полсотни с лишним километров, то за семьдеят. Маршрут они выбрали и обсудили с Офеней вместе, хотя оба хорошо понимали, что пробираться разведчику придется, может, совсем иными, бродяжьими маршрутами — где легче

пройти. И по времени... По вольному, по мирному такое расстояние хороший ходок преодолеет за сутки, и столько же клади обратно. Дня через три, значит, посыльного можно было бы ждать обратно. Но то по мирному...

И сейчас Вениамин не мог об этом не думать. Все пытался представить себе: где в каждый текущий час может находиться его агент. На другой день после того как Офеня ушел по заданию, он еще раз спустился в его погребище, посидел там в одиночестве, следя, как уходит дым самокрутки в продушину, в нежно-опаловое весеннее небо. А автомат под тряпьем на постели лежал, как прежде. Вениамин не отобрал его у парня в тот первый раз, не тронул и теперь. И отбери, так парень снова найдет себе что-нибудь другое. Мало ли бросового оружия, нашего и вражеского, отыщется везде, где шли большие бои.

Вечером, к исходу суетного, заполненного многими заботами, к тому же не слишком сытого дня, все кажется проще и достижимее. Вечер — пора упрощений, легкомысленных надежд и следуемых за ними ошибок. Утром снова думается трезвее и правдивее.

По утрам Вениамин просыпался с отчетливой мыслью: нет, куда уж там. Пройти такой конец туда и обратно через десяток сел и деревень, мимо патрулей на дорогах и постов... И не настолько он еще знал этого парня, чтобы вполне полагаться на него.

Вечером снова тешился надеждой, что все еще может кончиться к общему их с Офеней удовольствию. Знал к тому же, что зимой немцы не очень строго соблюдали на дорогах свою пропускную систему.

Офеня вернулся к исходу четвертого дня. Такие посылы-операции делаются в строгом секрете. И Вениамин никому в эскадроне, даже своему другу и земляку Щекатурову, не рассказывал о том, что приспособил Офеню ко своей службе и что посылал его в В. Но от солдат трудно бывает сделать что-то совершенно скрыто. Его коновод, пожилой солдат Никанор, раньше своего командира узнал о возвращении агента. Вечером он, как бы не желая ни знать, ни говорить ничего лишнего, не поднимая головы от котелка, который усердно оттирал песком, мельком сказал:

— Тот сухорукий малый, с которым у вас какие-то дела... явился не запылился. Спит теперь в своей яме, хоть за ноги таскай.

По чавкающей под ногами весенней грязи, спотыкаясь о поваленные плетни, втрюкиваясь в какие-то ямы с водой, мимо пахнущих размокшей печной глиной погорелищ, мимо навесика, где кони тяжко, с болью вздыхали в темноте и грызли, щепляли зубами коновязь, Вениамин прошел через небольшой ложок к Офениной землянке.

Спустившись в погребище, Вениамин зажег клок газеты, осветил спящего. Но газета скоро погасла, и Вениамин руками ощупал парня в темноте. Тот лежал навзничь, запрокинув голову, как зарезанный, мокрый с ног до ворота, пахнущий жижею торфяного болота. И,— откуда это взялось? — Вениамин пожалел его острой жалостью старшего к младшему и слабому. Будто самому никогда не приходилось засыпать так же — до нитки мокрым и грязным, и будто они не были по возрасту ровесниками, почти погодками.

И он не стал будить Однокрылого.

Но перед рассветом, позволив ему поспать всего часа три, Вениамин все же поднял парня, увел его к себе в укрытие.

Парень нетвердо сидел перед ним, пошатываясь, дышал все еще, как дышат сонные изможденные люди,— хрипло и натужно. Изветрелому, в кровавых язвах рту, наверное, было больно даже от дыхания. И никакого смысла в глазах: одно отупение, сумерки сознания.

Было жестоко и неразумно расспрашивать его подробно и методично. Надо бы дать человеку прийти в себя. Все равно ему в таком состоянии многого не вспомнить. Заставить бы его хоть умыться сначала холодной родниковой водой, предложить кружку крепкого чая. Но у Вениамина у самого даже скулы заныли от одной мысли об утренней кружке чаю.

— Как поспалось? Что во снах привиделось? — спросил Вениамин своего агента, пока только чтобы расшевелить его, еще полусонного.

И парень, против ожидания, очень здраво, только зябко встряхнувшись, сразу откликнулся:

— Тому, что мне привиделось, не обрадуешься. На

всех дорогах немцы. Везде много техники: машины, эти — как их? — бронетранспортеры. Танки даже видал...

— Постой, так не пойдет. Давай по порядку.

Пристроив карту на крышке планшетки, Вениамин начал дотошно расспрашивать агента, каким маршрутом тот прошел первую дорогу, каким — обратную.

Эти маршруты оказались совсем не такими, как они намечали перед выходом Офени в его экспедицию. И если проложить по карте, то это оказался бы довольно сложный кривоколенный путь. Но сейчас это уже не имело никакой важности. Как бы ни прошел, хорошо, что сумел пройти. Ничего удивительного, что человек шел от селения до селения, держал путь на хутора и лесные усадьбы, как ему казалось сподручнее. Таким манером прокладывает себе извилистое руслице родничок, где-нибудь выбившийся на свет из-под горы. Офенино руслице, однако, пробивалось не слепо, а с заметной человеческой сноровкой: во многих местах скрещиваясь с шоссейками, местами опасно близко огибая крупные села.

Дважды, если принять на полную веру, Офеня выходил к большим железнодорожным станциям. А этого Вениамин от него даже не требовал, зная, как немцы везде охраняют подходы ко всем станционным поселкам.

Если принять на полную веру... Но в разведке как раз ничто не принимается на веру. Разведчик по долгу службы, по всем правилам своей деликатной профессии должен быть неверующим Фомой. И Вениамин вначале слушал своего агента, мысленно отсортировывая то, чему можно поверить, от того, что ему казалось домыслом либо преувеличением.

Посади двух парней вблизи друг от друга целую ночь наблюдать за дорогой, и позднее они по-разному оценят виденное и слышанное. Скорее всего, неодинаково назовут даже количество машин, прошедших ночью по дороге.

Не было и у Вениамина вначале полной уверенности в том, что его агент вообще прошел по всем этим дорогам. Что помешало бы Офене не утруждаться опасным и тяжким путем до города В. и обратно, а просто добраться до одной из ближних глухих деревень и перегодить там день-два у кого-нибудь из друзей или родичей.

Но чем дальше он слушал Офенин отчет, тем больше

убеждался, что парень добросовестно исполнил свою задачу.

— Так вот и сходил по святым местам,— бесхитростно сказал Офеня в одном месте доклада, поразив Вениамина тем, что сказал это совсем просто, без всякого желания отыскивать сильные слова.— Говорят, когда-то, в давние времена, старики хаживали по «святым местам». Делать людям было нечего, вот и ходили.

Не очень связная реплика эта странно близкой сердцу и очень понятной пришлась Вениамину. На разоренные селения, если даже они уцелели от сожжения, он достаточно нагляделся. А все многострадальное — свято.

Было в докладе агента одно обстоятельство, больше всего другого говорившее за его правдивость: опознавательные знаки на дверцах машин и бортах броневой техники, виданные им на дорогах. Все боевые моторизованные дивизии у немцев обзаводились своим опознавательным знаком, намалевывая его на дверцах и бортах. Это была их фанфаронская традиция. Иногда такими знаками служили карточные тузы соответствующих мастей, иногда всякое экзотическое зверье — тигр в прыжке, клыкастая голова вепря.

У Вениамина в сумке всю зиму сохранялась тоненькая тетрадочка-альбом этих знаков, изданная корпусным разведотделом еще перед выходом в рейд. Лишь незадолго до этого он, ревизуя свое скудное хозяйство, на каком-то привале разорвал тетрадь и сунул ее в дотлевающее кострище. И теперь пожалел об этом, когда Офеня начал перечислять знаки-символы, которые видал на немецкой технике, снующей по окрестным дорогам. Это было, впрочем, поправимо: у кого-нибудь из друзей командиров в полку альбом, надо полагать, еще сохранился.

Важно было другое. Если безоговорочно верить Офениным данным, слишком много в опасной близости появилось отборных холеных гитлеровских частей. И все они — на то похоже — подваливались к местам, где изнемогал, пасясь на подножных кормах их, до ручки дошедший кавкорпус.

Они просидели с Офеней, пожалуй, часа полтора, и, когда выбрались из укрытия, над разоренной деревней и поймой речки стоял уже полный утренний свет, чистый, переливчатый, словно поигрывающий в гранях хрусталя.

Вениамин знал, что его очередное разведдонесение по-

падет в дивизии в два адреса — в особотдел и к разведчикам. Самым важным пунктом, на который там обратят особенное внимание, окажется сообщение, что вокруг корпуса уже толкутся сильные, именитые части немцев. Донесение в этом пункте полагалось бы подкрепить вескими доказательствами. У него же это важное сообщение, кроме Офениного рассказа, подтвердить было нечем. Не удивительно, что ему по поводу донесения сначала сказали: «Фантазируете вы со своим агентом».

Но уже дня через три-четыре в полку была получена ориентировка корпусного разведотдела — документ, в котором для сведения подчиненных частей доводится обстановка. И там было сказано, что вокруг корпуса немцы стягивают несколько дивизий, в том числе механизированные. И названы были при этом почти все те части, о которых доносил Вениамин.

И ведь уж так прихотливо устроен человек: Вениамин словно бы даже с удовольствием прочел эту ориентировку. Будто даже обрадовался, что подтвердилось все, о чем он докладывал, а те, кто попрекнул его фантазерством, были посрамлены. Хотя чему тут было радоваться, чем тщеславиться? Уж лучше бы оказаться кругом неправым.

Ориентировка разведотдела корпуса была получена командиром полка Канюком, когда Вениамин сидел у него в землянке. Канюк прочел документ, морщась и хмурясь. Незадолго до этого он упал, получил легкий неосложненный вывих в плече и несколько дней носил руку на повязке. Командир полка читал документ, и все, кто были в землянке, следили за его лицом, не понимая, морщится ли он от все еще острой боли в плече или от изложенной в документе невеселой информации. А приятной и подбадривающей информации командиры в полку, зная обстановку, не ждали уже в эти дни. Все понимали, что добрые вести и перемены к лучшему лежат от них за горами-долами. И эти горы и долы, на которых раскорячился немец силою всей своей группы армий «Центр», рано или поздно предстоит пройти, теряя по пути людей и бедные остатки воинского имущества.

Прочитав документ, командир полка перетолкнул его комиссару. Тот, бегло глянув на первые строки, поманил к себе Вениамина. Так они и читали ориентировку вдвоем, почти касаясь друг друга головами.

В землянке повеяло холодком неминучести.

Землянка у командира полка была просторная, метра четыре на четыре, построенная с расчетом, чтобы можно было собраться под рукой командира всему старшему командованию полка. Но покрыта землянка была по-беднядцки — всего в один накат. И бревна на перекрытие пошли насохлые, взятые из какой-то раскатанной крестьянской избы.

В землянке не было никого лишнего, никого, кому бы разведывательную сводку штаба корпуса не полагалось знать. Можно было ее просто прочесть, но комиссар полка пустил ее по рукам. И офицеры читали бумагу, склонившись головами над нею по двое, по трое. Потом Канюк снова забрал разведсводку в свои руки, раскинул на столе карту-километровку, склеенную из многочисленных листов. В развернутом виде ее хватило бы, чтобы Канюку на ночлеге покрываться ею с головой. А в натуре, на местности, ею покрывалась чуть ли не вся округа, по которой за полгода рейдировала дивизия — от Белого до Вязьмы. Карту свою Канюк вел сам, никому не доверяя, ставя на ней какие-то свои таинственные значки.

Нетерпеливым жестом пригласив своих командиров сесть плотнее, он обвел тупым концом карандаша район дислокации дивизии на эти дни. Потом, заглядывая в документ, называя номера и клички противостоящих немецких частей, сделал на карте слабые пунктирные пометки.

— Как волки вокруг ночного костра лесорубов,— сказал он, подводя итог оперативной обстановки момента,— сидят и ждут... А в общем-то,— вдруг совершенно иным тоном, с веселым задором сказал Канюк.— Все идет, как надо. Разве не для того мы посланы в наш рейд, чтобы стягивать на себя возможно больше сил противника? Разве не для этого нас мама родила?

После беседы у комполка и комиссар Мамышев велел собрать свой народ — политруков и секретарей ротных партийных организаций. Собрались на опушке под дубком, выбрав место, укрытое с воздуха.

Вениамин не раз замечал, втихомолку этому дивясь, как легко и с каким удовольствием люди порой предаются зыбкой иллюзии, что война отодвинулась и, быть может, теперь уже не втянет их больше в свою реву-

щую воронку. Он видел, что стоило людям оказаться здесь под защитой леса на подсохшей, плотной, как войлок, отаве и пригреться на солнцепеке, как войны словно и нет. Иллюзия, что мы для войны свое сделали и с нас спроса больше нет, была бы еще полнее, будь немного сытее на желудке, да если бы не начали сильнее жечь вши, тоже обрадовавшиеся теплу и вольному выпасу.

Отсюда, со стороны, с опушки леса, было видать всю лощину, от которой мутовчато ответвлялись глинистые отложья.

Комиссар Мамышев появился не со стороны деревни, а откуда его и не ждали — из глубины леса. А углубляться в одиночку далеко в лес было запрещено даже рядовым солдатам.

— А в лесу, в низинах, еще снег кое-где,— сказал комиссар, заметив, что Вениамин вопросительно смотрит на него, усмехнувшись этому.

В пору такого душевного напряжения, в каком жили люди в эту весну, в человеке что-то настолько обостряется, что многие слова становятся лишними. Люди в этих тяжких условиях как бы видят друг друга насквозь. Вениамин мог бы попрекнуть Мамышева за то, что бродит по лесу даже без коновода, который должен всюду следовать за ним, Мамышев мог бы ответить тем обычным аргументом, что надоело уже остерегаться и что пусть немец боится русского леса. Кроме того, сейчас белый день. Но ничего этого не было сказано, потому что понятно и так. Мамышев опустился на землю, аккуратно положив автомат на груду прелого хвороста.

К этому времени в армии уже прочно прижилось выражение «солдатское радио». Оно означало — слухи, устный пересказ всяких злободневных новостей. Случалось, что эти пересказы из уст в уста, из уха в ухо оказывались небылицами, но чаще они оправдывались, были вполне достоверными. Поэтому «солдатскому радио», в общем-то, верили так, словно оно было одной из многочисленных армейских служб со своими правами и штатом. Вроде внутренней полевой почты.

Поэтому, когда комиссар полка собрал здесь на опушке леса политруков и парторгов, все они более или менее знали, о чем пойдет речь. Знали, что будет объявлено о предстоящих больших боях.

Вениамин Хаританов на этом сборе политработников полка мог бы и не быть. В его обязанности то, что называлось воспитательной работой, прямо не входило. Но он, проходя мимо опушкой леса, увидел привольно расположившуюся на отаве группу.

— По полям и дорогам везде уже можно пройти сухой ногой, — самым довоенным вступлением начал свою беседу комиссар.

Все было так. По полям и дорогам везде установилась весенняя благодать. Но из того, что Мамышев начал говорить, следовало, что поля и дороги как раз для дивизии теперь будут такими местами, куда не сунешься. Дивизии теперь достанутся глухие леса, где еще держится местами снег и везде для лошадей и повозок — лесные проселки, которые по мирному времени считались бы непроходимыми, непроезжими. Но то по мирному времени, думают люди, а при нынешних обстоятельствах — где олень пройдет, там и мы пройдем.

Рассказывая людям о сложившейся обстановке, комиссар ничего не скрывал, все изложил по чистой правде. Сообщил, что силу вокруг дивизии немец стянул такую, с какой ей никогда еще не приходилось иметь дело...

— Но есть враждебная сила, и есть наше право, воля и хитрость. Есть лесные чащобы и заболоти, которые мы знаем лучше немца. У противника — техника, у нас — маневр...

Главное же, говорил комиссар, состоит в том, что у нас есть на что надеяться, немцу же надеяться не на что. Сам рисуя своим людям — младшим политработникам — состояние дел с беспощадной правдивостью, он и от них потребовал в политбеседах с бойцами вести речь, не лукавствуя, не утаивая правды.

Вениамин слушал комиссара, мельком, непристально вглядывась в лица людей, по весне переобмундировавшихся кто во что. Только гимнастерки оставались у них еще прежние — армейской формы, с «кубарями» и треугольничками в петлицах, у кого форменные, но с обившейся эмалью, у кого вырезанные из консервной банки, а не то и просто нарисованные чернильным карандашом. Брюки были на одних еще зимние, с вылезающими изо всех прорех клочьями грязной ваты, на других — неумело сшитые из плащ-палаток и немецких шинелей.

Худо-бедно побритыми были все: за этим было приказано следить, не считаясь с условиями рейдового бытья. И рождалось странное впечатление, когда смотришь в эти лица: что собраны здесь бедолаги одного возраста, всем идет пятый десяток тяжко прожитой жизни. Между тем среди них было немало ребят, имеющих от роду по двадцать с небольшим. Только их прошедшая тяжкая зима подсушила, прорезала в лицах преждевременные морщины...

Вениамину представлялось, что все они переваривают в умах совершенно точно одну думу: да, предстоят дела еще более тяжелые, чем прошлая зима. И кто-то останется в живых после этих дел, кто-то не переживет их. Зато теперь наконец им поставлена давно ожидаемая задача выходить к своим, к коренной армии, от которой были оторваны почти полгода.

Действительно ли все думали так, как ему представлялось, одну думу? Когда сам горячо и страстно думаешь о чем-то, неудивительно, что представляется, будто все это же должно быть и в любой другой голове.

А потом дожили и до того утра, когда Вениамин подумал: «Не скоро сказка сказывается, да скоро дело сделалось».

Всего, может быть, минуту-две он пролежал, проснувшись, еще с закрытыми глазами, но в уме, мгновенно протрезвевшем ото сна, пронеслось многое: и это сказочное присловье, которое он успел переиначить на свой лад, и все то, что произошло с ними за какой-то неполный месяц сроку.

Сначала прошел слух, что в какую-то недобрую ночь в корпус не добрался «ночничок» — связной ночной самолет. Будто немцы сначала подбили его в воздухе, а потом на земле расплющили вместе с мертвым летчиком в кабине гусеницами танка. Откуда солдатская молва могла знать такие подробности? Но и не поверить этому нельзя, потому что выдумать их, пожалуй, тоже не суметь никому. Во всяком случае, связные самолеты, зимой хоть изредка прилетавшие в корпус, доставлявшие кое-какие харчишки и забиравшие раненых, перестали прилетать.

Рядовому солдату толку от этих «ночничков» все

равно всю зиму было всего ничего. Случись, ранят, ему — рядовому Ивану — в связном самолете место найдется навряд. Но пока они прилетали — все было легче на душе.

Вслед за этим началась разлаживаться и внутрикорпусная связь. Опять-таки из каждой мелочи умеющему делать свои выводы солдату стало известно, что есть строгий приказ: беречь, как зеницу ока зарядные машины — фургоны, которые служат для зарядки аккумуляторов.

Этот приказ насчет зарядных машин означал только одно: что между корпусом и дивизиями остается лишь самая ненадежная связь — по радио.

А еще через двое тревожных суток... Вениамин был в штабе полка, когда отправляли в дивизию с ежедневным донесением верхового посыльного. Посыльный вернулся ночью. Пешим. Донесение пришлось читать лишь тому, кто его сочинил.

А полк себе жил еще долго.

Впрочем, долго это или коротко — около трех недель?

Иногда Вениамин доставал из планшетки, развертывал свою карту, размером чуть ли не с плащ-палатку, скупым пунктиром нанося еле заметную линию перемещения полка. Получалось, что они идут почти так, как шел своей дорогой до города В. его однорукий агент Офеня. Это было, конечно, только совпадением, и в другое время Вениамин немало этому подивился бы. Сейчас он ничему не удивлялся: был изнурен, чтобы удивляться, надеяться, сокрушаться, когда поодаль и близко падали товарищи, подсеченные пулей или осколком. Он знал, что и с другими дело обстоит так же: все они утратили способность испытывать прежние человеческие чувства; все действовали словно погруженные в дрему. И, пожалуй, пробуждались от этого дремотного отупения только, когда, случалось, сбивали заслоны противника. Когда, стреляя на бегу, спотыкаешься о трупы немцев, не грех и воспрянуть духом, смутно думая: значит, еще живем и даем немцу трынды.

Может быть, человеческий костяк-каркас состоит из двух элементов — из любви и ненависти. В лихие годы в человеке отвердевает ненависть и тончает любовь.

Что осталось в памяти от того боя в первых числах

мая, когда не стало и их полка? Память хранит в стройной связности лишь те эпизоды войны, которые негорестно помнить. Картину поражения память прячет в самый затемненный угол.

Еще утром того дня полк тремя своими сабельными эскадронами занимал прерывистую линию обороны, уходящую со всполья в отлогий подъем за лесистый увал. На этот рубеж полк вышел только на рассвете того дня и успел лишь по колена зарыться в землю Смоленщины, еще не окрепшую после весеннего водополья. Только для пэтээров люди успели вырыть полуциркульного профиля гнезда в полурост. Да пулеметные точки к началу вражеской атаки были оборудованы в достаточной степени надежно. Но станковых пулеметов в полосе эскадрона Щекатурова Вениамин насчитал не больше трех. А пульроту еще за три дня до того командование дивизии перекинуло на фланг. На правый, на левый? Какая разница, если ее у полка не оказалось в этот трудный час.

Метрах в трехстах позади эскадрона Щекатурова, где спешенные конники занимали оборону, встала батарея противотанковой артиллерии, хотя все знали, что у ней не найдется и по десятку снарядов на орудие.

Бой был страшен своим неравенством в огневой силе. У немцев снарядов, патронов — всего, чем можно выстрелить, имелось в достатке. Кавалеристам же приходилось вести снарядам и патронам строгий счет. Бой вначале был обыкновенным, пехотным, таким, исход которого решается как раз количеством припасов.

А потом на окопавшихся всего в полурост наших ребят пошли еще и немецкие танки...

Лишь вечерние сумерки притушили бой. Долго еще и ночью стояло в ушах высокое, чистое, горестное ржание лошадей в лесочке позади. Рассредоточить их было негде, и коноводы слишком тесно сбили их в низинке. А перелетные снаряды вражеской артиллерии ложились как раз там.

Вечером над полем боя долго висели, не рассеиваясь, длинные лисьи хвосты дыма. Два немецких танка горели на участке эскадрона Щекатурова. Медно-торфяного цвета дымы стояли высокими прямыми неподвижными

столбами и только в высоте распадались на крупные и крепкие завитки. Потом дымы начали походить на гигантские грибы на тонких ножках, пока не слились с ночною тьмой, такой же чадноторфянистой.

Рассвета ждали, надеясь на то, что утром, может быть, удастся плотнее сомкнуть оборону с соседними эскадронами и хоть посыльными наладить снова связь с КП полка. Но утро не принесло добра.

Стало видать, что эскадрон Щекатурова сумел удержаться на крылато вздымающемся к горизонту вчерашнем межовражье, но радоваться этому едва ли есть резон. Ближайший слева эскадрон с вечера дрался километрах в полутора через лощину с восходящим в смутный изволок шоссе. Теперь — никакого бинокля не надо — было видать часто и вальяжно проходящие по шоссе немецкие грузовики, а на подходах к шоссе с обеих сторон виднелись пятна красной глины, местами в две линии.

КП полка накануне находился, если смотреть по карте, в селении с курсивной надписью «Усадьба МТС». С севера селение было прикрыто полоской лесопосадок, южнее правый нижний край карты срезала болотистая пойма безымянной речушки. Лесопосадки могли быть и старыми, но могла там проходить и полоса молодых саженцев по колена коню. Сумеют ли посыльные скрытно пробраться через эти посадки на КП полка? Обернутся ли до того, как немец с наступлением утра примется допластывать изнуренный эскадрон? Ничего другого, кроме этих тревожных вопросов, не держалось в голове, пока Щекатуров с Вениамином ждали возвращения троих ребят, посланных с рассветом для связи с полком.

Но противник до полудня не начинал боя. И трое посыльных вернулись живыми.

Они доложили о том, что видели на усадьбе МТС: вблизи строений стоят до двадцати машин — грузовики с брезентовым тентом, какими пользуется немецкая мотопехота. На самой усадьбе немцы бродят между корпусами бывших эмтээсовских мастерских и занимаются своим привычным делом — добивают наших раненых. Все это ребята видели, затаясь в посадках, с расстояния метров в сотни полторы.

Эскадрон остался воевать на сиротском положении, оторванным от других своих подразделений. Да и в эска-

дроне не все были своими, прежними. Едва ли не половина бойцов и сержантов, если сделать перекличку, оказалась бы из других эскадронов и полков. Значит, считай, полка нет, а есть «отдельная группа». Так сказал комиссар полка Мамышев, когда в прошлый раз собирал младших политработников на опушке леса: надо, чтобы в случае нужды и отдельные группы не забывали свою задачу — пробиваться на восток. И чтобы коммунисты полка в этих группах считали себя ядром. Останешься один — все равно считай, что ты ядро.

Ночью, отойдя километров на десять, группа затаилась в лощинке, казавшейся хорошо укрытой и глубокой, как таежное отложье. На рассвете же оказалось, что низинка с одной стороны открыта глазу от самой горизонтовой черты, а с другой стороны прикрыта лишь тонкой гривкой чернотала.

Вениамин забылся на час, а проснувшись, хотел еще помедлить минуту, побыть еще в состоянии этой спасительной сонной одури. Но лишь слегка переменив положение тела, понял, что лучше уж сразу встать. Его сразу мелкими частыми толчками начал встряхивать озноб; он спал в углублении, сделанном собственным телом в молодой траве пополам с отавой. В этом положении и когда одежда на тебе насквозь мокра, относительно согреться только и можно, если ужаться, скургузиться и побыть в неподвижности.

А нарушив эту неподвижность, надо уже шевелиться, сразу браться за какое-нибудь дело или трогаться в поход. Но трогаться пока было невозможно, потому что вчера поздним вечером, когда наступила передышка в стрельбе, во всех трех четвертях компасного лимба непрерывно и часто взлетали ракеты. И пулеметы оттуда стригли, словно получили выгодный подряд, перекрыв огнем все три направления — восточное, северо- и юго-восточное. Только позади лес был черен, настороженно притих. Немцы словно бы предлагали это направление группе как самое безопасное. Но именно потому, что оно кажется самым безопасным, идти по этому направлению было нельзя. Это элементарное правило Вениамин знал, хоть и не был строевым командиром.

Сильный человек чаще всего не верит в свою смерть на войне, надеясь, что еще не отлита пуля, назначенная

ему персонально. Сильный человек думает: вот кончится война, не всегда же будет длиться это человеческое безрассудство. Буду тогда жить по всей правде, славя родину трудом. Не верится сильному человеку и в гибель тех своих друзей-товарищей, кто стал дорог и близок в такое лихое время.

С той ночи, когда эскадрон принимал бой с танками, прошло двое суток и все это время шли дожди, перемежаясь лишь в часы оранжево-плавленых вечерних зорь. На руку или против него была эскадрону эта непогода? На руку тем, что немецкая техника начнет вязнуть в грязи, а эскадрону бог помог растерять приданные ему автомашины, и оставалось у него всего транспорта — несколько повозок. Все тяжелое оружие и воинская кладь — во вьюках...

Опять Вениамин проснулся подмокшим сквозь подостланную плащ-палатку, весь как стянутый железными обручами. И проснувшись, в двух шагах увидел уже не спящего Щекатурова. Капитан сидел на подвернутой под себя ноге с очень свежим лицом, словно успел на славу выспаться. Со спокойным и сосредоточенным лицом Щекатуров копался в своей командирской сумке, которую в последнее время стал носить при себе, а не в седельной приторочке. Что там могло быть, в сумке у капитана? Бритвенная кисточка, завернутые в бумагу чистые подворотнички, пачка писем, перевязанная тесемкой.

Никогда Вениамин не верил в предзнаменования, но слишком несообразным с обстановкой этого раннего утра было спокойствие и медлительность движений капитана Щекатурова. Словно человек на все теперь согласен, и ему надо лишь привести в порядок все в себе и вокруг себя.

Когда-то на формировке, как это, казалось теперь, было давно, Вениамин у него учился верховой езде: «Вольт вправо, вольт влево, кр-ругом арш». И даже лозины на скаку, пусть не подряд, хоть через одну, научился ссекать клинком, не срубая коню ухо, что с начинающими кавалеристами случается не в редкость.

Был Щекатуров долговяз, немного сутуловат и так длинноног, словно создан с расчетом на службу в коннице. И почему-то на сильных его, упругих ногах даже парадные офицерские сапоги казались тяжелыми, туесообразными. Команды эскадрону в седлах подавать любил

больше клинком, чем голосом. Привстав в стременах, взносил подвысь обнаженный сияющий клинок, степенно склоняя его затем вперед: и значение этого жеста — «вперед». Или тройным кругообразным движением описывал над головой серебристую воронку: все подчиненные командиры — ко мне.

В рейде Щекатуров носил клинок при бедре чаще, чем многие другие командиры, возившие его большею частью притороченным к седлу.

Днем эскадрон неспорой голодной рысью выбирался из кустарников в каком-то сизом разлужье на большак, когда впереди поперек курса повисла редкая занавеска минометных разрывов. Сквозь такой огневой налет по всем уставным правилам, по всему опыту войны полагалось продираться, послав коней в крупную рысь. В рассредоточенном строю Щекатуров проскакал сквозь разрывы, остановил коня, выпростал ногу из правого стремени. Держась за поводья, сумев спешиться, чтобы ко всему еще не удариться оземь при падении, он сделал три-четыре широких шага. Когда Вениамин с несколькими другими конниками, повернув своих испуганно прядающих коней, подъехал к эскадронному, тот мирновольно лежал навзничь без фуражки со свисающей на сторону прядью длинных черных волос, уже набрякшей сургучно-коричневой кровью.

Накануне в сумерках немцы, не любящие воевать ночью, понемногу ослабили стрельбу, а люди в группе были слишком изнурены тем, что в учебниках по тактике называется встречным боем. И этот встречный бой длился все последние несколько дней.

Не удивительно, что бойцы, залегши для обороны, начали один за другим выключаться, засыпать. Может, это нельзя было называть и засыпанием: просто человек в таком случае теряет сознание, как бы отчаянно ни боролся со сном, засасывающим, как трясина. Вениамин и сам, оказавшись на мягком подстиле из мха и старой отавы, уснул так же, как и другие, словно провалившись в заброшенную старательскую шахту.

И опять утро. Какое уже после расчленения полка? Кто им вел счет, этим туманным утрам? Дневной свет словно вертикально прорастал волокнами, побегами

сквозь войлок мрака, набрякшего водой. Дождик-сеянец, начавшийся на рассвете, перестанет только к полудню. Во второй половине дня разведрит, но...

Всем им было уже известно, что собранная против них во всех окрестных колках и перелесках погромная немецкая артиллерия начинает работать утречком, как по расписанию, сразу после завтрака, наверное, нарочно перенесенного на час-полтора раньше, чтобы застать больше дня.

После полудня дождевая облачность стала тоньше и выше. Пользуясь этим, немцы выпустили в небо авиацию. Самолеты кружили над подробленными дивизиями, проделывая сначала широкие обзорные облеты, а потом срываясь в короткие, ленивые пике. Ничего не скажешь — работали вальяжно, неторопливо, сразу усекши, что у кавалеристов под ними не осталось почти никаких средств зенитной обороны.

Вениамин понимал, что самолетов, которые куражились над ними, могло быть не так и много, может быть, два-три десятка. Но они поднимались с какого-то ближнего аэродрома, и им не требовалось много времени, чтобы отбомбиться, слетать на базу, загрузиться снова и опять оказаться над их головами. А от этого, от мелькания сменяющихся в небе звено за звеном пикировщиков у людей создавалось ложное и гнетущее впечатление, что немцы напустили на них целую армаду своих самолетов.

На закате самолеты ушли отдыхать, начал слабеть артиллерийский обстрел, словно отдалялся от них, уходил куда-то на северо-восток плотный грозовый фронт. Но еще долго, за полночь, да, почитай, всю ночь, рощу, где припали к земле остатки кавалерийского полка, секли пулеметы, которым, известно, и тьма не помеха. Наоборот, пулеметчикам, что нашим, что вражеским, легче коротать ночь, развлекаясь неприцельным, не слишком уронным огнем в сторону противника, рассеивая свинец по лесам и долам.

Утром Вениамин пошел по лесочку, обходя свой бивуак, там и тут переступая через спящих. Весь лес был усеян сорванными с деревьев и с подлеска мелкими побегами и листьями, еще не успевшими подвянуть. Если бы не спящие по всему лесу люди, не оружие и амуниция, можно бы подумать, что накануне тут по всему лесу бабы вязали веники, оставив после себя веточный му-

сор. Но это были следы ночного пулеметного неистовства.

В одном месте Вениамин прошел мимо спящего на спине крупного человека, который прикрыл лицо от дождичка развернутой планшеткой. Боец был обут в потрепанные уже, размокшие, но, все равно видать, командирские хромовые сапоги и добротные брюки из габардина. Но гимнастерка на нем была солдатская, самая ветхая, коротковатая ему.

И Вениамин, словно полгода тому прошло, вспомнил: ах, это тот подполковник...

«Тот подполковник»,— хотя Вениамин его хорошо знал еще со дней формировки,— в день, когда началось дробление дивизии, оказался у них в полку по делам службы. А потом ему из полка уже некуда было деться. Когда были живы командир полка и комиссар Мамышев, этот штабной подполковник еще пытался играть при них какую-то роль — роль наблюдателя от старшего штаба. Пытался еще как-то осуществлять оперативное руководство, что-то координировать. Но после гибели командира и комиссара полка, когда от полка не осталось и третьей части, ни «осуществлять», ни «координировать» стало нечего. Нужно стало просто идти вперед и вести себя при этом так, чтобы людям хотя бы верилось, что тебе известны маршруты, которыми можно пройти с наименьшими потерями.

Вениамин понимал, что большинство в его группе теперь идут за ним из-за его прежней должности: «Уж этот-то капитан-особист будет держаться до последнего. Известно, как немцы жалуют комиссаров, евреев и особистов. Особистов, пожалуй, даже на особицу».

В тот день, когда они с этим штабным подполковником остались из старшего командования вдвоем, Вениамин сказал ему:

— Вы теперь у нас по званию самый старшой. Вам бы на себя и взять...

Но у подполковника сразу стали испуганными глаза, и он излишне многословно начал говорить, что его, капитана Хаританова, в группе все знают. Что лишь в этот день утром к группе присоединилось человек двенадцать кавалеристов из двести первого полка, которые сначала все допытывались у ребят: та ли самая это группа, которую ведет капитан с большой картой... Вот и про карту

уже прошел слух в здешних лесах, где таких групп, как эта, наверное, ходит не одна, а несколько.

Так и шел подполковник дня два-три за рядового бойца, но в форменной гимнастерке с петлицами и двумя орденами на розетках из красного сукна, как носили иногда награды еще до войны. Потом Вениамин увидел его уже в потрепанной солдатской гимнастерке, а его шерстяную, еще опрятную в тот же вечер Вениамину принесла телефонистка Симка. И ордена на гимнастерке остались не снятыми, крепко были привинчены на ткань через специально оштопанные дырки.

Симка объяснила, что подглядела, как подполковник на переходе снял гимнастерку и спрятал ее под кучу валежника.

— И хоть ордена бы снял. Как же можно,— возмущенно говорила девушка. Вениамин и сам всей душой не понимал и не хотел понять: как это можно?

Но какова Симка? Вот еще и Симка эта...

Кто в дивизии не знал эту девушку, пока полки еще имели со штабом надежную связь. Правда, знали ее в полках больше по голосу резкому и гортанному, чем в лицо. Еще с подмосковных боев командиры в полках привыкли, обращаясь в отделы штаба дивизии днем ли, ночью, неизменно натыкаться в трубке полевого телефона на Симку с ее непочтительной, не признающей никакой субординации манерой разговаривать. Редкий день проходил без того, чтобы кто-нибудь из старших командиров не принимался строго внушать девушке правила армейского обращения подчиненных с начальством.

— Хоть вы и вольнонаемная, но вы служите в армии,— начинали свои поучения телефонистке те командиры, кто еще не знал, что она там, на своем узле связи, при этих словах просто отключается, как-то умея безошибочно включиться снова, лишь только ее телефонный корреспондент начинал говорить необходимое, деловое.

Симка пристала к полку, когда еще живы были командир и комиссар. Но она так и не смогла толком объяснить подробности разгрома штаба дивизии. Да и что могла видеть, что понимать в развертывающихся событиях девушка, весь этот отрезок войны привычно сидевшая в землянках узла связи с глухими наушниками на стриженной под Ивана-дурачка голове?

Когда ее, оказавшуюся непонятно как в расположении полка, привели к комполка, Канюк брезгливо, по-штатски, сказал девушке: тебя еще нам не хватало. Это значило, что оберегать ее в предстоящих боях на прорыв будет некому и некогда. То, что предстоит бойцам, — не девичье дело. Такого же мнения держался и комиссар Мамышев.

Вызвав Хаританова, комиссар предложил ему подумать, где сподручнее оставить девушку, чтобы она могла короче попасть к гражданским людям, прячущимся в лесах. И нельзя ли что-нибудь придумать, чтобы снабдить ее цивильными документами?

Но придумывать ничего не пришлось: Симка наотрез отказалась уходить из полка, по привычке надерзив при этом начальству.

— Не можете меня тащить с собой? А бросить, как собачонку, можете? — сварливо спрашивала она.— Все только и толкуют пробираться к своим. А у меня там никого своих, что ли, нету? Зачем меня, вятскую пестерюху, оставлять немцам? — спрашивала она, надеясь хоть этой неуклюжей шуткой расположить строгих начальников в свою пользу.

Вениамину представилось, что, как строго ни прикажи ей остаться, все равно она не исполнит такого приказа. Все равно пойдет за истерзанным, изнуренным полком немного позади, немного в стороне, таясь по кустам от боковых дозоров. И это будет унизительно, жестоко, неправедно.

Командир и комиссар в конце концов отступились от нее, не разрешив ей остаться при полку, но и не запрещая этого. Она же, вообразив, что теперь судьба ее зависит от особотдела, часом позднее остановила Хаританова все с тем же вопросом: что будет с нею? И Вениамин еще раз попробовал ей объяснить:

— Ты пойми своей головой. Командир полка с комиссаром только одного тебе желают: чтобы жива осталась телефонистка штаба дивизии Симка, не знаю, как тебя по фамилии. И чтобы рассказала потом когда-нибудь о нас.

Но она и не думала сдаваться ни на какие резоны.

Обходя бивак, Вениамин нашел спящую Симку. Отметил себе, что ночью девушка устроилась на ночлег разумнее и практичнее, чем многие солдаты, уснувшие кто где упал. Она спала, уютно завернувшись в плащ-палат-

ку, с трогательно налипшими на щеку мокрыми от дождя волосами. Палатки у ней, насколько Вениамин знал, никогда не было. Лишь у немногих сохранялся этот предмет солдатского комфорта. Кто-нибудь из солдат отдал ей свою, сам оставшись отмокать под дождем на серой весенней дернине, сквозь которую, только успеешь лечь, выжималась вода.

Те из спящих, кто просыпался, когда Вениамин проходил мимо, больше не пытались заснуть, а садились, ужимаясь, подтягивая колени к груди, пытаясь еще сохранить остатки належанного тепла.

Возле небольшой куртины краснотала тесно лежали трое, и один из них проснулся или и не спал вовсе. Когда Вениамин еще не дошел нескольких шагов, этот третий, стоя на коленях, начал гимнастические движения, сводя и разводя лопатки, резко поворачивая туловище в пояснице. Это был Алеха Ржанников, старший сержант, ветфельдшер, один из немногих, кого Вениамин знал с первых дней сформирования дивизии.

— Не спишь? — спросил Вениамин, разглядев в двух спящих под красноталом взводных лейтенантов.— Все наше высокое командование нежится спина к спине. Чего не спишь?

— Я карнач,— небрежно доложил Ржанников, употребляя забытое уже теперь еще из гарнизонной службы слово: карнач — караульный начальник.

— Часовые твои хоть не спят, карнач?

— Часовые горазды были спать на посту,— резонно сказал Ржанников,— когда мы стояли лагерем еще на Урале. А в нынешних условиях на посту не уснешь. Самоубийцев у нас нету.

— И то верно,— пробормотал Вениамин.

В последнее время на ночные посты охранения часто не требовалось и назначать людей. Находились бойцы, добровольно идущие на ночную охранную службу. И это было нетрудно понять: нет хуже, чем, разоспавшись, вскидываться под огневым налетом вражеской артиллерии.

Рассвет не костер. В свой час он без человеческого усилия разгорается все ярче, несмотря на неимоверную мокреть вокруг. Пора было командовать подъем. Но даже

утренние подъемы теперь приходилось делать возможно бесшумнее, вполголоса. Без страстного причитания медной трубы, без переливчатого посвиста роговой свистульки, без бодрого старшинского кукареканья...

Пока командиры взводов поднимали народ, Вениамин с одним из лейтенантов прошел к лошадям, ночью отведенным в глубину перелеска.

Их и осталось-то голов двадцать. А точнее, было с вечера двадцать четыре коня, но теперь, идя прямиком через кусты, с которых обильно срывались и попадали непременно за ворот крупные капли, Вениамин думал: а сколько их дожило до утра? Шальной ночной пулеметный огонь, похоже, не нанес большого урона в людях. Другое дело — лошади, у которых нет сноровки ложиться при большом обстреле.

Чуть ли не жальчее, чем гибель друзей-товарищей, было видеть, как гибнут боевые кони. Человек что? Он существо сознательное, имеющее опыт самосохранения. Кони, прошедшие через все то, через что прошли люди, умеют только глазами спрашивать: за что нам это? Мы ли не несли безропотно свою службу. Ему порой думалось: если и выйду живым из этой войны, все равно не будет мне мира и покоя от одной памяти об этих скорбных конячьих глазах.

Еще в тыловых местах дислокации, с первых дней формирования, в дивизии было немало разговоров о надобности учить лошадей ложиться при артиллерийских и минометных обстрелах. Но лошадь не человек, нужно длительное время, чтобы закрепить у ней рефлексы... И на опасность за всю войну они научились отзываться лишь так, как доступно их разумению. При цвирканьи пуль над самыми головами они лишь охлопывались хвостами, беспокойно оглядываясь; принимали пули за слепней. Другое дело, когда в небе появлялись грозно, с подвыванием рыкающие чудовища, а вслед за тем какая-то непостижимая, немыслимая сила начинала взметать землю, целые холмы земли подымать в воздух и валить деревья, и вселенский грохот при этом рвал уши и останавливал дыхание — этого кони не выдерживали. Сначала прядали, оседая на задних ногах, подымались на дыбки, рвали поводья. Век не забыть, как они испускали при этом страстный и жалостный визг, надеясь, ударившись в бег, еще спастись от этого земного громоизвержения.

29 Заказ 382

Стоянку они нашли скоро, и кони были все в наличности: столько, сколько их насчитывалось вчера. И все благодаря тому, что коноводы умеют как-то почти ощупью, ночью, в незнакомом лесу выбрать удобное место.

Где-то среди двадцати четырех голов стоял и Вениаминов Гошка. Он получил этого коня еще в Подмосковье и ездил на нем, выходит, больше полгода. По учету старшины кличка у коня была какой-то иной, но Вениамин ее уж и не помнил. Привык называть его: Гоша, Гошенька. И конь привык к этой своей новой кличке. Зимой, когда и коням и людям в полку жилось еще относительно сносно, Вениамин утром, подходя к стоянке, еще метров за тридцать подавал голос: «Гоша... Егорушка». И Гошка немедленно отзывался легоньким приветственным ржанием. Но то бывало, когда при утреннем свидании у Вениамина еще находилось в кармане что дать коню. Хоть полсухаря из своего дневного пайка.

На этот раз, подходя к стоянке, Вениамин не подал голоса, чтобы не пробуждать у Гошки несбыточных сухарных надежд. Но все равно конь учуял его по запаху ли, по походке. Приостановившись возле него, Вениамин положил ладонь на бархатные Гошкины ноздри. Но конь только всхрапнул и сбросил руку своего капитана, давно уже не пахнущую ничем хлебным.

Никто в группе уж несколько дней не поднимался в седло. Все кони использовались только для носки раненых; тяжко раненные — по двое на коня, в носилках из палок с лямками через костистый хребет животного. Раненые, еще способные сидеть на коне, ехали по двое верхами, держась битый за битого.

Вениамин распорядился, чтобы грузили раненых, думая при этом, что не все кони смогут нести по два человека. Кавалерийский конь безответен, знает свою участь — переставлять копыта до последней капли силы. Но когда встанет, расставит ноги, сделавшись похожим на скамью, и понурит голову, тогда его уже бесполезно понуждать к походу.

Насколько еще удастся уйти сегодня, если даже допустить радужную возможность прорыва через позиции противника?

На военном языке это называется: просачиваться. Будем просачиваться, насколько нас хватит.

С троганием с места следовало поторопиться.

Немцы за ночь могли успеть наладить связь между своими подразделениями, обложившими группу, уточнить границы своих позиций. А тогда их артиллеристам будет самое разлюбезное дело: шуровать по квадратам — по площадям, поскольку наблюдательные пункты все равно в лесу глухи и слепы. И Вениамина все утро заботило одно: куда угодно, но сместиться, покинуть район своей ночевки, немцами, конечно, уже разведанный. Чтоб хоть первые шквалы беглого огня пришлись не по ним, а по пустому лесу.

Он с ощущением какого-то противного щекотания между лопаток,— словно ящерица снует под рубахой вдоль позвоночника,— ожидал первых минометных или орудийных выстрелов, первых шелково шуршащих на лету снарядов над лесом.

Дождался, однако, другого.

Музыка буквально обрушилась на них, как набравший силу оползень с крутой горы. Это был металлического тембра, вроде хождения по железной крыше, музыкальный грохот. И всегда-то музыка в лесу, да еще самым ранним утром, воспринимается странно и ненатурально, как привидевшаяся во сне. А тут еще смоленский лес и такой-растакой грядущий день...

Над лесом гремел знакомый марш: «Утро красит нежным светом...» Только без слов, одна мелодия. И пластинка, поставленная на диск патефона, была заиграна еще до войны в каком-нибудь местном сельском клубе.

Немцы дали пластинке докрутиться до конца. Последние витки ее были повреждены, и вместо конечных музыкальных фраз слышались одно шипение и треск на весь лес. Потом невидимые радиотехники у немцев поставили новую пластинку. Это была увертюра «Эгмонт». А после «Эгмонта» сытый, с картавиной голос на довольно правильном русском языке начал говорить то, чего изнуренные, до ручки дошедшие кавалеристы ждали с презрением и непокорством. Слыхали уже это и раньше, читали в листовках, щедро сбрасываемых немцами с самолетов.

Немец убеждал бросить бессмысленное сопротивление, идти к нему в гостеприимный плен.

— А наши повара для вас уже подготовили сытный завтрак,— добродушно рассказывал диктор.— Вон непода-

леку от меня стоят три полевые кухни. Вижу парок, идущий из-под крышек котлов. На завтрак у нас сегодня лапша со свининой. Густая лапша, ложка стоит...

Когда невидимый динамик умолк, один красноармеец сказал:

— Лапшичкой немец нас заманивает. Знает, на какую кнопку жать. А вон Нугаманов у нас все равно свинину не кушает.

Да еще Ржанников, помедлив, помаявшись в рассуждении лапши, вдруг горячечно зашептал Вениамину:

— Слушай, капитан. Разреши, я сползаю в ту сторону. Может, удастся этому зазывале подкинуть под ж-ж... гранату.

— Не дури,— коротко охладил его капитан.

Прежде чем они снялись с места, Вениамин еще уловил, как один из лейтенантов провел самую короткую политбеседу из всех, какие людям приходилось слышать. Он не обращался при этом ни к кому в отдельности. Просто сказал, чтобы слышал каждый, имеющий уши:

— Из тех, кто у меня на глазах, к немцу в плен не уйдет ни один. Всем понятно?

Ему ответил один из стариков полка — пожилой боец минометной батареи:

— Не разоряйся, лейтенант, понапрасну. Кто домысливал для себя такой план, тот давно уж там. Постыдись, лейтенант. Мы все не меньше твоего хлебнули горя в этом рейде. Зачем обижать людей?

Вениамин знал, что люди, сплотившиеся сейчас в его группу, будут драться до последнего. В группе было сейчас сотни полторы сабель.

Правда, сабли, в прямом физическом смысле, кавалеристы и всю-то зиму возили притороченными к седлам, а в последнее время, возьмись проверить, и вовсе не оказалось бы, может, и десятка клинков. Но привычка считать силу группы в «саблях» еще оставалась.

Он знал, что эти полторы сотни людей в его группе — отборный народ, мужественный, несгибаемый. Но кто знает, как они представляют себе эти последние бои на прорыв. Может быть, думают, что он, Вениамин, знает что-то им не известное. Может быть, рассчитывают, что «капитан с большой картой» знает в линии фронта слабое место, где можно легче пройти. Или просто руководствуются мудрым солдатским рассуждением, что в самых

тяжких боях практически люди редко гибнут до единого. Всегда хоть десяток из сотни остается в живых. Но онто знает, что у группы шансов попасть на слабое место в линии фронта так на так. И нет у него никакой связи с войсковыми штабами по ту сторону, и нет никакой разведывательной информации.

В одном правы эти ребята, доверившие ему командовать группой. Всем известно, что при выходе из такого рейда, там, «дома», каждому в отдельности еще предстоит пройти через контроль особых отделов. И люди думают, что выход к своим с капитаном-особистом избавит их, по крайней мере, от излишних придирок на контроле.

И он думал: ладно, пусть хоть в этом люди не ошибутся во мне.

Наконец-то наконец группа, сколотившись в несколько условных взводов, покинула место своей ночевки. В лощине, по которой проходила опушка приютившего их на ночь леса, еще надежно, не колышась, не рассеиваясь, стоял туман. Вениамин остановился на опушке, пропуская первые взводы, вьючный обоз с ранеными посредине.

Они не прошли еще и километра в вязком молозиве тумана, как позади послышался дерущий по коже, ржавый и словно бы скорбный скрип.

Шестиствольные минометы сработали как раз по месту ночлега отряда. Вениамин успел издали еще увидать серые башенки вставших над лесом разрывов. Башенки распадались на глазах, роняя стволы небольших сосен, вырванных с корнями и поднятых в воздух разрывами тяжелых мин.

«Все-таки есть на войне бог удачи,— подумал Вениамин, догоняя отряд.— Как, впрочем, и бог тяжелых неудач. Но пока эти два божества соперничают между собой, мы еще живем. Еще живем...»

Самым тяжким делом в этом их положении были пробуждения по утрам.

Засыпая где бы ни было,— хоть на мшистых кочках, сразу облегающих тело обманчивым постельным уютом, где, однако, вскоре же снизу начинала подступать вода; хоть на куче крупного хвороста или зимой в снеговой

пещерке,— человек все равно увольняется из войны, к тому же он надеется, что, может быть, удастся увидать во снах что-нибудь свое, душевное, домашнее, довоенное.

Но пробуждения бывают такими, что лучше бы не просыпаться. С пробуждением война сразу хватает за кадык... В одно такое утро Вениамин проснулся ослепшим. Он спал на седлах и каких-то мешках, набросанных как попадя в повозку. Повозка была не их, а чья-то, брошенная гораздо раньше воевавшей в этих краях воинской частью. Колеса ее по ступицу погрузли в мягкую торфянистую почву, и стебли еще прошлолетошного бурьяна росли сквозь решетку боковин высотой до верхних слег. Ночью, чтобы не ложиться наземь, Вениамин покидал в повозку разное имущество старшины и уснул, как только уронил голову.

Поспав столько, сколько позволило ставшее привычным состояние сторожкого полузабытья,— полным глубоким сном они все теперь уж не знай когда и спали,— Вениамин сел в повозке, с досадой смаргивая пелену с глаз, бормоча: ослеп, что ли?

Но это была и в самом деле слепота. Он слышал где-то близко голоса своих людей, но никого не видел. Нащупал грядку повозки, но не видел ни ее, ни своей руки. Только по предутренней сырости воздуха, по запаху листвы, который всегда в чернолесье так усиливается на утренней зорьке, он понял, что сейчас уже не ночь. Он ослеп безошибочно и натурально.

Это продолжалось, может быть, минуты три-четыре. Потом зрение начало восстанавливаться. Он снова увидал все то, что минуту так неистово хотел видеть: разницу в тонах между серым небом и окутанной в туман землей, боковину телеги и седла, как попало набросанные в ней.

Позднее, пока не вышли из рейда и не поступили на обычное безобманное армейское питание, такая утренняя слепота посещала его еще раза два. Их эскадронный фельдшер, младший лейтенант, объяснил ему это сдавливанием во сне какого-то нерва — «нервус офтальмикус». Никто не любит так всему давать научное объяснение, как юные фельдшера в звании младшего лейтенанта...

Когда движешься по затянутым сеткой дождя глухим местам, обходя селения, легко теряется ориентировка,

представление о странах света. Вениамину и самому порой казалось, что они все время смещаются влево и давно отклонились от выбранного направления на северо-восток. И надо было снова и снова проверять извилистый маршрут по карте, чтобы убедиться в приблизительной верности своего пути.

Вечера теперь были все же отраднее утренних пробуждений. Вечера приносили несколько часов зыбкого сна; ночью немцы тоже утихомиривались, прекращая преследование отрядов и групп, рассеянных по округе. Зато с рассветом надо не мешкая подымать людей, определяться на местности. Как в то утро, когда таясь в мелколесье, Вениамин опять выбрался на опушку, где осинник рос вместе с молодым дубняком.. Ночевали они опять в перелеске, километрах в полутора от деревни, в которой могли быть и немцы.

С опушки осиново-дубовой рощицы, маскируясь широким кустом, Вениамин несколько минут всматривался в деревню, смутно видную через лощину на обратном скате очень пологой высотки. Высотка и деревня лежали в том направлении, куда им выгоднее всего было двигаться. Пересечь днем открытую местность расстоянием километра три было рискованным делом. Худо было и обходить это опасное место по широкой дуге. Это уводило бы их в сторону с основного направления.

В деревне не было заметно никакого шевеления, словно там не было ни одной живой души. Вглядываясь в утреннюю муть, Вениамин подумал, что не мешало бы послать кого-то разведать в деревушке обстановку. А если посылать, то опять-таки Леху Ржанникова, без которого Вениамину все труднее стало обходиться.

А Леха, как духом чуял, что он нужен, оказался тут, в трех шагах. Пожалуй, только теперь Вениамин начал понимать, что и у этого отчаянного парня бывает тревожно на душе. Поэтому и старается он держаться поближе к Вениамину. Вот еще нашлась родственная душа, подумал капитан. Но сказал вместо этого:

— Надо было бы тебе ночью сходить туда.

— Было схожено,— пожевав травинку, словно нехотя, ответил Ржанников.— А толку что?

Он сидел на корточках, прищуриваясь в ту сторону, куда «было схожено». И только тут Вениамин заметил, что на нем надет немецкий мундир, не тот, в котором

он ходил раньше, а темно-серый, с орденской ленточкой.

Вениамин со Ржанниковым служили в полку еще с подмосковных боев, а таких даже к тому времени, пока полк еще существовал, оставалось немного. Теперь же, когда вместо полка на выход из рейда пробивалась лишь группа «капитана с большой картой», старожилов полка можно было пересчитать по пальцам. Вениамин и сам, когда пытался счесть своих однополчан-старослужащих, кроме их двоих со Ржанниковым вспоминал только одного бойца из минометной батареи, одного повозочного да своего коновода Лукича, шумливого черноусого дядьку из обрусевших югославов. В доброе время, пока люди еще не разучились шутить, его прозывали Дундичем. Может, Вениамин, если напрячь память, мог бы вспомнить и еще кого из них. Но всякое лишнее усилие усталого ума теперь ему стало обременительным.

Если бы Вениамину пришлось написать на Лешку какую-нибудь служебную характеристику, он написал бы: знаю Ржанникова с декабря сорок первого года. Это было бы и правдой и неправдой, потому что впервые Ржанников начал мелькать у него перед глазами еще на формировке, еще на Урале. Но по-настоящему узнаешь человека, все же поглядев, как он ведет себя в бою. И лучше, если в ближнем бою.

До зримой весны полк усох в своем людском составе и подбился с оружием и имуществом. Но, странное дело, за это время он как бы мускульно окреп, стал выносливее, двужильнее. Так бывает, когда человек втянулся наконец в непривычную тяжелую работу, отвердел, но вместе с тем и приобрел необходимую в труде сноровку. Полк потерял приданные средства — минометную батарею и все три свои противотанковые пушки. Минометы пришлось бросить из-за крупных вмятин на трубах, из трех пушек исправной оставалась одна, но и ее было решено подорвать после того, как артиллеристы приголубили последним осколочным снарядом один из небольшой колонны немецких грузовиков на шоссе. И ведь бывает же: пушка словно знала, что это последнее добро, какое она может сделать для своих людей. В разбитом грузовике оказалось сотни полторы кирпичиков свежего хлеба с поясками-этикетками да десятка полтора кругов сыру диаметром чуть ли не с тележное колесо.

Что-то Вениамин ни от кого не слыхал сожалений по поводу потери минометов и пушек. Кто-то из солдат сказал об этом, когда никто из начальства его не мог услыхать:

— Может, и к лучшему. Будем воевать теперь, как Леха Ржанников.

Ни в каких учебниках по тактике не предугадывался характер, лицо войны, каким она обернулась для полка теперь,— война на истребление. Вероятно, у немцев все три полка кавалерийской дивизии, рейдирующей по их тылам, в боевых донесениях и сводках давно были причислены сначала к расчлененным, рассеянным по окрестным лесам, а потом, для убедительности, и к уничтоженным.

Но полк жил и дрался. Иначе зачем бы немцам без конца на больших площадях с помощью авиации и разнокалиберной артиллерии превращать там и тут смиренные, словно паутинно-тонкой дымкой затканные смоленские леса в непролазные дебри валежника и бурелома.

В рейде с первых месяцев стал нарушаться штатный распорядок, когда каждый занимается тем, что кому положено. А когда полк превратился в отряд сотни полторы человек, ведомый «капитаном с большой картой», и совсем пришлось забыть, кто по штату кем был раньше.

Был когда-то Вениамин особистом со своими точно расписанными обязанностями. И даже захотелось бы, так не вправе был впутываться в другие, строевые дела. Да было ли это? В голове у него теперь держалась от недосыпа и изнурения какая-то странная дымка. Это было похоже на охмеление, но хмель без веселья и взбадривания. Чадный упрямый хмель в отчаянной голове. У всех у них была такая дымка в голове, которая приходит, может, затем, что с нею легче умереть, если оно придется.

Позднее ему не по прихоти, а по нужде пришлось стать временным начальником разведки полка, и тут только он по достоинству оценил Леху Ржанникова. Тот тоже уже, наверное, и забыл, что был в полку по штату всего лишь ветфельдшером.

Впрочем, он и разведчиком себя никогда не называл. Ему больше нравилось называться лазутчиком, и это слово подходило ему действительно лучше.

А быть лазутчиком, как Вениамин скоро понял, значило обладать такой сноровкой, какой не обладает и из сотни один. В полку, во всяком случае, равного Лехе Ржанникову не находилось.

— Весна нынче издалась в нашу пользу,— сказал как-то Ржанников и со своей привычкой говорить, веселя ребят, что-нибудь как нельзя более некстати добавил: — В карты не везет, так хоть в любви...

Апрель-май в этом году здесь действительно был богат легкими, бархатными, благодатными недельками. Сменяясь золотистыми ведренными днями, к земле время от времени припадали белопенные, как парное молоко, дожди.

Но не благом для урожаев Ржанникову пришлись по душе эти дни. Погода пришлась ему как нельзя более кстати потому, что позволяла по ночам лазить по кустам и раздобревшим бурьянным травам совершенно беззвучно. А ночью, когда все мы полагаемся больше на слух, чем на зрение, для разведчиков-лазутчиков это беззвучие было залогом жизни. У Ржанникова же на это был особый талант. Травяная лягушка, прыгающая в траве, производила бы больше шума, чем он, когда полз к вражеским позициям.

В этом Вениамин имел случай убедиться самолично. В какую-то ночь он тоже выполз через поле, заросшее заячьим горохом и какими-то еще полукустарниками, довольно близко к постам немецкой дивизии, заблокировавшей весь впереди лежащий лесной массив. Где-то впереди, метрах в трехстах, сидели немцы-часовые, которые вели себя не очень скрытно: о чем-то вполголоса судили-рядили, кажется, курили даже, прикрываясь полой шинели. Так ведут себя ночью на постах люди, когда знают, что впереди их есть еще посты-секреты. Обозначая свой «передок», немцы время от времени запускали в небо сигнальные цветные ракеты, ничего не освещавшие на земле. Такая совершенная была тишина в природе, что чужеродными ей казались любые звуки, исходившие от человека. Вениамин слышал голоса сигнальщиков-ракетчиков, и щелканье зажигалки, и сдержанный чих часового, и шелест металлической патронной ленты ручного пулемета, которую чья-то рука поправила в приемнике.

Вениамин выполз, чтобы на слух определиться насчет

линии постов и относительно того, насколько густо лес насыщен вражеской солдатней, и, может быть, услыхать что-то характерное для артиллерийских и минометных огневых позиций. Мало ли что можно услыхать на вражеской передовой, умеючи слушая. Выполз он на свой послух не один: двое ребят из тех, что поглазастее и поушастее, которых он взял себе для прикрытия, лежали где-то шагах в тридцати позади.

Кто сам выползал в такой дозор, знает, насколько все обострено, все струнно звенит в человеке в такой час. И тут, когда меньше всего он этого ожидал, на его бедро легла чужая рука. Круто извернувшись, опрокидываясь на спину, он поджал ноги, чтобы ударить ими нападающего, а вслед за тем вскинуться, вынося вперед руку с ножом... Но никто на него не напал, только дважды качнулась поднятая из травы смутно видная рука открытой ладонью вперед. И это был Леха Ржанников.

— Давно ты тут? — спросил Вениамин, когда треск взлетающей вверх очередной ракеты заглушил его шепот для чужого слуха.

— Минут пятнадцать, пожалуй,— с ночной истомой в голосе ответил Ржанников. Лишь позднее, вернувшись к себе в эскадрон, Вениамин нашел досуг подумать о том, как вообще Ржанников оказался в эту ночь рядом с ним. В том, что он сумел проползти неслышно мимо двоих солдат, лежащих где-то позади, не было ничего удивительного. На то он был и Леха, чтобы ночью в лесу его не увидал, не услыхал ни свой, ни чужой. Но откуда ему было знать, что Вениамин пошел в поиск — послушать, что делает немец? И зачем Леха пошел следом? Разве только затем, чтобы подстраховать лично своего командира, не доверяя тем парням, которых Вениамин позвал с собой. Никакого другого объяснения этому не находилось. Как-то Вениамин сказал ему:

— Ты так ловко ползаешь по-разведчески, можно подумать, что и раньше, в гражданской жизни, только этим и занимался.

— Стал бы я там брюки зеленить,— живо отозвался Леха.— А здесь штаны казенные...

Насчет «казенных штанов» Ржанников явно грешил против истины. По ту сторону фронта вся армия в апреле, к первомайским праздникам, переодевалась в летнее. Но здесь, в рейде, люди оставались в чем были зимой.

Только Ржанников в числе немногих других смог по весне сменить ватные брюки на более легкие. Сменить на такие, какие бог послал. А бог послал ему даже не брюки, а портки цивильного старославянского образца, носимые не на ремешке, а на веревочке-гашнике.

А на плечах Леха носил немецкие кителя, сменив их за весну несколько. Первый был обычным, цвета болотной тины, пехотинским кителем. Но через некоторое время на Лехе появился другой китель, темно-серый, танкистский, с ленточкой «Железного креста», которую носят, продевая в третью снизу пуговичную петельку. Где он брал немецкую обмундировку? Леха только насмехался, когда расспрашивали об этом.

Ватная телогрейка у Лехи Ржанникова тоже имелась. Эту штатную, полученную прошлой осенью из рук ротного старшины одежду он не бросил. Только использовал телогрейку он весной по не совсем обычному методу: ложась спать на голой земле, он засовывал ноги в рукава своего ватника. Он придерживался мнения, что человек в этих условиях больше всего должен беречь ноги. Голова что? Она одарена разумом и потому должна сама о себе позаботиться. А ноги надо беречь.

Вениамин уже давно пристально, с тревожным интересом следил за всем, что делал этот парень, стараясь понять нечто непостижимое в нем.

Конечно, Ржанников — смелый парень. Но смельчаков в полку, умеющих с толком рисковать, было и кроме него немало. Но то была смелость в делах, исполняемых по приказу, смелость по службе. А так просто: среди ночи встать и, никому не докладываясь, сползать в сторону немецких постов мог только Леха. С ним было так, словно сам себе наскучив, он раз за разом испытывал судьбу, а та в свою очередь решила с ним быть до конца милостивой. Было в его поступках даже самовольство, которое в условиях войны по ту сторону фронта ему даром бы не сходило. Здесь же приходилось со снисхождением смотреть на его молодецкие утехи, потому что для ближней разведки это приносило немало пользы.

Иногда казалось, будто кто-то нагадал, наворожил ему неуязвимость в этой войне, и Леха крепко и слепо уверовал в эту ворожбу. Вениамин однажды подумал: интересно, как бы устроил свою жизнь Ржанников, не будь войны? И тут же решил: а так бы и устроил. Мирно ра-

ботал бы в своем колхозе, жил первым парнем по своей деревне, гулякой и угодником всех легконравых сельских молодиц. На свою голову немцы разбудили в нем жестокую лихость, которая могла бы никогда не проснуться.

Как-то в минуту несвойственной ему серьезности, уже сделавшись ближним подручным Вениамина в делах разведки, Леха сказал:

— Навыдумывали всяких теорий в военной науке... А теория тут одна: человек и на войне не может быть постоянно как штык. Возьми солдата-немца на посту. Никто не может все два часа выстоять, улавливая каждый шорох, пялясь в темноту широко открытыми глазами. Все равно отвлечется, чтобы о доме подумать, о бабах, о фельдфебеле, который за три дня шнапсу недодал. Зимой надо потоптаться, руками поразмахивать, не то околеешь вконец. Летом вши донимают солдатика, а когда он чесаться примется, тут его и бери.

— Надо же подползти совершенно бесшумно,— сказал Вениамин.

— А это дело техники,— беспечно откликнулся Леха.

С собою в поиск Леха не любил брать никого. «Лишний шум, да еще береги их, помощничков». Лучшим оружием для такой оказии считал нож-финяк, гранату да пистолет за пазухой.

Делясь опытом с ребятами, он говорил:

— Немец ночью всегда себя покажет, только сам не зевай. То он сидит ракеты подбрасывает в темное небо, то из пулемета тешится наобум-Лазаря. То его кашель долит...

— Ну подполз ты метров на десять-пятнадцать,— спрашивали его.— А дальше что?

— На пятнадцать метров далековато,— медленно говорил Леха, как бы мысленно прикидывая расстояние.— Надо ближе.

Ему возражали: но ведь в этом и дело. Пока ты подберешься близко к немецкому посту боевого охранения, тебя сто раз могут услыхать, обнаружить.

Ржанников пояснил:

— Если ты такой сундук, что тебя могут обнаружить сто раз глухой темной ночью в мелколесье или бурьяне, тогда тебе и дома, в деревне, бесшумно к девкам, ночующим на сеновале, подобраться не суметь. Но один раз случайно засечь меня, ползущего к нему, немец может и

даже должен. Такая у него служба. Ну и что за страсть? Сумей только скоренько сменить позицию. Да сообрази, в какую сторону тебе ловчее перекантоваться. Просто удирать на четвереньках к себе обратно я бы не советовал. В том месте, где тебя застукал, и по линии отхода немец из пулеметов всю траву выстрижет, худую и добрую, как стригут волосы на вшивой голове. А ты, ты не будь дурак...

Его спрашивали: а последний бросок? Если немец-часовой базарить начнет, голосить.

Разведчик терпеливо объяснял:

— Ты вообрази себе мешок с овсом килограммов семьдесят. Если его сбросят на тебя сверху, сумеешь ты устоять на ногах, успеешь крикнуть?

И тут его все-таки уводило на кое-какую сдержанную похвальбу:

— А я ведь не мешок с овсом. И у меня в руках вот это...— он трогал висящий на поясе нож с трубкой от противогаза, натянутой на рукоять.— Кроме того, я когда-то в фельдшерской школе изучал анатомию...

— Анатомию животных,— напоминали ему.

— А велика ли разница? Уж я как-нибудь знаю, куда ударить ножом. У меня фридрих много не набазарит.

Кто-нибудь, желающий досконально разобраться в Ржанниковской методике нападения на вражеские посты, спрашивал:

— Ты сравнил: мешок с овсом... Мешок, к примеру, падает сверху, а тебе приходится действовать снизу вверх, из положения лежа.

— А ты не будь трындой, а будь пружиной,— резонно советовал Леха.

Вениамин проснулся от того, что чей-то голос в телефоне раздраженно, хрипло, раз за разом повторяя все одни и те же слова, требовал:

— Доложите обстановку.

В воюющей армии нет других двух слов, которые произносились бы так же часто, как эти. Сверху донизу, от генерала до лейтенанта, каждый офицер по нескольку раз в день требует от кого-нибудь из подчиненных: доложите обстановку.

Еще не открыв глаза, он вспомнил, где находится и

что чье-то занудливое требование доложить обстановку ему только приснилось.

Спал он на этот раз под навесиком из свежих веток, что в их нынешнем положении можно было считать редкостным комфортом: хоть не моросит ночью роса в ноздри и в полуоткрытый во сне рот. Накануне они встали на этом биваке почти в полдень; получилась чуть не дневка — тоже роскошь непостижимая.

Накануне, еще задолго до сумерек, Ржанников с двумя другими парнями уходил разведать ближние дороги. Ему было сказано, чтобы не зарывался далеко от отряда, в этом все равно не было нужды. Но посланные не вернулись ни через два часа, как ожидалось, ни поздним уже вечером. И Вениамин, засыпая, все думал о своем разведчике. Вполне могло быть, что парень уже и не вернется. Но не вернуться он мог и прежде, из любой из своих прежних отлучек. И Вениамин нельзя сказать, чтобы не беспокоился, но думал о группе Ржанникова не слишком скорбя. Давно уж все они привыкли к тому, что лишние душевные переживания ничему не помогут. И когда теряли человека, можно было подумать, что это никого особенно не трогает. Сегодня — ты, завтра — я. Но это были лишь кажущиеся равнодушие и черствость. Просто прежние человеческие чувства стали теперь как-то иначе проявляться.

По всему этому, когда Вениамин проснулся и еще не открыв глаза услыхал, что где-то близко бурчит Леха Ржанников, что-то рассказывая друзьям, он будто даже не обрадовался, а лишь подумал: «Вернулся, дудкин сын. Попробовал бы он не вернуться, я бы с него шкуру спустил клочьями». Только в этой нелепице подумавшегося и проявилось то, что он, как-никак, радовался живучести своего разведчика.

Но в воркотне вполголоса, которою забавлялись ребята метрах в десяти-пятнадцати от навесика, Вениамину примерещилось и еще что-то особенное. Он пригляделся к призрачно маячившей в утреннем полусумраке группе своих ребят, прислушался, помедлил все в той же позе — ноги калачом. И по голосам сумел понять все, что там происходило. Ночью Леха привел пленного, и ребята теперь забавлялись с ним: учили его материться. Пленных в отряде уже давно не бывало. Давно уже им было не до жиру, то есть не до того, чтобы брать пленных. Да

если бы кто другой, а не Леха Ржанников привел в плен живого немца... Леха всегда считал, что с мертвым немцем как-то приятнее иметь дело, чем с живым, хотя бы даже и обезоруженным.

И Вениамин, разминаясь на ходу, изгоняя боль в суставах от спанья на сырой земле, пошел туда, где Леха, в меру привирая, повествовал о своих ночных похождениях.

Когда Вениамин подошел к сидящим на подстеленных плащ-палатках, один немец встал и подобрался как положено солдату. Это был ладный, фигуристый немец, умеющий отдавать почтение начальству: хоть бы и в плену, хоть бы и офицеру чужой армии.

— Когда вернулись? Почему не доложили сразу? — спросил Вениамин Леху, который соизволил встать только, когда к нему обратились.

— Когда я вернулся? — играя в простачка, спросил Ржанников ребят, с которыми ходил в поиск, полуобернувшись к ним. И говорил он, когда ему хотелось придуриваться, как-то сминая слова: — Когда я вернулся? Часов у нас нету на весь отряд ни одних. Стожары вот эдак стояли.— И он через плечи показал, как стояли Стожары в теперь уже посветлевшем небе. А докладывать... Что доложишь, когда нечего. На Чеславку ходу нету, на Абрасимово тоже не пройти.

— Этого зачем привел? — спросил Вениамин, кивком указывая на немца. Пленные немцы в качестве «языков» давно перестали интересовать отряд. Да и не было в отряде никого, кто бы знал язык достаточно для допросов.

Леха сказал:

— Этот немец по-русски разоряется не хуже, чем наши лекторы из общества безбожников. Только матькаться еще толком не умеет.

Повернувшись к немцу и минуту молча его поразглядывав, Вениамин без особого интереса спросил обычное, с чего начинают допросы пленных: имя, звание, в какой части служил?

И немец внятно, наторело ответил, назвав имя, которое Вениамин не запомнил и на полторы минуты. Не тем была занята голова, чтобы помнить имя немца, который все равно не жилец.

Рядовой такого-то егерского полка, отчеканил еще пленный. Но что егерского, это Вениамин видел и сам по бо-

тинкам, которые егеря носили вместо сапог, и по шерстяным гетрам-наголенкам с узорчатыми отворотами.

Кроме всего этого немец рассказал еще, что в рядовые он разжалован за длинный и глупый язык. Что войну он начал капитаном, но прошлой осенью в офицерском клубе нелестно высказался о военном таланте Гитлера.

— Доносчиков же в нашей армии — как это по-русски? — полным-полно. А у вас? — осмелев либо решив: пропадать так хоть браво, спросил немец.

Позднее — не от самого Ржанникова, а от ребят, сопровождавших его,— Вениамин узнал и то, как этот, в рубашке родившийся немец был пленен, а не продырявлен на месте не знающей удержу Лехиной рукой.

Накануне под вечер они шныряли по мелколесью километрах в трех от своего бивака.

Вечер еще искрился пока лишь предвестием сумерек, но немцы — кто этого не знает — в предвечерье со сдержанным клохтанием уже теснятся поближе к своим нашестам. Немца в лесах было много, но не столько, чтобы заполнить, удозорить все скрытые места и складки местности. Иногда разведчики проходили так близко от немецких ночлежных стоянок, что в тишине леса было слыхать какой-то лязг металла, стук топоров, голоса. Где-то прогундосила несколько музыкальных тактов беспечная губная гармошка и сразу смолкла, прерванная начальственным окриком.

Будь хоть война, хоть иная какая беда, а недвижный кристаллический вечерний воздух с растворенной в нем закатною оранжью все равно вселяет в душу необъяснимую сладость, покой и печаль.

Разведчики гуськом пробирались вдоль хорошо наезженного проселка, идущего по широкой просеке. На самый проселок не выходили, только изредка обозревая его вперед и назад из кустов. И потому, не будучи сами замеченными, издали увидели парный патруль немцев, наряженных контролировать дорогу.

Чуть заметным жестом Ржанников велел двоим своим ребятам залечь и страховать его из кустов — буде понадобится — огнем своих карабинов. Сам же, когда патруль был метрах в десяти, вышел из кустов, затягивая ремешок штанов, словно только что всласть справил свою необходимейшую нужду. Свою шапку он сбросил еще в кустах и смело шел навстречу патрулю, простоволосый,

в грубых немецких сапогах и в их танкистском кителе с ленточкой «Железного креста» в третьей снизу пуговичной петельке.

Кажется, патруль окликнул его, Леха, добродушно улыбаясь, ответил лишь двумя, единственно известными ему немецкими словами: хенде хох. Но по закону нелепой удачи это оказались как раз те слова, что были нужны, чтобы убедить немцев: перед ними свой. Только свой кровно немецкий придурок мог позволить себе в настороженном лесу на глухой дороге такую кретиническую шутку. И они допустили вплотную к себе. А действовать вплотную ко врагу Лехе было не привыкать-стать. Всего один Лехин выстрел из пистолета в густом вечернем воздухе, сделанный к тому же в упор, даже ребятам в кустах показался не слишком громким. Выстрелил он немцу в какое-то такое душевредное место, что лишь икнул, упав лицом между двух кочек, будто не желая ни видеть больше ничего, ни знать. У второго немца Леха схватил висящий на шее автомат и так рванул на себя, что протащил его, уже упавшего, шага два. Он так резонно овладел оружием, что у немца сразу из надорванного уха закапала на воротник мундира свежая кровь.

Кто знает, что бы сделал Ржанников, расправляясь и с ним, но немец, приподнявшись, упираясь руками в землю, вдруг торопливо и чисто по-русски сказал совершенно неожиданные слова:

— Эй, русский, кончай ночевать, Билимбай, Таганай, Чусовая...

Задуматься тут,— если бы был досуг задумываться,— можно было бы не над смыслом слов, а разве что над тем, откуда он знает не каждому и русскому известные географические названия. Положим, ходовые армейские выражения, вроде тех, какими сержанты утром поднимают своих солдат: «кончай ночевать» и «вылетай как пуля», немцы давно затвердили, так же, как наши люди позапоминали некоторые расхожие выражения из немецкого армейского языка. Случалось же, что иногда вечером для общей потехи, если траншейки позиций пришлись достаточно близко, немцы выкрикивали нашим: «Эй, русский, сухари делил? Кому, кому?» А наши ответно кричали: «Эй, фриц. Махнем собачьи шубенки на два автомата».

Прямого смысла в том, что в страхе выкрикнул немец под стволом Лехиного пистолета, искать было не к чему.

Опасно сблизившись со смертью, скажешь еще и не такое. Но бессмыслица эта остановила руку Ржанникова, чего немцу только и требовалось на эти критические две-три минуты. Всего лишь Лехино любопытство позволило немцу остаться в живых.

Разводить с немцом тары-бары на открытой в обе стороны дороге было нерезонно, и они подались через какую-то ольховую рёлку и дальше — через поросшую глянцевым трилистником и мелким багульником болотину к своим. Уж достаточно научились они здесь выбирать себе дороги возможно более непрохожие. Труднее эта пробежка километра на три-четыре далась немцу, которому в другое время плюхать в его горных ботинках по колена в болотной жиже показалось бы нестерпимым и невозможным.

А сейчас его веселил и подбадривал его же автомат за спиной в руках одного из разведчиков. Кроме того, надо было еще торопливо и почтительно отвечать Ржанникову, который спрашивал на ходу, где немец «насобачился» так свободно говорить по-русски.

Не слишком-то удобно бывает разговаривать, когда двигаешься полубегом по заболоченным полянам и продираешься сквозь кустарники и лес, захламленный валежником. Но Ржанников ухищрялся спрашивать, а немец отвечать. И к тому времени, когда прибыли в отряд, разведчики уже знали, что немец им попал из побывавших в России. Когда-то, в первую пятилетку, он от фирмы, поставлявшей оборудование для одного уральского трубного завода, был послан в Советский Союз техником-монтажником, прожил там почти два года, достаточно навострился в языке. Но, вернувшись в Германию, он больше практиковаться в русском случая не имел. И только теперь, под дулом автомата, торопливо освежал свои знания, о которых думал, что никогда они ему в жизни не пригодятся.

А теперь что было делать с немцем? Об этом Вениамин не хотел и думать. Было у него немало других забот, среди которых одна существенная: кончилась карта. Кончилась не совсем: где-то по пути движения отряда, ближе к предполагаемой передовой, листы карты имелись опять. Но не было двух листов.

А два листа карты — это шестьдесят километров движения.

На следующем биваке, после того как Ржанников привел немца, он даже уснуть добрым сном не мог из-за этих карт. Забылся было минут на пятнадцать, погрузившись в дремотный туман, и снова его словно что-то подбросило на подстилке из мелкого хвороста. Без карты он потерял добрую половину уверенности в себе и надежды на успех.

Но приходила порой и успокоительная мысль: при таких групповых бросках через фронт бывает по-разному. Конечно, начнут поливать местность из пулеметов, артиллеристы противника поставят на пути группы заградительный огонь. У них зачем-то подвижным и неподвижным заградительным огням даются звериные названия. ПЗО «Тигр», ПЗО «Гепард». Но и через «Тигры» и «Гепарды» можно прорываться, если пофартит. Тут важно скрытно выйти к линии фронта...

Он пошел по своему биваку, обходя кусты, стараясь не задевать веток, не стряхивать капли росы на спящих по всему перелеску вповалку своих бойцов. Роса в эту ночь была ранняя, вечерняя, по-летнему душистая.

В одном месте он увидел пленного немца, который спал среди солдат-разведчиков на равных. Как свой среди своих. Солдат, спавший слева от него, выпустил из рук автомат. Немцу стоило только проснуться и протянуть руку... Семьдесят два патрона в диске автомата. Немец мог бы наделать отряду немало беды гораздо раньше, чем они достигнут зоны заградогней «Тигр» и «Гепард». Но раз ребята ему уже доверились... Вениамин только поднял автомат, переложил его, спрятав под палатку скорее от росы, чем от немца.

Хоть и не было в этом нужды, Вениамин пошел по граничной линии бивака — по сутеми, где справа более светлой, чем в лесу, полосой неба угадывалась опушка. По всей этой линии должны были быть посты охранения.

Он не сделал и полусотни шагов по опушке, как приглушенный и странно высокий голос окрикнул его обычным ночным: стой, кто идет? Пароль?

Но никакими паролями они в отряде уже давно не пользовались. И днем и ночью отряд бывал обычно весь в кулаке, рассредоточиваться не было надобности. В часы ночной тьмы на линию оцепления мог выйти только чу-

жой, у кого незачем спрашивать пароль. И он, уверенный, что кто-то спрашивает только для бодрости духа, наобум сказал:

— Одиннадцатый. Отзыв?

Но отзыв, к его удивлению, последовал. Высокий голос сказал: шесть. Выходило семнадцать — число, которое для пароля он бы никогда не выбрал. Нечто интимное, давнее у него было связано с этим числом.

— Капитан, вы? — снова сдавленно и испуганно спросил его часовой. И только теперь он понял, что часовым здесь стоит Симка — та девушка, штабная телефонистка, которая прибилась к ним после рассечения дивизии и наотрез отказалась остаться на гражданском положении в каком-нибудь селении.

Не видимый в темноте часовой, однако, не стоял в полный рост. Как опытный солдат, девушка затаилась на своем посту, соорудив низкий, как лаз в нору, скрадок. И Вениамин, шепотом спрашивая: «Где ты тут?» — опустился рядом. Наверное, ощупывая себе место, он тронул ее нечаянно и как-то так неловко, что она сердито прошипела:

— Ну, ну, убери лапы.

— Да не трогаю я тебя, ну тебя к черту,— добродушно сказал Вениамин.— Кто тебя ночью нарядил на пост? Мужиков у нас мало, что ли?

— Сама выпросилась. Мне на посту лучше.

Вениамин спросил еще, зачем она спрашивает пароль, когда никакого пароля у них не условлено. Чувствуя, что она мелконько подрагивает от робости и ночного неуюта, он сказал:

— Накрылась бы хоть плащ-палаткой.

— Ладно, жену свою учи,— неожиданно грубо отозвалась девушка.

— Да нет у меня жены ни на земле, ни на небеси,— все еще пытаясь удержаться в тоне добродушной шутливости, сказал Вениамин.

Но девушка еще сердитее сказала:

— Ты давай, капитан, иди по своим делам. Вишь ты, нашелся: нет у него никакой жены...

Ночь между тем не была ни пустой, ни беззвучной. Просто жуткая и непроглядно-мутная ночь. А звуков разных в ночи возникало предостаточно. Еще по дневной зрительной засечке Вениамин знал, что шерстистая

опушка перелеска, где они сейчас располагались, в нескольких десятках метров переходит в косое широкое разлужье, а там, где даль пропоясана серой тесьмой коренного лесного заклада, там уже местностью владеет немец. И где-то там, в ночи, вдруг закурлыкал пулемет, слышимый сейчас совсем иначе, всполошнее и дичее, чем днем. Словно таежный леший начал полоскать горло глинистой водой из овражьей промоины. Кто там мог быть, вдруг задавший страху немецким сторожевым постам? Случайная мелкая группа своих, тоже пробирающаяся на восток? Вряд ли. Неоткуда ей было взяться. Потом там же, только левее деления на три по сетке бинокля, начали появляться нитяно-тонкие следы ракет, будто кто принялся прошивать одеяло ночи крупными цветными стежками. Вениамин поднялся на ноги, пытаясь приглядеться к чередованию цветов ракет. Когда сигналы ракетами имеют смысл, цвета их всегда чередуются в каком-нибудь порядке. А тут они взлетали беспорядочно, одна за другой. Просто развлекались вражеские сигнальщики. Ничего другого, кроме обозначения их позиции, ракеты не могли значить ни для нас, ни для противника. И Вениамин снова опустился наземь, подобрав под себя ноги в мокрых сапогах.

— Да не бойся, не трону я тебя. Нужна ты мне...— сказал он, зная, что нарочитой грубоватостью вернее всего успокоишь ее, всю сжавшуюся, настороженную. Вообразила себе, что теперь еще и командир отряда пришел, чтобы любезничать с нею без помехи. Но как нелегко ей, должно быть, приходится одной среди мужиков, докучающих один за другим своими ухаживаниями.

И Вениамин с защемившим сердцем от жалости к ней решил, что утром же строго скажет лейтенантам: «Расстреляю, если кто обидит девушку». А эти ребята, командиры очень условно составленных взводов, выслушают его, думая про себя: никого ты не расстреляешь... И девушке будет мало чем легче от его защиты. И утро может прийти таким, что всем им будет не до этих мелочей бытия. Но девушка какова. Птичка-невеличка и, прямо сказать, дурнуха собой, но так бережет свое девичье достоинство. Впрочем, может, потому и бережет, что дурнуха собой. И на посты по ночам сама напрашивается потому, что только на эту пору ей и удается от-

городиться от своих предприимчивых галантных кавалеров.

— А что ты такая?.. Ну, колючая, недоверчивая? — спросил он.

— Будешь тут недоверчивая.

— Обижают? Пристают?

— Да нет, никто не пристает. Что это вы,— поспешно ответила девушка, теперь уже боясь кого-нибудь подвести.

От набежавшей на глаза горячей розовой пелены Вениамин на минуту даже перестал видеть все более назревающий пожар где-то в самой дальней дали на юго-западе. Об этом пожарище,— откуда он взялся, кто раскочегарил такое полымя в глубоком немецком тылу? — стоило подумать. Но, все еще не освободившись от того, что подумалось минуту назад, он сказал:

— Ладно нето... Пошел я. А ты хоть не усни на посту.

— Не усну,— уверила его девушка.— Я на сон терпеливая. Мне, как баушке-старухе, часа два за ночь поспать и опять живу.

И такая печаль и незащищенность слышались в этих нехитрых словах, что Вениамин сказал неожиданное для себя:

— Посмотрю на тебя завтра при свете как следует. Чтобы запомнить долго-надолго. А после войны встретимся — так тебя расцелую...

— Целоваться вы все мастера. А до «после войны» нам надо еще дожить сперва.

На очередном привале Вениамин приказал своим двум лейтенантам собрать народ потеснее, но без взводного построения, как полагалось бы и как он тоже сделал бы в любом другом случае.

Он объявил, что им предстоит сделать последний бросок. Мала надежда на то, что немецкая авиаразведка их потеряет на этом броске, но на другое рассчитывать нечего. Последний бросок — это километров сорок полубегом. В таком темпе, как делала такие броски пехота когда-то до войны, на учениях. Для отдыха группа время от времени переходит на скорый шаг, остальное время бегом. Все успев продумать и решить для себя, Вениамин больше всего заботился, чтобы в его словах не прозвучало сомнения, неуверенности.

Они, слава богу, не пехота, у них еще сохранились кони, и, значит, марш-маршем они могут покрыть это расстояние не по пехотным нормам. Он знал: это еще вопрос — пойдут ли кони на рысях, изнуренные не меньше, чем люди, понесут ли они в седлах хотя бы раненых и ослабевших...

Он изложил это все собранию возможно суше и короче, чтобы походило все-таки на приказ. А как иначе назовешь, как не собрание, если люди расположились на тесной прогалине кто как: стоя, сидя, на корточках, прислонившись спиной к стволам деревьев? На собрании же, как известно, позволяется и порассуждать по поводу поступившего предложения. И Вениамин пожалел, что не сказал всего этого как положено, перед строем.

Сержант Кочергин, молодой парень с голодной сиплостью в голосе, с усилием подняв руку, сказал:

— Разрешите вопрос.

Вениамин махнул ему, чтобы не вставал, но парень упрямо поднялся и привычно, движением больших пальцев под ремнем оправил на себе свое рванье.

— Мы голодные, как... как не знаю кто,— хрипло заговорил он.— Нас качает ветром на ходу. Нам не выдержать этого броска.

Никогда Вениамин не разговаривал с людьми жестко и формально. Сам не любил у других туповатую жесткость в обращении с подчиненными. Но сейчас только и можно было сделать, что оборвать парня.

— По-моему, ты в армии не первый месяц, даже не первый год,— сказал он, вспомнив, что сержант как раз из кадровых, из забайкальцев.— Должен бы знать, что в армии не говорят за других, а только за себя. Я никого не обманываю: это будет тяжкий марш, но иначе нельзя. Если немцы нас не потеряют... Вся наша фортуна будет в том, чтобы прорываться там, где противник этого не ждет...

Никакой рассерженности он не испытывал к сержанту Кочергину за то, что тот набрался дерзости поперечить ему. Понимал, что это самое мог бы сказать и любой другой из сидящих вокруг него товарищей по злосчастью. Все думают, как Кочергин, что такого броска за сутки с небольшим не выдержать ни им самим, ни их боевым коням. А если точнее сказать, их боевым одрам. Всем представляется это выше их наличной силы. Но

все пойдут без слова, без жалоб в пути. И сержант Кочергин пойдет первым, светя грязным телом сквозь дыры своей гимнастерки, которую только бы ссучить на веретено, как это делают сельские бабы, заготавливая тряпье на половики.

На войне человек скоро обучается уменью думать, заботиться только о ближайшем, отметая в сторону все, что стоит по времени хоть на час дальше. Поэтому никто — да и сам капитан Вениамин Хаританов тоже — не думает тут у них о том, каково будет прорываться через передний край немецких позиций, где в траншеях противника, может, на каждые полсотни метров стоит пулемет. Пулеметы в гнездах немцы ставят не абы как: оборудуют для каждого из них удобный, аккуратный точок с фанеркой на колышке и на той фанерке — стрелковая карточка, чтобы и ночью, вслепую, можно было в любую минуту искогтить дернину во всем своем секторе предполья. А кроме пулеметов там, у немца, есть и другая смертоубойная снасть.

Но об этом люди, да Вениамин и сам тоже, как все, не то чтобы не помнили, просто старались до поры не думать. Потому что до этого когда-то еще дойдет дело, а раньше предстоит много чего на оставшемся отрезке пути к своей коренной армии. Еще и на предстоящем марш-броске можно упасть и не встать просто от изнурения.

Человек живет надеждой. Живет, тем яростнее надеясь на что-то призрачное, чем меньше остается на что надеяться. Живет, исходя из той единственной непреложности, что не бывает для него неизменных застывших положений. И чем более тяжким оказывается положение этой, данной минуты, тем вероятнее, что обязательная перемена в ближайшем будущем окажется переменой к лучшему.

Выступать надо было не мешкая. При таком марше, какой им предстоял, мог быть дорог каждый час. Но что-то удерживало Вениамина от того, чтобы немедленно скомандовать подъем. Резоны за некоторое промедление, правда, тоже были убедительными. Выступить хоть часа за два до сумерек, чтобы поменьше оставить времени немецкой авиаразведке для слежения за ними — в этом

был один из таких резонов. Да и знал он, что для солдата перед большим походом последний час отдыха — самый золотой час. Почему-то такой час считается у людей как бы сверхштатным, неожиданным, подаренным им судьбой.

Но и было опасение перемудрить с этим промедлением. Злясь на себя за эту нерешительность, Вениамин все же объявил, что подъем последует часа через полтора. А пока пусть люди отдохнут по всем правилам привального отдыха. Всем, кроме наблюдателей за воздухом и за открытым полем, что начинается за вересковой опушкой, лежать, желательно держа ноги выше головы. Может быть, стоит велеть всем разуться?

Он отошел немного подальше в глубь леса и лег спиной к своему биваку, лицом к лесной чащобе, где тени буйно облиственевших берез и ольшин образовали словно бы пещерки зеленоватого мрака.

«Надежда, надежда...» Это слово почему-то привязалось к нему с утра. На что у них могла быть надежда? Только на то, что немцы не засекут их на марше. А кроме этого еще никто не запретит им надеяться выйти на какое-нибудь слабое место в позициях противника... Хорошо бы на подходе к «передку» встать лагерем хоть на полсуток, чтобы принюхаться к местности, по силе возможности разведать обстановку. Но этого не будет. Надеяться на это уж совсем неумно.

Пахло прелью. Лес был смешанный, без хвойного подстила на почве. Трава в лесу за лето нарастала плотным ворсистым ковром, весной отава долго лежала, как войлок, мешая прорастать свежей траве. Сейчас, к июню, стрельчатые побеги нежной юной и упрямой травы проткнули-таки снизу там и тут преющую полость отавы...

Полежав минут пять, поднятый каким-то необъяснимым беспокойством, он вскочил, пошел назад к биваку. Отдыхающие вразброс люди поразувались, как им было сказано, и теперь весь лес оказался заполненным запахом немытых солдатских ног. Этот портяночный запах обессиливал, омрачал сияющий июньский день. Хоть бы повеяло ветерком...

Вениамин торопливо прошел на опушку. Там, стоя на коленях, два солдата-наблюдателя зорко всматривались в клочковатый дальний перелесок, куда уходила полузаросшая тележная колея.

Не спрашивая, сам навострившись туда, куда пристально глядели наблюдатели, Вениамин уже в следующую минуту увидел то, что их обеспокоило. По проселку катил мотоциклист, из-за дальности кажущийся медлительным и горбатеньким, как гусеница, ползущая по тонкой ветке. Он то вздымался, показываясь, то погружался в кипень кустарников.

Вениамин решил, что это какой-нибудь немец-связной, заплутавшийся в заброшенных проселках, либо беспечно пожелавший спрямить себе путь из пункта А в пункт В. Несколько минут ничего нельзя было понять, едет ли немец в их сторону или по какому-то другому, параллельному проселку. Как всегда, в случаях, когда надо принимать молниеносное решение, Вениамин даже и не пытался за минуту вперед рассчитать, что он сделает дальше. Придет эта следующая за сей минутой минута, и все сделается как бы само собой. В этом случае надо было дождаться: если немец помчится по проселку, ведущему к их опушке, он должен проехать метрах в полусотне. Тогда его надо любым способом остановить. Нельзя допустить, чтобы немец ушел из рук, если он заметит хоть какое-то движение в лесу. И наоборот, пусть едет с миром, если его стежка пройдет не близко, и на скорой езде он не заподозрит о их биваке.

Вениамин машинально достал из кармана ватника теплую рубчатую гранату, замер, пестуя ее на ладони. Только гранатой и можно, наверное, остановить мотоциклиста, если он мчится в параллельном направлении, а не лицом в лицо. Что другое, а гранату все они сумели оценить по достоинству в этом своем рейде. Редкий солдат не таскал при себе неразлучную пару гранат по карманам или на поясе. Привык к гранате в кармане и Вениамин, даже спалось ему, кажется, не так хорошо, если под бок на ночлеге не попадает, не давит под девятое ребро жесткая, как булыжина, Ф-1.

Мотоцикл между тем увеличивался в размерах, перестал нырять в складки поля, праздно зарастающего сорняками. Еще не слишком слышный стрекот машины все больше заглушал щебетание жаворонка в поднебесье. Наверно, жаворонок где-то над головами ворковал давно, но люди, таящиеся по кромке леса, как бы и не слыхали его: не до жаворонка тут. Но стоило в жаркой тишине дня раскатиться треску мотоцикла, похожему на грохот

крупного гравия в деревянном лотке, и свиристенье жаворонка, такое чуждое грубым звукам войны, стало отчетливым, словно выпукло впечатанным в небосвод.

Что-то все-таки удержало Вениамина от того, чтобы дождаться, пока мотоциклист поравняется с ними, и тогда сбросить его с седла гранатой, подкинутой под переднее колесо с упреждением метра на четыре-пять. И Вениамин, взяв у одного из своих солдат карабин, неторопливо, походкой человека, которому некуда спешить и не о чем огорчаться, вышел на проселок. Спокойно, как на осенней заячьей охоте, он проверил патрон в казеннике карабина, прикинул на глаз, куда вернее, буде понадобится, стрелять.

Но стрелять не пришлось. Мотоциклист притормозил, не доехав десяток метров, остановился, широко расставив ноги в пыльных, исхлестанных полевым будыльем сапогах. Изнеможенно опершись скрещенными руками о руль, он молча смотрел сквозь очки-полумаску, и было видно, что у парня только и хватает силы на то, чтобы не уронить свою машину и не повалиться самому на пыльную, спутанную ветрами траву.

Этот странный, пропыленный, исхлестанный встречным ветром джигит был одет в плотно стянутую на груди немецкую камуфляжную плащ-палатку; на голове она была повязана через лоб по-бедуински какой-то тесемкой. Ни по какому признаку не скажешь — свой Иван или все-таки супостат, который влип. Лишь оглядев этого марсианина с головы до ног, Вениамин увидел на парне русские сапоги. В родненькую кирзу был обут посланец неба.

Подобру-по делу Вениамин должен был бы спросить мотоциклиста: кто такой и откуда взялся? Но если тот не уверен, что попал к своим, он, конечно, отзовется контрвопросом: а вы кто такие? И получится все не по-военному, не форменно, а по-мальчишески. Вениамин был одет в какую ни есть, но гимнастерку с капитанскими прямоугольничками в петлицах. Но что для парня могут значить петлицы и знаки различия здесь, в тылу у немца, где если и была еще недавно воюющая кавдивизия, то к этому времени только разрозненные группы, сабель до сотни каждая, бродят по окрестным лесам. Таким образом, недоверие было равным с обеих сторон. Но при таких нечаянных встречах допросчиком всегда ока-

зывается тот, кто лучше вооружен. И Вениамин молча оттянул у мотоциклиста его очки-полумаску, которые держались на резинке, и закинул их ему на темя, открыв лицо. И не удержался при этом сказать:

— Это что еще за розовое домино?

Лицо было действительно каким-то маскарадным, казалось сборным, составным; не может лицо с такими разными признаками возраста принадлежать одному и тому же человеку. В нижней части, где оно не было защищено полумаской, на нем лежал такой налет копоти, дорожной пыли и изветрелости, словно парень во многих местах долгого своего пути проезжал сквозь дымогарные трубы. Две складки возле рта делали лицо сорокалетним. Но под полумаской очков кожа была совсем розовой, ребячески чистой и нежной. И глаза одновременно юные, но неимоверно усталые.

Вениамин потянул за конец шнурка, завязанного петелькой, стягивающего плащ-палатку вокруг шеи парнишки в мелкую сборку, как устье мешка, солдатского «сидора». И плащ-палатка сразу распустилась, обнаружив под нею нашенскую гимнастерку. Петлицы на гимнастерке не были спороты, и на них еще оставались следы двух кубиков и значка-эмблемы кавалерийских частей — подкова со скрещенными клинками.

— Значит, конник, старый рубака,— сказал Вениамин.— Докладывай, лейтенант, откуда, куда следуешь и почем овес в вашем районе?

Лейтенант не отвечал, только смотрел изнеможенно и тупо.

— Что же ты, прирос к седлу? — спросил Вениамин, пытаясь хоть жесткостью тона побудить парнишку к какому-нибудь действию...— Прошу сойти с машины — и за мной.

Но, сходя с машины, перенося ногу через седло, лейтенант повалился вперед руками, не в силах удержать мотоцикл в равновесии и поставить его потом на рогульки.

Когда они вернулись на бивак, уже официально, требовательно Вениамин спросил лейтенанта:

— Ваши документы.

Но лейтенант вместо требуемого, глядя мимо лиц, прохрипел:

— Воды... Дайте хоть водички.

А воды, по каким бы дорогам он ни ехал, лейтенант мог найти везде. Мог напиться пусть хоть из тележной колеи, как это делает каждый солдат. Слава богу, не в безводной пустыне воюем. Стало быть, мчался так, что даже на минуту не сходил с мотоцикла, дорожа временем.

Напившись, немного отдышавшись, нежданный гость представился. Он — лейтенант штабного эскадрона штаба корпуса. Он проехал, сменив коня на непривычный мотоцикл, не умея толком ездить на нем, больше сотни километров. Дважды при этом проезжал через боевые порядки немцев, уповая лишь на бога боевого нахальства. В первый раз промелькнул по деревне, занятой немцами, не услыхав даже выстрела позади. Во второй раз его обстреляли, но из автоматов.

— Хорошо, что не из винтовок,— понемногу приходя в себя и обретая задним числом воинский азарт, сказал лейтенант.

— Очко в пользу винтовки,— пробормотал Вениамин, вспомнив волновавшие армию перед войной споры о преимуществах винтовки перед автоматом. В этом случае, пожалуй, действительно лейтенанту повезло, что стреляли по нему из шмайсеров, у которых вся и дальность — три сотни метров. Из такой опасной зоны мотоциклист может вырваться за несколько секунд. Из винтовки хорошему стрелку ничего бы не стоило в угон сбить этого лейтенанта с седла. И тут же Вениамин подумал:

«Если все это не тухлая немецкая хитрость. Если это действительно свой лейтенант, а не подосланный противником лазутчик».

Лейтенант между тем пояснил: он — один из нескольких офицеров связи, разосланных штабом корпуса по окрестным лесам. Для этого их пересадили с обессилевших коней на трофейные мотоциклы. Кроме них штаб отправил еще несколько поисковых групп человек по десять из взводов разведки все с тем же заданием. А с каким — этого лейтенант пока не говорил, сам, должно быть, тоже еще не доверяя этому оборванцу — капитану с одной «шпалой» форменной, эмалевой, а с другой — подрисованной чернильным карандашом.

Значит, штаб корпуса существует? И кто там из старшего командования еще находится при деле? А что известно о дивизиях, его составляющих? Если есть штаб

корпуса, но нет у него связи с дивизиями, рассеянными по смоленским лесам, то что проку от такого штаба? Только что значок на карте в виде флажка.

Вениамин ставит эти вопросы самым рассеянным, равнодушным тоном, напустив на себя вид человека, который во всем разуверился и даже не очень обрадован тем, что кто-то пытается снова собрать в кулак остатки разгромленных дивизий и полков. Но слушал он лейтенанта, весь навострившись, готовый словить его на любой фальши, на неточности, незнании. Особенно цепко он ухватывался за разные мелочи, детали и, конечно, имена. На мелочах, на деталях чаще всего ловятся вражеские агенты.

В числе немногих старших офицеров штаба корпуса лейтенант упомянул Фридмана, начальника картографической службы.

— Значит, жив этот, как его?..— трогая себя пальцем за висок, сказал Вениамин, словно никак не мог вспомнить кличку, которой того майора окрестили молодые офицеры корпуса.

— Невечный жид,— без запинки подсказал лейтенант.

Этого прозвища майору Фридману в корпусе никто не выдумывал. Он сам однажды, где-то еще в Подмосковье, сказал так о себе, наверное, желая подчеркнуть особенную бренность, ненадежность человеческого существования на войне. Было это сказано, а потом забыто, и теперь мало кто помнил эту кличку майора Фридмана. Что же, значит, еще один маленький довод в пользу того, что лейтенанту можно довериться.

Так понемногу, один другому не доверяя и друг друга прощупывая, они уверились — первый из них в том, что лейтенант не подослан немецким командованием, а второй в том, что, колеся на своем мотоцикле действительно набежал на отряд из прежнего 211-го.

— Что и требовалось доказать,— сказал лейтенант. И Вениамин усмехнулся тому, насколько недавно парнишка еще только оторвался от средней школы, где доказывал учителю мелом на доске геометрическую теорему, этой фразой завершая ответ.

Директива, которую он должен был передать,— он так и называл это с самым серьезным видом директивой,— заключалась в том, что разрозненные отряды пол-

ков, все такие, как ведомый «капитаном с большой картой», должны были передать «конский состав», сколько этого состава имеется, некоему партизанскому отряду.

Это было разумно: прорываться через передовую в пешем строю было легче; коней в предстоящем бою,— скорее всего это будет ночной бой, самый сложный в управлении пластунский бой,— сохранить будет мудрено. И чем покласть коней понапрасну, лучше их оставить добрым людям.

Но Вениамин знал, что, несмотря на это, солдаты в отряде с первого до последнего будут ворчать, не желая расставаться с лошадьми. На войне, да еще в таком мрачном ответвлении ее сурового лабиринта, как рейд по тылам противника, люди вовсе не теряют своей извечной способности душой привязываться ко всему тому, что нуждается в их защите и попечении. А конь к тому же существо, которое полгода делило с каждым из них все неимоверное лихо. Неудивительно, что уже через каких-нибудь полчаса Вениамин услыхал разговор двух солдат по поводу предстоящей сдачи «конского состава» какому-то чужому дяде. Пожилой солдат, который одно время был у Вениамина коноводом, до войны работавший в своем районе по сельской статистике и называвший себя для потехи «земским статистиком», говорил своему другу:

— Как это так: сдать коней? Кто это выдумал?

— Начальство выдумало. А оно знает что к чему.

— Этому начальству, наверно, не приходилось ломать об колено последнюю мерзлую краюху, делить ее с конем. Меня конь вынашивал почти неделю на походе, когда пристигла какая-то хворьба и меня соплей наотмашь ничего не стоило сбить с ног.

— Мы с Фугасом еще с Подмосковья неразлучно мыкаемся. Он меня по свисту узнает из ста других конников...

— Какие уж мы конники?

— А вот такие... Ушли в рейд кавалеристами, а выйдем пехотинцами.

— Ты сначала выйди,— отвечал ему собеседник.

Кроме указания о сдаче «конского состава» лейтенант-мотоциклист сообщил, что командование, «поглавнее нашего корпусного», назначило три района — один основной и два запасных, где кавалеристам рекоменду-

ется выходить на прорыв. Войска по ту сторону будут предупреждены...

Напившись и ополоснув лицо торфянистой болотной водой, лейтенант присунулся отдохнуть на травянистых кочах — неловко, как-то по-сиротски, не выбирая позы и не умащиваясь. Лицо у него после умывания будто и чище не стало, а только разгорелось темно-бронзовым оттенком, и на нем еще резче стала видна нежно-розовая полумаска тех мест вокруг глаз, что были защищены очками. И Вениамину подумалось ненужное, лишнее здесь, жалостное: где-нибудь у парнишки есть мать. Хорошо, что матери хоть не видят, до чего нас довела война и какими мы здесь стали.

Лейтенант недолго, и полчаса себе не позволив, припухал на кочках с закрытыми глазами. Встрепенувшись, он резко поднялся и сразу засобирался снова в путь. Выданный ему кусок отварной конины он есть не стал, сунул за пазуху, смущенно сказав: челюсти не жуют, как у старухи.

Напоследок,— доверять, так уж доверять,— он рассказал Вениамину и о заключительной части своего маршрута. Ему предстояло теперь еще пробиться в Шашковский лес, где по сведениям, имевшимся у корпусного начальства, пребывала, отбиваясь от немцев-карателей, еще одна группа до двух эскадронов числом. А дорогу на Шашковский лес Вениамин мог без труда зрительно нарисовать себе, насколько помнил карту. И не столь дальний конец предстоял туда лейтенанту — всего с полсотни с небольшим километров. Но на пути лежало большое селение, где, наверное, было полным-полно фрица.

Чем мог Вениамин подбодрить лейтенанта, обсуждая этот маршрут? Только тем, что сказать:

— Говорят, рисковать до трех раз — благородное дело. Дальше риск становится уже опасным. Но зато приходит привычка к нему и опыт.

— Поеду. Проскочу —не проскочу, а надо.

— А с горючим у тебя как? — спросил Вениамин.— В баке, по-моему, чуть плещется?

На опушке вокруг машины лейтенанта стояли несколько бойцов, ногами проверяя шины. И конечно, среди других тут находился — разве без него где-нибудь обойдется? — Леха Ржанников.

— Лейтенанту нужен бензин. Ему еще ехать да ехать,— сказал Вениамин Ржанникову.

И тот, словно думал уже об этом, рассказал, что километрах в десяти, в какой-то дубраве, на параллельном большаку проселке он два дня назад видел брошенный немецкий грузовик. Шины грузовика располосованы ножом, но бензину в баке плескалось еще в пол-уровень.

Посылать людей за бензином можно было только, когда стемнеет. И хотя до вечера было уже недалеко, создавалась задержка — лишние полсуток их пребывания в этом лесу. Но зато они знали теперь новый район сосредоточения своей дивизии перед последним броском — дивизии, которая все-таки еще жила и здравствовала. Не лихо, положим, здравствовала, но и то немало, что еще жила.

Никакого письменного приказа лейтенант не доставил. Все должен был передать на словах. И Вениамин, пока Ржанников хлопотал о бензине, не отпускал лейтенанта от себя, надеясь, что тот вспомнит еще какие-нибудь важные уточнения, подробности.

Подготовка к бою на прорыв, то что лейтенант назвал пышным словом «директива», в общем предписывала то, что он собирался делать и сам, если бы пришлось пробиваться одним своим отрядом. Теперь все разворачивалось в укрупненном масштабе. Было задумано группам сосредоточиться в названном районе. Отряды и группы должны были сделать марш-бросок по направлениям, сходящимся в одну точку. Только «точка», где было намечено продираться сквозь фронт, оказывалась, если б ее показать на карте, не слишком четко очерченной кляксой, растянутой по фронту километра на два-три.

Для последнего броска отряд Хаританова вышел на лесистую околицу какой-то деревушки, которая и в доброе довоенное время была такой бедной и глухой, что районные власти, небось, мозги свихнули, думая, что с ней делать, как раскочегарить в ней костерок производительной колхозной жизни. Было в деревушке всего дворов двенадцать, а теперь — двенадцать пепелищ с оплывшими уже ямами подполий и обрушенными печами.

В такой деревушке вблизи таких же тополей со спекшейся от давнего пожара листвой погиб когда-то ранней

весной командир эскадрона и земляк Вениамина капитан Щекатуров.

И весь этот вечер перед последним боем Вениамину все вспоминался Щекатуров в самых разных обстоятельствах их службы.

Офицер связи сообщил и сигналы артиллерийской поддержки перехода. Около полуночи с нашей стороны последует сдвоенный, с паузой в полторы-две минуты, шквал беглого огня. Люди должны знать, что огонь ляжет не по траншеям немцев, а по предполью, по нейтралке, чтобы посрывать колючку и сделать проходы в минном поле. После того на участке фронта шириной в километр сериями ракет с нашей стороны прорывающимся будет показано направление. В каждой серии первая ракета будет послана в зенит, а несколько следующих за ней со все большим склонением в сторону переднего края и под прямым углом к нему. Цвет ракет белый, чередуясь с зеленым. Всякий другой цвет ракет считать немецкими штучками-дрючками...

Следовало бы радоваться тщательности, с какой кем-то расписаны условия перехода дивизии через фронт. Но Вениамин знал, что радоваться рано. Всегда бывает так: одному судьбой назначено расписывать диспозиции, другому их исполнять, ютясь где-нибудь в наскоро отрытой глинистой ячейке или ковыляя на марше, уже не чувствуя ног. Чему другому, а этому мы уж научились на войне — заранее знать, что не все на войне делается по-расписанному.

Начать с того, что этот веер бело-зеленых ракет со склонением в сторону передовой можно и не увидеть из-за кромки леса или другой какой помехи. На сколько там поднимается вверх сигнальная ракета из ракетницы? Невеселое это дело, когда взаимодействующим группам не на что надеяться иное, как на связь сигнальными ракетами. Но Вениамин знал также, что добрая случайность — очко в нашу пользу — выпадает не реже, чем случайность неудачливости. И он решительно сказал:

— Ладно, дело покажет себя. Артиллерийский огневой ориентир уж мы как-нибудь постараемся не прогусарить.

Хотя знал, что даже и раскаты нашенского артналета могут слиться с канонадой по всему участку фронта в один общий звуковой переполох. А если им не удастся сориентироваться ни по ракетам, ни по разрывам своих

снарядов, пробивающих им дорогу в минных полях и в колючке, что тогда? А тогда придется полагаться только на свой слух, нюх и щупальцы.

— Там что, даже колючка есть? — спросил он офицера связи. Чья колючка, наша или немцев? Если есть колючка, значит, противники уж давно стоят там друг против друга, применяя только артиллерийскую перебранку, как это бывает в длительной обороне. Тогда зачем нам прорываться тут, а не в другом месте?

Таких вопросов он мог бы задать офицеру связи бесконечно много.

Время остановилось. Либо шло, но только иначе, чем раньше, шло рывками, как в горячечном бреду, в котором поступки человека не связываются в логическую цепь. Где-то там, за агатово-черным лесным массивом, послышался ровный гул канонады, потом ясно прослушалась условленная пауза и снова рокот — вторая половинка шквала.

Вениамин поднялся и, не повысив голос до выкрика, очень обыденно сказал:

— Пошли-ино.

Где-то он слыхал эту местническую речевую частицу «ино». Но почему она сорвалась с языка сейчас? Ума не приложить, почему.

Слышать эту странную команду: пошли-ино, могли только несколько человек, находившихся близко к нему. Отряд, весь как один человек, должен был подняться по свистку. Так было объявлено людям: только по свистку и не медля ни минуты. И тут Вениамин, ужаснувшись этой непредвиденной заминке, почувствовал, что ему сейчас не суметь издать этот свист. С первой попытки у него получился только какой-то гусачиный шип. Он и не разглядел, кто пришел ему на помощь, расколов тишину сипло-оглушающим свистом, похожим на сигнал паровоза-кукушки.

Они тронулись нестройно, вразброс, как бы толпой, растянутой по фронту больше чем в глубину. Но именно в таком движении был единственно возможный и необходимый порядок: двигаться рассредоточенно, но не настолько, чтобы не слышать тяжелый шаг и шорох своих товарищей впереди, слева, справа.

Может, с полкилометра или больше,— разве сохраняется еще какой-то глазомер в воспаленном сознании,— человеческая волна катилась сквозь лес, низины и бывшие деревенские выгона без сопротивления своему движению. Волна, Вениамин знал, захватывала довольно широкий участок по фронту. Яростную силу ее до поры нельзя было ни увидеть, ни услышать. Грохот, удар послышится, когда волна ударится о препятствие.

Шли через какое-то неширокой полосой лежащее поле, не вспаханное по весне, и тут стало видно и ракеты за линией фронта, которые там, не жалеючи, кто-то выстреливал для них из полутора десятков ракетниц. Трассы ракет возвели в черном небе зыбкие горбатые цветные мосты.

Но дальше надо было углубляться снова в зрелый крупноствольный лес, и там ракет опять станет не видать. Словно надеясь не потерять их из виду, человеческая волна покатилась шибче, почти перейдя на тяжелый удушливый бег. У самой опушки леса по ним сработали среднего калибра минометы. Ударили, правда, с запозданием, позади волны.

Сполохи разрывов высветили на черных утесах ночи частокол сосняка и темное кружево подлеска. Это было бы сказочно-эффектно, если бы не означало, что их обнаружили и дальше придется продираться сквозь огонь.

Еще когда только двинулись с места, Вениамин отметил себе, что поближе к нему стараются держаться как раз все те, кого он хотел бы видеть рядом в этот час. При свете первых разрывов, оглядываясь на ходу, он увидел, что Леха Ржанников, девушка-связистка и еще несколько знакомых так и держатся поблизости.

После того как их обстреляли минометы, неистовство стрельбы изо всех видов оружия уже не ослабевало ни на минуту. Метались по земле тени, укрупненные, крутоконтурные, словно ожившие хвостатые зубчатогорбые чудовища. Набухали, лопались там и тут световые клубы разрывов, в которых молниеносно сменялись оттенки цветов — от блескучей голубизны до вишневого и шафранного каления.

Ночных боев позади у них было немало. Можно сказать, они за время рейда сделались пусть не мастерами — хоть знатоками ночных боев. Но этот, представлялось, особенный.

И правила ночного боя известны: не стой на месте, двигайся. Не стреляй без надобности, но, если надо, не опаздывай со стрельбой. А отстрелявшись, даже если успел дать только короткую очередь, перекатывайся куда-нибудь в сторону. Будь, как шарик ртути, скатываясь туда, где местность идет на понижение. Будь, как шарик ртути, который не ухватишь пальцами; пальцы смерти не проворнее человеческих.

В бою, в ночном особенно, что-то необъяснимое делается со зрением человека. Намного сужается угол отчетливого видения. Только то, что в узком секторе перед собой, а точнее то, что надо, жизненно необходимо видеть бойцу, и видит он. Но зато это необходимое видит много острее, чем в обыкновенное время. И удивительная какая-то способность молниеносно замечать опасность появляется у бойца на эту критическую пору.

В этом состоянии все, что Вениамин видел перед собой, разбивалось у него как бы на кадры, на отдельные от общей картины боя образы, минутные эпизоды.

На какой-то черте броска ночь сделалась серее, проглядимее, словно начал брезжить очень медленный, очень робкий рассвет. Так бывает, когда из совсем темного переулка выходишь на деревенскую улицу, которая хоть неярко, хоть мутным светом из окошек, но все же освещена. Здесь это значило, что «передок» — две линии траншей — где-то теперь уже очень близко.

Полной тьмы на передовой не бывает: с обеих сторон люди, бодря себя, то балуются ракетами, то постреливают из разного оружия, кто к какому приписан. То стрекочут пулеметы, то прокатится густой кашель легких минометов, и вспышки их выстрелов как бы колышут черный занавес ночи.

Кажется, что даже от трассирующих пуль самого обыкновенного калибра — 7,65, и то в такой густой ночи становится немножечко светлее. А светлячков таких над головами чем ближе к «передку», тем появлялось все больше.

Сноровка войны — большое дело. Известно, что для ночной стрельбы пулеметные диски и ленты снаряжаются трассирующими пулями — одна через четыре обыкновенных. Так пулеметчику удобнее следить за прицельностью своего огня. Но, к счастью, так удобнее и для того, кому приходится под обстрелом лазить по передовой.

В ночной темноте видать, куда идут пули, и это позволяет приловчаться, где перебежать пригнувшись, а где разумнее припасть к земле.

Таких свиристящих цветных пулевых струй-ручейков над ними прошло уже немало, и людям порой казалось, что пули проходят не так и быстро — не быстрее, чем пролетают стрижи перед дождем. Знаешь, что это обман чувств,— пуля, как пуля, и каждая летит с положенной ей скоростью, и какая из них может оказаться твоей, тоже не угадаешь,— но все-таки легче бывает, когда видишь их полет, эти цветные — оранжевые, зеленые, голубые — нити над головой. Днем находиться под пулеметным огнем тяжелее, днем он жестче давит на душу, потому что там слышишь только свист, а по звуку не понять, насколько близко ты находишься к смертному потоку. Только когда перед самым носом начнет взвиваться пыль или хлюпать жидкая грязь, начнешь понимать, что близко.

Это продолжалось минут пятнадцать — обжигающий легкие и теснящий сердце полубег под редкой сетью цветных пулевых трасс. Струи пуль неслись не с одного направления, а с разных сторон, и нельзя было понять — это стригут по ним пулеметы врага, а может, доносит огонь уже своих русских пулеметов, которые работают на подавление огневых точек немцев, но завышают прицел.

Вениамин бежал как сам не свой: бежал, запаленно дыша, один человек, а наблюдал это все, удивлялся тому, что у людей и у него самого откуда-то берутся силы на это,— другой. И этот другой успел подумать: хорошо еще, что немцы не подвесили САБы — осветительные бомбы на парашютиках, которые горят долго, минут по пятнадцать, и освещают все вокруг так ярко, что хоть читай.

Но подумав об этом, накликал на себя. Откуда-то справа, впереди, одна за другой начали взлетать белые ракеты, повисающие, как невиданный сочный наливной плод на тонкой крутосогнутой ветке.

В свете их, приостановившись, как усталый пловец, который поворачивается для краткого отдыха на бок, он оглянулся на тех, кто бежал приотстав. Сзади бежало больше, чем он думал, и кучнее, чем в авангардной части человеческой волны. Знакомые, но искаженные напряже-

нием бега: расширенные глаза, рты, как леток скворечни. И большею частью без шапок: наверное, на бегу бросали все лишнее, кроме оружия, патронов и гранат. И многим даже шапка показалась лишней тяжестью — все равно голову не убережет. Уберечь могла бы каска, но они остались мало у кого. И опять как не он, а кто-то другой за него подумал: надо было своевременно провести с людьми работу по поводу касок — разъяснять, приказывать, чтобы сохранили их, даже наказывать тех, кто этого не делал.

При вспышке последней ракеты его, замешкавшегося, догнал повозочный Кузьмичев. Он на закорках тащил кого-то раненого, и, приблизившись, Вениамин узнал девушку-связистку. Обвисшая, как плеть, она лежала на спине бойца, прикрыв глаза длинными ресницами. Как неживые мотались ноги, за которые ее держал Кузьмичев, ухватив в подколеньях. Одного сапога на ней не было, где-нибудь стащило его в кустах, потерялась и портянка, и небольшая, грязноватая нога выглядела так трогательно и неуместно, что, если бы совсем не знать, чья она, совсем не видеть кого несут, все равно безошибочно можно было бы сказать, что нога девичья.

Вениамин пропустил Кузьмичева, оказавшись позади, и тут же увидел, что к нему, к Кузьмичеву, плечом к плечу подкатился другой пожилой солдат и молча перенял у него ношу. Они даже не остановились, чтобы перебросить с одного загорбка на другой раненую девушку, очень сноровисто проделали все это на ходу. Так они и будут нести ее, раз внушили себе, что оставить, бросить ее нельзя, не по совести. Только если самих состригнут на бегу лязгающие огневые ножницы, если оба, один вскоре после другого, сунутся головой вперед, тогда и девушку уронят на сырую землю.

Тут как раз белые ракеты снова осветили местность, и стало видать, что впереди лежит водичка, испятнанная кочками. Болотина была шириной метров триста, и Вениамину пришлось напрячься, вырваться вперед, чтобы убедиться, что люди у него идут верно, не сбились с направления. Низина оказалась какой-то заросшей протокой безымянной речки, и преодолевать ее пришлось сначала по колено, потом по пояс, по грудь. Но кто на подобном броске считается с такими неудобствами ходьбы. Словно даже резвее пошли люди через протоку, справедливо рас-

судив, что такие труднопроходимые места всегда не слишком зорко охраняются противником. Значит, больше надежды, что при выходе из заболоти на сухое место по ним не резанут в упор пулеметы.

Если бы еще не было столько бульканья, столько водяного шума от нескольких сотен пар ног, взмучивающих в протоке ил и донный торф. А подняли его, как на водосбросе крупной сельской мельницы.

Еще по ту сторону болотины Вениамин заметил, что за ним идет теперь больше живой силы, чем было, когда тронулись с места, и кроме своих, которых он знал всех в лицо, появилось много незнакомых. Живая сила как бы нарастала в движении, вовлекая все новые группы. Или это они своим отрядом втянулись в ту, более сильную группировку, с которой им так и не довелось слиться на подходах к фронту?

Когда они выбирались из заболоти, небо над ними еще более посветлело и в сознании у него это как-то не связалось с усилившимся грохотом боя, потому что звуковых ударов, с треском раскалывавших ночь, было и до того предостаточно... Оглянувшись, Вениамин увидел, что позади, по ту сторону болотистой лощины, стройно, как включаемые один за другим кнопками на щите, молниеносно встают на высоту деревьев раскидистые жарко-оранжевые кусты. Это и был всегда почитаемый и вместе с тем проклинаемый пехотой артиллерийский подвижной заградительный огонь из тех, что прозываются: ПЗО «Тигр», ПЗО «Гепард». Но было похоже, что основная волна прорывающихся линию заградогня уже прошла, а те, кто замедлились на бегу и оказались в радиусе действительного поражения вражеских снарядов, даже не успеют понять того, что с ними случилось. Кому-то, значит, суждено было выйти к своим, кому-то — остаться на последних метрах своего отчаянного броска.

Вениамин сообразил, что «передок» должен быть теперь уже где-то близко. После узкой гривки редколесья местность опять пошла в уклон. Там, впереди, могла быть основная пойма речонки, от которой ответвлялась пройденная болотистая протока. Насколько он помнил карту, речка не могла быть полноводной. Так, речушка-говоруха, пробирающаяся по галешникам. Но передний край, скорее всего, проходил как раз этой поймой. Обычное дело: если хоть на три дня полки, дивизии двух воюющих ар-

мий становятся друг против друга устойчивым фронтом, они выбирают для этого пойму реки или обращенные друг против друга склоны широкого разлужья. Что-нибудь вроде этого выбрано и тут.

Он осилил это соображение так, будто перекатил по мягкому грунту тяжелый камень-валун. Сбегая по пологому склону в разлужье, он почти сбил с ног человека в ремнях-шлейке поверх драного ватника. На голове у человека была пилотка — большая редкость в их рейдовом обиходе. Пожалуй, с прошлого лета Вениамин не видал пилотки ни у кого из своих офицеров.

Офицер стоял с немецким автоматом в опущенной правой руке, раз за разом отмахивая левой направление, в котором надо было бежать. Вениамин узнал в офицере майора, заместителя командира полка, соседнего с их двести одиннадцатым на всем прихотливо запутанном маршруте рейда.

— Левее, левее! — только это одно слово как заведенный выкрикивал майор, обращаясь ко всем, кто мог ему помочь повернуть волну почти под прямым углом к прежнему направлению. И лишь изредка он добавлял:

— Ориентир — зарево. Ориентир — зарево.

А левее, и верно, набухало багровое зарево. Но оно могло быть принято за ориентир направления лишь очень условно, потому что, разгораясь, понемногу захватывало чуть не полгоризонта.

Вениамин подумал, что направление броска для них меняется в самом его конце не зря. И маяком майор, в последнее время командир полка, самолично встал тоже не по прихоти. Наверное, передний край делает здесь такой извив, что, прорвавшись через него, люди снова бы накатились на вражеские траншеи. Либо долго еще бежали вдоль них под огнем пулеметов, которым не надо даже затрудняться тщательным прицеливанием. Куда ни стреляй, все равно немец прореживал бы, подкашивал наших, как ржавой тупой косой.

Еще в нескольких местах, в пределах слышимости, офицеры-маяки выкрикивали это же: левее, левее! И Вениамин, продвигаясь теперь уже нескорым шагом, стал делать то же, одно только пока доступное ему и самое рациональное — направлять людской поток по изменившемуся руслу. Он знал, что в этих условиях надо повернуть в сторону зарева несколько десятков бегущих впе-

реди и большинство тех, кто за ними, уже непроизвольно хлынут куда надо.

Он еще не перестал слышать выкрики майора-маяка, когда навстречу им резанул-таки пулемет. Правда, отраженный низкими облаками свет разрывов снарядов и мертвый свет белых ракет кратковременно померк. А ночная стрельба, если поле впереди не было засветло пристреляно, всегда идет в большой степени наудачу, больше на испуг, чем на поражение. И как немцы, так и наши: кто же пристреливает местность позади своих траншей? Но полагаться на это долго тоже нельзя.

Пока что низко-сводчатый шатер пулеметного обстрела колыхался еще над головами, овевая лицо сухим теплом, но каждое следующее мгновение он мог начать укладывать людей.

Оглянувшись по сторонам, Вениамин скорее почувствовал, чем увидел, что люди действительно падают, но кто упал, чтобы не подняться, а кто лишь залег, чтобы короткими рывками бросаться вперед... Разве это разглядишь в сумятице и мерцающей полутьме ночи?

Работающий против них пулемет находился в какой-нибудь сотне метров. Сизое пламя на срезе ствола было ясно видно, как свеча на крепком ветру, которую ветер никак не может погасить. Еще не зная, как он поступит в следующие за этим две-три минуты, Вениамин пополз на трепетный огонек свечи, боясь оторвать от нее взгляд, тоскливо думая: вот как это делается.

Но делалось это у опытных обученных солдат не совсем так. Ползти, распластываясь по земле, казалось ему слишком мешкотно, а подыматься в полурост при такой близости к пулемету было не слишком находчиво. И сама земля удерживала его, мешала, как тяжелое ядро на ноге. При каком-то очередном толчке вперед он почувствовал, как чья-то рука осаживает его за плечо, это был Ржанников.

— Погодь, капитан, пусти того, кто постарше,— сипло сказал он со всхлипом, словно не успел проплакаться. Но глаза у него сверкнули диковато и яро.

Вениамин видел, как Ржанников метнулся к пулемету и бросил первую гранату, устремившись за ней, припав к земле, прикрывая предплечьями темя. Видел, как вторую гранату Леха даже не бросил, а сунул с двух-трех шагов с полного роста в уширение траншеи — пуле-

метное гнездо. Не видел только и не понял, как сам вместе со Ржанниковым оказался в немецкой траншее.

Из двух пулеметчиков в гнезде один лежал боком на дне траншеи, хлюпал горлом, наверное, разорванным Лехиной гранатой, сучил ногами, агонизируя уже в беспамятстве. Второй уползал по траншее, хватаясь за ее стенки, пытаясь подняться на ноги. Ржанников угомонил его коротенькой расчетливой очередью и, махнув по лицу рукавом, сказал Вениамину:

— Учись, капитан. Под старость кусок хлеба.

По всем канонам атак противника, засевшего в траншеях, следует, что если ты уже ворвался в эту земляную расселину, так закрепляй достигнутый зыбкий свой успех. Если вас двое, так проворно устремляйтесь один влево, другой — вправо с гранатой в правой руке, с автоматом на изготовку, чтобы довести дело до ума. В сплошной траншее всегда близко где-нибудь есть блиндаж — спальный дортуар вражеской пехтуры. И кто знает, сколько их там может находиться, недобитых немцев, и чем они вооружены. Ночная атака в такой обстановке всегда полна неожиданностей и подвохов.

Но у Вениамина со Ржанниковым уже не оставалось сил действовать по канонам. Даже Леха, неутомимый и никогда не теряющийся парень, обессиленно привалился к откосу траншеи, размазывая по лицу ладонью грязь и все, чем отсырел во время их отчаянного броска.

В траншеях в ближнем соседстве еще дрались немцы со все наплывающей массой бывших конников, рвущихся к своим. Что другое, а звуки хриплого слепого траншейного боя было невозможно не распознать. Иначе, глуше слышатся хлопки гранат, чем на открытом месте. Реже и короче автоматные очереди, и совсем несерьезно, игрушечно звучат отдельные пистолетные выстрелы, хотя кому не известно, что в таком деле как раз из пистолетов никто не стреляет неприцельно, для одного устрашения. И даже ругань слышится по-ночному приглушенной, не в полный голос. Тупо хлюпают удары лопатой: в таких стычках лопата не последнее оружие.

Оба подумали в одно: что не везде, как видно, ребятам удалось миновать немецкий передний край так резво. Может, у них и получилось удачно как раз потому, что эта полоса против пулеметного гнезда считалась у противника надежно обеспеченной.

Не сговариваясь, они оба полезли из траншеи. Ржанников при этом оскользнулся ногой на стреляных гильзах и сполз обратно. Еще раз метнувшись, он выбросился на бруствер и, прежде чем подняться на ноги, скатился по нему тюриком.

Оставалось еще миновать минное поле. Образовалось и это. На «нейтралке», шагах в двухстах от немецкой траншеи, они наткнулись на живого целенького русского солдата, первого на их Большой земле.

Солдат стоял в рост с автоматом ППШ, висящим на шее, как гитара. Это был приземистый славянин-крепыш, из тех, о ком говорят: подними его в четыре пары рук на воздух и ударь об дорогу — еще неизвестно, кто пострадает больше, парень или дорожное полотно. Всем, кто выходил на него, солдат говорил одну и ту же бригадирскую формулу как пароль: давай, давай. И отмахивал рукой направление с таким видом, словно хотел сказать: ходят тут всякие.

Впервые за несколько месяцев тупого равнодушия к себе, после многодневного, чуть не привычным сделавшегося чувства опустошенности что-то надломилось в них. Солдат стоял здоровый, сытый, бессмертный Иван, одетый чуть ли не щегольски сравнительно с их отрепьями. И автоматы ППШ они при уходе в рейд только видели да знакомились с ними. Выдано их было на весь полк, может, всего два-три десятка. Тогда еще считалось, что конникам нет лучшего оружия, чем традиционный карабин.

Самому себе на диво у Вениамина долго, может сутки, стояла в глазах плотная, как в форму отлитая, фигура того парня, который встречал их уже на своей стороне и все покрикивал: давай, давай! Он как бы олицетворял иную армию, чем та ее частица, что дралась в рейде, отвлекая на себя немалую силу противника, и в известной степени сделала возможным сталинградский успех. Их встретила здоровая, исправно одетая, нормально снабжаемая армия, уверенно и деловито делающая суровое дело войны. Там армия представлялась им величественной в своей жертвенности. Здесь она предстала перед ними во всем благоприличии своей организованности и порядка.

Нет, на диво изменилась армия за те полгода, что они пробыли в отлучке.

Утром после той ночи, когда впервые им довелось выспаться беззаботно и обновленно, Вениамин вышел из своей землянки, поднявшись по ступеням, облицованным узкими фашинами. Постоял минуты две-три, глядя на шерстистый можжевельник, цепко растущий на переломе — на вылазе из оврага. Немало было ясных и погожих утр и там, в рейде. Но здесь словно свет надо всем, куда ни глянь, был иным — зернисто-сияющим и... словно осязаемым. У ювелиров-гранильщиков есть выражение «куст света». Это точка преломления где-то в глуби самоцвета лучей, пропущенных его многочисленными гранями. И в этом утреннем воздухе, казалось, тоже где-то, только протяни ладонь, держится эта точка преломления — куст света. Но только не уловишь: где она тут.

Куст кустом, но жизнь течет в своем ритме. К Вениамину уже шел Леха Ржанников. Вот и он, побритый и постриженный, выглядел теперь совсем другим человеком. Шел отчетливо, стройно, как примерный курсант полковой школы. Остановившись в трех шагах, дрогнул правой рукой, должно быть, собираясь щеголевато бросить руку под козырек, но вовремя вспомнил о непокрытой голове и лишь принял позу официальной армейской почтительности, выдвинув вперед жесткий бугорчатый подбородок.

Без единой смешинки в лице сказал с четкой оттяжкой:

— Разрешите обратиться, товарищ капитан.

Усмехаться, коли на то есть охота, он предоставлял Вениамину, который сам должен понимать: с той вольностью, какая допускалась в рейде, и то лишь в последнее время, теперь покончено. Называть теперь я вас буду только на «вы», чего и от вас желаю. Иные будут условия службы, иные песни-басни...

Дело, с которым Ржанников обращался, было неотложным и обязательным. Он просил разрешения отлучиться вдвоем с Кузьмичевым в ближайший медсанбат навестить девушку-связистку, вынесенную с «проникающим пулевым ранением в правое легкое».

И откуда только Ржанников успел узнать эти подробности?

— Что за вопрос? Конечно, иди,— торопливо согласился Вениамин.— И надо поспешить: с таким ранением в медсанбате долго держать не будут. Но вот еще загвоздка: с часу на час прибудут офицеры из запасного полка. И тогда я вам буду не командир и не начальник...

Последние листки календаря

— К черту... Надоело. Так мы будем ковылять до утра. Включи свет,— отрывисто хрипло сказал в кабине полуторатонного грузовика Василий Иванович. Шофер машины включил фары так быстро-ответно, без секунды промедления, будто всю дорогу нетерпеливо ждал этого позволения.

Да так оно и было: водители давно ворчали по поводу теперь уже устаревшего, но все еще худо-бедно соблюдаемого приказа ночью по дорогам Земланда ездить без света. Все понимали, что теперь уже нет надобности блюсти секретность или бояться вражеской авиации, которая давно «ни слыхом ни дыхом» не обнаруживала себя.

Земландский полуостров армия еще в январе с ходу очистила от немцев, и теперь за ними осталась лишь небольшая полоса западного прибрежья с городами Фишхаузеном и Паллау. Немцам было не до того, чтобы наносить удары: самим бы морем ли, по косе ли, узкой песчаной, идущей на Данциг, вырваться из устроенной для них крысоловки.

Свет фар мгновенно прорисовал, как в перекошенную раму взятый, клин непривычного и странного для сонных глаз ночного пейзажа — плотно растущие старые сосны с золотистым шевроном подсочки на стволах, два огромных валуна близ дороги, остов какого-то разрушенного строения.

Денис Хаританов, согбенно сидящий в кузове грузовика, сквозь гул мотора услыхал, как Василий Иванович — шофер за рулем — вздохнул шумно, словно кузнечный мех.

Командира дивизиона молодые подчиненные офицеры между собой, когда это было допустимо, называли посвойски: Василий Иванович. Может, потому, что было в обличье, да и в характере майора что-то мужицкое, хо-

зяйственное. Не будь войны, ему бы очень подошло быть председателем небольшого колхоза.

Командир дивизиона ехал на рекогносцировку, в ночь выкарабкавшись на асфальт из путаницы проселков, где снег на дорогах уже изрыхлел и набряк прибалтийской влагой. В воздухе всю ночь тянуло йодом и сольцой хмурого в эту пору моря. Дениса Хаританова майор имел обыкновение брать с собой на рекогносцировки, почему-то уверовав в его лучшее, чем у других офицеров, знание топографии. Сам Денис этого не находил. Сколько требовалось для дела, лишь настолько и знал топослужбу.

Три батареи дивизиона уже без них прошлым вечером снялись с позиций и теперь неторопливо тянулись где-то километрах в пяти позади.

Странно чувствовал себя Денис Хаританов начиная с прошлой осени, когда они перешли границу Восточной Пруссии. Это было чувство пребывания в краю куда как меньших масштабов сравнительно со своими, русскими. Здесь можно было весь полуостров пересечь с края за три-четыре часа в кабине машины. Такое трудно выразимое чувство мелкости масштабов приходится испытывать иногда лишь во сне. И с этим сплетается еще страстная надежда на то, что теперь войне скоро конец. И неукротимое желание идти вперед. Тем более, что впереди уже в каких-то двух десятках километров — море, конец маршрутов для пехоты и любой наземной техники. Дальше все равно идти некуда.

Асфальтовая дорога была хорошо сохранившейся, толково профилированной. Днем машины по ней мчались туда и обратно к передовой одна за другой. Но в этот поздний час суток только километрах в полутора позади шли два грузовика, и свет их то терялся из глаз, то затепливался вновь, словно двое полуночников брели там со свечками в пригоршнях.

Денис не следил за дорогой, полагаясь на то, что Василий Иванович сидит в кабине с картой на коленях и с фонариком. Но по времени и каким-то чутьем он предвидел теперь уж совсем недалеко впереди развилку, которую следовало не пропустить.

Перед развилкой машина остановилась. Денис в кузове сбросил с головы плащ-палатку, которой прикрывался от встречного ночного ветра на езде, оглянулся и

дрогнул сердцем. Во внутреннем косом углу развилки двух дорог стояли целых три столбушка со сделанными из фанерок стрелками-указателями. И на каждом указателе сказано: хозяйство такого-то. Только фамилия. Для облегчения жизни всем тем, кто разыскивает свою часть после госпиталя или иных кратких или долгих отлучек.

В иное время Денис лишь порадовался бы тому, что, судя по множеству указателей с незнакомыми фамилиями командиров частей, на Земланд прибыло много новых специальных частей, называемых отдельными. Это значило, что с Кенигсбергом, остававшимся теперь уже на востоке от теперешних позиций дивизиона, было решено кончать. Взять его с ходу в январе части, изнуренные длительным наступательным броском через Литву и Восточную Пруссию, не смогли. И все они жили в эти дни с чувством неловкости: южнее армия ушла далеко вперед, стоит уже на ближних ли, дальних ли подступах к Берлину, а они все еще никак не разгрызут Кенигсберг.

Сейчас мелькание в уме всех таких бытовых военных соображений затмилось другим. Среди фанерных табличек он ясно узрел ту, на которой было выведено: «Хозяйство Хаританова». С первого беглого взгляда Денис сумел уверенно прочесть, что там названа не та нередкая фамилия, с которой их часто путали, а именно их родовая. Правда, столбы с указателями были освещены фарами вплотную подошедшей машины, но Денис позднее начал думать, что сумел бы прочесть табличку, если бы машина шла даже с выключенным светом.

С первого взгляда на табличку у Дениса поселилась в душе уверенность, что тут где-то близко отыскался брат Иван Алексеевич. Хотя в пользу этого было больше сомнений, чем резонов. Главное сомнение состояло в том, что Иван в армии всегда был политработником, а на указателях пишут фамилии строевых командиров части. У политработника, даже крупного, какое может быть свое самостоятельное хозяйство?

В других условиях в гражданской жизни Денис пренебрег бы всем, остался бы ночью на развилке дорог, дождался бы какую-нибудь машину, идущую в «Хозяйство Хаританова». Но сейчас было не до того. С первым намеком на рассвет надо быть на месте. А там начнутся,

сменяясь одно другим, дела, которые и подумать не дадут о том, чтобы попытаться разузнать, что за хозяйство Хаританова появилось, полное имя командира. Да и сложно все это: воинский порядок таков, что никакой военный человек незнакомому лично человеку не ответит на вопросы о названии части, о именах, о месте стояния.

Пока встали на новое место, пока оборудовали огневые позиции и наблюдательные пункты, наладили разведку и связь, прошло несколько дней. И лишь в исходе первой недели на новых позициях ночью Денис попытался сделать то, о чем думал все эти дни. Он разбудил по телефону их начальника связи.

— Ты, пижон, отродясь и по сей день,— бранчливо сказал начальник связи, выслушав не очень связную просьбу Дениса и с трудом понимая в чем суть.— Для этого надо выйти на шестовку.

Шестовкой называлась армейская линия связи, подвешенная на особого рода шестах.

— А и включимся в шестовку, так дальше что? — продолжал Портнов.— Ты же не знаешь кодовых позывных своего корреспондента. А вызывать его по фамилии — я еще не настолько зол сам на себя.

— Дима, я все понимаю,— сказал Денис.— Если ничего не удастся, все равно скажу тебе спасибо за одну попытку. Но если что-то выйдет, то когда приедет военторг...

— А, поди ты со своим военторгом,— хрипло сказал Портнов, сердито щелкнув каким-то тумблером.

Денис успел задремать, склонившись на столик, сделанный в их землянке из крышки от снарядного ящика, когда резкий зуммер вскинул ему голову, как удар в подбородок.

— А тебе везет кое-когда,— гудел в трубке телефона начальник связи, уже в азарте свершения того, что не дозволено.— Сейчас мы выйдем на шестовку.... Но если потребуется назвать себя, называй только свой законный 07. Ничего другого. Надеюсь, они там не сразу поймут, что 07 — это только мы с тобой.

Он отключился на полуслове, потому что в трубке отчетливый, грассирующий голос сказал: «Даю вам «Вальдшнепа», и еще раз, как заведенный, эту же фразу. А еще через минуту-две голос, показавшийся никогда не

слыханным, пробившись сквозь какие-то голоса, слабо слышимые по индукции, произнес: «Протасов слушает».

И Денис совсем было растерялся, не зная, о чем ему говорить с неведомым Протасовым, и наудачу, уже совсем по-граждански сказал:

— Да мне, собственно, надо Ивана Алексеевича.

— Ну так слушаю вас. Я же сказал...— нетерпеливо отозвался «Протасов». И лишь тут Денис сообразил, что это, может быть, чей-то телефонный псевдоним. Кто их знает, какие у них там вверху порядки.

— Скажите, что к нему пробивается Денис.

К его удивлению, «Протасов» не стал спрашивать, какой-растакой Денис беспокоит среди ночи высокое начальство. Он спросил другое:

— Денис? Братик, ты, что ль? Вот это фокус.

И лишь тогда Денис начал признавать знакомый голос и вместе с тем понимать, что розыск был действительно рискованным и лишь по какой-то случайности оказался успешным. Включаться в линию, которая связывает штабы крупных соединений и частей, не зная кодовых названий и имен, ничего, кроме большой неприятности, это не обещало.

Иван Алексеевич между тем говорил совсем свободно, совсем иначе, чем приходилось разговаривать им на своих однопроводных линиях.

— Это здорово, что ты меня разыскал. И нам надо встретиться, раз уж мы оказались в близком географическом соседстве.

— А как? — чуть не с отчаянием спросил Денис.— Кто меня сейчас отпустит? Но на всякий случай скажи, как мне тебя разыскивать.

Воспитанный в правилах большой осторожности в телефонных переговорах, он сделал лишь самый слабый нажим на слово «сейчас». Армия в самое близкое время должна была штурмовать Кенигсберг, но говорить об этом не следовало. А после штурма опять начнется неимоверная сумятица с переброской кого куда. Карточная колода, состоящая из сотен дивизий, бригад и отдельных полков, перетасуется самым причудливым образом. Взвыть можно, как подумаешь, что были так близко...

— Тебе разыскивать меня, пожалуй, не с руки. Так что ты ничего не предпринимай. Разыщу тебя сам,— втолковывал ему Иван Алексеевич сквозь шершавые

посторонние звуки в телефоне, неторопливо, как человек, которого запросто не посмеют прервать.

Старший Хаританов еще спросил Дениса, все ли еще он трубач и у кого служит. «Трубач» — было слово из общепринятого нехитрого и никого не обманывающего разговорного кода. Артиллерийские орудия в разговорах по ближней связи называли трубами и соответственно этому артиллеристов — трубачами.

— Ах, хозяйство Бажутова...— понимающе сказал Иван Алексеевич, когда брат назвал ему фамилию командира своей части. И Денису стало совсем спокойно: их отец-командир до войны был секретарем Горьковского обкома, и Иван Алексеевич, скорее всего, знает его лично.

Это соображение почему-то успокаивало, придавало Денису уверенность, что все устроится, Иван Алексеевич без труда его разыщет.

Какой-то особой важности эта встреча, конечно, не имела. Жили же они до войны, встречаясь в пять лет раз, а то и того реже, и всегда не нарочито, а по случайности. Вроде того случая, когда Денис, будучи в командировке в Гранитограде, зашел на час к отцу, а там, оказалось, гостил Иван с женой проездом к новому месту службы, в Киевский особый. Все свое уважение друг к другу и братскую привязанность они блюли заочно и на расстоянии, и этого было им достаточно. Так почему эта предстоящая встреча так волновала Дениса, была такой необходимой? Сентиментальными, что ли, мы делаемся на войне, подумал он.

Денис думал, что Иван найдет случай разыскать его в ближайшие два-три дня. Но прошло больше двух недель, а старший братец все не давал о себе знать. И Денис приуныл и начал втайне обидчиво думать: генерал, знаете ли, очень ему нужно общаться со мной, мелкой армейской сошкой.

А потом улетучилась и эта, не такая уж жгучая и не такая серьезная, а скорее, нарочито взращенная обидчивость в душе. И текущие дела захватили настолько, что не время было думать о личном и не главном. И опять его батарея стояла на новых огневых позициях, а наблюдательный пункт километрах в пяти от внешнего обвода

Кенигсберга. Очертания города, ломаную линию его измельченных расстоянием зданий на фоне дымно-лилового неба за Прегелем-рекой Денис видел каждый день, проводя за стереотрубой по многу часов в день, обозревая совершенно пустынную, без всякого признака человеческой жизни местность от холма, где НП, до далекой окраины враждебного города.

После нескольких неудачных попыток где-нибудь найти слабинку в обороне и ворваться в окраинные улицы, чтобы потом начать растекаться по городу, командование убедилось, что такая тактика прогрызания успеха не сулит. Приходилось браться за Кенигсберг основательнее.

В марте в Прибалтике выдалась милостивая весна, мутных ненастных дней стало меньше, чем погожих парчово-солнечных. А то и в течение дня: с утра город проглядывал с наблюдательного пункта неотчетливо, смутно, словно погрузившимся на большую глубину в озерную воду.

Но к полудню облачность в небе истаивала, денек разыгрывался, и тогда город виделся совсем иным — геометричным и опрятным, как собранный умелыми тонкими пальцами архитектурный макет.

Было уже известно, что Кенигсберг окружен цепью фортов — крепостных сооружений с гарнизонами сотни в полторы солдат, с артиллерийским вооружением большой мощности. Было известно количество фортов, их устройство, огневая сила. Но эти форты надо было еще найти на местности. Никому из артиллерийских наблюдателей еще не удалось отыскать достоверные признаки хорошо замаскированных фортов. На участке бригады, в которой служил Денис Хаританов, где-то затаился форт, который у немцев прозывался Шарлоттенбург. Солдаты, разведчики в дивизионе, сразу стали называть его короче и фамильярнее — Шарлоттой. Тот, кто первым обнаружил бы ее, в накладе б не остался. Никто даже приблизительно еще не знал, на какой день и час назначается общее наступление на город. До него, может быть, и две недели, и три дня. И подумать было невозможно, чтобы к решительному дню Шарлотта осталась неразведанной. Война близилась к концу, и каждая лишняя неоправданная смерть перед ее концом была бы непростительной.

Обстановка на этом направлении была такой, какую издавна называют затишьем перед большим сражением. Денис поднялся после полудня на пункт, чтобы сделать пристрелочный контроль еще и для такой, как сегодня, погоды. Кто знает, какой она будет в день и час наступления.

Он покликал в телефон свою огневую позицию: ему ответил что-то второпях дожевывающий командир-огневик. Очень смиренным, назначенным вовсе не для войны, а для отрадного мирного труда на полях или в совхозных механических мастерских, где впервые после зимы настежь распахнуты широкие двери, казался сегодняшний день.

Денис скомандовал установки, сделал первый выстрел, прильнув к трубе, долго всматривался в серый клуб разрыва, дым которого минуты на две заслонил стоящее позади него на линии наблюдения здание со слепыми пустыми окнами.

Разрыв пришелся на небольшой пологий холмик, поросший чахлым кустарником. Может, сотню раз Денис всматривался в этот холмик, как и в другие ничем не приметные подробности пейзажа. Что заставило его назначить на этих же установках еще один снаряд? Никто не умеет рассудительно объяснить, как приходят догадка, смутное озарение. Второй разрыв породил у него уже потребность проверить свое подозрение, а последовавшая за этим серия заставила издать какой-то хриплый горловой дикарский звук, что-то вроде и сорванного «Ура!» и петушиного «кукареку». Дым разрывов перестал вспухать в виде ольхового куста, а начал плющиться. Каждый раз получался характерный дымовой блин с завернувшимися краями. А так бывает только на бетоне...

Пока Денис занимался пристрелкой, а потом докладывал по начальству, сдержанно сообщив, что, кажется, засек-таки Шарлотту, сержант-наблюдатель, уступивший ему место за стереотрубой, придремал, положив локти на бровку траншеи, а потом и голову уронив на рукав шинели. Не зря говорят, что исправный солдат времени попусту не теряет — каждые случайно свободные несколько минут успевает тишком всхрапнуть.

Но вскоре сержант встрепенулся: снизу по траншее на пункт поднимались сразу несколько, судя по шар-

канью сапог, незастенчивых служивых неожиданных гостей.

И Денис тоже, оторвавшись от наблюдения, воззрился на идущих с некоторым удивлением: пункт был их батарейный, вырытый своими руками, они на пункте были сами себе хозяева и, кроме своих ребят, на него почти никогда не заходил никто чужой. Сначала Денис увидел только двоих, поднимавшихся первыми. Это были парни из какой-нибудь штабной охраны или комендантского взвода. На них всегда и обмундирование бывает исправнее, и держатся они самоувереннее, и ходить по такой траншее как надо не умеют.

Позади автоматчиков шел немолодой военный. Впрочем, что это немолодой человек и что на обычной, массового пошива солдатской шинели у него полковничьи погоны, Денис разглядел, только когда вся группа была уже шагах в десяти.

Полковник шел, отрешенно, безучастно опустив голову, как ходят люди, давно отвыкшие ходить в одиночку, никуда без двух-трех автоматчиков охраны. И, похоже, давно уж пожилой полковник перестал, как делают все смертные военные, предварительно расспрашивать дорогу, примечать ее по пути. Провожатые обо всем позаботятся, приведут куда надо.

Только на последнем изломе траншеи он вскинул голову, и Денис, узнав его с первого взгляда, весь внутренне сжался, чтобы не показать растерянности, не всхлипнуть при первом приветствии.

Но приветствия, привычного, воинского, не получилось. Они просто обнялись, к безмолвному удивлению провожатых полковника, которые скромно отошли во входную траншею. Полковник сказал:

— Ну, принимай гостя, воин.

А Денису гостя некуда было даже посадить, на пункте имелась только одна седуха — дощечка на колышке перед стереотрубой.

С первого взгляда Денис лишь отметил себе, что Ивана Алексеевича война очень состарила. Как будто не четыре с небольшим года тому назад они встречались с Иваном в отцовском доме на вечернем берегу верх-палицкого пруда, а минуло тому полтора десятка лет. И больно и отрадно поразило его то, какое отчетливое сходство с отцом в лицах теперь прорезалось у Ивана,

углубились все отцовские морщины, и так же высветлился начес седых волос.

Они спустились по траншее, но в землянку не пошли, присев на поверженную в лощине старую ветлу. И тут оказалось, что говорить им трудно, беседа получится принужденной, несвободной. Не то чтобы не о чем было говорить. Денис знал, что когда расстанутся,— и кто знает опять на сколько? — он вспомнит многое, что было необходимо сказать. А сейчас все нужное вылетело из головы.

— Ты комбат, что ли? — спрашивал Иван Алексеевич.— Помнится, ты был политрук. Как это у тебя получилось?

— Помнится и мне, что ты был полковой комиссар, а не полковник,— ответил Денис.— Да и сдается мне, что должность у тебя не по званию. Ходишь с охраной, как командарм, с автоматчиками спереди и сзади. Не пущают, что ли, запросто на передок?

— Не пущают, черти,— с сокрушенным юмором пожаловался Иван Алексеевич.— У нас ведь так: если убьют, то и заботы с тобой никакой. А не дай бог, попадешь к немцу живым, тогда не оберешься забот и осложнений.

— Много чего знаешь, наверное. Оттого вот скоро и состарился.

Денис братским чувством уловил, что Иван чего-то главного еще не сказал. И верно: в ответ на его испытующий взгляд Иван спросил:

— Расскажи, что знаешь про нашего старика, его последних днях. Отчего умер?

— Да я и сам мало что знаю. Но тут нетрудно понять, отчего... От голода, от холода, от горя общенародного, от тревоги за нас, оказавшихся в пекле войны. Думаю, что о Вениамине он особенно болел душой. Давно о Веньке ничего не слыхал, жив ли?

О Вениамине у Ивана Алексеевича была информация свежее Денисовой. Он сказал: жив Вениамин, жив. Служит теперь в танковой армии.

И он назвал имя известного танкового военачальника, появившегося недавно под Кенигсбергом.

— Тогда интересно,— сказал Денис.— Названная танковая армия таится где-то здесь, левее нас.— Но тут же он с сомнением покачал головой.— Да нет, пожалуй, и

думать нечего, чтоб увидаться. На войне ведь, может, совсем близко обретается человек, может, за той вон гривкой леса; там две прошлые ночи подряд танковые моторы гремели. А вот не встретиться. Я и тебя разыскал по редкостной удаче. Начальник связи у нас такой продувной...

— Ну передай ему наш общий физкультпривет,— рассеянно сказал Иван Алексеевич.— И пожелание дожить в целости до конца войны.

— А конец что — светит по вашим данным?

— Тут нет категорических данных. Есть мое частное впечатление, что последние листки слетают с отрывного календаря войны.

— Ну и на том спасибо.

Денису было и хорошо, и беспокойно сидеть с братом на стволе поваленной ветлы. Он знал, что сейчас все зрительные приборы на всех НП их артиллерийской бригады направлены на тот шелудивый холмик, с которого он полчаса тому назад раскидал земляное покрытие и искусственные посадки, обнаружив под ними бетон. И начальство, пожалуй, уже гремит по телефону, спрашивая: куда подевался комбат?

— Ну что же... Выходит, ты обстоятельства и дату кончины отца знаешь так же приблизительно, как я. Хороши сыновья...

— Да какую это теперь имеет важность? — отозвался Денис.

Они простились. Брат со своими автоматчиками,— теперь их оказалось не двое, а четверо,— направился к овражку, змеисто уходящему в тыл. Там, на дороге под старыми ветлами, Ивана Алексеевича ждал его «виллис». Денис сходил в землянку за биноклем и долго смотрел, пока не занемели глазницы от окуляров, как брат садился в машину, как тронулись «виллис» и другая машина — грузовичок сопровождения.

Денис подумал: наверное, Иван Алексеевич какой-нибудь важный шиш, раз ездит с такой охраной. С другой стороны: почему он по званию только полковник? Может, потому, что по возрасту не успел получить академическое образование? Поздно уж ему было поступать в академию. Ничего этого он выспросить у брата не ус-

пел. Так же как не успел рассказать ему многое. Он жалел теперь, что не рассказал о тех днях, когда получил известие о смерти отца. Это бы следовало сделать после того, как Иван Алексеевич попрекнул их всех, не исключая и себя самого, сказав: хороши сыновья.

Это было зимой с сорок второго на сорок третий год. А точнее теперь уже не вспомнить. Разве что свериться по журналу боевых действий. Может, в декабре, а может, ближе к весне...

Был у них очень неспокойный день. С утра они начали такую стрельбу, что накалились стволы, таял на них и испарялся падавший с утра до обеда тихий и пушистый снежок. И в орудийных окопах от этого стало, как в банной парилке, сизо и сумеречно среди бела дня.

После полудня поступила команда отбоя и батарея привела орудия в походное положение, но приказа вытягиваться на шоссе все не было.

Вместо этого, часа через полтора томительного ожидания, снова прозвучала команда «К бою». И так было не меньше трех раз.

Стало вовсе неспокойно; угрозу окружения рядовой народ в армии учуивает, не имея об этом никакой информации и не получая донесений об обстановке.

Днем посыльный солдат принес почту, и там было письмо и Денису, который тогда еще служил командиром огневого взвода.

Команда сниматься с позиций и вытягиваться на большак последовала лишь в сумерках. Когда тронулись по маршруту, был поздний и глухой зимний вечер. В суматохе сборов Денис так и не успел прочесть полученное письмо.

Колонна батареи — это четыре орудия за тракторами, прицепы со снарядами, разный воинский шурум-бурум.

Уже километров десять перевитого снегом шоссе оставили позади. В метельной сутеми обозначился своротток, перехлестнутый снежными заносами. Денис вышел на поворот, указал направление головному трактору. Сам остановился метрах в десяти от развилки, под кряжистым старым деревом, пропуская мимо по своротку один

за другим трактора своей батареи. На шоссе позади небо осветилось фарами кучно идущих машин. Свет все приближался, гул нарастал, и вскоре стало слыхать, что идут не грузовики, а танки.

Денис, стоя под деревом, надорвал конверт полученного днем письма, чтобы при свете идущих по шоссе машин хоть бегло проглядеть его первые строчки.

Последний трактор батареи ушел по боковой дороге не больше чем на сотню метров, когда к перекрестку в облаке снежной пыли, грубо сотрясая промерзлое поле, подошли танки. Денис глянул и похолодел. На бортах машин явственно виднелись кресты. Пять минут, три минуты промедления на шоссе было бы достаточно, чтобы вражеские танки начали расстреливать батарею на марше с самого короткого расстояния.

А так она успела увернуться от них, танки прогудели по шоссе в прямом направлении. Денис бегом бросился нагонять свою колонну, никому до времени ничего не сказав.

Письмо в надорванном конверте он снова сунул за пазуху и прочитать его смог только еще через сутки.

В письме некая добрая душа, доглядывавшая за стариком в последнее время, их неблизкая родственница, сообщала, что Алексей Денисович умер, когда-то в первые крутые морозы.

Наступил апрель и всем в воюющей армии было ясно, что это будет незабываемый месяц знаменательного года.

Стрелять по форту Шарлоттенбург, когда началось наступление на Кенигсберг, Денису Хаританову не пришлось. Эта цель в последние дни перед наступлением была отдана артиллерии большей мощности. Вместо этого дивизиону чуть не накануне операции пришлось перестраивать всю подготовительную работу. Огонь заново планировался так, чтобы в небе оставались коридоры, свободные от траекторий снарядов своих орудий. Это спохватились сделать потому, что в прошлых боях были случаи, когда самолеты-штурмовики попадали под снаряды своей наземной артиллерии. С земли эти коридоры для самолетов в часы наступления будут обозначены

дымовыми сигналами. Придерживаясь этих же дымовых шашек, пойдут и танки.

И Денис, не увлекающийся и ко многому привыкший на войне, порой думал: но какая же, однако, сила, какое грозное величие во всем этом, если даже в небе нужны коридоры...

В азарте и трудах этих дней, казалось бы, не было возможности думать ни о чем своем, личном. И все же у него находились минуты, когда вновь всплывала в памяти встреча с Иваном Алексеевичем и то, что где-то близко воюет и их младший — Вениамин, но увидеться с ним удастся разве уж после войны.

И все вспоминал замечание брата Ивана, что с календаря войны слетают последние листки.

СОДЕРЖАНИЕ

ИБ № 568

Климентий Федорович Борисов

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

Редактор М. А. Федотовских
Художник А. С. Ехамов
Художественный редактор
Г. И. Кетов
Технический редактор
К. Г. Проскурникова
Корректоры А. Г. Богородская, И. П. Никитина

Сдано в набор 25/V 1978 г. Подписано в печать 28/XI 1978 г. НС 12316. Бумага тип. № 1. Формат 84×108/32. Уч.-изд. л. 28,3. Усл. печ. л. 26,9. Тираж 50.000. Заказ 382. Цена 2 руб.

Средне-Уральское книжное издательство, Свердловск, Малышева, 24.
Типография изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск, пр. Ленина, 49.

Борисов К. Ф.

Б82 Единомышленники. Роман-хроника. Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-во, 1979.

512 с. с ил.

Трилогия старейшего уральского прозаика.

Б $\frac{70302-072}{М158(03)-79}$ Р2

В Средне-Уральском книжном издательстве в 1979 году выходят книги:

Н. Никонов.

СЛЕД РЫСИ. Повести.

Э. Бутин.

И ДЕНЬ ТОТ НАСТАЛ. Рассказы.

З. Тоболкин.

ПРИПАДИ К ЗЕМЛЕ. Роман.

М. Немченко, Л. Немченко.

ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК. Рассказы.

И. Давыдов.

ОТ ВЕСНЫ ДО ВЕСНЫ. Роман.

А. Власов.

ЯЧМЕННЫЙ ДЫМ.
Повести и рассказы.

А. Трофимов.

ПОВЕСТЬ О ЛЕЙТЕНАНТЕ ПЯТНИЦКОМ.

2 руб.

Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1979

К·БОРИСОВ • ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ